

ISSN 0130-7673

НОВОБЫИ МИР

2

1986

||
2
||

НОВОБЫИ
МИР

|| 1986 ||



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 2

Февраль, 1986 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ГЕНРИХ БОРОВИК — Разные этажи Женева	3
—————	
ВИКТОР БОКОВ — Новые стихи	20
АНАТОЛИЙ СТРЕЛЯНЫЙ — Депутатский запрос	24
ДЖУБАН МУДАГАЛИЕВ — Мечтая небом статья, стихи. Перевед с казахского Вл. Савельев	77
ВИКТОРИЯ ТОКАРЕВА — Длинный день, повесть	79
НАТАН ЗЛОТНИКОВ — И раздумий добро..., стихи	115
ВЛАДИМИР МУССАЛИТИН — Рассказы	118
ЯКОВ ХЕЛЕМСКИЙ — Воскрешая довоенный год..., стихотворение	136
ВИКТОР ЛЕСКОВ — Вертикальный взлет, повесть	138
МИХАИЛ СТРИГАЛЕВ — Связующая нить, стихи	178
ВАСИЛИЙ КАЗАНЦЕВ — Хотелось сердцу спеть..., стихи	180

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

НАВСТРЕЧУ XXVII СЪЕЗДУ КПСС	
ВИКТОР КАЗАКОВ — Третий горизонт	182

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

БОЛЬШЕВИКИ. Окончание. Публикация, комментарий и примечания И. Брайнина	198
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АНАТОЛИЙ МЕДНИКОВ — Время действия — наши дни	224
ЕВГЕНИЙ СИДОРОВ — Под знаком времени. О поэмах Евгения Евтушенко	232

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	248
Владимир Красильщиков. На документальной основе. Л. Теракопия. Между бедой и виной.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Искра Денисова. Рабочие руки.	Стр.
А. Дубровин. Репетиции кинозрителя.	
Сергей Залыгин. Свидетельство.	

Политика и наука

258

Ермей Парнов. Цель исследования — будущее.

В. Зяблов. Помощница в дерзаниях.

КОРОТКО О КНИГАХ:

Азат Егизарян.— Анаит Саинян Жажда. Роман. ◆

Леонид Володарский.— Рюрик Ивнев. Избранное. Стихотворения и поэмы. 1907—1981. ◆

А. Турков.— Валентин Берестов. Идя из школы. Стихотворения.

В. Берестов. Нофелет. Стихи. ◆

Петр Майданюк.— Анна Гвоздева. Колокола истории. О творчестве Николая Задорнова. ◆

Леонид Быков.— Мстислав Козьмин. Путь к человеку. ◆

Атнер Хузангай.— М. И. Исиметов. Ыыван Кырля. Очерк жизни и творчества. ◆

Н. Зелов.— Вдохновенный Лениным. Александр Тодорский: произведения о родном крае. биографические и другие материалы. ◆

В. Ветлина.— Красная книга СССР. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений. ◆

Петр Черкасов.— А. В. Аникин. Золото. Международный экономический аспект. ◆

Михаил Кривич.— Книги, открывающие мир

264

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

272

ГЕНРИХ БОРОВИК

★

РАЗНЫЕ ЭТАЖИ ЖЕНЕВЫ

Холодными ноябрьскими утрами Женева пустынна и спокойна, как и полагается ей в мертвый сезон. Дует ветер, который называют биз. Ветер, как говорят, приносящий плохое настроение. Слышал я даже, что студенты здесь имеют право не сдавать экзаменов, когда дует этот коварный биз. Так ли это или не так, правда это или студенческая выдумка, но Женева действительно казалась пустой и напряженной. Впечатление это усиливали беспокойные крики чаек над холодным озером и вплетающееся в них жалобное поскрипывание у берега яхт с голыми, озябшими мачтами. Женева будто спала. И казалось, ее спящую захватили мелкие разведывательные отряды каких-то внешних сил. Человек, незнакомый с экипировкой сегодняшних телевизионных групп, свободно мог бы подумать, что внешние силы эти — из космоса, с иных планет. Во всяком случае, именно такими лет десять — пятнадцать назад изображали инопланетян художники-фантасты. Антенна из уха, ящик (реактивного летательного аппарата?) за спиной, перед глазами всевидящий экран маленького телевизора, в руках замысловатой конструкции могущественное оружие бесшумного действия. Ни дать ни взять реалии «звездных войн».

Но нет, пока это были только передовые группы мощнейших телевизионных компаний разных стран мира, приславших их сюда загодя перед встречей двух лидеров собирать информацию, удовлетворять ненасытный интерес телезрителей.

А интерес мира к встрече был огромен. И огромны были ожидания.

Одним словом, мир ждал Женевы. Мир обеспокоенный, встревоженный, доведенный гонкой вооружений до последней черты. Ждали начала диалога. Ждали встречи конструктивной. И, конечно, люди страстно желали решения главной проблемы — прекращения гонки вооружений на земле, предотвращения ее в космосе, сокращения ядерных арсеналов в мире.

Надежды, впрочем, сдерживала трезвая мысль: может ли за два дня свершиться чудо? Сможет ли лидер Соединенных Штатов найти в себе (или вокруг себя?) силы, чтобы отказаться от программы «звездных войн», пугающей все человечество?

Вот почему в Женеве и хозяйничали уже эти передовые отряды телевизионщиков. Вот почему подтягивалась сюда, перевалив за третью тысячу, братия пишущая, братия говорящая и братия показывающая. Не только глаза и уши современного человечества, но и огромная машина, вкладывающая, к сожалению, в его сознание тщательным образом профильтрованные и соответственно упакованные мысли.

Давний, еще по Нью-Йорку знакомый американский журналист, глядя на пустынную набережную и зябко кутаясь, полувопросительно сказал:

— Затишье перед боем?

Оба слова тут, пожалуй, были неверны. И слово «бой» вряд ли подходило к тому, что предстояло в Женеве. И уж совсем не отвечало ситуации слово «затишье».

Наша страна шла к Женеве с хорошо продуманными, взвешенными, конструктивными предложениями. Полное запрещение ударных космических вооружений. Сокращение наполовину всех имеющихся у СССР и США ядерных средств, способных достигать территории друг друга. Готовность идти и дальше — вплоть до полного уничтожения ядерного оружия. Создавая благоприятную атмосферу к женеvским переговорам, наше правительство еще с 6 августа 1985 года — дня сороковой годовщины взрыва ядерной бомбы над Хиросимой — односторонне ввело мораторий на все ядерные взрывы. И выразило готовность сделать мораторий постоянным, если Соединенные Штаты присоединятся к нему.

Были и другие предложения. И все они встретили поддержку огромного числа людей на земле, кто имел возможность узнать о них не в препарированном, не в извращенном, а в чистом виде. Сила этих предложений состояла, кроме всего прочего, и в том, что они брали начало свое в обыкновенном здравом смысле, доступном пониманию любого непредубежденного человека.

Мне показали часть писем, шедших в те дни на имя М. С. Горбачева. Я привожу некоторые из них.

«Дорогой г-н Горбачев, я пишу Вам, чтобы выразить мою надежду на то, что встреча с г-ном Рейганом 19—20 ноября приведет к радикальному сокращению гонки вооружений и положит начало продолжительным и доверительным мирным отношениям между СССР и США. Могу ли я поздравить Вас с предложениями, которые Вы сделали 4 октября перед встречей в верхах: сократить на 50 процентов стратегические вооружения, демонтировать оружие средней дальности в Европе и предложение провести переговоры с Англией и Францией по контролю над вооружениями? Эти три предложения — очень положительный шаг к миру. Я хотел бы пожелать Вам успеха в Ваших переговорах по этому поводу с г-ном Рейганом. Искренне Ваш Д. А. Хилл, Австралия».

«Дорогой господин Горбачев, я, моя жена и наш трехмесячный сын желаем Вам самого большого успеха в женеvских переговорах. Мы очень ждем, что Советский Союз продлит мораторий на испытания ядерного оружия. И для этого одновременно мы посылаем письмо президенту Рейгану с надеждой, что США присоединятся к Вашему мораторию. Мы надеемся, что в Женеве вопросы престижа не станут главными, а будет достигнуто понимание, что от этих переговоров должны выиграть не только две страны, но и весь мир. Трагедия Земли в случае ядерной войны только подтвердит уже сейчас всем понятную истину, что не может быть победителя в такой войне. Будут только проигравшие. С самыми добрыми пожеланиями. Доктор Томас Бронин, Швеция». (В конверт вложена фотография трехмесячного сына доктора Бронина.)

«Дорогой мистер Горбачев, здравствуйте! Нас зовут Ричард Касмартс и Кристин Эйлерс. Мы учимся в пятом классе. Нам кажется, что Ваша речь, в которой Вы предложили сократить вооружения, была замечательной! Желаем Вам удачи в Вашей встрече с мистером Рейганом Ваши Ричард и Кристин. Поздравляем Вас с приближающимся рождеством Город Виннипег, Канада». (В конверт вложен рисунок, на котором перечеркнуты американские и советские ракеты.)

...Шла подготовка к Женеве и с другой стороны. Шла, к сожалению, совсем в другом направлении.

В ответ на советские предложения о моратории на ядерные испытания нам прислали «приглашение» присутствовать при очередном подземном ядерном взрыве в штате Невада.

Однако советское предложение о сокращении ядерных арсеналов на 50 процентов всколыхнуло весь мир. Люди ждали ответа Соединенных Штатов, контрпредложений, которые помогли бы наладить диалог и решение этого самого главного вопроса. Надеялись, что ответ этот будет дан в речи президента на юбилейной сессии ООН. Но глава американской администрации заявил там, что вообще не считает вопрос о разоружении главным вопросом дня и женевской встречи. Он намеревается обсуждать вопросы региональные.

Речь эта, которую ждали с нетерпением, удовлетворила, может быть, только тех, кто ее писал. Весь же остальной мир требовал ответа на советские предложения. И требовал настоятельно. Прошло несколько дней, и Вашингтон вынужден был сообщить, что даст свои контрпредложения, но когда — неизвестно: может быть, перед женевской встречей, может быть, во время нее, а может быть... после.

В мире расценили это либо как проявление растерянности, либо как отсутствие у Вашингтона продуманной политики разоружения, либо как жестокую борьбу мнений в самой администрации. А вернее всего — все вместе. В мире также приходило к выводу, что сторонники гонки вооружений, а может быть и срыва женевской встречи, в последние недели перед началом ее, видимо, брали в Вашингтоне верх. Они демонстративно провели испытание противоспутниковой системы; они послали на Балтику линкор «Айова» с крылатыми ракетами большой дальности на борту; они форсировали развертывание «першингов» в ФРГ; они приняли решение о создании бинарного химического оружия; они добились принятия нового рекордного военного бюджета и т. д. и т. п. Уже перед самой Женевой в газете «Нью-Йорк таймс» появилось письмо министра обороны США Каспара Уайнбергера. Он заклинал главу государства не идти ни на какие договоренности с СССР, которые подтвердили бы договоры об ограничении стратегических вооружений и о противоракетной обороне.

Весьма влиятельная организация «Фонд наследия», идеологический штаб американских ультраправых, даже напутствовала президента требованием сделать все, чтобы заставить советский народ изменить свой строй, свою конституцию.

О каком уж «затишье» могла идти речь!

Компания Эй-би-си во второй половине октября 1985 года провела опрос общественного мнения в США. Его результаты многим показались неожиданными, даже сенсационными: 74 процента опрошенных американцев высказались против переноса гонки вооружений в космос и за сокращение ядерных арсеналов на земле. Практически они разделяли позицию Советского Союза.

Тысячи писем шли в Москву — в Кремль, в Центральный Комитет нашей партии — с поддержкой наших предложений, с просьбой сделать все, чтобы провести их в жизнь. И тысячи писем шли в Вашингтон, в Белый дом с требованием дать ответ на советские предложения до Женевы, дать ответ позитивный, в интересах народов мира.

Американской администрации пришлось наконец выступить со своими контрпредложениями. К сожалению, и здесь влияние противников Женевы было более чем заметным. Они продолжали преследовать одну цель: достижение военного превосходства США и НАТО.

Такова была обстановка перед Женевой. Сложная, трудная, противоречивая. Немало людей со страхом думали: а состоится ли вообще встреча? не сдвинется ли мир еще дальше, к той роковой черте? или даже за нее?..

Очень многое не благоприятствовало женевской встрече. И все-таки у нас в стране приняли решение в пользу переговоров с президентом США. Приняли потому, что, как сказал М. С. Горбачев, мы

«не имели права пренебречь хотя бы малейшим шансом переломить опасное развитие событий в мире. Приняли, сознавая, что если не удастся завязать прямой и откровенный разговор сейчас, то завтра это будет во сто крат труднее, а может быть, и вообще поздно».

«Товарищ Горбачев! Мне 87 лет и я хочу, чтобы был мир на земле. У меня погиб муж на Великой Отечественной войне, и мне бы хотелось, чтобы ему, Рейгану, показали, как мы жили во время войны. Он посмотрит и поймет, что мы не хотим войны.

Желаю, чтобы переговоры прошли успешно. Рубль я шлю на переговоры за мир. Я не могу больше послать. Писать не умею, старая, попросила соседку. У меня погиб муж на войне. Красноуральск, Кузнецова Зинаида». (На конверте написано: «Москва, т. Горбачеву. На переговоры за мир». В конверт вложен старенький, потрепанный рубль.)

...Интерес к советской позиции в Женеве был огромен. Корреспонденты, которых с каждым часом становилось все больше, буквально атаковали советских ученых, общественных деятелей, журналистов, уже находившихся там. Я не знаю, в какие часы спал академик Арбатов, когда отдыхали академики Велихов, Сагдеев, Примачков. Им, авторитетнейшим специалистам в области и космоса, и разоружения, и советско-американских отношений, да вообще во всем комплексе международных дел, волнующих сейчас человечество, пожалуй, доставалось больше всего. Вопросов было так много, что, кроме индивидуальных, так называемых эксклюзивных интервью, пришлось проводить и общие пресс-конференции, на которые собирались сотни иностранных журналистов.

И полетели в американскую прессу первые сообщения о том, что «русские идут!», что «русские уже начали свое наступление». Такие слова, строчки, заголовки можно было встретить в разных газетах мира в те дни.

На этаже «джей», в комнатах, отведенных для советской печати, с утра до вечера толпились представители иностранной прессы. Вспыхивали блицы, светили телевизионные прожекторы. «Как работает «Правда»? Что вы написали в первой своей корреспонденции? Какими словами ее закончили? Чего вы ждете от Женевы?» И еще: «Слушайте, почему вы так открыты? Почему готовы отвечать на любой вопрос? Это что теперь — новый стиль? С чем это связано?»

Каждый из нас отвечал на эти вопросы как умел, исходя из своего собственного разумения.

Ну, конечно же, основой этой открытости, готовности к ответу на любые вопросы является честная, открытая и конструктивная позиция нашей страны во всех вопросах международной политики. Стержень этой открытости — и в понимании того, что мир подошел к черте, когда надо действовать, и действовать безотлагательно. В вопросах войны и мира, в вопросах разоружения позиция нашей страны всегда была определена. Мы никогда не занимались политиканством, не искали выгод для себя. Мы всегда выступали с конструктивными мирными инициативами. На Западе их пытались замалчивать, искажать, извращать. Да и мы не всегда, может быть, проявляли достаточно настойчивости, умения для того, чтобы донести нашу политику, наши взгляды, ценности нашей жизни, которыми мы гордимся, до людей мира.

Мы с полным основанием были убеждены в своей правоте. Но всегда ли умели быть убедительными?

В этой области нужна была психологическая перестройка, изменение атмосферы, переход от обороны в наступление против лжи, которой нас окружали и окружают. Думаю, что Женева показала: такая психологическая перестройка началась и уже дала плоды.

И еще: великое счастье защищать политику, которой ты гордишься, позицию, которая отвечает потребностям громадного, подавляющего большинства людей на земле.

«...Пишет Вам мать солдата. Михаил Сергеевич, я, как каждая мать, жду сына и, что греха таить, иногда и поплачу. Растила я его одна, никогда ничего и ни у кого не просила, правда, работала много. И сейчас не жалею. Алешка мой 30 марта 1985 года женился, 14 мая ушел выполнять свой священный долг. Живем мы с ней (невесткой) хорошо. Это маленькая, худенькая девочка. Я ее очень жалею и люблю, как и сына Алешеньку. Я уже давно на пенсии, но, когда меня просят, еще и работаю... Но не за этим я взялась писать, чтобы все это Вам сказать, человеку, занятому до предела. Скоро у Вас встреча в Женеве с Рейганом. Я так надеюсь, что Вы скажете ему прямо, открыто, по-русски, что мы думаем об их политике. Матери солдат есть и у них, в США. Хотим ли мы войны? Ответ у нас, у всех матерей, один — нет! Я хочу счастья своим детям и детям всей земли. Хочу внуков, которых у меня еще нет... Михаил Сергеевич, может, я что не так сказала, но мы, русские, понимаем, что на душе у каждого человека мира наболело одно — спокойствие в мире. Михаил Сергеевич, я так жду этих переговоров в Женеве и дарю Вам фотографию, это самое дорогое, что у меня есть,— мои дети. Желаю Вам плодотворной работы в Женеве и успехов. С огромным уважением к Вам мать солдата Еремеева Екат. Еф. Владимирская область, город Струнино».

...Это был, конечно же, деловой ужин. Настолько деловой, что о деле заговорили сразу же как сели за стол. Не стали соблюдать полагающегося ритуала. Юджин, перегнувшись через стол, задал мне первый вопрос еще до того, как метрдотель принес меню. Настолько сжигало его нетерпение.

— Ну, что будет? Какой будет результат?

У Юджина было простое, довольно грубо слепленное лицо и контрастом к нему тонкие белые руки (я бы сказал холеные, если бы не знал, какой он трудяга).

Я давно знал этого человека. Знал его по статьям, политическим эссе в одной из самых влиятельных газет Соединенных Штатов. Круг его тем был ограничен довольно прихотливой чертой. О социальных проблемах, о политических, даже о проблемах войны и мира он ухитрялся говорить, часто беря стержнем своей статьи нечто неожиданное: вопросы терминологии, формальной логики, лингвистики, демографии, иногда даже театра или кинематографа. Это придавало его чрезвычайно консервативным, иногда даже вызывающе консервативным статьям интеллигентность. А интеллигентность и присущая ему некоторая ироничность тона рисовали в воображении читателя образ автора-философа, предпочитающего позицию если не над схваткой, то все-таки чуточку в стороне от нее. При этом высказывался он большей частью чрезвычайно радикально, зло, но с элементом «остранения». Как высказывается брехтовский герой, почти никогда не адресуя свои слова ни партнеру, ни даже публике, а чаще всего — самому себе.

Я не называю ни его настоящего имени, ни его фамилии потому, что хотя мы и не уславливались, но само собой разумелось, что разговор наш был, конечно, частный. Впрочем, свидетелями этого разговора были двое его коллег и мой друг, советский журналист.

— Так что же будет? А? Чего вы ждете от встречи? Что привез ваш лидер? — еще раз спросил меня философ, политик, лингвист, театровед, глядя на меня вовсе не как герой Брехта, не «остраненно», но, наоборот, внимательно, зорко, цепко, очень заинтересованно.

— По-моему, наша позиция более чем ясна,— ответил я.— Все зависит от позиции Америки.

— То есть пойдём ли мы на уступки с программой «звездных войн»?

— Я не очень понимаю, почему вы называете это уступкой. Уступка — кому?

— Вам, кому же еще!

— Я мог бы назвать довольно многих «кому еще». Прежде всего американскому народу.

— Ну да, я читал в вашей прессе: миллионы бездомных, безработных, Гарлем, Южный Бронкс! Вместо того чтобы тратить деньги на вооружения, лучше облегчить их участь! Вы это имеете в виду?

— Я имею в виду и это и новый виток гонки вооружений с непредсказуемыми последствиями.

Он улыбнулся:

— Заметьте, я не возражаю. Я не утверждаю, что СОИ — это только оборонительный щит. Я, как и вы, считаю, что это и новый вид оружия.

— С тем большим основанием я говорю вам, что оно приведет к нарушению баланса, к хаотической гонке вооружений в новой сфере. Оружие нельзя накапливать до бесконечности. Оно самовозгорится, как самовозгораются бензиновые пары при определенной концентрации.

— И тогда?.. — Он взглянул на меня выжидающе.

— Я думаю, вы знаете, что тогда. «Ядерная зима». Самоуничтожение. Аннигиляция.

Принесли меню. Мой собеседник, пригласивший нас, не торопясь выбрал что-то, посоветовав всем взять то же самое. Два официанта покивали и удалились.

Юджин откинулся на спинку стула, прыгнул из бокала и только тогда сказал:

— Значит, «ядерная зима»... Ну а почему бы не «ядерное лето»? — И растянул губы в улыбке: — Кто на сто процентов может утверждать, что предсказание «ядерной зимы» точно?

— Я не ученый-атомщик. Но я читал по этому вопросу труды и наших ученых, и ваших, и ученых из других стран.

Он повернулся к одному из своих коллег и сказал негромко:

— Я же говорил вам, что «ядерная зима» придумана левыми. Раз они, — он кивнул в мою сторону, — стоят на этой точке зрения, значит, это не научная теория, а политический ход...

Я поначалу решил, что он шутит, острит. Но по глазам, да и по тону понял: нет, говорит всерьез. И тут он меня действительно заинтересовал.

— Вы считаете, что ядерная война невыгодна только тем, кого вы называете левыми? Вы думаете, что она уничтожит их, но пощадит вас? Вы думаете, в ней может быть победитель?

— О, сколько сразу вопросов! Я отвечу на последний. Победителя в ней не будет. Но одна сторона пострадает меньше другой. И опраится раньше. И вот тогда можно будет говорить о победителе. Победит более развитая технология, более совершенное оружие.

Мне показалось, что его коллегам стало неловко.

— Хотел бы заверить вас, что превосходства США не будет. Исходите из этого в своих расчетах. И второе. Ваша арифметика. Она не кажется вам безумием?

— Кажется. Но что делать, если не найдется другого выхода?

— Выход есть, вы его прекрасно знаете...

— Какой выход, позвольте спросить?

— Одновременное сокращение ядерных вооружений. По этапам. До полного их уничтожения. Как предлагает Советский Союз. Разве

это не разумнее, не дешевле, чем планировать фантастические «звездные войны»?

— Мы не можем идти на взаимное сокращение ядерных вооружений. У вас явное преимущество в них. Явное.

— Слушайте, Юджин,— сказал я.— Вас считают неглупым человеком...

— Благодарю! — усмехнулся он.

— ...Ответьте мне на такой вопрос. В семьдесят девятом году после семилетней тщательнейшей работы две большие команды специалистов — с американской стороны и с нашей — пришли к выводу, что между нашими странами существует примерный военно-стратегический паритет. И зафиксировали этот факт в Договоре об ограничении стратегических вооружений — ОСВ-2. Его подписал не только Брежнев, но и президент Картер, начальники генеральных штабов — вашего и нашего. В Договоре была выверена каждая строчка, каждая буква, каждая запятая. При его подписании присутствовал Збигнев Бжезинский. Я сам видел его там, в Вене, в зале, где подписывали документ. И вдруг на следующий год нынешний президент заявил, что Советский Союз обладает гораздо более мощным военно-стратегическим арсеналом, чем США! Что же, Картер, Бжезинский и все, кто там был с ними,— враги США? Предатели национальных интересов?!

— Нет...

— Значит, они подписали ОСВ-2 под гипнозом?

— Нет...

— В таком случае каким образом советский стратегический арсенал мог решающим образом обогнать американский за один год?

— Объясню...

— Постойте... Полмесяца назад во время интервью с нами, четырьмя советскими журналистами, президент Рейган опять сказал, что советский арсенал значительно больше американского. А объединенный комитет начальников штабов США недавно выпустил доклад, в котором вновь подтвердил примерное равенство военно-стратегических вооружений с двух сторон... Вот теперь объясняйте!

— Все дело в точках зрения,— ответил Юджин неторопливо. Уже принесли еду, и он пальцем показывал официанту, что положить ему на тарелку.— Вспомните начало шестидесятых годов. В то время мы были значительно сильнее вас. Я бы сказал, неизмеримо сильнее. Вы знаете об этом?

— Насчет уровня вооружений — да, вы правы. У США он был тогда выше. Ну а насчет «неизмеримо сильнее» — тут я не согласен бы. Силу измеряют не только оружием.

— В ядерный век — только.

— Но вы просчитались с таким измерением во Вьетнаме...

— Потому что не воспользовались ядерной бомбой,— ответил он сразу. Потом вздохнул, на мгновение уйдя в себя, что-то или кого-то вспомнив.— Одним словом,— сказал он, снова войдя в общение со мной,— мы считаем так: когда наши арсеналы равны, арифметически равны, это означает ваше превосходство. Истинное равенство между нами наступает только тогда, когда наш арсенал значительно больше вашего. Это и есть паритет в нашем понимании. При таком паритете наша страна в случае атомного конфликта пострадает меньше вашей...— Он играл замысловатым ножом.— Хотя победителя в традиционном, старом смысле, я согласен, не будет...

Бесшумно сновали официанты. Вполнакала горели матовые лампы под потолком, конфигурацию которого определить было почти невозможно — весь он был выложен квадратами зеркал под разными углами друг к другу. Поэтому в потолочных зеркалах происходящее в зале отражалось хаотично. На белой скатерти стола примостились чьи-то черные штiblеты; мельхиоровый колпак был надет на бле-

стящую лысину джентльмена в смокинге; чей-то бледный нос лежал на блюде с бананами; из уха метрдотеля на нас смотрели сверху скучающие глаза. Потолочные зеркала делали реальное фантасмагорическим, как содержание разговора, который шел за нашим столом. Такое ощущение усиливалось и тем обстоятельством, что многие из сидящих в этом зале казались мне знакомыми: где-то я их встречал — наяву ли, во сне? Появилось даже чувство, которое возникало, когда впервые читал булгаковское описание бала у Волаанда. И не сразу понял я, что лица эти принадлежали известнейшим ведущим разных американских телевизионных программ — и новостных, и развлекательных, которые мне приходилось видеть во время работы в США. Все это были люди, которые входили ежедневно, ежеутренне, ежевечерне в дома американцев (и не только американцев, но и жителей других стран, куда американские телекомпании поставляют свою продукцию, свою интерпретацию мира и мировых событий). Все они, приехавшие освещать Женеву, телевизионные и газетные знаменитости, жили в этом, пожалуй, самом дорогом отеле города. Журналистская элита США. Головка огромной машины информации и пропаганды, мощного механизма формирования общественного мнения. Немалая сила. От того, куда она направлена, многое зависит в мире...

— Ваши друзья разделяют вашу точку зрения? — спросил я.

Один из спутников Юджина пожал плечами: то ли был занят едой и разговора не слышал, то ли не задумывался над этим, то ли не считал необходимым отвечать. И тогда сказал другой. Сказал с улыбкой:

— Вы задаете странный вопрос. Ну какое имеет значение, согласны мы или нет. Ну, предположим, не согласны.— Он взглянул на соседа и уточнил:— Я, во всяком случае. Но гораздо важнее вам знать, что точку зрения нашего друга,— он кивнул в сторону Юджина,— разделяют люди, от которых зависит, приобретает ли эта точка зрения материальный вес или остается лишь умозрительной...

И тогда тот, первый, который пожимал плечами, добавил:

— Его точку зрения разделяет Уайнбергер. Это важнее. Юджин и Каспар — большие друзья.

Я не удивился. Так оно по логике вещей и должно было быть. Независимо от того, было ли это правдой.

Что стояло за этим разговором? Зачем нужно было известному американскому политическому эссеисту говорить перед началом переговоров в Женеве такие, в общем-то, откровенно дикие вещи советскому коллеге? В расчете на то, что я немедленно передам содержание разговора в нашу печать или сообщу членам советской делегации до начала переговоров? Положить на пути к возможным договоренностям острый камешек? Но ведь еще за день до нашего «застолья» более весомый булыжник запустил в переговоры личный друг моего собеседника Каспар Уайнбергер своим письмом президенту США, которое «неожиданно» оказалось в распоряжении «Нью-Йорк таймс» и появилось накануне Женевы на ее страницах.

А может быть, Юджин просто, что называется, выплеснулся? Расслабился? Высказал своему противнику то, что думал на самом деле? И получил от этого своеобразное удовольствие?..

Женевская встреча в верхах еще не началась, но уже шла на других этапах. И Юджин вел борьбу против возможного улучшения отношений между нашими странами на своем уровне, на своем этапе. Это говорило лишь об одном: те в Америке, кто разделял точку зрения моего собеседника (точнее, те, чью точку зрения разделял он), явно боялись переговоров. Это было ясно как дважды два.

Было ясно и другое: силы эти могущественны, отступить не хотят и драться будут против любого прогресса в области разоруже-

ния, против любой уступки в сторону взаимопонимания, в сторону улучшения отношений, в сторону простой человеческой логики — до конца...

«Дорогой мистер Горбачев, моя паства молится за Вас перед Вашей поездкой в Женеву для встречи с г-ном Рейганом, президентом США. Да одарит Вас Бог мудростью, чтобы Ваши переговоры могли принести покой измученному миру. Искренне Ваш отец Мэтьюз. Церковь адвентистов седьмого дня, Бедфорд, Англия».

«С надеждой на великий успех женевских мирных переговоров и на то, чтобы никогда больше не повторилась Хиросима! Куртис Хом, город Фергус Фоллз, штат Миннесота, США».

...В первый день встречи переговоры между двумя лидерами проходили на американской вилле «Флер д'О» в предместье Женевы. За два часа до начала переговоров здесь собралось человек пятьдесят представителей «электронной» и «карандашной» прессы, увешанных разноцветными карточками различных «пулов». Членам одного «пула» разрешается стоять под навесом возле виллы и фотографировать приезд двух лидеров. Членам другого — войти на четыре-пять минут в комнату, где будут вестись переговоры с глазу на глаз, задать несколько вопросов и затем — в другую комнату, для переговоров делегаций.

Все взволнованы — и осознаваемой важностью для всего мира приближающегося момента, и своими профессиональными проблемами.

Больше всего беспокоятся фотографы. На улице холодно, и, если войти в теплый дом, линзы запотеют, снимать будет невозможно. Что делать? Кто-то предлагает внести фотоаппараты в дом заранее. А чем же тогда снимать на улице? — резонно возникает вопрос.

— Встреча еще не началась, а уже одна неразрешимая проблема есть! — философски замечает мой сосед по «пулу».

К нашей группе подходит молодой белобрысый американец в бежевом плаще. Он смотрит на мир отчужденно, будто прислушивается к своему внутреннему голосу. Голос этот течет к американцу по тонкому телесного цвета проводу, который тянется от его уха по шее за воротник к спрятанному где-то под одеждой приемнику. Кто-то тут, поблизости, командует им и его коллегами голосом не «внутренним», а вполне реальным, внешним. Белобрысый — из охраны.

— Вот от этого угла до этого, — говорит он категорически, — мысленно протяните шнурочек и чтобы за него ни шагу.

Мы и так — ни шагу, стоим за этой мысленной линией. И мы, советские, и американцы. Но бежевый плащ считает, что этого мало.

— Сделайте один шаг назад, — требует он.

— Но мы не нарушаем «шнурочка».

— Я сказал — один шаг назад. — И, видя нашу нерешительность, добавляет многозначительно: — Учтите, это не просьба...

Глаза и у него, да и у нас становятся злыми. Обеим сторонам не хочется уступать. И вообще атмосфера накаляется.

Но бежевый стоит, не уходит. И весь наш «пул» под чертыхание фоторепортеров и телеоператоров, уже расставивших свои треноги, делает шаг назад, хотя никто не переходил границу, очерченную охранником.

Удовлетворенный, он уходит на поляну ворошить ногой сухие листья, проверяя, нет ли там чего подозрительного. Весь «пул» не сговариваясь, молча, с облегчением и назло ему делает обратный шаг вперед.

Как трудно даже в простых, самых элементарных вопросах, когда нервы напряжены. Даже вот на таком элементарном этаже общения...

Когда подъезжают машины — сначала президента США, а потом советского лидера, — мысленный «шнурок» рвется, фотоаппаратура, телекамеры, магнитофоны, шариковые ручки работают на полную мощность, люди делают дело, понимают, что присутствуют на событии огромной важности, и рабочая атмосфера восстанавливается.

Журналистам сказали, что первая встреча с глазу на глаз предполагается минут на двадцать. Но проходит двадцать минут, тридцать, а сигнала идти в зал для переговоров делегаций нет. Проходит и сорок минут. Кто-то из американских журналистов спрашивает меня с явной надеждой:

— Скажите, это хороший признак?

— Хотелось бы, чтобы хороший...

В окне дома показывается Ларри Спикс. Корреспонденты кричат ему:

— Сколько времени они уже разговаривают один на один?

Спикс показывает за стеклом четыре пальца и затем пять пальцев.

Лично я понимаю это как цифру девять. И не знаю, что с ней делать. Но американские корреспонденты, лучше знающие язык своего пресс-секретаря, сразу соображают, что речь идет о сорока пяти минутах.

Проходит еще пятнадцать минут, прежде чем через стекла окон мы видим, как в зале для переговоров делегаций появляются Михаил Сергеевич Горбачев и Рональд Рейган.

— Они разговаривали целый час! — говорит мне тот же самый корреспондент и добавляет уверенно: — Это хороший, очень хороший признак!

Глаза его, однако, смотрят на меня вопросительно. Вопросительное выражение глаз я вижу целый день у многих. И как ответить на этот немой вопрос, можно только гадать. Потому что согласно решению обеих сторон содержание переговоров остается закрытым для внешнего мира.

И советским и американским официальным представителям, общающимся с прессой в эти два дня, приходилось нелегко. Это ведь не простое дело — держать на голодном пайке четыре тысячи корреспондентов, жаждущих новостей. Но правило соблюдалось точно с обеих сторон.

И опять иностранные корреспонденты, большей частью американские, подвергали атаке комнаты советской прессы, снова добивались встреч с академиками, с публицистами...

Удивительное дело. За эти дни журналистский мир, по-видимому, решил, что «русские знают все». Все ответы на все вопросы. А мы тоже не все знаем. Мы тоже — гадаем.

Но надо сказать, что наше положение все-таки во много раз лучше американского. Мы все здесь, на этаже «джей», твердо и ясно представляем себе четкую, давно заявленную позицию нашей страны. У американцев же нет, по-видимому, никакой уверенности ни в позиции Белого дома, ни по поводу тех предложений, с которыми президент приехал в Женеву.

Вот почему получается так, что в главном пресс-центре женеvской встречи на улице де Варемб образовался еще и «пресс-эпицентр», комнаты советской прессы на этаже «джей», куда приходили журналисты всех стран, и прежде всего американские, за новостями, за аргументами, мнениями, комментариями.

«Уважаемый Михаил Сергеевич! Смотрела по телевизору Вашу встречу с Р. Рейганом, и в памяти возник рассказ родителей о встрече Г. В. Чичерина с Ллойд Джорджем на Генуэзской конференции. Там впервые в истории международных конференций прозвучали идеи мирного сосуществования государств различных систем. Желая

Вам успехов во всех столь нужных людям делах. С глубоким уважением Николаева Н. А., Москва».

...Множество людей стучалось в эти дни в нашу советскую миссию при ООН, в наше генеральное консульство в Женеве. Приходили передать слова приветия советскому лидеру, пожелание успехов на переговорах.

Михаил Сергеевич Горбачев, выкроив время между встречами с президентом США, принял в нашей миссии в первый день переговоров представителей антивоенных организаций Америки. Они пересекли океан специально для того, чтобы передать советскому и американскому лидерам петиции с пожеланиями успехов в достижении мира. Я видел, как волновались эти люди, среди которых был и сподвижник Мартина Лютера Кинга, известный негритянский общественный деятель Джесси Джексон, и киноактриса Джейн Александер (ее знают у нас в стране по фильму «Крамер против Крамера»), и бывший член конгресса США Бэлла Абцуг, и многие другие известные американцы. Они передали в миссию петицию в защиту мира, под которой стоят подписи полутора миллионов граждан США.

— Сколько здесь человеческих надежд! — сказал Михаил Сергеевич Горбачев. — Полтора миллиона подписей! Но ведь у каждого человека есть родные, есть друзья. Это значит, тут не полтора миллиона, тут многие миллионы!

После встречи, которая длилась минут сорок — сорок пять (а время у советского лидера, понятно, было расписано даже не по часам, а по минутам), я беседовал с американцами. Они были счастливы, что смогли выполнить наказ своих соотечественников. Линда Смит, председатель общества «Женщины за ядерное разоружение», сказала:

— Если господин Горбачев сможет разговаривать с Рейганом так же, как он сегодня разговаривал с нами — открыто, искренне, напрямую, — я уверена до глубины сердца, что вопрос о разоружении будет решен и угроза взаимного ядерного уничтожения исчезнет.

Я спросил, не собираются ли американцы встретиться со своим президентом. Да, собирались и обращались уже к нему с соответствующей просьбой. Но никакого ответа не получили.

Кто-то спросил:

— Скажите, а в СССР есть группы, выступающие против войны, против гонки вооружений?

— Есть одна.

— Большая?

— Вся страна. Двести семьдесят семь миллионов.

...А через два или три часа на диване в фойе клуба советской миссии сидели три американца — ветераны встречи на Эльбе и, волнуясь, рассказывали, что побудило их приехать сюда, в Женеву.

— Врачи говорят, что даже маленькие дети во всем мире тревожатся о своем будущем. Они видят во сне ядерные кошмары. Это уродует их психику. Может изуродовать всю их жизнь. Мы приехали сюда, вот мы трое, хотя у нас очень много единомышленников, чтобы сказать: нельзя больше допускать, чтобы мир жил в постоянном страхе. Мы знаем, нам не нужно убеждать в этом советских людей. Мы приехали сюда для того, чтобы пожелать обоим лидерам найти общий язык. Мы хотим взаимопонимания, вот и все. Мы знаем, что президент иногда слишком полагается на своих советников. А ведь они совсем не обязательно представляют наши национальные интересы. У нас есть дети, внуки, нам хочется, чтобы они спокойно ходили в школу, учились, выросли здоровыми, добрыми людьми. Это самое главное, что нас объединяет, — наши дети. И выше этого ничего на свете нет. Все остальное — второстепенно.

Один из ветеранов вспомнил, как устроили они с советскими солдатами в сорок пятом на Эльбе пирушку.

— Впервые мы вдруг ощутили тогда, что никто не собирается в нас стрелять. Впервые за одиннадцать месяцев...— сказал он.

— Это для нас, американцев, одиннадцать месяцев,— поправил его другой,— а для русских впервые за четыре года.

— Да, верно. Но и ваши и наши солдаты поверили тогда, что мы все-таки увидим своих детей, своих жен. Ощущение безопасности было таким радостным! Наверное, сейчас пришло время, чтобы мы, все люди, наконец ощутили то же самое, что чувствовали мы тогда, в сорок пятом. Сколько лет уже нас всех одолевает страх... И передается детям, уродует их души...

Я слушал этих селовласых людей, перебивающих друг друга, но говорящих об одном и том же, и думал: как жаль, что этого разговора не слышит политический эссеист, мой собеседник, которого я назвал вымышленным именем Юджин, но который — если прочтет эти строки — легко узнает себя.

...В скромной и чистой американской церкви через дорогу от женеvского «Хилтона» опрятно и со вкусом одетая, довольно мило выглядевшая средних лет женщина по имени Филлис Шлэфли с доброжелательной, хотя немного театральной улыбкой выступала с церковной кафедры перед американками (видимо, женами американских сотрудников ООН в Женеве) с лекцией о том, как «прекрасна» программа «звездных войн».

Дама была членом организации «Американцы за стратегическую оборонную инициативу», которая прислала в Женеву накануне встречи в верхах целую делегацию для поддержки программы «звездных войн». Делегация состояла в основном из женщин, и свои беседы они проводили в церквях. Сам этот факт должен был служить доказательством миролюбивости и богоугодности того, что называется стратегической оборонной инициативой.

Из любопытства мы пошли с моим другом в эту церковь, оповещенные о лекции миссис Шлэфли рекламной листовкой.

Тезисы ее выступления были довольно просты. Международные отношения строятся на договорах. Но договоры всегда нарушались и нарушаются (прежде всего, конечно, Советским Союзом). Жить на такой основе нельзя. вот почему Соединенные Штаты давно не придают договорам серьезного значения. Они не ратифицировали ОСВ-2, а теперь вынуждены практически пересматривать договор о ПРО. Поэтому и возникла идея «стратегической оборонной инициативы» (не следует называть ее программой «звездных войн», это название придумано безответственными журналистами и левыми!) — чисто оборонительная программа, она обеспечит человечеству мир. Доказательством этому служит готовность США поделиться этой системой обороны с Советским Союзом. Но пока она не будет создана, ядерные вооружения не только нельзя сокращать, но, наоборот, надобно их увеличивать. И еще чрезвычайно важно — не допустить, чтобы Советский Союз создал подобную оборонительную систему первым. Поэтому необходимо спешить и всем сердцем поддерживать американскую программу СОИ. Это дело богоугодное и святое.

Дама сыпала словами, как бисером: боеголовки, атомные заряды, зона поражения, зона радиации... И произносила это так, будто говорила не об уничтожении людей, а о разведении цветов на клумбах. Слышать это от женщины, да еще в церкви, казалось делом кощунственным, потусторонним. Однако все здесь было более чем земным: и организация, к которой принадлежала миссис Шлэфли, и три миллиона долларов, которые выделил Белый дом на ее существование и пропаганду «звездных войн», и те люди в аудитории, которые усердно кивали, громко выражали одобрение даме и смеялись,

когда было нужно, когда она позволяла себе шутить на темы ядерной войны.

И только когда дама перешла к ответам на вопросы, стало понятно, что все-таки не вся паства идет за пастырем. Первым поднялся скромно одетый молодой человек, судя по акценту, американец, и задал два вопроса: зачем тратить триллион долларов на неизведанное и чрезвычайно рискованное мероприятие, не проще ли всерьез подумать о советском предложении и начать сокращать ядерные вооружения для того, чтобы в конце концов полностью их уничтожить, не дешевле ли это обойдется человечеству? И еще: в США зародилась и распространяется пугающая весь мир болезнь — ЭЙДС, не стоит ли маленькую толику из того триллиона уделить борьбе против этой болезни?

Мадам ответила, не думая ни секунды:

— Я вам прямо должна сказать, молодой человек, что хотя программа «стратегической оборонной инициативы» — прекрасная программа, но она не предназначена для лечения болезней. Она не для того, чтобы избавить человечество от голода, нищеты и так далее. Она совсем для другого — для того, чтобы Советы не напали на Америку.

И снисходительно засмеялась. И первые ряды смеялись вместе с ней. Ну что за чудак этот молодой человек! Путает божий дар с яичницей! Какой же, право, странный...

Молодой человек хотел задать еще какой-то вопрос, но ему не дали слова.

И тогда поднимается пожилой господин в твидовом пиджаке и красном жилете, женевский корреспондент лондонской газеты «Дейли миррор».

— Сегодня впервые встретились генеральный секретарь Горбачев и президент Рейган, — говорит он. — И долгое время провели в беседе, которую мир очень долго ждал. Как вы относитесь к этой встрече американского и советского лидеров?

Мадам замешкалась. Как-то так, видимо, был сформулирован вопрос, что у нее не оказалось заготовленного ответа. В полной тишине прошло некоторое время, прежде чем она сказала:

— Я не очень обеспокоена этой встречей. Я не боюсь...

И тут человек в красном жилете взорвался:

— Не бойтесь — чего?! Вы уверены, что не будут сокращены ядерные вооружения?! Не будет заключено соглашение о немилитаризации космоса?! А люди во всем мире ждут именно этого! И вы здесь, в церкви, наносите оскорбление общественному мнению всего мира!

Дама стояла бледная, с застывшей улыбкой, не могла найти слов ответа, а английский журналист уже пробирался демонстративно из своего ряда к выходу. И за ним ушли еще несколько человек...

Это тоже был один из этажей женевской встречи. Уровень триллионного бизнеса, представители которого послали сюда своих жен. У представителей этого вида бизнеса холодным потом покрывается лоб при одной мысли, что программа «звездных войн» может не произойти, не состояться.

Один американский журналист, которому я рассказал о том, что видел в церкви, сказал мне:

— Будет конец мира или не будет — это еще большой вопрос. Но даже если будет, они считают, что лучше идти к нему с миллиардом на личном счете в банке, чем с каким-нибудь паршивеньким миллионом!

...Сенсация разразилась на второй день переговоров, когда они велись в здании советской миссии при ООН. За ворота этой крохотной территории Советского Союза в Женеве вышел часа в три по-

полудни Ларри Спикс и сказал журналистам, что сейчас в здании останутся только лидеры, а делегации — советская и американская — удалятся каждая в свой штаб, чтобы выработать свои предложения о том, как доложить миру о переговорах.

Напряглись струны журналистских нервов. Телевизионные команды получили приказание о круглосуточной ежесекундной готовности ехать в любое место снимать в любых условиях. Сразу же возникли сотни вопросов. Почему делегации совещаются отдельно, а лидеры — вместе? О чем это говорит — о том, что каждая сторона даст свое отдельное сообщение о переговорах, или они вырабатывают предложения для совместного заявления? Если для совместного, то почему они работают отдельно?.. И т. д. и т. п.

Несколькими часами позже смертельно уставший Спикс терпеливо отвечает на эти и другие вопросы.

— Кто будет зачитывать совместное заявление?

— Я повторяю, сейчас обе делегации обсуждают вопрос о том, как и что доложить миру о том, как и что обсуждалось во время встречи двух лидеров.

— То есть вы хотите сказать, что разрабатываются соглашения, которые будут заключены?

— Нет, я хочу сказать только то, что уже сказал: обсуждается вопрос о том, как и что сообщить миру о том, как и что...

И так почти до бесконечности, пока кто-то не задает вопрос: нельзя ли обрисовать обстановку, в которой встречались сегодня оба лидера?

И Спикс немедленно хватается за эту возможность хоть что-то сообщить журналистам:

— Это комната размером приблизительно тридцать футов на пятнадцать. Оба лидера встретились там и сидели в креслах. Перед ними на столе стояли две чашечки кофе. Стены комнаты зеленого цвета. Мебель обита материей золотистого и коричневого тонов...

Но это описание кто-то прерывает новым вопросом:

— Что и когда будет завтра?

— Расписание завтрашнего дня еще не выработано...

Нет, одно событие завтрашнего дня уже известно точно. И время его установлено: пресс-конференция Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева в одиннадцать часов утра в клубе миссии СССР при ООН.

И снова толпы иностранных корреспондентов на этаже «джей». И снова бесчисленные звонки. За право присутствовать на советской пресс-конференции борется ни много ни мало 4 тысячи корреспондентов. А зал клуба вмещает не больше 200 — 250 человек. Счастливицы выстраиваются в очередь за пропусками. Все понимают, какой важности это событие.

Но что будет кроме этой пресс-конференции 21 ноября — пока еще никто не знает. Восемь часов вечера. Девять. Никаких сообщений. Пресс-центр наполнен журналистами. Каждый из них не преминет хотя бы раз в пятнадцать — тридцать минут зайти к своим советским коллегам, взглядом или словом задать вопрос — нет ли новостей.

Пришел Юджин. В плаще прямо с улицы.

— Ну что? Они появятся вместе?

Я пожал плечами.

Пришел один из его друзей. Задал тот же вопрос, получил тот же ответ. Улыбнувшись, сказал:

— Зато я могу сообщить вам довольно примечательную новость. Вы слышали об организации «Американцы за стратегическую оборонную инициативу»?

— Слышал.

— Так вот, ее делегация уехала сегодня утром из Женевы.

— Что, выполнила свою программу?

— Да нет. Говорят, по причине отсутствия успеха у аудитории... Ну что ж, новость действительно примечательная.

Часов в девять вечера журналисты заметили появление в пресс-центре службы охраны — и советской и американской. Ее представители обошли зал, все входы и выходы, затем некоторое время совещались в отдельной комнате.

И сразу возникло и стремительно стало расти предположение, что на другой день все-таки появятся перед журналистами вместе оба лидера. А за полчаса до полуночи об этом объявили в пресс-центре официально.

И помчались сообщать об этом в свои газеты, свои телеграфные агентства, свои радиостанции, телевизионные компании корреспонденты. И большинство, надо отметить, встретили новость с радостью, с удовлетворением, с надеждой: значит, все-таки достигнуто какое-то согласие! Значит, недаром прошло время в Женеве!

Весь мир вздохнул с облегчением, когда в десять часов утра по женеvскому времени 21 ноября в зал пресс-центра к журналистам вышли оба лидера, каждый со стороны своего государственного флага. Совместное заявление, зачитанное здесь же, подписание документов — все это означало, что большая, упорная, серьезная работа дала результаты. Мир стал устойчивей, спокойней, безопасней.

Но я не буду оригинален, если скажу, что истинная кульминация женеvской встречи наступила часом позже, когда началась пресс-конференция М. С. Горбачева.

Не было, по-видимому, ни одного журналиста в Женеве, кто не следил за ее ходом либо в здании советской миссии, либо на огромном экране, установленном в большом зале главного пресс-центра. Трансляция шла и по советскому телевидению, и по телевидению многих стран мира.

Взгляды советского народа на вопрос войны и мира, политика нашего правительства были напрямую представлены миллионам людей. Представлены честно, открыто, искренне, человечно и убедительно.

«Дорогой господин Горбачев, я сижу перед телевизором и вижу Ваше выступление. И я счастлива, как и все люди здесь, что переговоры закончились успешно. Мими Шварцер, Вена, Австрия».

«Уважаемый господин Горбачев. Сегодня, 21 ноября, я решил написать Вам, чтобы выразить свое восхищение и глубокое уважение. Я и моя семья смотрели Ваше выступление и узнали Вашу точку зрения по всем обсуждавшимся важным международным проблемам. У нас возникло чувство надежды на развитие политики разрядки. Надеюсь, что благодаря Вашей стране положение дел в мире улучшится на благо наших детей. Мне 39 лет, я электрик на одном из промышленных предприятий. Моя жена — медсестра в доме для престарелых. У нас 18-летний сын, а также двое приемных детей. Дитер и Урсула Марковяк, Бельменхорст, ФРГ».

«Господин Горбачев. Я искренне поздравляю Вас с результатами, которые Вы и президент Рейган достигли на встрече в Женеве. Хотя я являюсь владельцем консервативной газеты, на меня огромное впечатление произвела воля к переговорам, открытая и уважительная атмосфера во время Вашей встречи. Люди получили новую надежду на мир. Лассе А. Розен, Осло, Норвегия». (Телеграмма.)

«Мир зависит от Вас. Пожалуйста, продолжайте Вашу борьбу за мир, отдавая этому все Ваше сердце» [телеграмма подписана 34 студентами разных национальностей, обучающимися в Институте международных исследований, Осака. Япония].

«...Все эти дни я — да и все, кого бы ни встречал в Брянске, — находился в состоянии настоящего человеческого душевного подъема. Нам поверил весь мир. Поверили люди диаметрально противополож-

ных взглядов и убеждений. Об этом можно судить и по поведению журналистов на пресс-конференции, и по откликам со всех концов света... В. Ерещенко, Брянск».

«...За два дня пребывания в Женеве проделана колоссальная работа, которая потребовала много сил, здоровья, умения, выдержки. Я участница Великой Отечественной войны, инвалидом войны стала в 20 лет после Сталинградской битвы, и мне, как и всем советским людям, очень дорог мир, ради которого можно и нужно сделать все. Сейчас мне уже 63 года, но все снится война. Этого забыть нельзя... Я не верующая в бога, но, как говорят, дай же бог всем вам здоровья, сил, терпения, выдержки на такой ответственной и трудной работе. Милокумова Мария Николаевна, город Куйбышев».

...Я смотрел на журналистов, сидевших в зале. Имена многих из них известны всему миру. Среди них были телевизионные политические обозреватели, каждую морщинку на лице которых знают десятки, миллионы людей. Как же много зависит от них — говорящих, показывающих, пишущих. Как много зависит от них, будут ли знать люди мира правду, полуправду или сочтут правдой откровенную ложь.

Подействовала ли Женева, пресс-конференция советского лидера на этих людей? Думаю, что да. В огромной степени — да. Это вовсе не значит, что назавтра многие из них изменят свои взгляды или перечеркнут то, что писали до этого. Ничего подобного! Есть весьма эффективно действующие рычаги давления, цензуры, угроз и посулов, с которыми трудно справиться даже человеку, которого знают миллионы и которому верят миллионы.

Не прощают в Америке человека, о котором кто-то может сказать: «Он мягок к коммунистам».

И все-таки такие значительные события в истории, как женеvская встреча в верхах, или такое откровение, каким стала для миллионов людей пресс-конференция в здании советской миссии в Женеве, не проходят даром.

«Городской совет Ванкувера поздравляет Вас, г-н Горбачев, с успехом на переговорах в Женеве и желает дальнейших достижений в Вашей деятельности по сохранению мира на земле. По мнению городского совета, разработка космического оружия должна быть приостановлена, ибо она приведет к дальнейшему раскручиванию гонки вооружений. Первым шагом на пути прекращения гонки вооружений будет договор о полном запрещении испытаний ядерного оружия. М. Харкорт, мэр г. Ванкувера, Канада». (Телеграмма.)

— Я считаю себя неплохим специалистом в этих вопросах,— сказал мне один американский журналист.— Но мне трудно найти возражения против аргументов Горбачева. Я просто не представляю, что ему мог отвечать Рейган!

...И это и другие подобные высказывания вовсе не обязательно выплеснутся завтра на страницы американской печати. А если и появятся там, то их постараются стереть, уничтожить миллионами других слов, доказывающих обратное.

Как ни гротескно выглядела «звездная дама» в американской церкви напротив женеvского «Хилтона», как ни фантазмагорически смотрелся под зеркальным потолком политический эссеист Юджин, тем не менее за ними обоими, да и сами они — большая, опасная сила.

И для того чтобы народы мира смогли заставить западных политиков выработать новое политическое мышление, новую политику, необходимую людям в наше опасное время, придется преодолеть немало трудностей, пройти большой путь.

Но начало положено. Начало диалогу, начало пониманию.

«...Люди хотят жить в мире. А особенно — наши советские люди. Слишком уж много пришлось пережить нам. А детство свое невозможно вспомнить без слез. Работать начала в десять лет. Работали, не зная усталости, так как хотя и дети, но мы знали, что своим трудом в тылу приближаем победу. После войны по призыву родной партии — «Молодежь, на восстановление народного хозяйства!» — поехали и мы. Многих из нас не принимали, так мы годы себе прибавляли, но ехали... То, что видело наше детство — как говорят в народе — не дай бог видеть никакому поколению. О себе писать я ничего не буду, но хочу описать о том, что даже и мои внучата, которые еще совсем маленькие — 5 и 8 лет, — а тоже вместе со взрослыми слушали Вас из Женевы. Я им часто рассказываю о своем детстве, о военном времени... И очень хочу, чтобы мои внуки жили всегда в мирное время... Я пишу от всей души от имени всей своей семьи. Примите наш крестьянский привет. Романова М. С., Куйбышевская область».

...Днем 21 ноября, вскоре после пресс-конференции, меня разыскал приятель Юджина. Задал мне несколько вопросов о пресс-конференции. Она произвела на него большое впечатление.

— А где же друг Каспара Уайнбергера? — спросил я.

— Улетел.

— Но он же, насколько я понял, хотел побыть еще несколько дней в Женеве!..

— Хотел. Но собрался неожиданно и уехал. Сразу после пресс-конференции.

— Почему?

— Настроение неважное.— Приятель Юджина улыбнулся.— Знаете, здесь, в Женеве, иногда дует ветер, который приносит людям плохое настроение...

Я сдал эти заметки в журнал через несколько дней после того, как закончилась женевская встреча. А увидят они свет только в феврале 1986 года. Таков уж издательский цикл литературного ежемесячника. Немало воды утечет за это время, немало событий пройдет перед нашими глазами, немало будет сказано слов. Но люди всего мира — мыслящие, реально глядящие на мир, воспринимающие его со всеми сложностями, переплетениями, противоречиями — будут ждать дел. Практических дел во исполнение того, что было достигнуто между лидерами двух великих держав в швейцарском городе Женеве.

Ноябрь 1985 года. Женева — Москва.

ВИКТОР БОКОВ

★

НОВЫЕ СТИХИ

* * *

Лебеди летят к озерам
Вдохновляться и любить.
Непростительным позором
Я считаю их убить.

— Убери ружье, охотник! —
Крикнул я, почти грозя.—
Не забудь, что жизнь проходит,
Убивать ее нельзя.

Брось разбойничью затею.
Спрячь ружье и финский нож.
Знай, что я осиротею,
Если лебедя убьешь!

Как прекрасен птичий клеток,
Косяком летящий строй.
Голос в голос, локоть в локоть
И еще крыло в крыло!

* * *

Где родился, там и рос,
В окружении берез,
В окружении лесов,
Ранных птичьих голосов.

Речка Кунья — колыбель,
Речка Гордыль — нежный хмель,
Он над речкой кольца вьет,
В колыбель мою поет:

— Ты расти, расти, земляк,
Для тебя ручьи звенят,
Откликается родник,
Ты и сам затем возник,

Чтобы с жаворонком петь,
Ясным соколом лететь,
В балалаечку играть,
Земляков к веселью звать.

Земляки мои, привет!
Мне без вас и рифмы нет,
Мне метафоры — как дым,
Вдохновенье не вподым!

* * *

Редька черная, хвостиком вверх
 Прижилась на столе моем письменном.
 Я считаю, что это не грех —
 Редьку есть, и отнюдь не бессмысленно.

У апостолов на столе
 Редька черная не выводилась.
 На сожженной японской земле
 В Хиросиме она пригодилась.

После взрыва ничто не росло.
 Ни травиночки не подымалось,
 Бомбе атомной, видно, назло
 Редька выросла, не побоялась.

Вот какая она! Не презри,
 Отнесись к ней влюбленно-пристрастно.
 Редьку черную мне привезли
 Как гостинец, и это прекрасно!

* * *

Россия моя не книжная,
 Россия не кабинетная,
 Россия моя булыжная,
 Россия моя приметная.

Приметы твои — в характере,
 Приметы твои в обличии,
 Тебя не сломили каратели,
 Не вырезала опричнина.

Бульдозерная, котлованная,
 Машинная, терриконовая,
 Шагаешь своими Иванами,
 Себя на ходу перековывая!

Я твой до последнего зернышка,
 Я твой до последнего пряничка,
 Иди ко мне, Русь, моя женушка,
 Споем-ка с тобой ради праздничка!

* * *

Солнце вышло вишеньем,
 Засияло персиком.
 Двинулось неслышимо
 По-над самым лесиком.

Чистое, умытое,
 Доброе, приветное,
 Встало вровень с золотом
 Со двора монетного.

Покатилось по миру,
 Будто слово красное,
 Люди сразу поняли,
 Что погода ясная.

* * *

Все синички Переделкина
У меня на яблоне!
До чего они изящны,
До чего нарядные!

Обижается Фомин,
Мой сосед, художник:
— Всех синиц переманил.
Разве это можно?

— Брось обиду, друг мой,— я
Заместитель соловья,
Птичек привечаю,
В них души не чаю.

Я кормлю! Я сыплю семя!
И синицы есть хотят.
Хоть малы, но знают время,
Десять бьет — они летят.

Тюк! — и семечко несет,
Тюк! — и сальца отломила.
Тюк! — и сразу в клювик, в рот,
Ничего не уронила.

Вся природа мне близка,
У меня отец — лесничий.
Словно жилку у виска,
Ясно слышу пульс синичий.

* * *

На балкон садится белый снег,
Чист воротничок его крахмаленный,
Он звучит изящно, как Рахманинов,
Мы с ним дружим вот уж сколько лет.

Сто синиц на яблоне снуют,
Я для них зимой открыл столовую,
У меня они не избалованы,
Что я им ни вынесу — клюют!

Ах, зима! Твой заячий кожух
Землю греет, бережет озимые,
И твои снега неотразимые
Белою поземкою ползут.

Из страны медведей и моржей
Север шлет свои приветы дальние,
И мои стихи исповедальные
Чутко ловят музыку полей.

* * *

Полотенце о двух концах.
Взяли вместе, концы загнули.
Я признался тебе в сердцах:
— Не поссориться бы, роднуля!

Все прощал тебе целый день
И не спрашивал: — Где справедливость? —
Отступила ненужная тень,
Счастье дня даже ночью продлилось!

..*

Снег угрюм, неузнаваем
На тропе, на мостовой.
Рано утром грузовая
Переехала его.

Снег — размятая каша,
Снег — растертая тетрадь.
Он летит и не страшится,
Что его начнут топтать.

На снегу стою, глазею,
У меня вопрос к нему:
— Ты куда? — А я на землю,
На земле и смерть приму!

Белый снег старинных башен,
Серый снег из-под копыт.
Он воистину бесстрашен,
Если умирать летит!



АНАТОЛИЙ СТРЕЛЯНЫЙ

★

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

Два воскресенья

6 июня.

Заканчивается шестой день как я в Ивановке, пора начинать записывать. Приехал в воскресенье, в селе был праздник по случаю отсева. На площади возле Дома культуры колыхалась толпа. Мужчины пили из стеклянных консервных банок пиво, кто помоложе, взбирались на столб за петухом, который сидел наверху в корзине, другие катали разноцветные утиные яйца — для этой игры утром была сварена тысяча штук. Кому праздник, а кому работа — варить, красить. Во взглядах, которыми обменивались люди, была не только праздничная благожелательность, но и что-то вроде удивления и благодарности самим себе, что могут веселиться, как дети, не забыли старинных игр, после обеда пойдут на выгон глядеть скачки.

Непокрытой русой головой среди шляп и кепок, хорошо сшитым светло-серым костюмом в толпе выделялся Семен. Все еще определенно деревенское, лицо его в то же время было чуть блее, нежнее, чем у остальных. Пробираясь к нему обняться, я успел заметить вокруг себя двух или трех человек, похожих на него. В их грубых лицах его тонкое повторялось как в мутном зеркале, и я с интересом, словно об открытии, подумал о том, что в Ивановке у Семена, раз он здешний, должно быть довольно много родни... Он счастливо набирал в себя тепло, с привкусом молодой пыли воздуха, говорил, что это я привез им такую погоду: первое июня — и первый по-настоящему летний день. Стоя рядом, нашей встрече радовался привезший меня из Гусь-Пристани его шофер Осип Викторович, средних лет, рыжеватый, с прямым носом. На нем была белая рубашка и темный пиджачок такого тонкого сукна, каким оно становится, если каждый день его наждачит проникающая во все поры пыль, а каждый вечер — неустанная щетка. Когда я сошел в Гусь-Пристани с самолета и увидел его прямую фигурку за рулем «газика» — потрепанного, но чисто вымытого, со свежими, блестящими, как адмиральские ботинки, скатами, — сразу подумал, что работает он у Семена недавно, а выбран был из числа старательных, не болтливых, знающих себе цену полевых механизаторов. Так оно и оказалось.

Выделялся в толпе и Барчуков Илья Кузьмич. Теперь он уже дипломированный главный агроном, в этом году окончил заочно Тимирязевку. Он был в новом зеленом костюме, под цвет ромба на лацкане. Ромб бросался в глаза, словно между ним и хозяином была мысленная связь: Илья Кузьмич хотел, чтобы ромб бросался в глаза, и тот бросался. Высокая, с развернутыми плечами, мягкая фигура, красное лицо, на щеках и подбородке ямки. Долго тряс мою руку.

— Вы завтракали? А то, может, дойдем, тут недалеко? Семья ждет.

О моем приезде эта семья, как минуту назад и сам Илья Кузьмич, не имела понятия, но ему доставляло удовольствие заговорить о ней. Семейнин он истовый. Перед судом (судили его вместе с Семеном, но на работе оставили) повез все семейство в Гусь-Пристань и там сфотографировался. Другая общая фотография сделана недавно, он с чувством показывал ее мне, вынув из бумажника. На обороте было написано: «Я, муж и отец Илья. Жена Мария 1 кл., 21 год. (Расшифровывается так: учительница первого класса, двадцать один год стажа.) Дочь Рая, математик. (Окончив в прошлом году десятилетку, сдала педминимум по математике и работает здесь в школе.) Сыновья Саша — 4 года, Коля — 6-й кл. И. М. Р. А. Н. Барчуковы».

Взяв с собою Осипа Викторовича, Семен отошел по делам, и возле нас с Барчуковым тотчас появился, вернее проявился, остальной комсостав: главбух Ткачев, главный инженер Захаров, главный зоотехник Николаев, еще кто-то. Барчуков, поглядывая на них, ни с того ни с сего стал расспрашивать меня, как я оказался приобщенным к «этому хозяйству». Не к Семену или к ним двоим, вместе пострадавшим, а именно к «этому хозяйству». Может быть, ему по какой-то причине уже не хотелось лишний раз выговаривать фамилию своего бывшего товарища по несчастью... Как бы то ни было, я не стал упускать случая в первый же день пресечь насколько возможно кривотолки насчет моего приобщения. Пусть по селу отныне ходит не только барчуковский либо чей-то еще, но и мой рассказ, мое свидетельство.

Семен Сергунин, сказал я сразу, мне никакая не родня. Мы знакомы только пять лет, а впервые увиделись осенью шестьдесят третьего, когда он приехал в Москву жаловаться, что его неправильно исключили из партии, выгнали из председателей и отдали под суд. Впрочем, после суда, получив свои три года условно, он первым делом кинулся не в столицу, а на Дон к Михаилу Шолохову. Писателя в Вешенской не было, Сергунин переночевал в гостинице, рассказал свою историю дежурной, а утром отправился в Москву, где у него был знакомый земляк в газете. В той газете как раз тогда начинал работать и я, а с тем земляком мы вдобавок оказались соседями. У него-то я и встретил Сергунина, едва не разминувшись с ним, — он уже допивал чай, собираясь на вокзал. Это был человек лет тридцати, невысокий, русоголовый, с очень синими глазами. Хозяин дома сразу стал рассказывать о его деле. Слушать о своем деле Семену было трудно, он несколько раз выходил, чтобы совладать со слезами, руки его дрожали, и, когда он ставил пустой стакан, ложечка звенела, как в поезде. История была простая и, как понял я с первых же слов, безнадежная. Пошли дожди, расквасило дороги, а на току в колхозе оставалось еще сколько-то зерна. Оно начало преть, и Сергунин решил как встарь спасти его в силосной яме. А год неурожайный, строгости насчет хлебопоставок были исключительные. Приехал уполномоченный, увидел яму, доложил в область, а там чего-то похожего как раз ждали — чтобы на примере одного проучить других.

Помочь Сергунину в обстановке той жуткой осени не мог никто, и меньше всего мы, газетчики, о чем ему и было сказано на прощанье. Он ушел на вокзал, а мы остались, сделали свежую заварку и еще с час проговорили о чем-то другом. В таких случаях голова привычно работает на выборос. Каждый день в письмах, а то и в лицах перед тобою проходит столько судебных, в которых ты ничего не в силах изменить к лучшему, что жить можно только забывая. Но у Сергунина были очень синие глаза, и при страшной, прямо-таки раздражающей подростковой скованности угадывалась готовность все о себе выложить, всю подноготную, лишь бы нашлась живая душа, которая стала бы слушать. Чувствовалось, что он надрывно честен и

самолюбив, мечтал о больших делах, о славе, вынашивал планы, попадать под поезд не готовился, и оттого ему было теперь особенно больно, обидно, и никак ему не верилось, что все может вот так просто взять и рухнуть. А письменные жалобы его напоминали научные статьи (он таки оставил нам копии), были полны ссылок на ученые авторитеты, он доказывал, что хранить хлеб в земле можно, что есть богатый отечественный опыт, специальные исследования и так далее. Ему казалось, что все дело в способах хранения. Суд, а перед тем уполномоченные не разобрались, мол, в способах. Именно эта его невзрослость подействовала на меня больше всего.

Забыть его мне не удалось, и я стал ждать случая ему помочь. Через год состоялся октябрьский Пленум, в стране поменялась руководство, а зимой я поехал искать Сергунина. Нашел его в двухстах километрах от Ивановки, в одном из пригородных совхозов, он управлял там отделением. Руководил же этим совхозом некто Мельников — человек, который перед тем был первым секретарем райкома в Гусь-Пристани и выдвигал Сергунина в председатели. Пострадали они почти одновременно — Мельников летом, а Семен осенью, и оба — от горячей (впрочем, весьма холодной) руки одного и того же человека по фамилии Жоржиев. Когда-нибудь его забудут, как будто его и не было, но пока что он напоминает о себе ежедневно — причем иной раз очень больно, особенно всем этим Мельниковым и Сергуниным. Когда он узнал, что опальный Мельников не спросясь взял к себе беспартийного и осужденного Сергунина, был разгневан, но принимать меры после такого пленума не решился. «Думает, что он настоящий коммунист,— хмыкал Мельников, рассказывая мне об этом. — Врешь! Настоящий коммунист я». Мельников был крохотный сухонький человек пятидесяти трех лет, с черным лицом и громовым голосом.

Я написал статью, ее напечатали. На следующий же день Сергунин был вызван к Жоржиеву. «Обиделся на партию? — сказал ему Жоржиев, помахивая газетой, где была статья. — Ты же историк!» При том, что у него была тысяча таких Сергуниных, Жоржиев, как отсюда следовало, знал то, что сам Сергунин уже почти забыл: что кончал он (заочно, правда) исторический факультет пединститута. Глаза Жоржиева были неуверенные и злые, короткая толстая шея была налита кровью, в кабинете резко пахло луком. Хозяин страдал диабетом и по чьему-то совету спасался луком, поедая его пудами. Луком были забиты ящики его стола, багажник машины, луком, как говорили в области, пропах даже его шофер. Семен ему ответил, что на партию у него обиды нет, и Жоржиев понял, что тот хотел сказать: что он, Жоржиев, не партия и что нечего валить с больной головы на здоровую. Такие ответы не забываются, и на душе у меня не совсем спокойно, но об этом я промолчал. После моей статьи Сергунин был реабилитирован, восстановлен в партии и возвращен на прежнее место. Мы стали с ним друзьями, этой весной я взял полугодовой отпуск и вот приехал к нему в Ивановку, думаю, что на все лето. Для газеты ничего писать от меня на сей раз не требуется, добавил я на тот случай, если это дойдет до Гусь-Пристани, а оттуда и до Жоржиева. А что касается того, как я о нем тут отзываюсь, пусть знает — новостью это для него не будет.

После обеда Семен отпустил Осипа Викторовича глядеть скачки, а сам сел за руль и повез нас с Барчуковым в поле. Сначала смотрели кукурузу, потом пшеницу и свеклу. Кукуруза взошла плохо, выглядела хилой, мелкой, не верилось, что к концу сентября будет что убирать. Важно кряхтя, Барчуков опускался на корточки, разгребал землю. Найдя невзошедшее зерно, он ласково, с упоением рассуждал: вот это — с хвостиком ростка, и если будет дождь, то росток, возможно, еще пробьется наружу, а вот это уже мертвое,

из него выкушен зародыш, работа суслика, зародыш — его лакомство.

Продолжая меня просвещать, Илья Кузьмич насовал мне целую горсть зерен, чтобы я высадил их в огороде и мог проверить правильность его заключений. Что кукуруза не удалась, что осенью нечего будет валить в силосные ямы, что зимой будет пусто в кормушках у коров — это Барчукова, кажется, не беспокоило, не портило ему настроения, он, как ребенок, жил минутой, ловил праздное, чисто, так сказать, научное удовольствие.

Похоже, что так он себе и представляет настоящую жизнь ученого агронома: важно кряхтя, разгрести землю, рассматривать зерна... разгрести и рассматривать ни для чего. Семена это злило, он с трудом сдерживался, особенно когда Илья Кузьмич называл сорняки по-латыни. В пшенице встречались плешины, по ним можно было судить, где сеялка шла с забившимися сошниками. Своевременно подсеять не удосужились, а сейчас уже поздно. Семен поскрипывал зубами. В дни, когда стали появляться всходы, он был в городе, так что вина целиком на Барчукове. Всего-то от Ильи Кузьмича и требовалось: своевременно как следует пройтись-проехаться полями — пройтись-проехаться не для виду, не для собственного удовольствия, а для дела. Но ходить-ездить для дела ему, наверное, не дано.

Мельникова-то, оказывается, сняли из-за него. Именно он, Барчуков, дал Григорьеву для этого повод. В район из области приехали проверять состояние кукурузных посевов. Возглавляла комиссию дама, словесница по специальности. Посевы в Ивановке ей показывал не кто иной, как Илья Кузьмич.

— Кукуруза у вас неважная, — говорит дама, — а вот овес очень хороший.

Разговор происходит на меже, справа — кукуруза, а слева — пшеничное поле, и край его сплошь покрыт густейшим, зеленейшим, глаз радующим... овсюгом.

Барчукову бы промолчать, но он только что закрыл второй курс в Тимирязевке.

— Это, Виктория Дмитриевна, не овес. Это — овсюг, точнее, *avena fatua*. — Латынь из него так и перла.

Виктория Дмитриевна, не будь дурой, быстренько-быстренько нарвала снопик этой *fatua*, и через несколько часов тот снопик уже лежал на столе перед Жоржиевым.

Я как-то даже подобрел к бедняге. Он сочиняет стихи гражданского содержания и читает их в семье. Очень любит держать речи перед колхозниками, может говорить два часа без перерыва, и его будут слушать. Любому другому — регламент, а насчет Барчукова — «Пуцай говорит сколь ему требуется!». В колхозе он, судя по всему, не задержится. И ведь найдет свое место, найдет! Накалякает диссертацию, пойдет куда-нибудь преподавать. У первокурсников, не исключено, будет любимцем, а когда они дойдут с ним до пятого, станет посмешищем. Не пропадет.

Вечером Семен повел меня в гости к армянам, которые строят здесь коровник. Их шестеро, они из Грузии. Чтобы не считались шабашниками, Сергунин посылал человека в их колхоз, был заключен договор, и уже второй раз этих армян отпускают в Сибирь официально. Сначала сюда на разведку приезжал один старшой, зовет он себя Петром Симеоновичем. Семен случайно встретил его на станции, привез в Ивановку, поселил у себя, три дня кормил-поил и знакомил с хозяйством. Петр Симеонович был потрясен таким приемом, на родине об этом рассказывал всему колхозу, народ в конце концов поверил, а председатель с главбухом — нет. Тому, что где-то в Сибири есть председатель, русский, который может поселить у себя в доме простого армянина-шабашника, они поверить отказались наотрез.

Живут армяне на ферме в красном уголке, это большая старая, но крепкая изба, от которой пахнет сухим деревом, и оттого она кажется легкой. Доски пола скрипят и прогибаются, посреди горницы, увешанной плакатами, длинный стол, две лавки, все выскоблено, койки хорошо заправлены, белье чистое, над каждой койкой к плакату приколата фотография — семья хозяина койки. На работу армяне выходят в шесть утра, возвращаются к десяти, в сумерках. То, что они делают здесь вшестером, не смогли бы и полсотни местных, говорит Семен.

Условлено было на девять вечера, но встретил нас в девять один старшой. Петр Симеонович сухощав, с усиками и сединой на висках, красив. Вообще, лица у них совсем не такие, как у тех кавказцев, которых встречаешь при мандаринах на московских базарах. Укомплектована их артель только специалистами: ты каменщик — я буду у тебя подсобником на кладке, я плотник — ты будешь у меня подсобником, когда дойдет до плотницкой работы.

Будем, сказал старшой, жарить шашлык. Мы стали возражать, были не голодны, да и знали, что в еде они очень экономны, не пьют, берегут каждую копейку. Не слушая нас, он притащил кирпичей, уложил их очагом у крыльца, нарубил дров, наделал шампуров. Тем временем пришли и остальные. Один стал резать мясо, другой нанизывал куски на шампуры, третий жарил, четвертый с пятым накрывали на стол. Стол был накрыт с трогательной холостяцкой потугой на то, чтобы все было как положено. Каждому была поставлена тарелка, на тарелке — три шампура, обложенных кольцами репчатого лука, а сверху — стебелек перьевого. И стопка нарезанных из газет салфеток справа от тарелки... С величайшей неловкостью Петр Симеонович извинялся, что не достали водки, нет в магазине. Выставили в бутылках из-под шампанского что-то свое.

— Мы, кавказцы, за столом много говорим, — предупредил нас самый пожилой, Григорий, уже белый, но по виду едва ли не крепче всех. Говорил он, мучаясь акцентом, действительно много и верлечиво. Языки развязал один его тост.

— Поднимем за то, — сказал он очень серьезно, — чтобы и наши дети дошли до такой точки, как и вы (то есть Семен и я), — работали на таких работах, имели образование.

Потом спросил, во сколько обошлось Семену это самое образование. Все замолчали, интерес к Семену у них был острый. Мало того что он приютил у себя ездившего на разведку Петра Симеоновича, он потом не принял от них благодарности. «Председатель без собственной «Волги» и собственного дома, — сказали они ему в прошлом году, — не председатель, а деньги на «Волгу» и дом ты будешь иметь, если обеспечишь стройматериалами, чтобы нам тут не простаивать». Семен тогда рассмеялся. Он получает двести двадцать рублей в месяц, половину тратит в поездках за железом и цементом, ни «Волга», ни дом ему не нужны, а нужны коровник, торговый центр, быткомбинат — и больше ничего.

— Это надо посчитать, во сколько оно мне обошлось, мое образование, — сказал он тамаде и начал...

Шестнадцати лет он надумал поступать в агрошколу, ехать в Камень-на-Оби. Мать поплакала и стала его собирать. Для этого было решено зарезать корову. Охотника на такое дело в селе не нашлось, но подходящий нож мать, пробежав по дворам, достала. Семен прикручивал рога коровы к столбу, мать точила на кирпиче нож...

— Росту в ней было полтора метра, как раз до шеи дотянуться. Перекрестилась и полоснула.

— Ух! — вырвалось у кого-то за столом.

Целую неделю потом в избе и во дворе стояла вонь — мать дубила кожу. И опять: дубить никто не согласился, но рецепт состава дали. Не додубив, она снесла кожу сапожнику. Сшил, правда, хорошо,

постарался, на вырост, сорок третьего размера, а у Семена и сейчас сороковой. Эти сапоги гремели потом, недодублинные, на нем все три года учебы.

Когда сапоги были готовы, мать пошла в контору и выписала двенадцать килограммов зерновых отходов. Семен смолот это зерно на ручной мельнице, мать натерла картошки, смешала с мукой и напекла лепешек. Через день такой лепешкой уже можно было убить человека.

Армяне слушали это как сказку, а мне, признаться... Да нет, я понимаю, что кому-то это интересно, что об этом я должен буду написать, что лет через сорок эти подробности будут очень важны, но для меня в них, положив руку на сердце, — ничего особенного, мне даже было скучно. Такой ведь была и моя жизнь, и когда приходится кому-нибудь о ней рассказывать, я делаю это не потому, что самому интересно, а потому, что о т а к о й жизни рассказывать принято — в назидание другим и для гордости собой.

Но Семен рассказывал горячо, раскраснелся, голос его звенел, и это было мне не очень понятно.

В мешок поверх лепешек мать положила пуд моркови и обливной горшочек масла, а в рубашку зашила двести семнадцать рублей — деньги за проданного перед тем барана.

— И вот собрался семейный совет, сошлись мои тетки-тетушки, — звенел Семен. — Я сижу на табуретке, они передо мной на лавке. «Гляди, чтоб тебя там не обокрали!» — говорит одна. Помолчали — вступает другая: «Гляди, чтоб не обокрали!» Опять помолчали — третья: «Ой, гляди, Семен, ой, гляди!» Такого нагнали страху, что добрался до Пристани, надо билет на пароход покупать, а я думаю: как же его покупать-то, если деньги зашиты, а вынуть нельзя?

Морковь, пока доплыл до Камня-на-Оби, усохла, скоро кончились лепешки и масло, но в агрошколе давали ломоть хлеба, и Семен прикинул: если два дня жить без хлеба, а потом снести его на базар, то это пятьдесят рублей, а пятьдесят рублей — два обеда в столовой.

— Иду по базару, на вытянутой руке держу пайку. Не то продаю, не то подавание кто положил. Стыдно, хоть сквозь землю провались!

Григорий встал.

— Мой тост за вашу мать, — сказал он Семену.

— Спасибо, ребята, — смахнул тот слезу. — Я тоже за свою мать подниму.

Умилились, когда после Семен предложил тост за их семьи. Тут наших армян как прорвало, они закричали все сразу, лица пылали. Оказывается, высшее образование у них стоит сейчас семь тысяч. У одного дочка еще только в четвертом классе, а он уже копит ей на институт. У другого в прошлом году поступала в медицинский в Тбилиси, все сдала на «отлично», но на последнем экзамене, уже после того как она ответила на билет, доцент спрашивает: «А кто у вас, девочка, тут знакомый?» «Вы будете знакомый!» — не растерялась девочка, в тот же день послала телеграмму домой, и мать на домашний адрес того доцента перевела тысячу рублей. И после каждого курса надо тоже по тысяче... Всякий раз, когда они возвращаются с заработков, на станции их встречают председатель с главбухом («О, у нас главбух!..») — надо делиться с ними наличными и бражничать чуть ли не месяц.

— Скажите, — горько раскачивался перед нами Григорий. — Когда в жизни будет порядок?

А я-то думал, что этот вопрос — главный только за столом у русских... Сегодня видел их возле клуба перед кино. Чисто одетые,

все в широких нарядных кепках, синих и черных. Степенные, исполненные достоинства, не очень счастливые люди. Вспомнил, что за столом они много, хорошо, искренне говорили о русском народе. А тамада Григорий, как оказалось, никакой не старик, ему всего сорок.

Посидев у армян, допоздна гуляли вдоль реки. Местность тут голая, почти ровная степь, по которой с невидимых гор несется река, по европейским понятиям широкая и очень быстрая, сбивающая, стоит войти по пояс, с ног, а по здешним — самая обычная. Дело в том, что в тридцати километрах отсюда, возле Гусь-Пристани, она впадает в Обь, а это уже Река с большой буквы. На следующий день я специально ездил ее смотреть — такую или описывать как следует, или просто отложить в голове одно название, что я, пожалуй, и сделаю: **Обь**.

Семен продолжал рассказывать о матери (умерла в прошлом году), вспоминал ее молодой. Низенькая, худенькая, а ходила — не угонишься и травы выкашивала по гектару в день. Однажды устроили соревнование: она и Арефий Иванович, мужик огромного роста, из моряков, лучший косарь в Ивановке. Соревноваться предложил он, хотел ее запалить. В первой половине дня она шла впереди, а он за нею, подрезал ей пятки. После обеда она настояла поменяться местами, и теперь спасти пятки пришлось ему. Скоро Арефий Иванович рухнул обессиленный в траву, а она продолжала косить.

И по сто двенадцать суслонов хлеба навязывала... Семен только помогал ей на рассвете готовить перевясла, да иногда по вечерам стаскивал снопы. Когда метал с нею сено, она ставила его на стог и так помногу брала на вилы, так быстро подавала, что он не успевал складывать, запутывался в сене. «Чимерть тебя обдери!» — сердилась она и сгоняла его вниз.

Перед войной она едва не побывала в Москве на выставке. Была звеньевой, за триста центнеров свеклы с гектара ее сфотографировали с бураком у знамени и дали путевку в Москву. Доехав до области, она решила о чем-то справиться у милиционера на вокзале. Тот потребовал документы, а справка, заменявшая ей паспорт, оказалась без печати, председатель по пьяному делу потерял печать.

— И мать вернулась домой. Гордая была, — говорил Семен.

Армяне у него строят производственное и культурно-бытовое, а жилье людям строит колхоз, то есть Семен. За год он построил — достал лес, цемент, шифер, стекло, подобрал плотников, каменщиков, кровельщиков, сколотил из них бригаду, ежедневно ее то славил, то позорил, переходя на крик, а с крика на шепот, — двадцать шесть домов.

Когда живешь своими порядками, говорил он, то тебе невольно кажется, что и везде они такие, даже по соседству, в своем районе, даже в «Заре» у Антимонова, хотя и знаешь, что этот Антимонов за десять лет не построил ни одного дома. При нем этого Антимонова разбирают на бюро райкома, Никонов, молодой председатель райисполкома, требует прогнать его из партии (не помог в строительстве инвалиду войны, у которого девятеро детей!), Семен знает его как облупленного, видит его бульдожье, жестоко умное и невозмутимое даже в такой обстановке лицо (ваше дело, мол, болтать пустые угрозы, а у меня вон еще овчарник не закончен), а все равно ему не верится, что такой Антимонов возможен, существует на самом деле. Колхоз — самый богатый в районе. Колхоз — в райцентре, рядом с пристанью, заваленной и лесом и чем хочешь... Ни одного дома для колхозников за десять лет! Не знаю, к кому у меня было больше ненависти, к тем доцентам, которые грабят работающих с утра до ночи армян, или к этому Антимонову.

Мимо нас по реке то и дело проплывали груженные камнем баржи, одиночные и сдвоенные, очень длинные. Странное было впечатление. Буксир с его огнями и рокотом уже ушел, а баржа все плывет и плывет, будто сама по себе,— темная, тихая, мрачная гора.

Первое воскресенье июня было для меня самым длинным днем в этом году.

То Семен, то Осип Викторович, то оба одновременно нет-нет да и вспомнят осень шестьдесят третьего. Годного государству зерна на току тогда уже, в общем, не было, оставались фактически одни отходы, их-то, чтоб совсем не пропали под дождем, и валили в яму. Вслед за первым уполномоченным, заставшим это преступление, это укрывательство хлеба от государства, в колхоз приехали сразу четверо, в их числе районный прокурор. И вот стоят они возле ямы, а бабы по их команде ведрами под дождем таскают зерно из той ямы обратно на ток. А с тока это зерно, эту труху грузят в машины, потом цепляют эти машины к тракторам и волокут в Гусь-Пристань на элеватор. А элеватору эта труха не нужна, и ее, как стемнеет, бульдозерами сталкивают в овраг. И все это знают: и промокшие до нитки уполномоченные с прокурором во главе, и Семен, и бабы, и шофера с трактористами.

Мужики отзывали Семена в сторону.

— Алексеич! Ты только мигни.

— Алексеич! Дай сигнал.

— Какой сигнал, товарищи?! — обливался он холодным потом.

— А такой сигнал, чтоб мы их мордой в яму!

— Накормим, будь уверен!

— Пусть потом разбираются.

Глаза, щеки, костяшки пальцев Осипа Викторовича, когда он это вспоминает, белеют.

— И накормили бы!

Разговариваем мы за столом на веранде, Семен при этих словах своего шофера вскакивает с клетком в горле, выбегает на крыльцо.

— Что вы делаете? — приступали люди и к уполномоченным. — Чем свиней — зима идет! — кормить будем?

Состояние людей было такое, что если бы Семен тогда мигнул, за его снятие не проголосовал бы ни один человек.

Перед собранием он обошел село. Объяснял: если колхозники, не посчитавшись с мнением Жоржиева, оставят его, Сергунина, председателем, хозяйству от этого придется плохо. Колхоз не получит ни фондов, ни кредитов и за год будет отброшен лет на десять назад. А нового председателя и район и область должны будут поддерживать, это неписанный закон. Второе, о чем он просил людей,— разобрать по дворам колхозных свиней, чтоб не подохли. Его поняли. Свиньи были разобраны, дружно прошло и голосование за снятие Семена. Его предвидение сбылось. Взамен того зерна, что было вынута из траншей и столкнута в овраг, зимой колхозу дали фураж, пусть и втридорога, но — тонна в тонну.

Семен возвращается на веранду, рассказывает об этом, и его лицо почти сияет. Пожертвовав собой, он спас хозяйство. Его лицо почти сияет, а пройдет еще несколько дней, снова накатят воспоминания, и он опять будет выбегать на крыльцо или — если это случится в машине — бить по тормозам и ждать, когда уймется дрожь в руках.

Это уже история, и я нет-нет да и отодвинусь, отлечу от всего этого куда-то если не ввысь, то в сторону. И там, стоя в стороне, нет-нет да и подумаю: жоржиевы не одни на свете, есть и Сергунины, Мельниковы. Борьба между ними была, есть и будет, это — жизнь. И стоит так вот мне подумать, в душу тотчас же начинает вливаться покой, ясная тихая вода, в которой все отражается, но которую ничто

не возмущает. Это плохо. Ум должен недоумевать, а душа — болеть. С душой, наполненной тихой ясной водой, я не смогу, если потребуются, снова помочь Семену.

8 и ю н я.

Сегодня второе мое воскресенье здесь. В Гусь-Пристани была районная ярмарка. Семен ждал ее, готовился, собирался там блеснуть и блеснул.

Ярмарку обычно проводит райпотребсоюз. В парке устанавливаются ларьки, в них продается обычный промтовар, придерванный к этому дню. Кое-что из своих продуктов вывозят и колхозы. Семен решил отличиться. Во-первых, предложить публике игру в катание яиц. Сварить десяток тысяч утиных яиц, покрасить в разные цвета и продавать по десять копеек штука. Продавщиц нарядить в старинные костюмы, пусть это будут колхозницы из самых разбитных и голосистых. Во-вторых, устроить птичью лотерею. «За двадцать копеек можно выиграть петуха Петьку или селезня Фильку!» — будет надпись на рекламном щите. То же и с медом — разлить по банкам центнер меда и пустить в лотерею. Ну и, наконец, шашлык. Зарезать быка, надеть шампуров, Петра Симеоновича попросить быть продавцом. Гусь-Пристань должна будет обладать, считали мы. Впервые в районном парке появится настоящий кавказский шашлык из рук настоящего армянина.

Обсуждали мы этот план всю неделю. Ни у Семена, ни у меня, ни у любого другого человека в колхозе — никакого опыта, одно только желание, задача: выручить вполтину больше, чем если бы мед, яйца, птицу и говядину продавать просто так! Но сколько шампуров шашлыка может выйти из одной туши? Почему его продавать, чтобы люди покупали и чтобы колхоз был в выигрыше? Почему продавать лотерейные билеты? Сколько их наготовить? Сколько петухов, селезней и банок с медом положить на сотню билетов?

Я никогда не задумывался о том, как много всего нужно знать, чтобы с выгодой повернуть такое дело. Мы не сразу дошли до главного, до того, во что все упирается. Сколько людей будет на ярмарке? То есть: на какой спрос мы можем рассчитывать? До сих пор на такие ярмарки гусь-пристанский люд приходил главным образом погулять. Ничего особенного от потребсоюзских ларьков не ждут. Значит, публику нужно оповестить заранее, заняться рекламой, саморекламой. Но сколько народу она привлечет?

Какое, оказывается, тонкое и азартное дело — коммерция! Ни Семену, ни мне от выручки не предвиделось ничего, но мы так были возбуждены, такой все время холодок риска стоял в груди... Удивительно острые ощущения!.. Дело, значит, не только в том, что дает коммерция тебе лично. Даже, оказывается, и не в том дело, что она даст колхозу! Сладость в самой игре, в том, чтобы придумать дело, верно рассчитать, предугадать, преодолеть сопротивление не поддающихся учету обстоятельств.

В этом деле было бы для нас меньше прелести, если бы мы были здесь не первые, если бы мы выходили на рынок с чем-то, что ему уже привычно. А выйти первым, предложить потребителю новое, вступить с ним в игру на таких началах, когда проигравшей стороной можешь быть только ты, овладеть стихией так, чтобы она и не заметила, что ею овладели, что ее привлекли, заманили — о-о! Тут, оказывается, есть еще и ощущение власти, и ощущение очень полное и честное: ведь ты рискуешь, ты в самом невыгодном положении, ты целиком в руках потребителя, и если уж сумел выиграть, значит, можешь записать это себе в актив с чистой совестью.

До сих пор в наших хозяйственных отношениях, в том, что все продается и покупается по спискам (все заранее определено и распределено — объемы, цены, адреса), что никто ничем серьезно не

рискует: ни колхоз, ни завод, ни магазин,— что никого не напрягает опасность прогореть,— во всем этом фондированном снабжении я видел только экономическую сторону, потери материальные. А теперь понял, что это к тому же просто скучно. Без азарта, без риска, без игры — скучно. Люди лишены целого букета великолепных ощущений, целой области жизни, где они могли бы прилагать ум и чутье, где могли бы проявляться, раскрываться, расцветать их таланты, о которых они сейчас и не подозревают.

Вот ведь в чем дело... Торгашество? Капитализм? Чепуха! Семен не для себя старается. Можно быть коммерсантом и без шкурного интереса, при этом ощущения человека в чем-то, может, еще сильнее и уж наверняка здоровее, чем у капиталиста. Рыночная стихия? Тоже чепуха. Просто в плановом хозяйстве должно быть выгорожено местечко, где человек мог бы проявлять и эту сторону своей природы. До сих пор я думал, что это нужно потому, что многие виды деятельности просто выгодно отдать инициативе, а теперь понял, что это нужно и просто для того, чтобы жизнь была полнее, веселее, разнообразнее.

День был жаркий, народу в парке было полно. В глаза бросались наши рекламные щиты, сарафаны колхозниц зазывальщиц. Публика поддавалась вяло, все это было ей непривычно. Не глядя друг на друга, напряженные, мы бродили с Семеном в толпе, колхозницы бросали на нас сочувственные взгляды, шепотом докладывали, сколько продано билетов (мало!), и тут же по-актерски бодро выкрикивали свои призывы: «Катайте яйца! Катайте яйца!» Густо было только возле Петра Симеоновича. В белом халате, чисто выбритый, он жарил и продавал шашлыки, рядом стоял потребсоюзский ларек с пивом. По ярмарке гулял районный комсостав: предрика Никонов, второй секретарь райкома Снегирев, третий — Кольцов, еще кто-то. Никонов был в сером костюме, остальные в белых расстегнутых рубашках. Отдельную группу образовал комсостав ивановский: главный зоотехник Георгий Захаров с руками сзади под пиджаком, главный инженер Николаев, важный Барчуков. Шашлык у Петра Симеоновича они брали без очереди. Глядеть на них мне было обидно: мы с Семеном напряжены, озабочены, а их ничто не касается, они беспечно гогочут, они тут гости, потребители, причем особые, за шашлык не платят. Петр Симеонович хотел и нам дать по шампуну — мы отказались, быстро ушли, было стыдно перед ним за этих.

Только отошли — к Петру Симеоновичу пристал районный прокурор, совершавший предобеденную прогулку. Раз у шашлыка кавказец, значит, частник, самодеятельность. За нами побежали, мы вернулись выручать нашего предпринимателя, но блюститель уже разобрался, шел, отдуваясь, нам навстречу. Мокрая ковбойка, лицо круглое, вроде не злое, а в глазах — еще не прошедший взвину, служебное бешенство.

— Я ничего,— бормотал Семену, как ни странно, почти виновато. — Мне главное, чтоб не частное предпринимательство.

Под мышкой у него торчало полено вареной колбасы.

От всего этого, от жары мы устали, отупели, тут как раз подвернулся зампредрика Мытарев и повел нас к себе обедать. Когда мы вернулись в парк, ярмарка уже свернулась, усталые наши коромейники вместе с Петром Симеоновичем носили к выходу рекламные щиты, лотки, ящики с остатками товара. Последним из парка, размахивая двумя селезнями, вышел малый лет тридцати в разодранных на бедре трикотажных штанах и тапочках. Он выиграл сегодня трех селезней, первого еще утром. Приволок его домой, минуту посидел, изнемогая от счастья, потом хлопнул себя по лбу. Печать! Все билеты свернуты в трубки и кажутся одинаковыми, но выигрышные помечены круглой колхозной печатью, а она, если приглядеться, просвечивает. Он кинулся назад, махнул, сокращая себе путь, через

изгородь парка, разодрал штаны, зато вот они — еще два селезня! Не зная, кто перед ним, рассказывал нам это, захлебываясь. Мы его поздравили, и он важно, высматривая, кому бы еще рассказать, топтал в своих штанах серединой улицы. Герой дня.

Вечером в бухгалтерии подвели итоги — ярмарка принесла колхозу тысячу двести рублей убытка. Других колхозов на ярмарке не было.

Теряемся в догадках

9 июня.

Я встал в девять, а Семен в пять, хотя легли мы в одно время, за полночь.

На обед он пришел вяло-спокойный, глаза ввалились, две синие точки в глубине, лицо посерело. Голос был такой, словно походка больного, которому запрещены резкие движения. Я был один на веранде, он открыл холодильник, достал пиво.

— Ты выпьешь?

— Лучше вечером,— сказал я.

Утром Семен был в управлении, в Гусь-Пристани, там недовольны его планом. Начальника не было, заместителя тоже, говорил с плановиком. Речь о пятилетнем плане. Средняя за последние три года урожайность пшеницы в колхозе девять центнеров, на следующие пять лет Семен запланировал двенадцать, а управлению надо четырнадцать. Кукурузного силоса: он — сто центнеров, они — двести. Средняя по свекле у него семьдесят центнеров, он так и планирует, а ему говорят: что это за урожайность? Получается, говорят, что свеклой вообще заниматься в этой местности не надо.

— Правильно,— сказал я. — Не надо, семьдесят центнеров не урожай.

— Да нет,— ответил он. — Заниматься надо, раз она у нас растет, но помалу. Учить людей, набираться опыта.

Он стал медленно разбирать подлещика, занятый, казалось, не столько едой, сколько тем, чтобы начисто оголить его белый хрупкий каркас. Мы говорили о логике управления. Закладывать в план семьдесят центнеров нельзя: будет видно, что свекла невыгодная культура. А на бумаге все должно быть выгодным, должны сходиться все концы. В расчете на такое схождение где-то настроят сахарных заводов, кондитерских фабрик, наберут людей, а потом... Что они там будут делать без сырья?

К ужину Семен приблел уже не серым, а черным, и я потащил его в баню — несмотря на понедельник, ее нам истопил, угадав нашу нужду, Папашка, его тесть. Мы взяли с собой трехлитровый бидон кваса, простыни. К окну предбанника дотягивалась малина, на лавке лежали прошлогодние веники, от двери в парилку несло сухим, безумно жарким, дразнило кожу. Я перевязывал веники, легонько их встряхивал, слушая легкое шелестение. Гольй Семен безучастно сидел рядом, ладони на коленях, голова опущена.

— Что ты мне посоветуешь? — не поднимая головы, мрачно спросил он наконец. Ему надоела моя поглощенность вениками.

— Пойдем погреемся,— сказал я.

Советовать ему можно было одно из двух: или не рыпаться, взять те цифры, которые дает Гусь-Пристань, или упереться и стоять на своем. Упереться можно, но выстоять нечего и думать. Секретарь райкома Петрин и так уж им недоволен. Семен его подвел. Обсуждали зимой на собрании фуражный баланс, и народ подметил: что за диво — никогда еще колхозу так щедро не оставляли зерна на фураж. Семену бы промолчать, а он возьми и брякни: благодарите, мол, товарища Петрина, это его линия, он наш благодетель. До Петрина это тотчас дошло, почти год он молчал, только как встретит Семена, лицо перекосится, а перед моим приездом раскрылся, высыпались на-

конец камешки. «Вы,— сказал Семену,— человек незрелый, с вами нельзя иметь дела». «Знаю только одно,— задрожал от обиды Семен,— что я чист перед своей совестью».

Смех и слезы, детство какое-то. Оба знают, что делают доброе дело, стараются не для себя, но один хочет, чтобы это не было заметно, другой не понимает, почему именно, а сестра и по-человечески объяснить не могут.

Охаживая Семена веником, я говорил, что было бы хорошо, если бы таких, как он, набралось хотя бы человека три. Не будем планировать с потолка, и все!

— Столкнитесь! — Я опрокинул над ним ведро ледяной (у них тут глубочайший колодезь) воды.

Глаза его выкатились, лицо исказилось злобой, тут же сменившейся счастьем.

Мы вышли в предбанник, распахнули входную дверь, нас обмахивал ветер, дверь поскрипывала. Я растянулся на половицах, положив голову на круглый вязаный половичок у порога. Тело блаженствовало, а страшок не проходил. Кинул сдуру идею, а Семен вдруг и в самом деле сорвется искать единомышленников, столкновиться, и я, получится, уже не только агитатор, но и организатор бунта на районном корабле.

— Вы тут не заснули? — прогудел снаружи Папашка и влез, косматый, споткнувшись на пороге о мою голову.— А я думал, лесина у порога светится. А это человек лежит бревном.

Он с детства почти слепой от оспы, костистый, густой мужик. У Семена, когда его судили, не было ни гроша, а у Папашки лежали на книжке три тысячи. Жили, как и сейчас, одной семьей, и Семен, собираясь в Вешенскую, попросил сотни две взаймы. «Ты работал? — сказал ему Папашка.— О б у д у щ е м думал?» Так и не дал.

Он потыкался в нас белыми пятнами из-под всклокоченных бровей, понял, что нам не до него, и ушел.

— Я, видимо, решу так,— сказал Семен.— Своих цифр стирать не буду. Там есть пустая графа. Хотите — рисуйте в ней свои. Хоть увидят, что я не ванька-встанька.

Он соберет, конечно, специалистов, еще раз придется по всем цифрам, кое-что, возможно, уточнят, но менять не будут, с тем и поедут на заседание плановой комиссии в Гусь-Присягу. Мы шли в дом, за ноги цеплялись остро-шершавые плети огородины, в чистом небе уже стояла луна, с площади от Дома культуры доносился скрип качелей и смех молодежи.

— Како попарились? — встретил нас на залитой светом веранде Папашка.— Это удовольствие при любом начальстве останется?

Прошло только девять дней, а первый день, то воскресное первое июня, вспоминаю как далекое безоблачное прошлое.

— Ну хорошо,— сказал я Семену за ужином.— Допустим, ты уперся, а Петрин тебе уступил, принял твой план. Ты будешь обязан продавать ежегодно тридцать тысяч центнеров пшеницы, а не сорок. За все, что сверх тридцати, тебе по решению мартовского Пленума будут платить в полтора раза дороже. Колхоз твой станет богаче, допустим, Петрин так решит. Но, снижая план тебе, он должен будет поднять его другим. Ты выиграешь, другие проиграют.

— На чужом горбу не согласен! — резко сказал он.

— Не согласен? А почему же ты тогда так сражаешься за свои цифры?

Он подумал.

— Ты должен знать. Такой грех я на душу возьму. Доход будет не мне лично.

— Поэтому ты типичный председатель.

— Почему типичный? — обиделся он.

— Потому что тебе важен только твой колхоз. Это естественно. Тебя выбирали не затем, чтобы ты о других колхозах думал.

— Да. Год потом спать не буду, а такой грех на душу возьму!

— А вот поэтому ты председатель не типичный. Другой заснет как убитый.

Все правильно, все-все правильно... Его выбирали не затем, чтобы он думал о других, и что-то, а это он знает. Но его первый порыв, те слова о чужом горбе тоже не случайны, мне они дороже, в них то, чем наш хозяйственник должен по идее отличаться от западного. Хочет отличаться! Остановка за условиями. Условие — платить вполонину больше за сверхплановую продукцию — придумано неплохое. Но оно рождает трудные проблемы. Каждый хочет получить план поменьше: колхоз — от района, район — от области. Значит, тот, у кого власть над планом, может с его помощью поднимать одни колхозы и районы за счет других. Раз появился такой осязаемый материальный интерес занижать план, в глаза скоро бросится разрыв между планом и фактом. Продавать хлеба будут намного больше, чем планируют. Боюсь, что возникнет соблазн поправлять планы на ходу, их будут менять несколько раз в год, как и прежде. Но мартовский Пленум это запретил, было сказано: план твердый на пять лет.

Что-то будет?

Одно положение нарушается уже сейчас: планировать самостоятельно Семену не дают. Потом... Будут неурожайные годы, обязательно будут. В таких случаях стремятся выбрать все: и фураж и чуть ли не семена. Брать будут у тех, у кого есть что брать. Значит, богатые, как и прежде, будут рассчитываться за бедных, оставляя на голодном пайке свой скот. Прибыль от полеводства будет сводиться на нет убытками от животноводства. Капитальные вложения в строительство животноводческих помещений повиснут мертвым грузом на ногах хозяйства, темпы роста по молоку и мясу замедлятся. Но рост нужен — следовательно, опять станут требовать увеличения поголовья. А держать скот впроголодь, получать низкие удои и привесы — это новые убытки. Так деньги, которые Семен своим упорством или благодаря щедрости Петрина выручит за сверхплановое зерно, ухнут как в яму. И толку от езды на чужом горбу или не будет никакого, или будет такой, что ради него не стоило брать грех на душу. Некоторое первоначальное оживление экономики сменится, в общем, застоєм.

Зачем выкачивать из хозяйства больше, чем оно может дать не надрываясь? Зачем рубить сук, на котором сидишь, — заставляя хозяйство расширять поголовье, держать бесполезные «хвосты»? Фураж отбирают понятно для чего: чтобы кормить скот там, где фуража нет. Но зачем держать скот там, где нет фуража? Зачем возить фураж с места на место, тратить на это средства, когда можно скармливать его там, где он выращен? Может, этого и не будет, надежда есть большая, но...

Что-то будет?

11 июня.

Вчера познакомился с Мамоновым Серафимом Петровичем, завучем здешней восьмилетки (директором там жена Семена Елизавета Петровна). Он шел мимо двора с торбой, из которой выглядывал осетр, а мы с Семеном стояли на крыльце и напросились на уху. Мамонов был в телогрейке, брюхастый, лицо и нос-картофелина подолбаны оспой. Когда Семен, представляя нас друг другу, назвал его завучем, тот провел руками по своим мятым штанам: не всегда, мол, жожу так, эта форма для рыбалки.

Пока варилась уха, мы рассматривали семейный альбом. На одной карточке, ясно глядя перед собой, сидел за столом у классной доски Мамонов — молодой учитель. На нем была офицерская гимнастерка,

на лице не видно было подолбин, свежее умное лицо. Я сказал об этом, Серафим Петрович ничего не ответил, но говорил после этого живее. Жена у него тоже учительница, у них три сына. Лучше всех учился младший, шестнадцатилетний, но с ним несчастье — начались приступы страшных головных болей, судороги. Рассказывал об этом Серафим Петрович по-мужски. Если слушать не вникая, то будто о теленке, сломавшем ногу. Сын лежал в больнице в городе, потом попросился: «Забери, папка, домой, тут шум». Когда мы о нем говорили — о том как раз, что лучше всех учился, — он тенью скользнул на пороге другой комнаты тихой, виноватой тенью, и мы помолчали. Средний сын перешел на второй курс пединститута. Вступительные экзамены сдал хорошо, но сначала его не приняли.

— «Садись, мать, письмо пиши! — передавал нам свое решение Мамонов. — В обком, исполком, министерство. Я их письмами замордую, примут парня, никуда не денутся». Она написала, я отвез — зашевелились. Пробил. Парень сообщает: предлагают вольнослушателем. «Соглашайся! — отвечаю. — Сунь одну ногу, а где одна, там и другая, влезешь».

Старший сын — инженер по технадзору в сельхозуправлении в Гусь-Пристани.

— Сватают главным инженером в совхоз, практическая работа. «Идти, папка? Там сто восемьдесят оклад». — «Сиди, — говорю. — Хватит тебе и ста тридцати, сиди-и. «Газик» есть, сидишь чистенький — вот и сиди, до чего-нибудь побольше досидишься».

Восемьдесят процентов Ивановки — родня Мамонова. Если он чего захочет, своего добьется, вертит селом с удовольствием, хотя на пустяки не разменивается. На сегодня договорился с ним порыбачить. К этому человеку надо приглядеться повнимательнее.

Сейчас пойду.

Семена-то в председателях восстановил, оказывается, не я, а Мамонов, да, Серафим Петрович! Он был тогда директором школы и по совместительству колхозным партгором.

— А председатель, которым заменили осужденного Семена, дурак был, — говорил Серафим Петрович таким тоном, что я улыбнулся.

— Большой?

— Смотри сам. Получаю я летом в Гусь-Пристани отпускные, и едем мы с ним домой. Отпускных у меня пятьсот рублей, беру я две бутылки, останавливаемся в лощине. Сидим, пьем и закусываем. Выпили первую — я спрашиваю... Как раз начинается сенокос. «Дашь, — спрашиваю, — сена учителям?» — «Не дам». Ладно, выпили вторую. «Дашь?» — «Не дам!» Уперся, дурак, и все. Ну ладно, думаю, я тебе, дураку, сделаю, ты у меня подловишься. Проходит полгода — получаем газету, а в газете твоя статья, чтоб в колхоз, значит, вернули Сергунина. Ага, смотрю, вот и момент. Из области после статьи мне звонок: назначить на такое-то число собрание, ждать представителя. Позвонить-то мне позвонили и про представителя сказали, а повестку дня не сформулировали. Ага, думаю, я вам тогда сам сформулирую повестку! Пробежал по селу: ты встанешь первым, скажешь то-то, ты — вторым, потом пишу объявление, расклеиваю по всем столбам. О восстановлении Сергунина на посту! Представитель, как увидел те объявления, глазами хлоп-хлоп, а сделать уже ничего нельзя: объявления два дня висят, и клуб забит народом.

Сам Серафим Петрович на том собрании не сказал ни слова — незачем было. Все свои вопросы он привык решать до собраний, пробежками по селу.

Это он рассказывал мне в прибрежных кустах, лежа на моей плащ-палатке после уха из неизменных трех стерлядок. Дело в том, что у него есть обычай: как только поймает тройку стерлядок (другой рыбы не признает), правит к берегу и варит уху. Какой бы ни

был клев, пусть рыба идет хоть косяками, он на нее ноль внимания, пока не сварил и не съел уху. Вся жизнь человека в руках случая, поэтому будь доволен малым и не мельтеши. Сейчас у тебя тройка стерлядок, а через мгновение перевернулась лодка или ударил кондратий — и, может статься, ни стерлядки этой, ни тебя. Так он объяснял мне свой обычай, странно не вяжущийся с его ролью сельского талеярана.

Было тихо, тепло, докучали мухи — маленькие, тугие, злобненькие какие-то.

Дело человек сделал доброе и смелое, а хвалился им так, как мелкий пройдоха, закосивший у ларечницы лишнюю кружку пива. Это тоже не вязалось с его солидным видом, с тем, как он относился к ловле рыбы. Снимать с крючка стерлядь — совсем-совсем не то ощущение, с которым снимаешь окуня или леща. В ее очертаниях, в этой маленькой, но настоящей акульей пасти, в древней подлинности тела, предназначенного не для плавания, а для глубинного полета, в холодном голубом цвете панциря есть что-то, от чего становится и торжественно и тоскливо. Это занятие, чувствуешь, не забава, дело совершается суровое, на той грани, где ты вторгаешься в темные, запретные стихии жизни. Лицо у Серафима Петровича было сосредоточенное, умно невеселое, мы молчали, а потом вдруг — эта жалкая похвальба...

А если бы тот дурак дал учителям сена? Что-то тошно мне тут временами бывает, тошно и тревожно. Вчера было письмо от матери: «Видела тебя во сне очень плохо, будто у тебя лысая голова, а внизу головы было сивое волосся. Ты поехал в такое село, что, может, какой враг окажется, так что будь осторожней и не будь там долго».

13 и ю н я.

Черт знает что такое, теряемся в догадках... Семен был в Гусь-Пристанях, и там сначала в райкоме, потом в исполкоме ему сказали, что пятилетку он может планировать по-своему. Как хочет!

После обеда ездили верхами смотреть за рекой травы и бахчу. Для этого Семен переоделся — влез в темно-синие галифе и сапоги и стал похож на уполномоченного сороковых годов.

— Ни дать ни взять! — засмеялся я.

Он резко ответил, что ему на это плевать. В сапогах и галифе удобно, под штанины не набивается пыль. А форма она и есть форма. Будь под нею в свое время другое содержание, никто бы сегодня не смеялся. В действительности он обиделся. Я думаю, не поэтому. Он очень внимателен к тому, что на нем, сильно заботится, чтобы все было прилично, никогда не выйдет из дому в нечищенных туфлях, покупка каждой новой вещи для него важное, обязательное дело. Это свойственно сельским парням лет с четырнадцати, но после женитьбы многие из них меняются, а Семен вот не изменился.

На выезде к реке нам встретилась средних лет худенькая женщина в мужском пиджаке. у нее к Семену было сразу два дела. Излагала она их, как водится, долго, слезливо: куда девать заболевшую корову и где взять здоровую. Семен слушал без всякого нетерпения, властно сдерживал лошадь, и слезливость женщины постепенно сменялась на тот тон, которым бабы калякают у колодцев. Под конец дошло и до сына, нынче утром уехавшего поступать в музыкальное училище.

— Что ж вы в правление не обратились? — заволновался Семен.— Парню можно бумагу от колхоза дать!

— Дак знать бы...

— Приходите обязательно. Дадим бумагу и пошлете ему вдогонку.

На лугу наши лошади вспугивали вальдшнепов. Иные выпархивали прямо из-под копыт и отлетали с тем глуховатым, матерым

фырком-посвистом, слушая который так и тянет вскинуть воображаемое ружье. Я не спрашивал Семена, догадывается ли он, сколько колхозниц по стране могли бы сейчас позавидовать женщине, с которой мы расстались у реки. У нее негодный муж — пьяница, ее постоянно преследуют всякие хозяйственные несчастья, но ей не надо целыми неделями ходить по пятам за председателем, слушать обещания, которые тут же забываются, для нее само собой разумеется, что колхоз должен помочь ей с продажей заболевшей коровы (летом это здесь проблема, мясо негде хранить, до областного центра далеко, а в районном с его парой столовок нет спроса) и выделить здоровую. Даже и то одно, что разговаривать с ним об этом можно долго, пусть он и спешит, и чужой человек при нем...

14 июня.

Семен проводил совещание у себя в кабинете: подготовка к сенокосу и текущие дела. Ого! Я столько наслушался колхозных заседаний, называемых совещаниями и заседаниями, что здесь просто отдыхал. Минута-полторы — «Все, садитесь!».

И опять стычка с Барчуковым. Он, оказывается, распорядился, чтобы школьникам, которые полют свеклу, не позволяли работать больше трех часов.

— Это лишнее, — небрежно сказал Семен в самом начале совещания. — Пусть работают сколько хотят.

— Они, конечно, желают, даже рвутся, но позволить я им не могу, — сказал Барчуков, надувшись и явно собираясь произнести целую речь.

— Вот и пусть полют, — отмахнулся от него Семен и перешел к другому.

Барчуков дулся-дулся и свою речь произнес-таки в конце. Он, видите ли, считает себя обязанным привлечь внимание товарищей «к педагогическому уклону данного вопроса». Дети, можете себе представить, есть дети. Наукой, как известно, доказано, что детского внимания и охоты хватает на три часа, потом ребенок начинает скучать, а для нас, товарищи, главное все же не свекла, а наш ребенок — чтобы работать ему было весело.

Семен побагровел.

— Весело?! Нам после войны, голодным и раздетым, весело было? Мать скажет — и мы с зари до зари, с весны до зимы в поле, потому что надо... Какого мы тут черта?! — заорал он. — Раз в году, одну неделю. Да дети и сами рвутся, чтобы наравне со всеми. Сами! Почему не позволить?! При чем тут наука? Зачем тут эта философия? — Он грохнул кулаком по столу. — Хватит этих философий! — и сразу же негромко, угрюмо, твердо: — Полоть школьники будут сколько хотят.

Но и это не был еще конец. С завтрашнего дня в колхозе переходят на десятичасовой рабочий день. Так везде и всюду, споров или недовольства обычно не бывает, всем все понятно, на решение об этом уходит минута. Но сегодня Семен должен был воевать полчаса, и воевал он опять же с Барчуковым.

— Возражаю, — сказал Илья Кузьмич с обычным своим тяжким вздохом. — Возражаю, переживаю и не понимаю. Женщины на свекле очень устают. А женщина, товарищи, это мать и супруга.

Такой вот добряк. И ведь прекрасно, скотина, знал, что чистой работы из восьми часов выходило до сих пор шесть, а из десяти будет выходить восемь, и что такого, чтобы в пору ухода за посевами, приближающегося сенокоса, а за ним и уборки хлебов оставлять фактически шестичасовой рабочий день, — никто, никакое правление, никакой райком не допустят.

— Ну вот что с ним делать? — пристает Семен ко мне.

Стоящего главного агронома в этом колхозе никогда не было, и люди настроены так, что главный агроном — не работник по самой природе этой должности. Если им сказать, что Барчуков не годится, они пожмут плечами: он ведь и не должен годиться! Они поймут так, что у Семена к Илье Кузьмичу просто есть что-то личное — рожей для него не вышел. А Кузьмич-де мужик ничего, обходительный, плохого никому не делает, получает свои сто девяносто, и ладно, губа, значит, не дура, хорошо устроился. Счастье Кузьмича в том, что Семену позарез нужно, чтобы каждое его решение было понято всеми без исключения.

— Это что же получается? — говорю ему. — Чтобы выгнать Барчукова, ты сначала должен им доказать, что агроном может быть работником? Что от него они вправе требовать дела, а не болтовни?

— Да. Иначе не могу, — почти плачет он.

— Но как ты им это, черт возьми, докажешь?

— Они должны понять: я тяну за двоих.

— А сейчас они этого не понимают? На то ты и председатель, чтобы тянуть. Вот их позиция. И они, между прочим, совершенно правы.

— Обидно же! Ничего не делает...

— Вот. Обидно — слово то. Так им и скажи.

— Не могу я так сказать!

— Конечно, не можешь. Тогда гони его втихаря. Как все в подобных случаях...

— И втихаря не могу.

— Тогда иди спать. Утро вечера мудренее.

Слишком много он копается в себе. На людях, как сегодня, это не заметно, на людях у него все даже наоборот, а вот наедине с собой, да еще со мной... Надоедает мне это, начинает надоедать.

15 июня.

Выхожу под вечер за калитку — навстречу маленькой, с худыми широкими плечами молодой человек в кепке, на одной руке плащ, в другой чемоданчик-балетка. Это оказался Миша Храмов, заведующий сельхозотделом гусь-пристанской районной газеты — Михаил Иванович, как мне его там называли. Мы видели друг друга впервые, но я знал его по этому уважительному «Михаил Иванович» да по его статьям в газете, каждый номер которой почти сплошь из них: М. Храмов, Х. Михайлов, М. Иванов...

Не часто встретишь районку, в которой не было бы своего Храмова-Михайлова-Иванова: всех и вся в районе знает, тянет на своих плечах газету, пальцы скрючены от непрерывного писания, из-под пера — все одно и то же, а жизнь идет... В заметках Миши, однако, нет-нет да и попадались приятные точные фразы, чувствовалась дошность, серьезное отношение и к тем, кого хвалит, и к тем, кого критикует. Мы сели на веранде, из чемоданчика он достал подшивку своей газеты. Он оказывается, сейчас на распутье, ему позарез надо поговорить со мной, с посторонним пишущим человеком, о своих писаниях. Все, что он сочиняет, печатают с колес, никто не может сказать, хорошо или плохо это сделано, он варится в собственном соку — и наступил кризис.

Я тут же прочитал несколько его очерков — все обычные, вечные наши недостатки. Пересказы биографий, слащавости, разностилье... Когда стали об этом говорить, Миша грустил, сокрушался, что это все для него внове, что до сих пор он ничего подобного ни от кого не слышал — он же самоучка, образование у него средне-техническое, буровик. Мы пошли погулять у реки, я заинтересовался, женат ли он.

— Женат.

— Жена тебя старше? — спросил я почему-то.

— Старше. Тебе уже говорили?
— Нет, никто... Где работает?
— Уже месяц — инструктор пожарного общества. А то нигде не работала, болела.

— Что-нибудь женское?
— Нет, почему же? Была беременна Танюшкой — и тут первый приступ аппендицита. Перед самыми родами — второй, а операцию делать нельзя. Родила — тут сразу третий приступ, разрезали. Потом вторая беременность — и новая беда. Спайка кишок.

— Пережил ты, однако...
— Я ж ее с ребенком за себя взял, недавно уже в армию парня проводил. Шесть лет назад женился, а парня уже в армию!

— Первый раз женился?
— Первый... Ты, наверное, стандартно меня понимаешь?
— Почему же? — удивился я.
— Меня никто в этом вопросе не понимает. Еще бы: взял женщину с ребенком на семь лет старше себя да еще три раза замуж ходила.

— Что ж так неудачно?
— Первый раз — по молодости, глупость. А потом ей голову хотелось притулить... Меня никто не понимает.

— Что ж тут не понимать? Все понятно.
— Любовь не картошка. У нее один класс образования, а я ни с кем так общего языка не нахожу, как с нею... Ты выгодный собеседник. Во-первых, никто не узнает, о чем я тут с тобой, а, во-вторых, может, что и посоветуешь, я уже кое-что почерпнул...

Живет он в коммунальном доме, две маленькие комнаты, на иждивении четверо — жена, теща и двое детей, получает сто пять рублей оклада и рублей сорок гонорара.

— Как же ты их кормишь на эти деньги?
— Скромно живем. Корову держим, скоро сенокос, так я уже литовку направил.

Корова у него яловая, и вот странно: меня это расстроило не меньше, чем болезни его жены. Хоть теленок был бы! До осени подержать — семейству мяса на ползимы. У него есть лодка, выпросил у кого-то старый мотор, перебрал, навесил — «своими руками что-то сделать — это тоже интересно», но ездить на ней ловить рыбу приходится редко, все пишет и пишет, гонит строчки, заполнять газету больше никому, редактор только заседает, сотрудников набрал по знакомствам, никто ни в зуб ногой... В газете Миша начинал работать в Кузбассе, в шахтерском городке, где горняки получали по триста—четыреста, а он — восемьдесят. Все там было дорого, на восемьдесят рублей с семьей не прожить, и он переехал сюда, в сельскую местность. А был буровиком — получал тоже триста — четыреста.

— Тянуло писать! В школу рабкоров бегал... Сбегаешь и чувствуешь: жил. Все так интересно. Робу скинешь — и будто душу получил. А день в робе живешь без души...

У него три брата, они считают его уродом. Старший над ним смеется: я, мол, работаю буровиком и уже машину имею, а ты все ищешь что-то, ищешь.

— Я буду долго говорить, ты слушай. Теперь передо мною три пути...

Один путь — вернуться на буровую, день работать, а жить, то есть писать — по ночам. Второй путь — на Амур, сначала порыбачить (хочется!), потом устроиться там в газету. Третий путь — остаться здесь, но здесь он дошел до точки, чувствует, что застыл.

— Недоволен, как я пишу! Я-то знаю, что значит для доярки, если я ее похвалил, знаю, что ни словом не наврал, а все равно — не то. И вообще... Вот сейчас у нас: пиши о ремонте комбайнов, критикуй, а разве люди без меня их не отремонтируют? Почему я дол-

жен их ругать? Зачем так — без сердца? Надо ехать куда-нибудь, надо... Есть же где-нибудь так, что можно от сердца!

Он не хотел уходить от реки, возвращаться в Гусь-Пристань. Таковой вот возможности погулять вдоль берега, поговорить с кем-нибудь о наболевшем работа ему не дает.

— Я знаю, что главное. Чистая совесть. В детстве украл яблоко у тетки и до сих пор страдаю: есть пятно на совести...

Когда прощались, он дал мне письмо, из-за которого, собственно, и приезжал. В редакцию оно поступило вчера, читал его один он — наткнулся, разбирая почту. Это была анонимка на Семена. В правом верхнем углу значилось, что копия отправлена в область Жоржиеву. Я увидел эту фамилию — и сердце заколотилось.

«Товарищ Сергунин собрал главных специалистов и бригадиров, где противопоставлял себя руководству, игнорировал контрольные цифры на будущую пятилетку. Красной линией проходило, что эти цифры не обоснованны, и настраивал специалистов на отпор, будто хозяйство колхоза его личное и не должно выполнять. Также организовал разбазаривание колхозной продукции жителям районного центра в виде лотерей и отживших игр, как катание яиц, что дало колхозу убыток 1200 рублей. Цены на билеты и прочее назначал сам, что подтверждает, что государственные органы товарищу Сергунину не в счет. Имеет связь с шабашниками по национальности с Кавказа, дошло до того, что они бросают работу, чтобы угостить председателя в виде шашлыка. А о чем за этими трапезами делается у него с ними договоренность, понятно само собой. Вор ворует, мир горюет».

Попросил Мишу никому об этой мерзости не рассказывать.

— Я и раньше так делал, — сказал он.

— На него и раньше были?

— Были. Но такая политическая — первая.

— А что копия послана Жоржиеву — тоже первый раз?

— В том-то и дело.

Самое страшное Миша оставил напоследок. Точно ничего пока неизвестно, но... Наш колхоз решено ликвидировать. Его сделают отделением соседнего целинного совхоза, а Семена в лучшем случае поставят на это отделение управляющим. Под большим секретом эту новость Мише передал его приятель Рогов, заместитель начальника сельхозуправления. По его словам, это идея Жоржиева. В области подготовлено соответствующее ходатайство и то ли уже послано, то ли вот-вот будет послано в Москву, в правительство РСФСР. До решения правительства все держится в тайне. Не исключено, что ничего не знает даже Петрий. Рогову же дал знать свояк его жены, который работает в облисполкоме.

Первое, что я подумал, — с каким лицом в эту самую, может быть, минуту Жоржиев читает донос на Семена.

Наедине с этой мыслью и оставил меня Миша Храмков.

16 и ю н я.

Половина десятого утра, девятнадцать градусов в тени, небо в тучах, дождя еще не было, а воздух такой, будто после дождя, очень тихо. Звучный свист синиц... Знаю, что теперь этот свист станет для меня подробностью, с которой будет связываться именно такой день: без дождя, а будто после дождя.

Собираясь сюда из Москвы, я твердо решил ничего не писать об этом колхозе. Мне казалось, что Жоржиеву надо дать время забыть о Семене, пусть тот развернется, укрепится, тогда его будет труднее брать голыми руками. Показатели хозяйства, вес хозяйства — лучшая самозащита. Пусть Семен построит что задумал и начал: ферму для беспривязного содержания по собственному проекту, торговый центр, школу, тротуары, пусть переведет весь колхоз на звеньевую организацию труда — дело, в котором уже сейчас он не имеет

себе равных в области, его доклад об этом деле уже стоял на областном совещании передовиков и на научно-практической конференции, его уже залучали в аспиранты-заочники по этой теме...

А теперь выясняется, что все мои тактические расчеты были заведомо в пользу бедных. Молчал бы я или не молчал — все это не имело бы никакого значения. Потому что в это самое время — пока Семен тут разворачивался, вел колхоз к тому, чтобы он начал греметь, — Жоржиев тихой сапой готовил ни много ни мало — ликвидацию колхоза. Если нельзя убрать председателя, можно упразднить колхоз. Он все-таки не забыл, кто ему три года назад намекнул, что он, Жоржиев, не партия. Второе, о чем я вчера подумал, проводив Мишу Храмкова, — что если его приятель сказал правду, то анонимку на Семена Жоржиев оставит без последствий. Трепать волосы, когда снимается голова, незачем. Анонимка будет лежать у него в сейфе на всякий случай, до востребования. Вдруг кто-то предложит Семена директором укрупненного совхоза.. Или вдруг Семен вспаменится и станет доказывать, что ликвидировать колхоз нельзя, что принимать такое решение за его спиной — безобразие. Тогда-то донос и будет вынут из сейфа. Яичко будет ко христову дню.

В общем, так. Я буду ждать две недели. Если за это время никто не явится проверять анонимку, значит, мы действительно на пороге большой беды. Только тогда расскажу Семену. А пока прибавлять ему дрожи в пальцах ни к чему.

Слышу его шаги на крыльце.

Вошел и выпалил с порога:

— Приняли наш план!

И то, чтобы ежегодно продавать двадцать тысяч центнеров зерна, приняли. И то, чтоб вычеркнуть из плана всякое упоминание о свекле, приняли! И... в общем, все приняли.

Теряемся в догадках, думаем: надолго ли? Трудно, что ли, позже по ходу дела в рабочем порядке почеркать? Не было разве такого, что планы по пять раз за год меняли и всякий раз — в сторону повышения? Но пока что... Двадцать тысяч центнеров — чудо-цифра! Колхоз спокойно наведет порядок в севооборотах. Будет с кормами. Качнет себе денежек, ведь продавать-то в хороший год будет не двадцать, а все сорок тысяч центнеров, а сверхплановое идет вполонину дороже. А отсутствие в плане свеклы — разве не чудо? Через год, когда люди к ней еще больше привыкнут, Семен вставит ее в план — хозяйство будет считаться новосоюзным, а новосоюзному государство за смелость тоже дает немалый куш. И яиц Семен запланировал сдавать меньше, чем их будет, — пойдут на базар.

На этом плане колхоз разбогатеет, а государству того и надо, хуже-то он работать не станет, продуктов от него будет поступать не меньше, а в конечном счете намного больше, чем сейчас!

Радуемся, как дурачки, теряемся в догадках, мечтаем, опасаемся... После обеда приезжал Петрин, я с ним наконец познакомился и сразу же спросил, в чем дело, как это все понимать. Высокий, молодежово полноватый, на вид не особо властный человек с совершенно белой головой. Скрыто волнуясь, спрашивал зачем я тут так надолго, что буду писать, повеселел, когда я сказал, что для газеты — ничего, объяснил:

— Я и Сергунину говорил... Чтоб не противопоставлять нас области. Я что? Сегодня здесь, завтра там, а за мною тридцать тысяч крестьян, район страдает.

Он был заведующим школьным отделом обкома, а до этого инструктором, еще раньше — долго учительствовал. Когда стал здесь секретарем, его заметили областные газетчики, несколько раз о нем написали, а он по неопытности им не препятствовал. Писали же о том, какой он интересный человек: борется за звенья, толкует о душе крестьянина, может запросто сыграть им в поле на балалайке — лю-

бимом своим инструменте, готовит кандидатскую диссертацию по библиотечной работе. Жоржиев прочитал одну статью — хмыкнул, вторую — поморщился, и вот уже...

— Поедешь что просить, а к тебе, чувствуешь, настороженное отношение. Не надо противопоставлять.

Переживает, видно было, нешуточно, растерян, ему досадно, что попал, помимо прочего, в район, где этот Сергунин торчит костью в горле у Жоржиева. С планом, оказывается, все просто, хотя не очень понятно и ему. Из области никаких, совершенно никаких директив. Молчок. Он подождал неделю, другую, потом стороной узнал, что уже приняты планы почти всех районов, приняты без поправок, тогда решил отправлять свой.

— А если потребуют кромсать? — спросил я.

— О, мы люди государственные, наши колхозники поймут. Крестьяне ко всему привыкли.

Я заговорил о том, как это хорошо, что нынешний план кроме наведения порядка на земле сулит колхозам большие деньги.

— Ну нет,— испугался он,— мы понимаем: колхоз для государства, а не государство для колхоза. Мы против спекуляции, я и председателям так говорил.

Осанка внушительная, плечи широкие, а груз, пожалуй, не по ним — мягкие. Впрочем, это дело десятое, мы живем своей жизнью. Радуемся, теряемся в догадках, опасаемся. Миша Храмков, пожалуй, прав. Судя по тому, как вел себя Петрин, о предстоящей ликвидации колхоза он действительно ничего не знает.

У меня есть пятнадцать дней.

Сенная лихорадка

17 и юн я.

До завтрака Семен ездил в Рязанку на свеклу, читал там мораль бабам. Вернулся измученный. Зимой он уговаривал их, чтобы они отказались от нормы, согласились работать за аванс, а окончательный расчет получать в конце года по урожаю. Если не лениться и не халтурить, то восемь копеек за центнер и сорок рублей за гектар — условие хорошее, выгодное. Ивановские уломались, а эти, из Рязанки, раскричались, вышумели себе норму, чтоб было все по-старому. Он уступил, а теперь вот ездит и читает им мораль. Каждая вторая сидит дома, а те, которые все-таки выходят, гонят норму. Сколько растений остается на погонном метре, какой будет урожай, их не интересует. До завтрака он прочитал мораль, а после завтрака приехал проверить, и снова... Есть места, где на полутора метрах не оставлено ни листочка! Не полют, паразитки, не прореживают, а пашут своими тляками все подряд.

— Пожилые женщины, как же вам не стыдно! — корчился он передо мною за обедом, передавая свою речь.

Взъерошил волосы.

— Федоровну, что ли, к ним свозить?

Евдокия Федоровна Смирнова — председательница сельсовета, до сих пор я видел ее один раз мельком. Ей около сорока, очень, по словам Семена, щепетильная и раздерганная женщина. С детства и до последних лет была на рядовых работах — звеньевой, дояркой, лично заведовала фермой, продолжая чуть ли не каждый день доить, там начали расшатываться нервы, доконает их сельсовет — все эти семейные скандалы, соседские дразги, с которыми приходится постоянно разбираться.

Может, хоть при виде Федоровны у кого-нибудь заговорит совесть, рассуждал Семен.

На ней было платье в синий горошек, туфли, надетые на капроновые, чуть выше щиколоток, носочки, и белая косынка. Она худая

и стройная, платье сшито по фигуре, с пояском, открытые по локоть загорелые руки, простое загорелое лицо.

Ездили мы на двуколке.

Глядя, какие здесь двуколки, телеги, дуги, вспоминаешь Собакевича. Оглобли непомерно длинные, толстые, суковатые, дуги тяжелые, грубые, будто их не гнули, а небрежно вырубали из сплошного куска дерева. То же и тяпки: держак почти в рост женщины (чтоб полоть, не наклоняясь!), неподъемные, кривые, лезвия похожи на кетменные, сделаны из дисков лущильников, их не отбивают, как на Украине, а точат напильниками — смех и слезы. То же и с традиционной утварью в тех немногих домах, где она еще сохраняется. Ушаты, сита, скамейки, ухваты, формы для выпечки хлеба, деревянные лопаты, ложки, ковши, миски-плошки — все некрасивое, грубое, неудобное. Такое впечатление, что делал все это случайный человек из первых попавшихся досок, чурбанов, жердей для кратковременной надобности, чтоб не жалко было бросить. Эдакая то ли размашистость, то ли несуразность подневольного колониста, оставившего где-то свои корни и не желающего пускать здесь новые. Впрочем, могло быть и так, что явился он сюда с корнями, да только корни те были из деревни Собакевича. Гоголь ведь ее не придумал, ее нельзя не узнать, когда садишься, например, в трактор, на который пошло втрое больше металла, чем требовалось, или включаешь холодильник, грохочущий, как трактор.

Федоровна сошла с двуколки, сделала, глядя себе под ноги, шагов двадцать по свекле и остановилась. Семен не преувеличивал. Полото здесь действительно было как попало, в рядках то и дело встречались места, где на метре торчало два-три растения, а то и ни одного — серый свежевзрыхленный прах с полусасыпанными листьями свеклы, срубленной заодно с эсотом. Метрах в семидесяти от нас, спинами в нашу сторону, пололи женщины. Их было человек пятнадцать, подвигались они ходко, легко, в полный рост, не было ни одной отставшей, ни одной вырвавшейся вперед.

— Не пойду я к ним, Семен Алексеевич, — тихо и виновато сказала Федоровна, а закончила криком: — Я там в стерике забьюсь либо глаза первой наглай выдеру!

Семен взял ее под ходуном ходивший локоть и молча повел назад к бричке.

Мы поехали в Рязанку искать бригадира Вязгового. В субботу Семен специально приехал к нему давать указания о воскресных работах. Всех женщин во что бы то ни стало надо было нарядить на свеклу, трактористы должны были вспахать тридцать гектаров под опыты с поздними культурами и тут же их посеять. Семен перечислял эти культуры, Вязговой записывал, а на следующий день не ударил палец о палец. Женщин в поле не вывел, ни одного гектара вспахано не было. И вот уже двое суток Семен мается: кем заменить этого лодыря и хама? Нашли мы его возле кузницы, он как раз выпрягал для перековки лошадь. Сам невысок и худощав, а губы толстенные — сероватые влажные колбасы. Шевелясь, выворачиваются. Они словно специально созданы для того шлепающего мата, которым он всех здесь восстановил против себя. А голос жидкий, натура видно, некрепкая, самолюбивая и трусоватая.

— На свекле сегодня были? — спросил его Семен.

— С утра не отходил, — не моргнув глазом Вязговой.

Федоровна дернулась и отступила за мою спину. Она не могла на него смотреть.

— Кем же его заменить?

— Из молодежи кем-нибудь? — говорю я.

— Некем.

— Из боевых женщин?

— Некем, — сереет Семен.

Есть в Рязанке один человек, есть... Фамилия Долгих, пенсионер пятидесяти шести лет, удивительная биография. Был и председателем колхоза, и директором крупного завода в Новосибирске, и заместителем председателя облисполкома в Средней Азии, и председателем облпотребсоюза, и управляющим скотоводческим трестом в Казахстане. Отовсюду изгоняли за свирепое пьянство. Человек, как говорит Семен, редких способностей, умен, людей к себе располагает так, что они готовы за ним в огонь и в воду, год назад принял лошадиную дозу антабуса и теперь не пьет, копается в огороде и тоскует: здоровье еще железное, голова ясная как никогда, а делать нечего.

— Но... Как взгляну в его глаза — растравленные глаза алкоголика. Экспериментировать с ним опасно.

Так кого же ставить?

Незаменимых нет, писал я не раз в газете, свято место пусто не бывает, не может быть, чтобы в целой деревне нельзя было найти подходящего человека. А теперь смотрю и вижу... Вижу свеклу, баб, которые гонят норму не только потому, что они не заинтересованы в урожае, но и потому, что ненавидят своего Вязгового, баб, на которых, пока они не уломались на аккорд, нужен хозяйский глаз и крепкая, умелая рука, — и в душе готов простить Вязговому что угодно, если бы только в воскресенье он вывел их на поле. А сколько раз писал: не о свекле, мол, надо думать, не о ней в первую очередь.

19 и ю н я.

Отмечали день рождения Елизаветы Петровны, сорок первый, по этому случаю я присмотрелся к ней. На лице уже немолодой узорчатый румянец, кожа ссыхается в мелкие складки, особенно у губ и на шее. Семен на пять лет моложе, а свежее (когда в настроении) на все десять, тогда он кажется мне моим сверстником, хотя мне и до тридцати еще почти три года жить. Елизавета Петровна была первая его девушка, женился он на ней восемнадцати лет.

За столом больше всех говорил Папашка. Он рассказывал, обращаясь ко мне и Татьяне, о своей жизни.

— Я же слепой, один глаз у меня совсем затменный, а в другом пробент зрения. Новый человек придет — и лица не разгляжу, а если голос знакомый, угадываю. А вот в магазин пойду — такого случая не было, чтоб не сосчитал. Она весит, а я сейчас к этикетке прилуплюсь, там чернилами цена указана, мыслями переведу и все до копейки сосчитаю! Она матерьял меряет, а я уже знаю: рубль тридцать семь копеек.

К своей голове он относится с большим уважением.

— В голове одарёно было, да вот глаза пойти не дали. Два года в школе мучался, домой приду — плачу: не пойду больше! Спасибо ему, рядом сынишка писарев сидел, вётляный парнишка. Он напишет свои палочки и мне подсовывает: здесь — крючок, здесь — загогулина. Тогда закон божий учили, так я дома по псалтырю поползаю и отвечаю потом слово в слово. Ну, а как счет пошел, тут и моя взяла. Счас парнишка мне условию подсунет, я — раз-раз, учитель спрашивает, кто решил — и я руку вверх. Одна моя рука над классом!

Смущая тетю Нюру, молчаливую свою жену, рассуждал о Христе.

— Что Христос воскрес — этому я и робятенком не верил. Отцу скажу, а он мне порку, а я не верю еще боле. А что Христос был — верил и верю, только был это не сын божий, а такой мужик, руководитель, народом управлял — с рыжей бородой и нестриженный, раньше ведь не стриглись. Лежит на рисунке в гробу волосатый — только по бороде от бабы и отличишь. Он и прожил-то мало... А что воскрес — то глупые люди придумали, а может, и умные, да не простые, а начальники, ведь если воскрес — значит, есть загробная жизнь, это чтоб народ боялся, зла не творил и подчинялся — им, та-

ким народом, управлять легче. А разве сейчас можно управлять, если ничего не боятся и ни во что не верят?

Все эти дни и по утрам, и за обедом, и по вечерам у нас с ним и Елизаветой Петровной один и тот же нескончаемый разговор: о том, что плохо люди стали работать, о том, почему это так. Продолжался он и здесь. Зимой плотники строили склад, качали права, требовали, чтобы им платили зимние. Как только натянули крышу, склад рухнул. Оказывается, они, сволочи, чтоб себе полегче, столбы не вкопали, а вморозили. Ямы рыли в колено глубиной, и пока стояли морозы, пока земля была твердой, она эти столбы кое-как держала. Подтаяло — и они повалились. Елизавета Петровна говорила, что так не только в колхозе, но и в школе среди учителей. Когда она начинала, ни у кого не было часов, висели в учительской одни ходики — и никто из учителей на уроки не опаздывал. Это было в сорок пятом году, еще действовал порядок: за опоздание — долой четверть месячного, а то и полугодового заработка. Теперь часы на руке у каждого, рублем учителей не бьют («А кого бьют?» — вставлял Папашка), и учителя нередко опаздывают.

Папашка вспоминал, как в прошлом году помогал колхозу скирдовать сено. Его поразил скирдоправ. Нормальный вроде мужик, умелый, за такого его давно знают, потому и доверили править скирду, а он, Папашка, пригляделся своими бельмами и ахнул: края мужик выведет, а внутрь кидает сено как попало, внатруску, совсем не утаптывает.

— Что ж ты делаешь? Это вредительство, легче сказать нельзя! — возмутился Папашка. — Один дождь — и скирда сядет, второй дождь — и это уже не скирда. Гниль!

— Ой, молчи, — говорит ему скирдоправ. — Ой, молчи, а то возчики совсем бросят возить.

Возчики — школьники, они-то мужиком и командуют: не утаптывать. Их хвалят не за тонны сена, а за число скирд. Этот разговор расстроил Семена, он накинулся на жену: ты директор школы. Это твои кадры, ты ими гордишься, они у тебя сочинения на пять пишут. Она ему — про скирдоправа: это твои кадры, ты тоже ими хвалишься.

— Я хвалюсь?!

— А кто же?

Много, не по работе много стали платить, говорил Папашка, от этого народ и балуется, а деньги теряют силу. Много получают в колхозе — еще больше начинают требовать друг с друга: сложить ли печку, поставить забор, починить ли крышу. В прошлом году в школе надо было сделать дровяник, заплатить Елизавета Петровна могла сто сорок рублей, и кого она ни просила, все в один голос: мало. В конце концов за дровяник взялся Папашка с приятелем, таким же стариком. Управались за шесть дней, вышло по десятке с лишним в день на брата. Неужели это мало, возмущался Папашка.

— Везде хавос, — говорил он. — Везде...

А у самого в огороде стоит баня, которую зимой он почти не топит, потому что холодная, щели в стенах и потолке, а такая она потому, что колхозная, иначе он, по его же словам, и потолок бы сверху обмазал, и свет бы провел, в ней даже света, нужного по зимнему времени, нет...

Наговорившись, Папашка стал петь, все его песни были старинные, про тюрьмы да про остроги, еще — «Я на Вукраїне родился...», Елизавета Петровна цыкала, ей было за него стыдно, сидела красная, вся издергалась. Семен Папашку защищал, от всего этого за столом было напряженно, неприятно. Хмурилась, цыкала на деда и Татьяна. Она маленькая, нервная, выпуклый лобик туго обтянут гладкой кожей. Елизавета Петровна вчера устроила ей скандал: слишком короткое, под вид рубашки платье привезла дочка из города. Из-за

этого скандала та не пошла в клуб. «Ну как я пойду, если маме за меня стыдно?» — со слезами объясняла тете Нюре. Всем тут, черт возьми, друг за друга стыдно!

Для Семена Папашка — ровня, потому он его и защищал. Это интересная черта в Семене. Он честолюбив, мнителен, от этого при- нужден, в нем нет легкости. Хочет быть и главным, первым, лучшим, но чтоб смотреть на кого-то сверху вниз — этого в нем нет нисколько. Почти всегда скованный, он очень любит, когда другие раскрыты, тогда и сам становится таким же. От души, по-юношески возбужденно говорить о себе, о своих чувствах (и чтоб другой — так же) и есть для него счастье, и оттого, что оно выпадает редко, что большинство людей, как и он, настороже, слишком здоровы, взрослые, ему очень плохо. Распевшийся Папашка был для него подарком.

Елизавета Петровна большая демократка, она за то, чтобы у начальников не было привилегий, чтобы все делалось как записано, но неграмотный, свободно болтающий что ему вздумается, самозабвенно распеваящий про остроги отец — это для нее черная кость. Очень они разные люди, Семен и Елизавета Петровна, очень. Тут недавно у одной доярки погиб в автокатастрофе ездивший за чем-то в город сын восемнадцати лет. При мне ей на ферме принесли телеграмму, я видел, как женщина упала, каталась по земле. Прихожу домой, сообщаю Елизавете Петровне. Она спокойно — сначала чуть смутившись этого спокойствия, да тут же и утвердившись в нем, — начинает рассказывать о погибшем. Парень, говорит, был такой, что на земле ему и делать здесь нечего. Нигде не работал, ростом был мал, а задиристый, хулиганистый, пил — вот, мол, и вскочил там по пьянке или глупости. Учился плохо, кончил всего четыре класса, это говорит само за себя — сейчас не послевоенное время, больше четырех не тянут только лодыри. Детей у Смирновой (фамилия доярки) трое, теперь, значит, осталось двое, девки, у всех разные отцы, мужа у нее нет, такая здесь она не одна. Безалаберные, беспечные, рожать рожают, а доводить до ума не могут. Вот так Елизавета Петровна говорила, и я, слушая, оправдывал ее: обычное народно-житейское, честное у нее отношение. Если ей этого парня не жалко, то почему она должна делать вид, что жалко, — кому это нужно? Здоровое, здоровое отношение...

А сообщил Семену — и того как ударило, изменился голос.

— Это ж единственный у нее сын, — первое, что сказал он, а потом, что в самое последнее время парень начал вроде чуть-чуть выправляться, мать много с ним возилась.

Такие они, Елизавета Петровна и Семен, разные. А любят друг друга очень, особенно она его. Это чувствуется и в том, как зовет его Сергуниным, как беспокоится, когда он где-нибудь задерживается: «Нет нашего колхозника!», как бежит к телефону, когда звонит Семен. Его звонки она угадывает безошибочно. И все равно добром (ой, не накаркать бы!) у них не кончится.

20 и ю н я.

Сенокос приближается, напряжение растет, контора пишет всю. Областью разработаны, разосланы в районы, распечатаны в газетах рекомендации по оплате труда на сенокосе. В первые пять дней платить столько, во вторые — столько, при таком-то урожае — так, при таком — элак. Суммы огромные, но система чудовищно сложная, требует мелочного учета, применять ее всерьез никто не будет, все будет делаться формально, денег раздадут мешки, а подлинной материальной заинтересованности все равно не получится, сена эти деньги не прибавят, только утяжелят себестоимость. Придет зима, начнется счет-подсчет, и с председателей за эту себестоимость будут снимать головы.

Вчитывался я в сей труд часа полтора, зачем-то даже конспек-

тировал. Денег-то они колхознику обещают торбу, а сена — клок, жалкие десять процентов от накошенного. Что скажет об этом труде Семен? Что сделает? Ведь это ж так только называется — рекомендация, а в действительности это команда. Травы стоят пока хорошие, до поймы сушь еще не докатилась, но если он примет эту команду, то сколько из этих хороших трав будет накошено сена? На деньги колхозник не позарится, корова денег не кушает, бумажками колхозника в работу до седьмого пота не увлечь. Боюсь спрашивать, сыпать Семену соль на рану, буду ждать, когда заговорит сам. Газета с рекомендациями лежит у него на столе, испещрена подчеркиваниями, пометками, но он пока молчит.

Я все думаю, думаю об этих рекомендациях. Чего хотели составители? Конечно же, соблюсти общий интерес. Чем меньше сена будет во дворе колхозника (десять процентов), тем, мол, выше будет колхозный стог (девятьюсто). Чем меньше получит каждый в отдельности, тем больше останется для всех вместе. Арифметика простая, да только делится-то продукт, которого еще нет, сено еще в пойме. Значит, деля этот еще не добытый продукт, надо, казалось бы, в первую очередь думать о том, как этой дележкой добиться одного, главного: чтобы сено не осталось на корню, чтобы людей неудержимо потянуло в пойму. Тут арифметикой не обойдешься, тут нужна высшая математика. Жоржиев, одобрявший рекомендации, до нее явно не дорос и уже, наверное, не дорастет. А Семен? Что-то долго он молчит.

21 и юн я.

Весь день Семен провел в Гусь-Пристани, а под вечер, не заезжая домой, полетел в Рязанку: говорить с народом. Рязанка допекла его своей расхлябанностью. Часа через полтора в Ивановку оттуда примчался Осип Викторович, на всем скаку затормозил у конторы, посигналил, не выходя из машины, и погнал дальше по селу. Вскоре к конторе потянулись начальники, прошел, соблюдая важность в быстром шаге, и Барчуков... Спустя несколько минут шибитый начальниками и членами правления «газик» понесся в Рязанку.

Наблюдая за этой суетой, Елизавета Петровна смеялась:

— О, всем там сейчас будет разгон!

Вернулся Семен в час ночи, я специально не ложился, мне не терпелось узнать, что там и как.

— Ну,— сказал он,— сегодня я пошел на вы.

Сначала, оказывается, он собрал одних стариков («там мужики разумные») и стал их пытаться: в чем дело, почему хромает дисциплина, отчего такое ослабление трудового накала? Старики сначала мялись, потом один сказал: если, мол, Вязговой будет людей «поматеривать», так «неиндивидуально» с ними обращаться, то распустим всю Рязанку, потеряем всех. Сразу после этого Семен созвал собрание бригады, и там люди сказали то же самое. Тогда-то он и погнал Осипа Викторовича в Ивановку.

Восемь из двенадцати членов правления проголосовали за то, чтобы Вязгового гнать.

— Теперь называйте, кого вы хотите,— обратился Семен уже не к правлению, а к собранию.— Вам с этим человеком работать, называйте ответственно.

Назвали Григория Александровича Долгих. Да, его. Говорили: человек был на таких высоких должностях, еще недавно ему в Новосибирске подчинялся целый завод, и претензия к этому человеку была только та, что запил, но теперь же он не пьет. Подумать, говорили, и о другом. В городе у человека была квартира, никто ее у него не отбирал, он мог бы тихо-мирно жить в ней на свою военную пенсию, прирабатывал бы где-нибудь по гражданской обороне, возился бы с внуками — в Новосибирске у него женатый сын, летчик.

Григорий же Александрович все это бросил и, заглотнув лошадиную порцию антабуса, вернулся на родину, к ним в Рязанку.

— Намек я тут вижу такой,— сказал один старик,— что человек рассчитывал, что мы от него не откажемся.

Призвали Григория Александровича. Быстрым шагом, высокий и сухой, в новой полевой офицерской форме без погон, он вошел в зал, резко поклонился людям и вытянулся перед ними у стола президиума. Допрашивали его с пристрастием, но только по одному пункту: насчет антабуса. Можно ли верить в это зелье вообще и какого на сей счет мнения сам Григорий Александрович в частности? Отвечал он быстро, твердо, утвердительно.

Потом слушали его соседей, все в один голос поклялись, что, с тех пор как он поселился в отцовской избе, а это уже целый год, ни выпившим, ни пьяным его не видели. После этого проголосовали и разошлись. Проверка ему будет серьезная, говорит Семен. Прополка свеклы, подготовка к сенокосу, сенокос. Смотреть Семен будет по тому, как пойдут дела и что скажут люди... хотя в душе у него большой надежды на антабус нет — глаза Григория Александровича еще остаются растравленными.

Он пошел ложиться, а я сел все это записать. Только что он зашел ко мне: не спится. Заговорил о стариках: какие все же разумные там, в Рязанке, старики. Вязговому бы постоянно их собирать, советоваться с ними, с их помощью мог бы играючи управлять селом... Так нет же: самолюбие, глупость, лень.

Заходил в белых трусах, без майки. Городская манера — спать без майки.

25 и ю н я.

Сегодня Семен наконец заговорил. Разработанная областью система материального поощрения на сенокосе — дюле, сказал он мрачно. Я засмеялся над этим странным словом, неизвестно как попавшим в Ивановку, он криво ухмыльнулся. У него, естественно, уже придумалась своя система. Пусть люди косят исполу. Вместо десяти процентов накошенного сена им пойдет пятьдесят. А деньгами получают за все сто. Я ахнул. Половину колхозного сена раздать по дворам, а к сену еще и деньги, полную зарплату?! Он что, сошел с ума? Нет, лицо, смотрю, спокойное, речь, слушаю, членораздельная. Травы нынче, говорит, богатые, и если взять их все, то колхозному скоту хватит и третьей части, еще и на продажу останется. Но чтобы травы были взяты все, людей надо заинтересовать. Не скупиться, не хитрить, не считать их дурачками.

Ленивый вдвое дольше работает, скупой в два раза больше платит. Именно так до сих пор и было. В прошлом году сначала косили каждый на себя, потом все вместе на колхоз. На себя махали литовками и за неделю намахали тысячу двести тонн. Ленивых не было, махал и стар и мал, на эту неделю выздоровели все больные. Потом пришла очередь колхоза. На колхоз валили машинами, и за шесть недель навалили восемьсот тонн. Ленивыми были почти все, стар кряхтел на печи, млад бил баклуши, а выздоровевшие опять слегли.

Пословица устарела. Ленивый работал не вдвое, а в шесть раз дольше. При этом он получал неплохую зарплату, и сено обошлось в четыре рубля центнер, почти как пшеница, а могло бы обойтись в рубль. Так что и скупец — заплатил он не вдвое, а вчетверо, пословица устарела и в этой части. Скупцом не по своей, понятно, воле был Семен. Заплатил он вчетверо, а лодыря работягой все равно не сделал. Сумасшедшим он, следовательно, был в прошлом году, не в этом.

Я бродил после нашего разговора по селу и думал... Ближе узнать человека вредно, притупляется вкус. Если бы в своем деле я совершил что-нибудь равное тому, что Семен собирается совершить

в своем, меня бы читали нарасхват. А на Семена смотрю и оттого, что знаю его близко, должен отряхиваться от мелочей, чтобы понять: передо мною — талант, личность из ряда вон.

27 и ю н я.

День я эту Ивановку люблю, а день ненавижу, из чего следует, что самое разумное — относиться к ней спокойно.

Вчера было собрание о сенокосе. Великолепный, революционный план Семена встретили в штыки и едва не провалили. План к тому же простой, как не знаю что, увидел я, вникнув в подробности.

В колхозе два механизированных отряда, за ними закреплены все посевы и луга. Эти отряды и дадут основное сено для ферм. Чтобы было где развернуться с техникой, косить они будут на ровных местах, на широких луговинах. Остальные колхозники сбиваются в группы кто с кем хочет, берут литовки, лошадей, трактора с телегами и косят в кустах, неудобях. Половину накошенного отдают в колхоз, половину делят между собой.

Вот так все изложив по первому разу, Семен тут же пошел по другому, только теперь — по пунктам, по новшествам. И так медленно, громко, занудливо-раздельно, будто диктовал диктант. Новшество первое. Между собой колхозники делят не десять процентов, как до сих пор, а пятьдесят, половину. Новшество второе. Колхоз платит им не только за уборку того сена, которое пойдет на фермы, но и того, которое пойдет по дворам. Новшество третье. Работают не каждый в отдельности, а сообща. Это — чтоб можно было как следует использовать рабочую силу и тягло, включить в общее напряжение ленивых и хитрых, наравне со всеми обеспечить сеном вдов, больных и слабых. Новшество последнее и едва ли не главное. Платить только за центнер. Никаких гектаров или выходо-дней, потому что иначе, как показал опыт, денег на оплату расходуется много, а кормов добывается мало и сенокос растягивается на полтора месяца. Отсюда неизменно дорогое, убыточное молоко.

Семен сел, я ждал аплодисментов.

— Когда мы отживем эти проценты?! — в полной тишине прогремело с заднего ряда.

Это мне даже понравилось. Те года им доставалось десять процентов и никто не говорил ни слова, а теперь — мало и пятидесяти.

— Хватит тереть наши плечи процентами!

На сей раз ударение было поставлено правильно, но крик был оттуда же.

Мы с Семеном сидели во втором ряду (он почему-то не захотел в президиум). Настроенный еще беспечно, я подмигнул ему: держись, мол. Именно там, в задних рядах, и зарождается глас народа.

В следующую минуту нам уже было не до шуток.

В зале возник и больше не прекращался густой, мощный, ровный и оттого как бы отдаленный гул. Этот гул не только не заглушал речей — они звучали, казалось, даже отчетливее, чем если бы стояла обычная тишина.

Проект Семена не обсуждали, не критиковали. Его отвергали с ходу, без всяких объяснений, и каждый сразу же переходил к своему проекту. Свой объяснял подробнейшим образом. Не надо нам твоего хорошего, оставь нам наше плохое... Скоро я заметил, что выступавшие делятся на две группы. В первую входили мужички низкорослые, на вид жидкие, дерганые. Особый вес в этой группе имел пастух Максим Федорович — пастух не простой, из бывших активистов, речистый. Несмотря на жару на нем был заскорюзлый дождевик, глаза метали искры.

— Сенокос любит горячую пору, он любит вёдреную погоду, а мы затыгиваем на полтора месяца. Почему так? Наши руководители, наши бригадиры с косогора смотрят на сенокос! Работать мы стали

легко, много расплодилось этих, как их — крохоборов. На сенокос пойти — пузо лопнет. Вот вам и факт, вот мы как работаем!

— Я хочу спросить, — взвился после него, завершая этот мотив, рассыльный Венька и сдернул с себя кепку. — Нам нужен народ или не нужен?! Этот — тракторист, этот — машинист, а я — сукин сын? Прижимаем мы людей, прижимаем. Сейчас жизнь легкая, а оно, такое, само по себе давит...

Проекты этой группы сводились к тому, чтобы работать скопом, ничью выработку не учитывать, а сено делить всем поровну. Главное же — покричать за правду, отвести душу.

Вторую группу составляли мужики крупные, густые, немногословные. Начальство они не задевали, на дерганных смотрели как на пустое место, выступали за то, чтобы не мудрить. Пусть мехотряды косят для колхоза, выполняют план, потом дня на три в колхозе прекращаются все работы — и вот сколько кто за эти три дня себе накосит, то и его. Никакой оплаты, никаких процентов. Смысл был яснее ясного: кто-кто, а я без сена не останусь, сила есть, охота есть, жидкому вперед меня не успеть, лучшие уголья будут мои, поэтому мне от колхоза ничего не нужно: ни техники, ни денег. Мне только не мешайте, на себя я тогда и без ваших денег накошу сколь надо. А то, что наберется сверх этого «надо», продам зимой жидкому и буду с деньгами. Передо мной как бы оживала мирская, столетней давности, сходка, где жидкие громче всех кричат, а все делается, как решат густые. Нет, конечно, несколько голосов прозвучало и за проект Семена. Выказались, например, начальники мехотрядов Кародин и Ткачев — оба рослые, подтянутые, в отутюженных костюмах, сознающие свое особое, новое положение и достоинство: сами прекрасные механизаторы и в то же время без отрыва от поля, от трактора — власть, сила, от которой, в сущности, зависит все. Об этом они и говорили, спокойно, внушительно, с чуть высокомерной досадой объясняли рассыльному Веньке, что произошло, что безвозвратно изменилось на его пьяненьких глазах, пока он, шмыгая носом, разносил по селу сельсоветские бумажки. Техника стала решать все! Но повести за собой зал они не могли — слишком далеко ушли вперед, слишком высоко над ним стояли. В свете прожекторов прущего своим путем трактора вся эта свара жидких с густыми для них уже была обстоятельством, не стоящим внимания — трепыханье мотыльков, не больше.

Семен хмыкнул, встал и резко взмахнул рукой в сторону президиума:

— Давай перерыв!

Он улыбался. Выходя из зала, люди озадаченно оглядывались на его улыбку, от этого она делалась все шире, и под конец он уже смеялся во весь рот — беззвучно и с таким добрым лукавством, словно они дети, а у него для них приготовлены подарки. Вернутся — и получат.

— Ну так, — сказал он им после перерыва, — кто чего хочет, мы тут прояснили.

Тон его был неожиданно мрачный, в зал Семен смотрел исподлобья.

— Все упирается в литовку. Никто уже не хочет махать литовкой — так, Максим Федорович?

Пастух, ерзя, зашелестел дождевиком.

— Но колхоз без литовки пока не может, — продолжал Семен, — поэтому поясню: махать придется... Один не хочет махать вообще — это симулянт. Другой не хочет махать на колхоз, это труженик, только труженик для себя. В чем же мой смысл?

Его мрачность как-то быстро, но плавно перешла в глубокую, задушевную серьезность.

— Мой смысл вот в чем. Заинтересовать труженика, чтобы он был тружеником не только на себя, но и на колхоз — это первое. Второе — чтобы симулянт не сел ему на шею. Кто меня понял, после собрания объяснит тому, кто не понял. Договорились?

Президиума давно не было — места он занимал, но и только.

— Теперь давайте по пунктам. Платить только за центнер! Принимаем?

И пошел шпарить без передыха.

Принимают они или не принимают — этого он не слушал.

День я все это обдумывал, потом стал его допрашивать. Почему он, такой всегда щепетильный, не постеснялся проделать это так грубо: не просил хотя бы для виду себе слова, не ждал и не считал голосов?

— Так все же знали, что я прав! — сказал он.

Это мне тоже было понятно. Но почему не довел дело до того, чтобы люди подняли руки? Ведь они бы подняли — в душе они сами это знали не хуже его.

— Это было бы лишнее, — сказал Семен.

— Почему лишнее?

— Некрасиво было бы, злобно с моей стороны.

Пожалуй, так. Человек он чуткий поразительно... Вынудить их к дружному поднятию рук — значило бы куражиться над ними. Вы, мол, только что были против меня, а вот сейчас все вы будете за...

А пьесу из старой общинной жизни это собрание напоминало все же здорово. Казалось, еще чуть-чуть, и все будет как встарь — как решат густые. А жидкие, изведясь в праздном крике, разойдутся, чтобы опять копить в себе горечь да лелеять вековечную, описанную Глебом Успенским мечту: всех поравнять, всех свести под одно

Но тут между ними встал Семен.

29 и ю н я.

Приказано немедленно начинать сенокос. До второго июля накосить двести тонн, до пятого — семьсот. Такую разнарядку Семен привез сегодня из Гусь-Пристани.

Контора пишет.

Только вчера мы в который уже раз осматривали луга, и вечером на заседании правления было единогласно решено, что раньше пятого выезжать в луга нельзя — трава еще молодая. А в Гусь-Пристань разнарядка пришла от Жоржиева. Ему, сидящему в двухстах километрах, виднее, что у нас тут за трава. По колхозам разнарядку делили у Петрина. Семен, понятно, не смолчал — один из всех. Посадив его, Петрин поднял районного агронома:

— Завтра поезжай и найди ему готовую траву!

Семен рассказывал об этом за ужином. Он положил ложку, уставился в пространство.

— Надо бежать в библиотеку...

— Там то же самое, — ухмыльнулся Папашка.

— Тогда — ловить сусликов.

Люди ездили по лугам, смотрели, обсуждали, принимали решение. Взрослые люди... Размышляли, взвешивали, хлопотали, волновались. Омывая, очищая, питая их шевелящиеся шарики, струилась по жилам кровь...

Все это было ни к чему. Нужно было ловить рыбу, загорать, потягивать, сидя на берегу, пиво и ждать разнарядку.

Ничего тут для меня нового, непривычного, а тело все равно как ватное.

Тоска. Буду сейчас читать «Дом с мезонином». Между прочим, две недели прошло. Проверять анонимку никто не явился. Неужели я прав в своем расчете? Пора открывать все Семену. Открывать и

думать, что делать, как спасать колхоз. Каково ему будет приступить к сенокосу с такой новостью на душе?

Потяну еще дня два.

30 июня.

Приезжал районный агроном, взял Семена, Барчукова, бригадиров, опять осматривали луга, те, которые не в поймах, можно начинать косить, сказал он. Семен решил согласиться. Пока выедут на эти луга, пока раскочаются — глядишь, подойдет и пятое число. Но никаких двухсот тонн ко второму и семисот к пятому, разумеется, накошено не будет. На бумаге, впрочем, накосят. Ко второму — двести одну, к пятому — семьсот три.

— Не озорничай, — сказал я. — Цифру посылай круглую. Кто поверит в такую точность — до тонны?

— А в круглую тоже никто не поверит.

Сегодня почему-то вспомнил про выпускные экзамены в школе. Седьмого июня восьмиклассники писали сочинение. Рано утром Елизавета Петровна объявила, что управляться по дому мы должны будем без нее, а между тем все сделала сама; сготовила, подмела, что-то даже простирнула, с поразительной быстротой и сноровкой. Потом она на продолжительное время исчезла в дальней комнате, вернулась в строгом голубом костюме на осанистой фигуре, с тугим узлом волос на затылке, символическим слоем пудры на лице и помады — на губах.

— Пошла! — помахала запечатанным конвертом, в котором были темы сочинений.

Дома она появилась во второй половине дня. Теперь это была девчонка. Она кружилась по комнатам, щебетала, стукнула о стол бутылкой черносмородиновой.

— Распечатываю конверт — все глазенки на меня. Начинаю писать на доске, а у них рты до ушей. Все темы-то знакомы, мы целый год их разбирали. «Если тебе комсомолец имя...» — раз! «Мой современник» — два! «Онегин и Ленский» — три!.. Литературы тоже надо немного... Ребятишки, правда, дошлые, молодцы, третью тему никто не взял. Нет, вру. Нет, не вру! Одна девочка спрашивает: «А можно я на тему о современном про Татьяну Ларину напишу?» Вообще-то, говорю, можно, если связать Татьяну с сегодняшним днем...

Я открыл бутылку, она пригубила из рюмки.

— Гляжу, пишет моя Галька что и все!

— Не смогла, бедняжка, связать?

— Ну да. Экзамен все ж таки... Двойки не будет ни одной, четверок — штук шестнадцать и одна пятерка. Темы хоть и знакомые, а напряжение все же большое, одна девочка в обморок упала.

— И у кого пятерка? — спросил я.

— У Синицыной, Отличница с первого класса, Моя звезда! Я ее в район на конкурс писать выдвинула. Прочитай! — Она положила передо мной стопку сочинений, сверху было Синицыной. — Побольше бы для науки таких. Умница, скромница, опрятница...

Я, конечно, подозревал, что для написания таких сочинений знаний литературы требуется немного. Но чтоб не требовалось никаких знаний, чтоб пятерку обеспечивало только отсутствие грамматических ошибок и наличие известного набора общих фраз — так далеко не заходил. Елизавета Петровна ждала отзыва.

— Хорошее сочинение, — сказал я.

2 июля.

Давно не был в обстановке такого ожидания дождя и давно так ему не радовался — вчера наконец прошел. Обычно он чему-то нужен — например, свекле, а для чего-то лишний — например, для огородин. Тут же редкий случай: дождь нужен и пшенице, и свекле, и огородине, и травам. В спор Семена с Жоржиевым вмешалось не-

бо и сказало свое решающее слово. Сенокос теперь начнется, как мы и хотели, — не раньше пятого. К небу ближе все-таки Семен со своими людьми, не Жоржиев!

До обеда стояла жара, состояние было сонливое, унылое, уже хотел идти купаться — и тут полило. Прильнул к окну — прибитой пылью пахло даже сквозь стекло. С лопатой в руках, в кожаной шапке и сапогах, но без плаща Папашка выбежал на улицу, стал направлять ручей с дороги в палисадник, на малинник. Вместе с дождем летели крупные синие градины. Скоро все кончилось, некоторое время было тихо и, хотя солнце было за плотными тучами, сильно парило, потом поднялся ветер, к вечеру почти все высушил, и стало так, как будто ничего и не было.

А в полночь окно вдруг осветилось синим, послышался густой, ровный, сильный шорох — снова дождь.

Шумело всю ночь, моросит и сейчас утром. В доме у нас приподнятое настроение. Елизавета Петровна видела Барчукова, ехавшего в поле проверять, глубоко ли промочило. Видела, как и возвращался. Промочило, сказал, на глубину спичечного коробка, верхняя влага с нижней еще не встретилась, но и то, что есть, уже хорошо.

Хорошо все: мокрые стены бревенчатых домов и сараев, мокрые крыши, по-особому белеющие поленницы во дворах, неторопливо идущие по улице люди. В городе, когда дождь, люди спешат, щелкают зонтиками, а здесь шагают медленно. С удовольствием смотришь даже на буксующую машину. Буксует — значит, дождь уже поработал.

Как это все же для меня много — вернуться к деревенскому, памятному по детству восприятию погоды, когда оцениваешь ее не по тому, какие удобства или неудобства бывают от нее тебе, а по тому, что она несет полю, лугу, скоту. Это взгляд деловой, хозяйский, но в то же время его ни в коем случае нельзя назвать чисто головным, тут включена и душа, замешана красота, поэзия, есть детское, покойное и благодарное, чувство зависимости от природы, связи с природой. Только тогда, в детстве, это чувство было безотчетным, а теперь оно осознанно, я могу его назвать, разложить, но от этого оно не тускнеет, а делается, может быть, даже свежее, острее.

Красота, однако, красотой, а если бы мне был безразличен Семен, если бы мне было все равно, что будет с его полем, лугом, скотом, мое отношение к этому дождю наверняка было бы иным, душа оказалась бы выключенной.

И вот подумаешь... Забраться бы в лодыря, вот в этого хотя бы Веньку — серенького, кривоногого мужичонку, который, прожив сорок лет, ни одного дня толком не работал ни в колхозе, ни дома. Интересно: как относится к погоде он? А восемнадцатилетние здоровяки — их становится пугающе много, — которые, окончив восемь классов, объедают безответных матерей (отцы или пьяницы или нет их вовсе), праздно болтаются по селу, ожидая призыва в армию, если не в тюрьму за какую-нибудь пустую драку. Как они?

Послышались голоса на веранде, и ко мне в комнату, одной рукой сдерживая мокрую кепку, а другой доставая из внутреннего кармана конверт, вошел Миша Храмов, родная душа.

На этот раз анонимка была снабжена заголовком «Разбазариватель колхозного добра и здоровья». Над заголовком, в правом верхнем углу, красными учительскими чернилами (все остальное — синяя авторучка) насчет того, что копия отправлена Жоржиеву.

«В то время как существует твердая и справедливая политическая линия по вопросам оплаты на сенокосе, товарищ Сергунин имеет свою цель. Оставить без кормов колхозные фермы. Половину колхозного сена решил раздать в индивидуальный сектор за деньги не с сектора, а с колхоза по полной расценке. На что колхозное собра-

ние не пошло, но он поставил себя выше, заявив, что пока он здесь председатель, что хочет, то и делает. А дочка приехала и ходит по улицам в обнаженном платье, в то же время школьников советской школы заставлял грубо и бездушно нарушать трудовое законодательство работой с утра до ночи под видом, что хотят, не думая о возрасте и будущем здоровье... В Рязанку поставил в нарушение колхозников и всякого здравого рассуждения опороченного и давно изобличенного тов. Долгих, которому нигде нет места, и вернулся издеваться над народом. Так что можно сказать, что колхоза уже нет и скоро совсем не будет».

Строка красных учительских чернил выдавала Барчукова. Таки-ми чернилами, вспомнил я сразу, была сделана надпись на фотографии, которую он показывал мне месяц назад. «Я, муж и отец Илья... Дочь Рая, математик...» Эту надпись часто смакует Осип Викторович. Молчит-молчит за своей баранкой и вдруг важно, отдельно, тоном Ильи Кузьмича скажет: «Дочь Рая, математик».

На пороге беды

3 июля.

Оказывается, что-то похожее в жизни Семена уже было, один его колхоз уже упразднили, всю эту механику он знает по собственному опыту!

После агрошколы он работал агрономом в Константиновке, и там его через два года избрали председателем. Выдвигал его все тот же Мельников, тогда самый молодой первый секретарь райкома в области и потому не считавший, что Семен не вышел годами. Голосовали люди за него с удовольствием, а через полтора месяца пришло решение: Константиновку присоединить к соседнему совхозу, а Семена рекомендовать туда партторгом. Дело происходит зимой. На несколько дней Семен оказывается един в двух лицах: еще председатель упраздняющегося колхоза и уже партторг укрупняющегося совхоза. В роли председателя он передает хозяйство колхоза, а в роли партторга помогает директору совхоза это хозяйство принимать. А у колхоза перед людьми долг: они еще не получили заработанный ими летом хлеб. Хлеба в хозяйстве нет, весь давно отправлен государству, но семенное зерно осталось.

— И ты что, решил эти семена раздать?!

— Ага,— осклабился он.

Совхоз, прикинул Семен, без этих семян обойдется, а если их сейчас не раздать, колхозники своего хлеба не получат никогда. В лучшем случае им заплатят деньгами. Семен же, когда его избирали председателем, дал людям честное слово, что колхоз рассчитается с ними не деньгами, а хлебом будущего урожая.

Директор совхоза ни в какую, пусть получают деньги.

А Семену с этими людьми, теперь уже в роли партторга, продолжать работать, и обмануть их ему никак нельзя.

Директор на Семена — докладную в область самому Жоржиеву. Да-да, с Жоржиевым у них началось еще тогда! Семен летит на почту и отбивает телеграмму в Москву. Так, мол, и так, намечается обман колхозников, а ему, Семену Сергунину, с ними, сами-де понимаете, работать, поднимать сельское хозяйство. Начальник райсвязи в тот же час кладет эту телеграмму перед Мельниковым.

— Ты что там хулиганишь? — звонит Мельников Семену.— Приезжай.

Семен едет, рассказывает. Мельников слушает, несколько раз простреливает быстрыми своими шажками слишком большой для его росточка и слишком тесный для его баса кабинет... Мельников целиком и полностью за Семена, он сам был председателем, но ведь в области у Жоржиева лежит докладная директора.

— Завтра приеду,— останавливается Мельников,— соберем партком. Как партком скажет, так и решим. Ты понял?

— Понял.

— Что ты понял?

— Что у меня одна ночь.

Чтобы обойти членов парткома (тех из них, кто еще оставался колхозником и уже был совхозником), Семену хватило, впрочем, и вечера.

Утром в кабинете собираются трое: директор, Мельников и Семен. Мельников предлагает сначала побеседовать с каждым членом парткома в отдельности, а потом уж заседать. Семен работает «челноком» — из кабинета в предбанник бежит один, в кабинет из предбанника возвращается с кем-нибудь вдвоем. Один, второй, третий, пятый — все за то, чтобы семена колхозникам раздать. За это даже совхозные члены парткома!

— Как же не раздавать, если они уже мешки приготовили?! — говорит последний.

Директор, тучный хохол лет под шестьдесят, мрачно смотрит на Семена, тот — сама невинность. Тогда еще не пил, не курил, лицо и впрямь было ангельское.

— Что ж,— поворачивается директор к Мельникову.— Наверное, и заседать не надо?

— Я тоже так думаю.

Втроем выходят в предбанник.

— Заседание отменяется,— сообщает Семен собравшимся.— Нас срочно вызывают в райком.

...Но тогда над Семеном был Мельников. А теперь Мельникова нет. Теперь даже Петрина нет, он уехал сдавать кандидатский минимум. Тема диссертации, над которой он трудится,— библиотечная работа на селе в современных условиях.

4 июля.

Выехав за село, мы остановились на голом взгорке, любовались видом. Внизу справа была зеленая пойма с белыми крапинами коров, за нею виднелись рощи и опять луг, еще дальше — поля в сизом мареве. И совсем уже далеко над горизонтом светились голубым горы, образуя своими очертаниями мягкую текучую линию. Внизу слева лежало село, отсюда оно казалось зеленее, чем на самом деле, ярко белели шиферные крыши. За последний год этих крыш стало на двадцать шесть больше. К осени осуществится цель, которую Семен поставил перед собой три года назад, когда его вернули сюда,— в Ивановке не останется ни одной хибары.

Несмотря на долгую сушь, пшеница все-таки худо-бедно кустится, в каждом кусте не меньше двух продуктивных стеблей, последний дождь свое уже, считай, сделал, будет, прикидывал я, центнеров пятнадцать на гектаре. Семен мою цифру снижал до тринадцати, а это по здешним местам тоже неплохой хлеб. Хорошо действует на душу пребывание в поле. Все кругом зеленое, над головой высокое небо. Семен, когда ему муторно, выезжает обычно не в лес и не к реке, а в степь — побудешь, говорит, среди посевов, и чувствуешь, что мути стало меньше. Трепетали жаворонки.

Объехали всю свеклу, побывали в каждом звене. Семен везде одно и то же: быстрее, быстрее. Одно и то же и женщины — Семену: когда он отпустит их на сенокос? Мыслями они уже на лугу, с прополкой торопятся, не то что в первые дни, и полют лучше. Свекла, кажется, будет неплохая («Уберем, самогонки насидим!» — шутил Семен), а сено, и это уже факт, прекрасное. В голосах и глазах женщин было то приподнятое беспокойство, которое охватывает сельского человека всякий раз, когда одно удачное дело подгоняется другим. В этом чувстве приподнятого беспокойства есть оттенок, придающий ему нравственный смысл. Я говорю о безотчетной, безадресно рас-

пльвчатой благодарности, растроганности. Человек ведь знает, что хороший урожай, сколько ни трудись,— все еще милость природы, счастливый случай. Пусть этого случая в его удаче один процент, но процент-то решающий, и радость уважающего себя человека должна быть поэтому смиренной.

В Ивановке, как и в Рязанке, есть совет старейшин. Я, честно говоря, не предполагал, что Семен относится к нему серьезно, а оказывается, да, очень. Стариков он часто собирает, подолгу с ними говорит, и они немало делают: помимо того что создают настроение в селе, дежурят по очереди на фермах, инспектируют полевые работы. Всего их двадцать три человека, но при мне к Семену на очередное заседание пришло двенадцать, остальные приболели или были заняты. Пришли мужчины и женщины, всем за семьдесят, но женщины выглядели моложе. Говорили о начавшемся сенокосе. Завтра по одному — по двое они в последний раз объедут все луга, будут окончательно решать, где когда косить. Им выделены лошади с бричками и машины. Семен подробно записывал, кто с кем и на какой участок поедет. Старикам, видел я, это нравилось. Двое будут дежурить у пшеничного поля на околице. Решено дать крупный бой потравам. Будут засекаать коров в пшенице и тут же на месте составлять акты.

Обсудив с ними все это, Семен закрыл блокнот, но отпускать их по домам не спешил. Ему явно хотелось посидеть с ними подольше, в их присутствии он отдыхал, наслаждаясь тем, что это единственное в своем роде заседание, на котором ни с кого не нужно требовать отчета, некому — предъявлять претензии, некого — ловить на брехне, не с кем — бороться.

Легли мы рано, не было двенадцати, а в три я проснулся и пошел к реке. За селом меня догнал Семен. Гуляли... У нас нет времени, а дело как раз такое, что надо семь раз отмерить. Мы в лихорадке, а головы как никогда должны быть ясными.

Во-первых, надо выяснить, не слух ли все это, не сплетня ли. Что-либо предпринимать (а что, что?!), не зная точно, существует ли областное ходатайство о ликвидации колхоза, нельзя ни в коем случае. Конечно, юридически последнее слово за общим собранием колхозников. Это нам известно. Строго говоря, можно ничего не делать, просто ждать общего собрания и там дать бой. Но выиграть его после того, как бумага будет одобрена правительством? Это почти невозможно, правительство есть правительство. Ведь когда к нему обращаются с такими ходатайствами, то само собой разумеется, что дело уже обсуждалось и в районе, и в колхозе — на заседании парткома как минимум. За такой бумагой стоят (по идее, в которой Москва не усомнится) мнение местных властей, расчеты специалистов. Такая бумага представляет собой серьезное экономическое обоснование, почти научный труд, в котором должно быть доказано, что колхоз, став частью совхоза, не окажется на шее у государства, а если окажется, то — почему так надо. Если же колхоз процветает, то тем более важно доказать, с какой это стати процветающий колхоз должен быть упразднен. Думать, что интересующая нас бумага не имеет такого солидного, внушающего доверие вида, не приходится, Жоржиев не дурак. В общем, ждать собрания, чтобы помахать руками после драки, в которой не участвовали, нам нельзя.

Нельзя делать и другое: доводить новость до колхозников, а особенно готовить их к бою. Люди всполошатся, сразу упадет дисциплина, не исключено, что многие снимутся с места. Мы за один день разложим коллектив, посеем хавос, по слову Папашки. И все это — ничего не зная совершенно точно.

Но как узнать? У кого спросить? Семену спрашивать официальных лиц — секретаря райкома, председателя райисполкома нельзя. Разве он не знает, скажут ему, что такие вопросы без председателя не готовятся и не решаются? Возникнет презрительное подозрение,

что он опасается потерять кресло, хлопочет из личного интереса. Можно спрашивать, проверять и перепроверять по неофициальным каналам. Я могу, допустим, поехать в область, потереться там в коридорах, покалякать о том о сем с самыми рядовыми, незаметными людьми вплоть до машинисток, подключить местных газетчиков, воспользоваться их знакомствами и связями — все это можно. Но трудно. Меня там знают по статье в защиту Семена. Дело было громкое, оно наверняка не забыто. О том, что автор опять трется по коридорам, Жоржиеву станет известно мгновенно, он поднимет скандал, и мне тут же позвонят из редакции: ты чем там занимаешься? кто поручал? перед кем надумал играть Шерлока Холмса, черт бы тебя побрал? Собирай свои манатки и завтра быть в Москве!

Туман над рекою уже светлел, из кустов на другом берегу доносились редкие, отчетливые вскрики птиц. Это звучало так, будто где-то там медленно катится в ночи тяжелая телега, повизгивая немазаными колесами.

— Почему ты все-таки не гонишь Барчукова? — тихо спросил я.

— Да нас же вместе судили! — почти плача закричал Семен.

Я как-то и забыл. Они ведь были товарищами по несчастью.

5 июля.

21 июня в Рязанке поставили бригадиром Долгих Григория Александровича, и на следующий же день, в воскресенье, на свеклу вышли тридцать семь женщин, почти вполтину больше, чем обычно, и полют, как я вчера видел, лучше, намного лучше.

— Люди поняли! — сияет Семен. — Поработали с ними, они и поняли.

Были сегодня с ним в Рязанке, встречались с Григорием Александровичем, я видел его впервые.

В крупной, без всякого жира фигуре, длинном породистом лице с грубыми морщинами, сильном спокойном голосе чувствовалось громадное физическое здоровье. И это при том, что ему пятьдесят шесть лет и он губил себя всю свою сознательную жизнь. Чувствовался ум, повадка старого, еще могучего и красивого коня... но и чуть-чуть радостной робости: долго не ходил под седлом. Каждое слово Семена ловил на лету, с каждым соглашался — порывисто, но без малейшего лакейства, а как человек, одинаково любящий и командовать и подчиняться, понимающий, что в первые же дни лезть со своим мнением несолидно. Одет был в офицерскую полевую форму с широким, туго стянутым ремнем на гимнастерке; разговаривая, вынул из планшетки толстую тетрадь, открыл на первой странице: «Вопросы к руководству колхоза», я их прочитал через его плечо. Все грамотно, четко, почерк ясный, властный. Когда прощались, я спросил, сколько рабочих было на заводе, где он последний раз директорствовал.

— Две тысячи пятьсот семьдесят! — без запинки и без удивления отчеканил он.

Это, конечно, не Вязговой. Семен все присматривался к его глазам — все-таки, говорит, что-то шальное в них еще есть. Мне, однако, верится, что все будет в порядке. Вспоминаю, как Семен страдал совсем недавно, с каким унынием перебирали с ним кандидатуры, каким безвыходным казалось ему положение. Это его беда, он всякий раз переживает намного больше, чем требует дело. Потом дело улаживается, и он сам же недоумевает: с чего маялся? Впрочем, дело потому, может быть, и улаживается, что он непомерно мается. Судьба Долгих такова, что его надо бы жалеть, но когда я на него смотрел, то скорее завидовал ему: так полно, сильно и красиво он проживает каждое мгновение своего последнего светлого периода. А посоветоваться нельзя было и с ним. У человека такая биография, такой опыт и — нельзя...

Пришло в голову, что бумага, о которой сейчас все наши мысли, не может касаться одного нашего колхоза. Ликвидация одного нашего колхоза может быть подлинной целью этой бумаги, но к нему наверняка пристегнуты и другие; если учесть размеры области, то пристегнуто не меньше десятка. Из-за одного колхоза тормозить правительство не станут. Может быть и так, что по девяти колхозам из этого десятка даны пространные обоснования, приложены расчеты, свидетельствующие, что все согласовано с местными властями, с самыми низами и только наш вставлен просто так. Решение-то Москва будет принимать по списку в целом, вот Жоржиев, вполне вероятно, и велел допечатать еще одну строку, еще один адресок. Все-таки трудно себе представить, чтобы было наоборот — чтобы к одной строке и ради нее одной он решился допечатать десять или сколько там.

Но что, собственно, из этого следует? А то, что нам надо узнать, какие колхозы в этом списке помимо нашего! Кто-то из их председателей может быть в курсе дела, участвовал в подготовке документов — вдруг согласится дать нам копию, если (вот была бы удача!) она у него на руках. А с другой стороны... Даже в случае удачи, даже если мы добудем копию списка, она не будет стоить ломаного гроша. Чтобы действовать, нам нужны не «агентурные» сведения, а строго официальное подтверждение. Слишком большой риск. Хавос в колхозе — не шутка, идет сенокос, на носу уборка хлебов.

И все-таки завтра поедем к Скоколу, это приятель Семена, он работает председателем в соседнем районе. Человек самостоятельный, тоже схватывался с Жоржиевым. Вдруг и Скокол попал в список? Так или иначе, а его совет Семену нужен. В свое время этот Скокол учился в консерватории (по классу вокала), потом ушел в сельскохозяйственный. Они познакомились на курсах переподготовки, жили в одной комнате. Однажды Скокол под веселый момент запел в красном уголке, так председатели после этого нашли для него зал, и мужику пришлось дать им целый концерт.

7 и ю л я.

И там, в кибитке,
забудешь пытки
далеких призрачных страстей!

Так пела прокуренная жена Ростислава Григорьевича Личкина, и мне до того радостно это вспоминать, что не хочется записывать все по порядку, а прямо отсюда, от стола, за которым она сидела между Семеном и Скоколом с гитарой в руках.

Приезжаем мы к Скоколу — того нет в конторе. Идем в пустой скверик, ложимся под березу, смотрим в небо, вяло обсуждаем наше дело. Вдруг над нами останавливается высокий неуклюжий человек с упрямым лицом и добрейшими бесцветными глазами. Семен вскакивает.

— Ростислав Григорьевич?! Личкин?

— Да, я это, он самый. — Двумя руками трясет тот руку Семена, бормочет что-то тягучее, ласковое, с беспокойством оглядываясь в сторону магазина: не закрылся бы.

Личкин — ветеринарный врач, давний знакомый Сергунина, они вместе когда-то работали в совхозе. Другого такого занудливого человека на свете нет, с нежностью рассказывал мне Семен, когда ветеринар оставил нас «на минуту». Если в деле ветеринарного обслуживания общественного скота имеется недостаток, не хватает какой-нибудь мензурки и если ты немедленно не представишь ему эту мензурку, он лишит тебя пяти лет жизни. Любой недостаток для Личкина непременно коренной. С полной убежденностью, что все, чем ты сейчас занят, это пустяки, он будет поминутно требовать с тебя мензурку и очень скоро, не употребляя никаких слов, кроме омерзительно казенных, доведет тебя до того, что ты захочешь его убить. Объ-

активных причин Личкин не понимает и не признает. Он ни секунды не сомневается, что все — строительство всех заводов и космодромов, все заседания всех министерств — только тогда имеет смысл, когда подчинено решению вопросов ветеринарного обслуживания общественного скота.

Когда в Гусь-Пристани был первым секретарем Мельников, он сделал Личкина главным районным ветеринаром и, сам от него изнемогая, стойко переносил вопли председателей. Не стало в районе Мельникова — и Личкин был моментально съеден. И вот оказывается, что его взял и уже три года держит не кто иной, как Скокол!

К нам под березу Ростислав Григорьевич вернулся со своим работодателем.

— Николай Петрович, голубь! — кинулся к Скоколу Семен. — Уступи мне Личкина, будь другом. Я завтра же разгону весь свой ветперсонал. Личкин один справится!

— Он же тебя замордует, — сказал Скокол.

— Замордую, — подтвердил счастливый Личкин.

— Ничего! Зато хоть о скоте у меня голова болеть не будет.

Скокол был одного роста с Личкиным, под метр девяносто, не меньше, но с мощным, развернутым грудным ящиком. Супруга в отъезде, сообщил он, поэтому обедать будем у него дома. Когда она на месте, гостей он принимает где-нибудь в лесополосе, иначе у нее не было бы никакой своей жизни, только стряпать да подавать.

До обеда оставалось часа полтора, мы потратили их на осмотр хозяйства. Говорил Скокол мало, а там, где было чем хвалиться, замолкал совсем — например, на новом крытом механизированном току, который как раз испытывали прошлогодним хлебом. Картина была такая, как в разгар уборки. К разгрузочной яме подъезжала машина, со стуком падал задний борт, платформа становилась торчком — в бетонную пасть обрушивалось зерно. Ворох готового, очищенного и отсортированного зерна желтел свежо и лукаво. Это была заначка для первых дней косовицы, когда будут требовать ударных темпов хлебосдачи.

С тока мы поехали взглянуть на травы, и замысел Скокола стал еще яснее. Травы опаздывали, по всему было видно, что первые дни сенокоса у него совпадут с первыми днями уборки. Обычно это беда, ведь все мысли комбайнеров в таких случаях — о сене для своих коров. Пока механизаторы не запасуются сеном, уборка по-настоящему не развернется, тут закон природы. Вот тогда-то Скоколу и пригодится прошлогодний ворох. Комбайны будут стоять в загонках, комбайнеров он дня на три отпустит в луг, а хлебосдача будет идти как ни в чем не бывало, со сводкой у Скокола будет полный ажур. Говорили об этом только мы с Семеном — Скокол невозмутимо помалкивал, а Личкин восторженно хмыкал, довольный нашей проницательностью.

Когда ехали мимо кукурузы, Семен меня толкнул и попросил Скокола остановить машину.

— Гляди...

Метрах в пятистах от нас лежал в низине брошенный на зеленое нежно-малиновый ковер. Это цвел эспарцет. Мы подъехали к нему, долго молчали. Если пчел тысячи, то слышится жужжание, гудение, а здесь их были миллионы, и стоял густой беспечальный звон. Захотелось лечь и полежать, глядя в небо, но я колебался.

— Не бойся, — сказал Семен и осторожно лег. — Когда у них хороший взятки, они не кусаются.

Через минуту он встал, я, чтобы меньше измять цветов, лег на его место. Закружилась и тут же стала неистованно легкой голова.

Скокол занимал двухкомнатную половину финского домика с зеленым палисадником и небольшим огородом. Когда мы вернулись с луга, на столе нас ждали зелень, кувшин кваса и чугунная лоханка

с холодным жареным мясом, кем-то доставленная сюда в наше отсутствие, хотя я как-то не заметил, чтобы Скокол давал кому-либо команду. Он влил в себя большую кружку кваса, потом снял пиджак и ослабил галстук. В этом колхозе Скокол уже девять лет. Начиная с того, что получил от государства ссуду на семена, а раздал эти деньги колхозникам на трудодни. Главбух написал на него в Москву, но парню повезло. Проверять сигнал главбуха приехал человек, который сам был когда-то председателем, причем начинал в таком же возрасте — в двадцать четыре года. Скокол перед ним не вилял, выложил все прямо: хозяйство слабое, хозяйство надо поднимать, он хочет, чтобы люди в него поверили, они еще не видели живых денег, им надо эти деньги дать пощупать, и это обернется тем, что доморощенные невзрачные семена взойдут и уродят лучше, чем покупная, бог пока с ней, элита. Московский мужик все понял, написал успокоительную справку своему начальству, а копию послал Жоржиеву, который уже готовился снимать со Скокола голову. Сразу после этого Скокол вызвал своего главбуха и сказал: «Даю тебе двадцать четыре часа. Чтоб ноги твоей, сука, тут не было!»

Передавая нам это, он так надавил своим отделанным басом на слово «сука», что стало видно все в подробностях: зимний вечер, избенка колхозной конторы, кабинетик председателя со случайным плакатом на черной стене; у покосившейся притолоки трется бух, а к нему, расплющивая глыбой грудного ящика стол, тянется юный белолицый Алеша Попович и ночным, разбойным басом хрипит: «Чтоб ноги твоей, сука, тут не было!»

Я засмеялся и сказал, что так это слово мог бы произнести в его годы пропитанный солью волжских пристаней Шалапин. Скокол тоже засмеялся, и я легко задал ему свой главный вопрос — о консерватории. Из консерватории в сельскохозяйственный он ушел, оказывается, потому, что там училась его нынешняя жена. Он хотел быть с нею в одном общежитии, всего-навсего...

После этого и была позвана прокуренная жена Личкина с гитарой.

Соколовский хор у «Яра»
был когда-то знаменит...

— Стой до последнего! — разбойно ревел трезвый Скокол Семену, рассказавшему ему под эту гитару о нашем деле. — С нами никто ни хрена не сделает!

И, перетирая молодыми своими жерновами куски мяса, вливая в себя кружку за кружкой квас, раскрывал и раскрывал — куда девалась молчаливость! — свои прошлые, нынешние и будущие хозяйственные комбинации.

Я вслушивался и в соколовский хор и в эти комбинации. Вот будет он разнарядку первых дней уборки выполнять прошлогоним хлебом. Ну и что такого? Хлеб этот пролежал у него зиму под надежной крышей, дождался хорошей и дешевой обработки на новом мехтоку. Правильное, хозяйское, выгодное и для государства и для колхоза решение. Но и сам Скокол и мы с Семеном видим тут особую ловкость, скрытый смелый ход в крупной игре неизвестно с кем. И все только потому, что будет заведомо невыполнимая разнарядка и любое сданное в дни уборки зерно будет считаться зерном нового урожая. А всей-то ловкости — воспользоваться старым хлебом, чтобы комбайнеры, запасшись сеном, охотно убирали новый.

Чудишь ты, господи, ой чудишь!

9 июля.

«Стой до последнего!» — ревел Скокол Семену. А как стоять-то?!

Стал плохо спать, лежу и все жую-жую, пережевываю: а если сделать так, а если эдак? Мысленно чего только не делал! Минувшей

ночью вообразил себя на приеме у Жоржиева. Здравствуйте, я такой-то, если помните (нет, это издевка, так не надо, надо просто: здравствуйте — и все). Буду говорить с вами прямо, до меня дошло то-то и то-то — неужели это правда? Как же вы могли — втайне от района, от колхозников? Что ж это у вас за такая злопамятность, ведь он же, Сергунин, ничего дурного вам не сделал, на таких, как он, вам бы опираться, в них — надежда родины, они ее цвет. Да и без громких слов — вам просто нет расчета бросаться такими людьми, ведь ваше личное будущее зависит от того, сколько хлеба, мяса, молока будет давать область, а кто все это будет обеспечивать, если во главе колхозов будут стоять слабые, смиренные, корыстные? Вы должны знать село, вы знаете, что такое председатель, вы поймете, о чем я говорю, если скажу, что Сергунин взвалил на себя строительство домов для колхозников, единственный в районе поставил это строительство на поток, никто от него этого не требует — ни вы, ни Петрин, только он сам от себя. Он половину своей зарплаты тратит, добывая лес, цемент и металл, — много ли вы знаете таких? Он за счет колхоза ни разу не накормил и никогда не накормит ни одного уполномоченного, у него миски щей никто не съел колхозных! Его теща, святая женщина, тетя Нюра, с ног валится у плиты, варит жарит и все подает, подает... и вот такого человека вы решаетесь растоптать — растоптать второй раз. За что? Что он вам сделал?!

Мне надо о деле думать, а я сочиняю вот такие мысленные речи. Послушает меня, держи карман шире. Интересно, что эта привычка к сочинительству мысленных речей есть и у Семена. Его судили в октябре шестьдесят третьего, а с августа — когда все еще было совершенно спокойно — он стал, что бы ни делал, мысленно произносить свою оправдательную речь на суде, это было, говорит он, как сон наяву: идет суд, он за оградкой подсудимых стоит, держась за перильца, и произносит речь...

12 июля

Надо что-то делать, на что-то решаться, а мы толчем воду в ступе. Семену, кажется, это уже надоело, он начал замолкать, появилась вялость, мне трудно смотреть ему в глаза: небесно-голубые, провалившиеся, большие, я вижу, как уходит из них жизнь, как он стареет... Сделать придется что-то необычное, такое, чего никто в подобных случаях не делал, что-то очень простое, безотказное, нахальное... простое и нахальное. Существуют, размышляю я, неписанные правила поведения, традиции отношений — хозяйственных, общественных. О чем-то говорят: так делается, о чем-то — так не делается. В расчете на то, что люди прекрасно знают, как делается и как не делается, и строятся отношения: председателя — с бригадами, района — с колхозом, области — с районом. Без неписанных правил не обходятся. Вот одно из них: узнав, что его колхоз решено ликвидировать, председатель должен искать себе работу. Или ждать, когда ее ему предложат. Бороться, оспаривать решение ему не должно прийти в голову. А если председатель все-таки нарушит правило и станет протестовать, настраивать колхозников? Думал ли Жоржиев о таком повороте дела? Вряд ли. А если и думал, то мысль его была самая спокойная: ничего, мол, страшного. Что бы председатель ни говорил, как бы ни требовал сохранить колхоз, того подозрения, что он просто хочет удержаться в насиженном кресле, ему все равно не победить. Плюс к тому — две анонимки в сейфе, которые можно будет тогда достать.

Значит, заключаю я, действовать должен кто-то другой, не председатель. Место Семена в тени. В самой глубокой тени. Кто же должен действовать? Я? Нет, мое место тоже в тени, в наиглубочайшей.

Пока я не знаю, кто и как должен действовать. Знаю только, что выбрать этого человека должны мы с Семеном.

15 и ю л я.

Только вчера задал себе вопрос, с которого надо было начинать. Вопрос вот какой. В самом ли деле объединение колхоза «Луч» и совхоза «Октябрь» — глупость? А может быть, в этом есть смысл? Может, от этого выиграют и «Луч» и «Октябрь»?

Семен по моей просьбе привез последние пять годовых отчетов совхоза. Их взял для нас в районном управлении Мытарев. Это было просто, Мытарев ведь зампред райисполкома. Рядом с этими отчетами мы положили перед собой пять годовых отчетов колхоза и стали разбираться. Все основные показатели в совхозе ниже, чем в колхозе. Урожай, привесы, удои, настриги — в колхозе все выше или заметно, или намного. Это очень важно. Ведь обычно присоединяют слабых к сильным.

— Представь, что ты директор этого совхоза,— сказал я Семену.— Ты хочешь, чтобы тебе передали «Луч»? Ты будешь этим доволен? Обрадуешься?

— Да чему ж тут радоваться? — сразу разозлился он.

— То есть как это чему радоваться? Высокие показатели «Луча» поднимут твои средние!

— Да откуда ж они тогда возьмутся — высокие?!

— Что, урожай «Луча», привесы «Луча», удои «Луча», настриги «Луча» сразу упадут?

— Ну ясно же! Смотри: сейчас у нас в колхозе зарплата выше, чем у них. Перейдем в совхоз — будем получать по их расценкам. Это значит...

— Понял. Это значит — ударить людей по карману. Упадет трудовая дисциплина. Одни станут хуже работать, а другие, самые квалифицированные, здоровые, подвижные, — разбегутся кто куда.

— Это я тебе гарантирую.

— Это ты мне гарантируешь как председатель. Но мы договорились, что ты директор. Понимаешь ли ты это как директор? Директору это видно с самого начала? Уже сейчас?

— Он не слепой, можешь его спросить.

Дальше — больше. Дело не только в заработках. Семен развернул крупное строительство. Ферма, школа, торговый центр, механизированный ток, Дом культуры, жилые дома... Все строит хозяйственным способом. В плановом порядке он не получает ничего, все добывает где как может. Директору совхоза этот груз не потянуть, не дотянуть — там тоже немало строится и тем же, приближающим инфаркт, хозспособом. Все внимание директора, естественно, будет отдано своей центральной усадьбе. В Ивановке строительство заглохнет, а о Рязанке нечего и говорить. Первый крест будет поставлен на школе. Она ведь рассчитана на рост, на развитие Ивановки как центральной усадьбы колхоза. Сделавшись пристегнутым отделением совхоза, Ивановка перестанет расти. Это то же самое, как областной центр превратить в районный — сразу другие масштабы, другой ритм и уклад жизни, другие планы, другое отношение. Люди побегут и от этого, а не только от снижения заработков. Те, у кого есть дети, — в первую очередь от этого.

В колхозе приживаются звенья, люди хоть и с трудом, но входят во вкус такой работы, когда весь интерес — в итогах не дня, а года, в урожае. В совхозе все по-старому, платят за гектары, с колеса. Значит, этот порядок вернется и в Ивановку, она должна будет равняться на нового хозяина, то есть на свой вчерашний день. Из колхоза, опыт которого начинает греметь на всю область, «Луч» превратится в часть слабенького, убыточного совхоза. По вывеске — подъем на высшую ступень, по существу — сползание вниз...

Последнее, что я спросил, было:

— А вдруг директором назначат тебя?

Он взвился:

- Не это мне нужно!
- А все же? Тому директору сколько?

— Шестьдесят уже было.— Он задумался.— Чтобы спасти Ивановку, сюда надо было бы перенести центральную усадьбу... Но это невозможно: захиреет усадьба совхоза — то на то и выйдет. Там своя база. Мастерские, фермы, жилой фонд... Пойми! Мы до того доукрупнились, что какая-то польза может быть только от разукрупнения. Неуправляемость! У меня два села и то... Какой я хозяин, если за всем не услежу? А в совхозе у меня или кто б там ни был — будет семь больших сел. Пойми! Я бы не беспокоился, если бы мой колхоз решили разделить на два, на Ивановку и Рязанку. От такой дележки вреда меньше или даже никакого...

Мы решили ехать на днях к Мельникову, к Сергею Карповичу. Советоваться.

19 июля.

Надо же, ночью мы решили, что надо будет съездить к Мельникову, а утром Семену принесли письмо. Писала Надежда Степановна, жена Мельникова. У Сергея Карповича трудное положение, на него тоже настроили жалобу и тоже Жоржиеву, который сразу зачитал ее на последнем активе. Такому человеку, кричал, не место на посту директора совхоза. Надежда Степановна просила Семена приехать, поддержать старика.

Выехали мы на следующий день в пять утра. Было не по-летнему холодно, до семи часов ехали с включенной печкой. Чем дальше, тем ярче становились вокруг краски, теплее и сочнее воздух, под молодым солнцем сверкала роса. Мы несколько раз останавливались, смотрели чужие посевы, в одном месте Семен долго считал, сколько свеклы оставлено на погонном метре. И всю дорогу рассказывал о Мельникове.

Мельникова, когда он был секретарем райкома в Гусь-Пристани, снимали дважды. Первый раз за то, что в районе было найдено сорное поле кукурузы. Сорные поля были во всех районах, но это не имело значения, просто Сергею Карповичу выпал такой жребий. Об этом я уже знал, про роль грамотея Барчукова тоже, а теперь Семен давал мне новые подробности. Отрешенного от должности Мельникова сразу же отпустили на все четыре стороны, но домой он не поехал, а вернулся в гостиницу и заперся в номере. Шоферу он велел ждать с машиной у подъезда.

Отпущенный на все четыре стороны, он уже не имел права на эту машину. Если говорить строго, так даже от обкома до гостиницы он должен был бы добираться на общественном транспорте. Впрочем, он потерял право и на полученный по броне обкома номер в гостинице.

В номере он просидел двенадцать часов. Среди того, о чем он там думал, были, наверное, и вот эти два нарушения — насчет машины и гостиницы. Иначе зачем бы он рассказывал об этих нарушениях Семену?

Через двенадцать часов Мельникова нашли по телефону в его номере и велели явиться в обком. Уже была ночь. В обкоме ему было сказано, что он должен сию же минуту возвращаться в район, собирать там пленум, обсудить и выправить положение с кукурузой. В приемной он столкнулся с Жоржиевым.

— Где был это время? — спросил тот, удивленный, что Мельникова быстро нашли.

— В гостинице.

— Однако! — ухмыльнулся Жоржиев.

Из приемной Мельников позвонил в Гусь-Пристань, и к трем часам ночи, когда он приехал, пленум уже был в сборе.

Ночь была теплая, ясная, Семен это хорошо помнит, как и то, что в машинах, сбившихся у райкома, не видно было шоферов — все руководители хозяйств приехали сами. Черный Мельников стоял на трибуне и громовым своим голосом чеканил:

— Вытащить с озер всех рыболовов! Каждому — тяпку в руки. Этим мы решим сразу две проблемы.

Делал паузу.

— Сохраним рыбу в озерах и уничтожим сорняки на кукурузных плантациях!

В зале смеялись, благодарные ему за разрядку.

— Рыболовы-любители есть наш последний резерв! — рявкнул Мельников.

После пленума, длившегося минут пятнадцать, он сказал Семену, что поедет вместе с ним. Уже светало, кое-где из камышей у дороги тянулись папиросные дымки. Ничего пока не подозревавшие рыболовы встречали зарю. Машину Семен вел медленно. У Мельникова была больная почка, его предчувствие приступа передалось Семену. Он краем глаза ловил движения Мельникова, и как только тот доставал сигарету, Семен просил его потерпеть

— Я не затягиваюсь, — говорил Мельников.

Семен продолжал приставать.

— Только дым пускаю — сказано тебе!

Они свернули с дороги и часа полтора поспали в копне сена. Утром оба вели себя так, будто ночью дошли до сопливых поцелуев, а теперь друг от друга скрывают, что все помнят.

В десять мы были на месте. В кабинете директора шло совещание, оттуда слышался властный бас Мельникова. Увидев на пороге Семена, Сергей Карпович обрадовался как ребенок. Черный костюмчик, треугольное, кожа да кости, черное лицо, большие быстрые глаза. Между ним таким и его рослыми, тучными, заулыбавшимися при виде его радости бригадирами с их мятыми просторными пиджаками было то не обидное для них расстояние, которое придает отношениям некий дополнительный, как бы военный аромат. Этот аромат обычно чувствуешь, когда пожилые трактористы предаются воспоминаниям о первых (из лучших) директорах МТС.

Кем бы Мельников ни работал — директором МТС, управляющим трестом, секретарем райкома, он заводил один и тот же порядок. По весне каждый из подчиненных ему начальников должен был выходить с тяпкой в поле. Нормы он устанавливал по размерам огородов. Этот порядок мы увидели и у него в совхозе. В машине главного агронома, подъехавшего при нас к конторе, на заднем сиденье лежала тяпка. Сам Сергей Карпович, собираясь сегодня везти свою почку в Кисловодск, рассчитывал так, чтобы к этому дню на нем уже не висели его двадцать соток свеклы. Двадцать соток — размер его огорода. По пути сюда Семен вспоминал его давнюю то ли мечту, то ли предсказание насчет небольших, компактных, высокомеханизированных колхозов, председатели которых могли бы работать не только головой, но и наравне со всеми руками. На шутку это, конечно, тянет больше, чем на предсказание, но если приглядеться и вздуматься... Из-за нехватки людей колхозные и районные начальники уже сейчас все чаще берутся за тяпки, становятся к штурвалам комбайнов, лопатят зерно на токах. Постепенно это войдет в привычку, станет правилом. Промелькнет два-три десятилетия — и где-нибудь появится как раз такой колхоз, о котором мечтал Мельников.

Сергей Карпович остался заканчивать совещание, а мы поехали к Надежде Степановне. Ее я видел первый раз — дородная женщина с простым грубым лицом, грубым голосом и грубыми движениями. В огромной корзине приволокла нам из огорода гору редиски и зеленого лука, на стол швырнула миску, из кастрюли в миску —

глыбу дымящейся, с обломком сахарной кости говядины... Звякнула вилками с ножами, велела завтракать — и была такова.

Когда Мельников был первым в Гусь-Пристани и допоздна засиживался на бюро, она приводила его в чувство зычным, всем слышным из телефонной трубки голосом: «Это ты? Ты до каких пор будешь там штаны протирать? Ужинать!» Или еще короче: «Это ты? Ужинать!» Считалось, что первый у жены под каблуком, но в районе ее уважали. Вся жизнь Надежды Степановны, был ли он директором МТС, управляющим трестом совхозов или секретарем райкома, проходила в огороде и возле скота. Без ее каждодневного ломового труда при его зарплате, никогда заметно не поднимавшейся выше двухсот рублей, и при том, что он не терпел колхозных приношений, семья (пятеро детей и двое стариков!) вечно сидела бы на хлебе и воде.

После завтрака мы вышли во двор, легли за сараем под березой. У Скокола лежали под березой и у Мельникова решили полежать. Семен продолжал рассказывать. Второй раз, теперь уже по-настоящему, Мельникова снимали за то же самое: засоренность кукурузных плантаций. И опять... Не только в области, но и в целой стране тогда не было секретаря райкома, которого нельзя было бы за это снять, а район Мельникова, между прочим, именно по кукурузе оказался в тот год первым в области.

— Что будем делать? — подлетев к нам, Сергей Карпович лег рядом так резко, как будто кто-то его толкнул.

Семен обмолвился насчет шифера. Свой весь вышел, где-то надо доставать.

— Днями получу. Дам! — решительно сказал Мельников. — Что еще? Стекло возьмешь? Дам. Гвозди? Дам, у меня пять тонн.

— Куда вам столько?! — рассмеялся Семен.

— Не залежатся.

Заговорили о жалобе, которая сейчас у Жоржиева. Бумага, рассказывал Сергей Карпович, пустая, в ней даже не сплетни, а чистый бред — в полном медицинском смысле слова. Один пенсионер вообразил, будто Мельников: а) наслал порчу на его корову, б) засушил огород, в) приказал вырубить сад. Жоржиев, однако, для проверки этого бреда нарядил комиссию из пяти человек. Вчера они приезжали. Обследовали корову — здоровая, доится, огород — в огороде все цветет и зеленеет, сад — все деревья на месте, ни одного пня не видно. А пенсионера... пенсионера нет. Укатил на курорт! Ладно бы рубка сада, но поверить в то, что директор совхоза — колдун, что он может наслать порчу на корову... Жоржиев теперь в дураках, история про его веру в колдовство разлетится по всей области, но это-то и худо — для Мельникова худо.

— Ну что? — встряхнулся он. — К вечеру в бор съездим? В «Спутник» за огурцами послать?

«Спутник» — соседнее тепличное хозяйство, его главный агроном Сергею Карповичу приятель.

— Пошлите меня, — сказал я. — Даст?

— Куда денется? Я ему бульдозер продал. — Он взял мой блокнот и стал писать записку. «Уважаемый Николай Петрович! Убедительно прошу тебя организовать продажу за наличный расчет: огурцов — 6 кг, помидоров — 6 кг. Это мне нужно для неотложных нужд...»

— Добавьте, что едете на Крайний Север, — сказал я.

Он сделал из точки запятую и дописал: «еду в командировку». Помедлил и добавил: «на север», а через запятую, еще помедлив, — «крайний». Мы с Семеном смеялись — не оттого, что записка получилась такая уж смешная. Просто хотелось, чтобы от нашего смеха Мельникову стало чуть лучше.

Вечером мы отвозили Мельниковых на вокзал, они ехали в Кисловодск. Сергея Карповича беспокоила почка (выпил с нами наперсток), и теперь уже и я, как некогда Семен, напрягался, когда он доставал папиросу.

И вот только здесь, в машине, Семен рассказал ему о нашем деле, о том, какая судьба ждет наш колхоз.

— Хороший был колхоз,— быстро обдумав новость, сказал Мельников сурово и безнадежно.

— Надо, чтобы он и оставался колхозом! — сказал я.— Мы хотели...

— От вас это не зависит! — грубо оборвал он меня.

— Что бы вы стали делать на месте Семена?

— Ничего!

— А на моем месте?

— А на твоём...— Он посмотрел на меня так, будто только что заметил, что я рядом.— Ты что там у него делаешь? Гусей дразнить приехал?

До вагона мы молчали.

— Вот вы и отдохнете,— сказал я, когда прощались.— Приедете и отдохнете.

— Ты тоже уезжай,— не так грубо, как в машине, сказал он.

— Думаете, все-таки надо уехать?

Он веско и печально кивнул головой и, не оставляя нам никакой надежды, повторил:

— Хороший был колхоз...

Круто повернулся и пошел в вагон.

С дороги Надежда Степановна дала нам телеграмму. В поезде Сергею Карповичу стало плохо, в Новосибирске вызывали вокзального врача, делали укол от боли. Я взял у Семена эту телеграмму, медленно, отмечая про себя простонародное обилие лишних слов («Посылаю эту телеграмму из Новосибирска по вашей просьбе Сергея Карповича схватила почка...»), читал... Уехать-то я уеду, но не раньше, чем придумаю, что нам делать.

21 июля.

Сейчас четверть первого, только что ко мне заходил Семен. Он, видите ли, надумал подавать в райком заявление об уходе из колхоза. Раз даже Мельников считает дело безнадежным, значит, отставка—это единственное, мол, решение. Тогда Жоржиев, дескать, оставит в покое колхоз. Для виду поугovarивают, могут даже прикрикнуть, но на такой случай у него припасена уважительная причина: здоровье, с октября шестьдесят третьего дрожащие пальцы. Колхоз должен существовать. Он, Семен, считает своим долгом сделать для этого все, а ничего другого, кроме как второй и последний раз уйти, он сделать не в состоянии.

Я не ответил ему ничего. На всякую глупость не наотвечаешь. Да и что толку от этой отставки? Если ходатайство уже в Москве, отзывать его Жоржиев не будет.

22 июля.

Были в Рязанке на шестидесятилетии у Антона Федоровича, пасечника. У него добротный небольшой дом, который он занимает с женой: дети разъехались, давно живут своими семьями, старший сын служит офицером. На именинах отца никого из них не было, все заняты, всем далеко, да он их и не звал.

В красный угол был посажен Семен, по правую руку от него — заместитель колхозного парторга учитель-пенсионер Евгений Александрович, Евдокия Федоровна и я, по левую — седой розовощекий именьник, его племянница с мужем, главным инженером швейной фабрички в Гусь-Пристани, прочие гости. На Евдокии Федоровне было знакомое мне платье в синий горошек, от ее сухощавой, с тонкой талией, перетянутой узким белым поясочком, фигуры веяло

силой и легкостью, чем-то летним, девичьим. Не начальница, но и не рядовая — разбитная активистка из рядовых, которая знает, что она вне подозрений: работала долго, работала не языком, а руками и спиной.

Именинник, когда его сажали рядом с Семеном, шумно и радостно смущался, а когда Евгений Александрович начал произносить первую, от имени парткома, речь, у пасечника хлынули слезы, он стал вытирать их рукавом, мотая головой. Маленькая его жена Фекла, быстро и серьезно просеменив в другую комнату, вынесла ему носовик. Им он и утирался, пока произносились следующие речи: Евдокией Федоровной — от сельсовета, Семеном — от правления.

— Отжил свое! — звонко восклицал Антон Федорович. — В утильсырье провозжают!

И горько заплакал.

Семен говорил в своей речи, что профессия нашего дорогого именинника — древнейшая на Руси, что мед для наших предков был и пищей, и лекарством, и весельем, так что можно сказать, что все мы, русские, вскормлены медом, и Антон Федорович — хороший русский человек и от имени правления ему вручаются именные часы. Тут пасечник разрыдался, а все бурно зааплодировали, и сколько-то времени разговор вертелся вокруг его работы. Вспомнили и про Феклу — на нее, уходя на фронт в сорок первом году, он оставял пасеку. Фекла на минутку перестала быть незаметной.

— Вернулся на готовое! — строго зыркнув на него, сказала она с неожиданной звучностью и свободой в голосе.

Это не было простое: не возносись, мол. Она не мужа ставила на место, а что-то как бы закрепляла за собой.

— Правильно! — таким же свободным, звучным голосом поддержала ее сидевшая напротив меня женщина помоложе и тоже зыркнула на своего. Он у нее был конюх, длинный и худой, только что из бани, уже, пожалуй, малость и навеселе, она — свинарка, очень толстая, шея спереди и сзади прямо свисала на розовое платье, лицо было в испарине, но в тучности этой не чувствовалось нездоровья, скорее наоборот.

— Люблю я тебя, что ты хорошо работаешь! — перегнувшись за моей спиной, сказала ей Федоровна.

Конюх до войны был лучшим в Рязанке комбайнером, а эта толстуха у него штурвальной. Когда он ушел на фронт, она заменила его, управлялась одна, а трактором ее комбайн таскала соседская девка. Вернулся он весь израненный, опять стал на комбайн, но теперь уже главной была жена, а он на подхвате, и так продолжалось лет пятнадцать.

Они первые певцы в колхозе, а он еще и плясун, частушечник.

Ешь, корова, теперь сено,
не надейся на муку.
Живи, старик, со старухой,
не надейся на сноху!

— Ты из Москвы? — прокричав эту частушку, повернулся он ко мне. — Молодец, я тоже нонче был в Москве. Сейчас запоем. Знаешь, как мы поем?

И, откликаясь на его слова, пасечник высоко и счастливо затянул:

Хороша ета ночка темная,
хороша ета ночка в лесу!..

Потом Евдокия Федоровна завела «Рябину», потом грянули так, что все задребезжало на столе:

А голова тяжеле ног,
а ноги милого в пруду!

— У нас,— сказала Федоровна,— когда батя зачинал эту песню, десятилинейная лампа тухла!

Самой Федоровне, однако, по душе больше была, кажется, другая песня, оказавшаяся для меня совершенно неожиданной,— «Поздняя осень, грачи улетели...».

Все подпевали, все знали слова. Портному-инженеру в связи с этим почему-то потребовалось мне доказывать, что и Рязанка, и Ивановка, и Гусь-Пристань— все это уже не деревни. Над ним посмеивались.

— У нас и клубы, и мастерские, и кадры доморощенные, и доярки, и поярки,— кричал он, отменяя насмешки.— Я честь Сибири защищаю! У нас нет деревень, у нас — будущий город!

С момента, когда Евдокия Федоровна за моей спиной похвалила жену конюха, я стал думать о нашем деле, а когда она запела Некрасова,— уже не сомневался, что решение нашлось. Пританцовывая и пронзительно вопя припевку («Побеседуйте у нас!»), пасечник обносил гостей чайником с медовухой, потом садился на свое место, плакал и вспоминал, как был в плену, как мечтал о такой вот жизни и давал себе слово, если доживет, никогда не обижать людей (именно после плена он и стал тонкослезым); портной, отдохнув, с новыми силами приставал ко мне насчет сибирских деревень, которые уже не деревни, а будущие города,— было еще много чего другого, но все это для меня уже было как в тумане, я видел одну Федоровну. Она! Вот ее-то руками мы этот колхоз и спасем.

Серый кардинал

23 июля.

Первое, что она сделает,— это устный депутатский запрос председателю райисполкома. До села, скажет, дошли такие-то слухи, народ волнуется, я должна что-то людям отвечать, а что? Говорить она будет по телефону, так создастся впечатление, что действует по первому порыву, почти между делом, в рабочем порядке. В то же время надо, чтобы Никонов, председатель райисполкома, не смог отмахнуться, а придал ее звонку должное значение. Поэтому она скажет: я, мол, сижу тут сейчас и составляю письменный запрос, а пока даю устный, чтоб вы не удивлялись. Если Никонов посвящен в эти дела, он тогда должен будет сказать все как есть. Письменный депутатский запрос (а Федоровна — вот счастье! — депутат не только районного, но и областного Совета) — не шутка, на него и отвечать придется письменно. Если же Никонов не в курсе, он вынужден будет навести справки в области, и в зависимости от того, что ему ответят, будем решать, как быть дальше.

Но кто настроит и поведет по этому пути Федоровну? Я не хочу, чтобы это делал Семен. Во всяком случае, с первого шага. Федоровна должна сама прийти к Семену, так будет надежнее. У нее не должно возникнуть даже мимолетного подозрения, будто он хлопочет из-за своего места. А кроме того, полная уверенность, что она действует по собственному почину, нужна не только ей, но и ему. Иначе они не смогут смотреть друг другу в глаза, а без этого в таких делах людям нельзя. Итак, Федоровну должен настроить кто-то третий — не Семен и, конечно, не я.

Кто же?

24 июля.

Без ведома Семена решился все рассказать Папашке. Сколько кругом людей, которым хотел и мог бы рассказать,— тот же Миша Храмов или опытнейший, прошедший Крым и Рим Долгих, а остановился вот на Папашке. Остановился, причем без размышлений,

по наитию. Мы были одни на крыльце, уже смеркалось, он возился с обротью, я просматривал газету... Отбросил газету и все разом рассказал. Слушал он, закрыв глаза,— открытые, они ему, наверное, только мешали, слишком мало пропуская и так убывающего света. Я чувствовал, как он впитывает в своей темноте мой голос, как старается по его звучанию понять, насколько это все серьезно. Под конец, дойдя до Федоровны (чьими бы устами ее настроить, чтобы оставить в тени и Семена и себя), я как-то оробел, как-то от робости заскучал, приуныл. Поймет ли земной Папашка, отчего мне так важно, чтобы они могли прямо смотреть друг другу в глаза?

— Ты как с Мамоновым? — звякнул он обротью.— Дружишь?

— Понял, Папашка!

Я вскочил, пошел с крыльца. Мамонов! Как я о нем забыл? Первый, застоявшийся в последние три года политикан Ивановки... Да его же хлебом не корми — дай только поуправлять людьми исподтишка, подержать за веревочки!

Мамонов рубил дрова у сарая. На нем был пиджачок, простецкая кепка, открывавшая чуть взмокшую лысину. На меня посмотрел так, словно это самое обычное дело, что к нему во двор без предварительного уговора и без всякого повода может на ночь глядя зайти любой и каждый.

— Рыбачили сегодня? — спросил я, поздоровавшись.

— Какой там... Картошку полел.

— День, значит, пропал?

— Ничего не поделаешь.

— Сядем?

— А то в дом? — Он понизил голос.— Не надо?

— Не надо.

Рассказывал я минуты три.

— Да, его дело сторона,— сказал он о Семене.— У тебя там рука, что ты такой смелый?

— Где рука?

— В Москве.

— Таких, как я, там знаете сколько?

— Угу... Город большой. В войну проезжал, в Раменках стояли. Так я сейчас пробегу к Дуньке... К тебе потом зайти доложить?

— Не стоит,— сказал я, зная, что ему должна понравиться такая моя уверенность в его способностях.

Бежать «к Дуньке» он не будет, знал я, уходя. Дождется, когда совсем стемнеет и мягко-степенным шагом, не хоронясь, но и не вынося свою по-ночному чуть пригнутую фигуру из тени заборов, проследует ко двору Федоровны.

И можно было быть уверенным, что обо мне Федоровна не услышит ни слова. Все, весь план будет исходить только от него одного, от Серафима Петровича.

Да, я таки под конец не выдержал, допустил перед ним слабину.

— Не выкладывайте ей этот план сразу,— попросил его.— Поговорите с нею долго, подробно. Может, ей самой придет этот план в голову.

Он прищурился и снисходительно покивал.

25 июля.

— Ты был сегодня у Мамонова? — разбудил меня в половине второго Семен.

— Был. Ты откуда? — спросил я, увидев, что он одет.

— Только что по лугам проехали. С Федоровной.

— Это она сказала, что я у него был?

— Это я ей сказал! Хотел сказать,— поправился он.

— А ты-то откуда узнал? Неужели Мамонов?.. Он вроде не собирался меня выдавать.

— Мамонова я не видел. Сам сообразил.

Услышав от Серафима Петровича новость, Федоровна, оказывается, сначала пала духом, потом, когда он выложил ей свой план насчет запроса, обрадовалась: это же, сказала, будет первый депутатский запрос в ее жизни. И... кинулась согласовывать с Семеном, вот так. На это я, собственно, и рассчитывал. Замысел удался: Федоровна сама пришла к Семену, они могут прямо смотреть друг другу в глаза.

Встали мы с Семеном одновременно, в пять. Он убежал, я сидел писал. Все эти дни, пока все не прояснится, не кончится, не буду выходить никуда, мозолить людям глаза. Семен уже несколько месяцев, загодя готовясь к двадцатипятилетию Победы, занят проектированием монумента в память погибших фронтовиков Ивановки. Даже в эти дни выкраивает минуты, что-то рисует, чертит, показывает мне, огорчается, что с бумаги я слабо ловлю объемы и пропорции, скоро, наверное, примется для большей наглядности лепить или выстругивать модели. Вчера за ужином ему пришло в голову, что деньги на такие сооружения лучше было бы собирать по дворам, а не выделять из колхозной кассы.

— Ну да. С кружкой пойди, как нищий,— почему-то очень раздраженно сказала Елизавета Петровна.

— Нищие с кружками не ходили. С кружками монахи ходили,— ответил он с внезапной усталостью в голосе.

— А монахи что, не попрошайки были? — отрезала она.

Вмешался Папашка.

— По дворам пойти, конечно, неплохо, тут против власти ничего такого нет, но по сколь бросать в ту кружку, указано должно быть все равно. Иначе будут такие деревни, что соберут только на нижнюю часть. Среди деревьев, как и среди людей, очень жадные встречаются. тупые. Власть в этом отношении впереди и выше этих населенных пунктов, она их за собой тянет и поднимает — от позора, значит, спасает. Тут вот такой расчет я мыслю в том, что деньги берутся из общего кармана.

— Петр Гаврилович,— спросил я,— а сколько бросили бы вы без указания?

— А сколь люди, столь и я.

Мы с Семеном переглянулись изумленно и восхищенно, а Елизавета Петровна, с досадой отодвинув стул, вышла из-за стола.

Я спрашивал его, кстати, рассказал ли он уже ей о нашем деле.

— Нет,— бесстрастно ответил он, не желая продолжать этот разговор...

Не кончится у них добром, не кончится.

В половине девятого он прибежал.

— Звонила! Составляю, кричит, запрос...

— Кричала?

— На улице было слышно.

— Что Никонов?

— Тише. говорит, тише, я, говорит, сам точно ничего не знаю. А мне надо точно, кричит она, точно!.. Но будто бы, говорит тогда он, что-то готовилось. Просил не посылать запрос.

— Послать немедленно!

— Ага. Осип Викторович отвезет.

— Боже вас упаси! Почтой. Исходящий номер здесь — входящий там. Почтой с уведомлением о вручении!

Семен потер щеку.

— Как писать?

Я выдрал из этой тетрадки листок.

«Председателю исполкома
Гусь-Пристанского районного Совета
депутатов трудящихся
тов. В. Н. Никонову
от депутата райсовета, председател:
Ивановского сельского Совета
Е. Ф. Никитиной.

ЗАПРОС

До жителей села Ивановки, а также села Рязанки, входящих в колхоз «Луч» дошли сведения, что будто бы готовится или уже подготовлено и послано в Совет Министров РСФСР ходатайство о ликвидации этого колхоза и присоединении его на положении отделения к совхозу «Октябрь». Жители встревожены, обращаются в сельсовет за разъяснениями, задают мне вопросы, на которые я не могу ничего ответить. Обращалась к председателю колхоза «Луч» тов. Сергунину С. А., который ответил, что он тоже ничего не знает. Считаю, что это неправильно, что мы не поставлены в известность о соответствующих намерениях районных и областных руководящих органов. Прошу дать ответ по существу моего депутатского запроса.

25 июля 1968 года.

Е. Ф. Никитина».

Семен взял этот листок и понес на машинку. Вскоре он вернулся.

— Федоровна спрашивает: может она должна написать и Жоржиеву лично? Он депутат областного Совета от нашего района. Он ее знает.

— Великолепно!

— Как писать?

— Неважно.

Он опять потер щеку.

— Пойми правильно. Мы не каждый день пишем такие бумаги. Я выдрал второй листок...

Но все это присказка, надумалось мне к обеду, — и запросы Никонову и письмо Жоржиеву. Все это лишь затем, чтобы показать, что Ивановка с Рязанкой не лыком шиты, что они знают свои права, умеют действовать грамотно, уважают районную и областную власть, ничего не предпринимают поверх них. Но если ходатайство о ликвидации колхоза есть, а оно, судя по реакции Никонова, есть, если оно уже в Москве, а оно почти наверняка там, то отзывать его никто не будет. Значит, эту бумагу надо дополнить нашей и послать ее в Москву, вдогонку.

Хорошенько взвесить, от кого составлять эту бумагу. Кто ее должен подписывать? Группа рядовых колхозников? Любому и каждому после запросов Федоровны будет ясно, чьих рук это дело. Получится, что она прячется за спины колхозников... Собрать внеочередную сессию сельсовета? Нет, это слишком громко, так зарываться не стоит. Правление колхоза? Нет, правление — это Семен, а его место в тени... Колхозная партийная организация? Тоже, пожалуй, дерзко, не совсем грамотно: многовато включается людей.

Остается одно: партком. Это и солидно, и немного людей. Но Колобродов секретарь, в отпуске его нет в селе. А будь он здесь, еще неизвестно, согласился бы он собрать партком по такому вопросу без согласования с райкомом. Я на его месте не согласился бы, порядок есть порядок, особенно потому, что он неписанный. А заместитель секретаря, спокойный и мягкий Евгений Александрович соберет? Без согласования — соберет? Надо во что бы то ни стало без согласования. Ставить под удар Петрина, уже, кстати, вернувшегося, ни к чему. Он сразу же сообщит Жоржиеву, тот велит эту возню прекратить, и Петрин явится в Ивановку — прекращать. Созывать тогда партком против воли первого секретаря райкома — скандал.

Проводить заседание в присутствии первого секретаря, который против этого заседания,— скандалище. На такой скандалище коммунисты не пойдут. Так что надо понимать и щадить людей, не отрывать от земли. Петрин потом сам будет нам благодарен, что его не впутали в эту историю на самом остром, первом ее этапе. Когда он скажет, что письмо в Москву было принято без его ведома,— это одно дело. А когда придется говорить, что письмо в Москву было принято в его присутствии, но против его воли, а такой поворот хоть и маловероятен, но, учитывая авторитет и отвагу Федоровны, возможен,— это совсем другое дело. Получится, что Петрин расписывается в своей слабости, в неспособности убеждать людей. А я ему ничего плохого не желаю.

Значит, вот цель: сделать так, чтобы Евгений Александрович согласился созвать партком без согласования с Петриным. Для этого, щадя Евгения Александровича, ему не надо говорить сразу всего. Пусть он не знает, что намечается письмо в Москву. К нему придет Федоровна — поставит ей памятник Ивановка, поставит!.. Как член парткома она потребует созвать заседание, чтобы доложить об уже предпринятых ею шагах. И все. Повестка дня простая, невинная: сообщение члена парткома, председателя сельсовета о ее депутатском запросе. Будут выступления, протокол. В выступлениях — доводы против ликвидации колхоза. Потом кто-то предложит решение: обратиться с письмом в правительство РСФСР, копии письма и протокола послать в район и область...

Вот это мне надумалось, и я, пока не появился Семен, пошел помочь Папашке полоть картошку. Папашка, не обращая на меня особого внимания, негромко гудел свою мырчалочку, я про себя — свою. Скрипнула калитка, во дворе показался Семен. Мимо двора проплыла осанистая фигура Барчукова. Барчуков! Как мы о нем забыли?!

— Илью Кузьмича,— сказал я Семену,— надо куда-нибудь усадить хоть на один день.

— Да он и на месяц с радостью поедет.

— На пару дней, сегодня же.

Не хватало, чтобы завтра на парткоме он выступил в своем обычном репертуаре.

К семи часам стал известен результат переговоров Федоровны с Евгением Александровичем. Заседание парткома назначено на завтра на десять часов утра. В распросы старик не вдавался, надо — значит, надо. Семен порозовел, быстрее стали движения, голос, каким он сообщает о ходе нашего дела, звонкий. Семен как бы рад, что ничем не может огорчить меня, что все идет по намеченному плану, что оба мы уже не властны над событиями.

В сумерках я вышел из дому. Повестку завтрашнего заседания члены парткома уже знают, но какое должно быть принято решение, известно только Федоровне и Семену. Этого мало, в этом есть риск, подумал я. Человека два-три, помимо Федоровны и Семена, к утру должны знать все, с ними надо провести предварительную работу. Но Семена и Федоровну от этой работы надо избавить.

Я шел опять к Мамонову. К человеку, состоящему в родстве чуть ли не со всей Ивановкой. Мало ли о чем он может толковать в сумерках с кем-нибудь из своих троюродных? Это никого не касается, он лицо неофициальное, он рыболов-спортсмен. Меня обогнал бензовоз, в котором рядом с шофером сидел в своем выходном зеленом костюме с ромбом Барчуков. Илья Кузьмич спешил в Гусь-Пристань, чтобы поспеть на вечерний рейс «Ракеты». Срочная командировка... Любуюсь из окон «Ракеты» берегами Оби, будет, наверное, сочинять стихи гражданского содержания, чтобы по возвращении прочитать их в семье.

26 июля.

Заседание парткома было назначено на десять утра, началось, как водится, в половине одиннадцатого, закончилось в час, а в половине третьего Семен положил передо мной уже оформленный протокол. Безмерно благодарен Семену и Федоровне за то, что они не привлекли меня хоть к оформлению этого протокола. Видеть перед собой бумагу, к которой не приложил руки, знать, что она подлинная,— счастье. Для меня сразу стало подлинным все окружающее, сам воздух этого жаркого дня.

А препроводилку пришлось набросать...

Протокол был составлен великолепно: грамотно, внятно, сдержанно и политично. В нем даже отражен вопрос одного члена парткома насчет председателя колхоза — почему, дескать, молчит товарищ Сергунин, почему инициатива исходит не от него, а от сельсовета? Вопрос был задан свояком Мамонова. Серафим Петрович пробежал вчера по селу с толком. Письма с копиями протокола и препроводилками для района и области (первому секретарю обкома К. С. Аксенову!) пошли через ивановскую почту, а для Москвы мы с Семеном отвезли на пристань и бросили там. Были возбуждены, непрерывно говорили, выговаривались напоследок. Больше мне здесь делать нечего. Жаль, что не удалось лето. Собирался пожить до ноября, а уезжать придется не сегодня-завтра. Не сегодня-завтра письма дойдут по адресам, поднимется шум, в Ивановке наверняка появятся гости, начнется разбирательство. Меня здесь в это время быть не должно.

Убраться тихо, незаметно, на рассвете или ночью. Пропало лето. Для газеты не будет ни строки, а что напишется из этого не для газеты — робею даже думать. Столько всего хотелось бы вложить, столько оттенков, которые никому, может быть, и не нужны! Синие, напряженные глаза Семена, беловатые, горячие — Федоровны, голубые, затаенные — Осипа Викторовича... Осип Викторович заходил вчера к Папашке, приоткрыл дверь ко мне. Все сидите, говорит, ваперти, никуда не показываетесь, приехали отдыхать, а приходится сидеть. Обо всем он догадывается, но виду не подает, свое отношение проявляет таким вот сочувственным почтением. Мне оно приятно — и в то же время неловко, что приятно...

29 июля.

Вот это оперативность! В пятницу Федоровна отправила свое письмо Жоржиеву, а сегодня, во вторник, получила ответ. Семен тут же принес его ко мне. Самый обыкновенный конверт, четырехкопеечный, с адресом от руки. И той же рукой написано письмо! Не на машинке. На листе обыкновенной серой бумаги! Не бланк — депутатский или иной какой, а простой листок с несколькими строками синими чернилами.

«Евдокия Федоровна! Ваше письмо вызывает удивление. Все сведения, которые Вам нужны для Вашей работы и в пределах Вашей компетенции, Вы получаете в установленном порядке. Что касается вопроса, который Вы поднимаете, то, насколько мне известно, в области он не ставился. С приветом С. Жоржиев».

Никаких титулов. Не отказал себе в удовольствии обойтись и без слова «уважаемая». Просто — «Евдокия Федоровна!», по-свойски, так сказать. Может, и ошибаюсь, но в каждой букве этого письма, в его оформлении вижу злую досаду мелкого, мелочного человека — досаду и растерянность, даже испуг, пожалуй, и натужную попытку сохранить лицо, выдержать тон. Очень любопытный документ, очень. В том, что Жоржиев написал это письмо от руки, не воспользовался никаким бланком, сам надписал конверт, в этом подчеркивании, что его письмо частное — особый расчет. Снизить вопрос, придать ему вид пустяка и тем самым поддеть, урезонить слишком много о себе возомнившую бабу. Хотел-то он этого, а на самом деле невольно по-

казал, что этой бабы он испугался, почувствовал в ней силу. А врет он действительно как ничтожное частное лицо, и в этом его промах. Он, наверное, решил, что других писем по этому вопросу из колхоза никуда не ушло. Ответить брехней на личное письмо Федоровны можно. А что он будет отвечать колхозному парткому и Москве? А в каком он окажется положении, если Федоровна даст ход его лживому письму? Может, как раз сейчас он думает об этом. Дал перехитрить себя какой-то бабе! Он теперь в ее руках. Сидит, наверное, в огромном своем кабинете, грызет лук (или локти?) и чувствует себя самым несчастным человеком на свете. Кровь распирает шею, ухаает в висках, тело жаждет инсулина, а нужнее всего-то ему сейчас чистая соевая, да где ее взять?

Завтра уезжаю. Сегодня вечером был Миша Храмков, немного погуляли у реки, ни о чем друг друга не спрашивая. С сеном он уже управился, показывал ладони с черствыми лепешками мозолей. У реки было очень тихо, на быстрой воде ни морщины, только было заметно вращение на глубоких местах, да от бакена, белеющего треугольником в сумерках, доносилось журчание. Знаю, что больше Мишу не увижу, знаю, что через много лет, если доживу, открыв эту тетрадку, очень захочу его увидеть, походить с ним, что-нибудь для него сделать.

* * *

Это последняя запись в шестнадцатой тетради того давнего дневника. Вернувшись в Москву, я позвонил человеку, который ведал прохождением сельскохозяйственных документов в аппарате Совета Министров РСФСР. По моим сведениям, сказал я, из такой-то области недавно послано ходатайство о преобразовании ряда колхозов в совхозы — так не у вас ли, дескать, эта бумага и нельзя ли узнать ее судьбу?

Пока я представлялся, просил прощения за беспокойство и осторожно подбирался к сути, густой голос моего собеседника был бодро деловым, в нем сквозила готовность немедленно оказать уважаемой газете все услуги, и от мысли о том, что такой человек ничего, кажется, не способен откладывать в долгий ящик, что бумага уже рассмотрена и одобрена, что мы с Семеном опоздали, я тихо тосковал. Но как только мой собеседник уразумел, о чем его спрашивают, тон его резко переменялся. В голосе прибавилось густоты, от него потянуло холодом и тем сиятельным спокойствием, которое незаметно переходит в ленивое презрение. Вот этим тоном, подробно, правда, и вразумительно, мне было объявлено:

- а) интересующая меня бумага действительно поступила,
- б) эта бумага сразу же была отправлена в архив, поскольку предложений о преобразовании колхозов в совхозы правительство РСФСР в настоящее время не рассматривает по причине их очевидной политической незрелости и экономической несостоятельности,
- в) хлопотать о ликвидации колхозов уважаемой газете не пристало, у нее, надо полагать, есть другие, подлинно злободневные и полезные дела.

Ликуя, я ответил, что газета того же мнения, и попросил, если можно, зачитать мне список спасенных правительством России колхозов. Голос опять стал бодрым и приветливым, на слово «спасенных» я услышал короткий, как бы польщенный смешок, и мне было велено перезвонить после обеда.

После обеда список был мне продиктован. В нем было одиннадцать колхозов, последним значился наш «Луч».

— Вот ради этого «Луча», — закричал я, — все и затевалось!

— Даже так? — не очень удивился мой собеседник. — Бывает.

Пока мы так говорили, я ликовал, а когда положил трубку, почувствовал усталость и полное нежелание кому бы то ни было рассказывать эту историю и про то, как я в ней участвовал.

До последнего часа

Хуже стало ему в этот миг или лучше?
Только сердце забилось в груди невпопад,
И поник человек, уронив авторучку,
Как роняет винтовку убитый солдат.

Он поник — и в глазах у него потемнело.
И бумага на черный сменила свой цвет.
Вдруг погасло сознание, светившее смело
Шестьдесят беспокойно промчавшихся лет.

Соловьиные песни в саду отзвучали,
Где бродил человек тот с утра до темна.
В горе друг.
Даже недруг, похоже, в печали —
Ради этой печали и смерть не страшна.

Жизнь людей поседевших войною измерьте —
Каждый миг ее помним
Из года мы в год.
Нет теперь уж для нас преждевременной смерти,
Если камень на голову не упадет.

Мы стареем, а юность встречает рассветы —
Ты ее от иного, судьба, упаси.
Надели ее вечной любовью планеты,
Не срывающейся с постоянной оси.

Мы довольны и нынешним днем и минувшим.
Мы как будто по несколько жизней живем,
Ибо каждый из нас, если родине нужно,
То мечом, то серпом был,
А то и гвоздем.

Нам эпоха дарила любые невзгоды,
Но на труд и на подвиг вела, что ни миг.
Дерзким словом «даешь!» торопили мы годы,
Словно к старости нашей
Спешили сквозь них.

Часто сердце, как в юности, дышит отвагой,
Но лишается тело здоровья и сил.
Так и тот человек,
Что поник над бумагой,—
До последнего часа он людям светил.

Что он думал?
Каким предавался тревогам
В миг, когда у него закололо в боку?
Может, он рассказал бы еще нам о многом,
Но судьба прервала и себя и строку.

Смерть всегда и горька и как будто нелепа,
Хоть за годом ее приближает к нам год.
Пусть бывает затянута тучами небо —
Снова яркая молния вскоре сверкнет.

Перевел с казахского ВЛ. САВЕЛЬЕВ.

ВИКТОРИЯ ТОКАРЕВА



ДЛИННЫЙ ДЕНЬ

Повесть

В семье Владимирцевых заболела дочь Аня. Как это выяснилось: домработница Нюра взбунтовалась от однообразия жизни, было решено отдать Аню в детский сад. Потребовались справки, проверки, анализы. И именно анализы насплетничали о скрытой болезни.

Беда приходит в дом с самым будничным лицом. В данном случае это выглядело так: Вероника Владимирцева, Анина мама, собиралась на встречу с Мельниковым. Придется отвлечься и сказать несколько слов — сначала о Веронике, а потом о Мельникове.

Вероника — журналистка тридцати пяти лет, работающая в большой газете. Аню она родила в тридцать два года, хотя замуж вышла в двадцать. Двенадцать лет, вернее одиннадцать, были потрачены на то, чтобы найти себя, утвердить и подтвердить. А потом уж заняться материнством и младенчеством. Ей казалось, что рожать детей могут все — и кошки и собаки. А делать то, что делает она: найти тему, вскрыть ее и бросить людям, — это может только она, и в этом ее ответственность перед человечеством.

Внешне Вероника нежная женщина, похожая на «Весну» Боттичелли, с тем же самым беззащитным полуизумленным взглядом. Если, скажем, идет дождь, то даже незнакомому человеку хочется поднять ладони над ее головой, чтобы ни одна капля не упала на эту легкую светловолосую голову. Если пойти от первого впечатления ко второму и углубиться в третье, то перед вами — танк, усыпанный цветами. Кажется, что это клумба, а если подойти поближе, то под хрупкой зеленью и розовостью проступает железная броня. Что очень важно, Вероника использовала свои гусеницы только в общественных интересах, в интересах человечества, чтобы заставить его социально мыслить. Ни по чьим телам эти гусеницы не шли.

Настоящий журналист не может быть аморфным. Профессия требовала мужских бойцовских качеств. Эти же качества воспитал в Веронике ее муж Алеша Владимирцев. Он ничего не хотел добиваться в своей жизни: ни искать себя, ни утверждать, ни тем более подтверждать. Он любил читать книги, усваивать чужой опыт. Придя домой со своей инженерно-конструкторской работы, он садился в кресло и раскрывал очередной том Диккенса. Вероника не встречала второго такого начитанного человека. Однако все необходимое для житья, как то: гнездо, корм, забота о потомстве, — лежало на ней. Можно было бы сесть во второе кресло, в доме их два, достать другую книгу (у них хорошая библиотека) и самой тоже углубиться в чтение и посмотреть, что из этого получится. Но Вероника на эксперимент не решалась. В конце концов, у ее подруг было еще хуже. Ее подруги даже не смели мечтать о таком счастье, как трезвый муж, сидящий в доме и читающий Диккенса.

На чем мы остановились? На том, что Вероника собиралась на встречу с Мельниковым, красила глаза и в этот момент вошла домработница Нюра и сообщила с претензией (она вообще разговаривала только с претензией, ощущая зависимость Вероники и постоянно подерживая в ней эту зависимость):

— Врач Илья Давыдович сказал, чтоб пришла. Анализы неправильные.

— Почему неправильные? — спросила Вероника, не двигая лицом, рисуя полосу на нижнем веке.

— А черт его знает! — обиделась Нюра и вышла, хлопнув дверью.

Вбежала трехлетняя Аня, или, как ее звали в доме, Нютечка. Она была оформлена в соответствии с Нюриной эстетикой: байковое платье в горошек, байковые штаны спускались ниже колен. Нютечка выглядела как послевоенный ребенок. Веронике стало стыдно. Однако все на этом и кончилось. На мимолетном чувстве стыда. Вероника существовала таким образом, что каждый кусок ее жизни: месяц, неделя, день — был забит до отказа. Чтобы по-настоящему чего-то достичь, надо заниматься чем-то одним. Вероника сбавила Нютю на Нюру, и все шло относительно нормально, если не считать Нюриных выступлений. Нюра выступала потому, что чувствовала себя одинокой, выключенной из интересов семьи. Она и маленькая девочка жили отдельным необитаемым островком. Мать все время «вихрилась», а отец сидел, как «сидадуха», и читал, «хоть кипятку ему под зад плесни»... Нютя обожала Нюру, старалась ей подражать, говорила по-деревенски, употребляла полуцензурные слова, не понимая их смысла. В детстве усваиваемость замечательная. Дети одинаково хорошо усваивают и иностранный язык, и полуцензурный слог, и диалект Великолукской области.

Вероника перестала красить глаз и с пристрастием посмотрела на девочку. Вид у нее был непрезентабельный, но безмятежный и совершенно здоровый. Она была толстененькая, розовощекая, в шелковых волосах и с «лампочками» в глазах. В ее желудевых бежевых глазах все время что-то светило, как будто был включен свет. И когда ее фотографировали, то на фотокарточках рядом с черными точками зрачков фиксировалась белая точка внутренней лампочки. Это был свет ее жизни, может быть, таланта или напор оптимизма, который бывает врожденным, как и цвет глаз.

Никаких видимых следов болезни не было и в помине. Вероника подумала: не может так светиться больной человек. В большом человеке обязательно что-то идет на ущерб. Он может не чувствовать болезни, но светиться не будет.

Вероника успокоилась и стала дальше красить свой глаз. Нютя стояла рядом, выпятив пузо, и смотрела с немым восхищением. Все, что имело отношение к Веронике, приводило ее в особое состояние. Вероника была для нее не бытом, как все остальные мамы у всех остальных детей, а праздником. Вероника была тем, чем награждают.

— У нее вульгарный пиелонефрит, — сказал Илья Давыдович. — Либо врожденный порок почки.

Внимание Вероники зацепилось за слово «вульгарный». Она думала, что вульгарными могут быть только люди, а не болезни. Как человек, работающий со словом, она отметила, что «вульгарный» — в прямом значении этого слова: примитивный, обычный. И значит, вульгарный человек — это человек обычный, ничем не примечательный.

— Почему вы так решили? — спросила Вероника.

— Стойкий белок. Лейкоциты выше нормы.

— А почему это бывает?

— Осложнение после простуды, чаще всего после ангины. Или врожденный порок.

— А что, бывают пороки почки? — удивилась Вероника. Она слышала о пороках сердца, а остальные органы, как ей казалось, пороков не имеют.

— А как же... Бывает блуждающая почка, сдвоенная почка, карман в почке...

— А почему так бывает?

— Природа варьирует... ищет... ошибается.

Вероника считала, что человек уже закончил, завершил свою эволюцию. И она удивилась, что природа продолжает работать над законченным замыслом.

— Это опасно? — спросила Вероника.

Она спрашивала спокойно, почти бесстрастно, будто речь шла не о единственной дочери, а о малознакомом человеке. Вероника считала себя не вправе нагружать посторонних людей своими личными эмоциями. Страх, внутренняя паника, угрызения совести — это ее дела, и нечего вешать такие неподъемные тюки на бедного Илью Давыдовича. Это качество Веронике привила ее свекровь, Алешина мама. Она говорила: «Не разрешайте подглядывать в свои карты. Вы, Ника, несделанная женщина»...

Илья Давыдович не стал отвечать на вопрос, опасно или нет. Он сказал:

— Если врожденный порок, потребуется операция. Вот вам направление в Морозовскую больницу.

Вероника взяла направление и вышла из кабинета. Постояла. Потом вернулась обратно. Стояла безмолвно. Илья Давыдович смотрел на нее понимающе.

— Трудно дети растут... — Он покивал головой, плешивой, в редких волосиках, как у младенца. — Трудно вырастить человека...

— А в больницу обязательно? — спросила Вероника, надеясь хоть что-нибудь отменить.

— Обязательно. Надо сделать урографию. А это проводится только в стационаре.

— Что такое урография?

— В вену вводится синька, потом делают рентген почки.

Вероника представила себе, как в кровь вводят синьку, кровь становится синего цвета и эта синяя кровь устремляется в Нютечкино сердце и в мозг.

— Это опасно? — спросила Вероника.

— Может быть аллергический шок, поэтому урографию делают в стационаре под наблюдением врачей.

Шок... операция... синька. Ее дочь окружили опасности, как волки в мультфильме, и уселись вокруг зловещим кольцом. И она, именно она и никто другой должна встать рядом со своей дочерью и вывести ее из этого кольца. Но как?

Из больницы Вероника поехала в райисполком на встречу с Мельниковым. Встреча была назначена заранее, а отменять назначенное было не в ее правилах.

Мельников ждал ее в кабинете — крепкий, белозубый, гладкий, как промытое яблоко. Мебель в его кабинете была темная, полированная. На полках стояли призы за хорошую работу и подарки, преподнесенные иностранными гостями: парусный фрегат, Эйфелева башня. Башню, наверное, подарили французы. Кому же еще...

— Садитесь, — пригласил Мельников.

Вероника села против него, думая, однако не о сути вопроса, а о словах «шок» и «операция». Неужели ее маленькую девочку придется сдавать на чужие руки, на пытки, как в гестапо? И почему именно на ней природа решила искать и варьировать?

Суть же вопроса состояла в следующем: полгода назад в районе открыли музей выдающегося просветителя конца XVIII века. Музей открыли в доме, где жил просветитель с такого-то и по такой-то год. В эти рамки вмещалась вся его жизнь со дня рождения до последнего дня.

Была проведена большая работа: выселили жильцов, дали им новые квартиры с учетом современных норм на человека, отреставрировали старый дом, завезли экспонаты. Наконец состоялось торжественное открытие музея. Вероника написала статью об историческом наследии, о связи поколений, об эстафете, которую мы несем из прошлого через настоящее к будущему. А потом в редакцию пришло письмо от студента-первокурсника, который сообщил, что просветитель жил вовсе не в этом доме, а через дорогу, на уголочке. Веронику послали разбираться. Она разобралась довольно быстро: да, не в этом. Да, через дорогу, на уголочке. Произошла путаница. Как она произошла? Как всякая путаница. Сейчас в ходу слово «халатность». Кто-то проявил халатность. А может, просто честно ошибся. Да и какая, в сущности, разница, где жил этот просветитель, к какому парадному подъезду подавали ему лошадей, к тому или к этому.

— Дело в смысле его жизни,— философски заметил Мельников.— А не в месте. Место — это случайность.

— Это сейчас случайность,— сказала Вероника.— Это мы сейчас не знаем, где получим квартиру. А тот дом был домом его отца, деда и прадеда. А потом в нем жили внуки и правнуки. Дом — часть человека.

— Мы это понимаем.

Мельников называл себя «мы». Вероника знала, что решать будет он, но Мельников пожелал сделать вид, что от него ничего не зависит, вернее, не все зависит только от него. Можно было все оставить как есть. Ничего не менять. А можно перенести музей на положенное место, но тогда опять выселять, опять выделять, опять реставрировать. Получается, что они только и занимаются просветителем, когда так много пусть менее значительных, однако живущих сегодня людей. Животрепещущих судеб.

— Дома-то одинаковые почти. Один архитектор строил,— мягко нажал Мельников и простодушно посмотрел в прозрачные боттичеллевские глаза Вероники.

— Если пойти по пути «все равно», то зачем варить пищу? Можно есть сырой. Зачем одеваться? Можно завернуться в шкуры. Зачем вообще нужны просветители и память о них? Зачем нам знать, что до нас тоже жили люди и хотели нам добра?

— Вы где учились? — спросил Мельников, как бы снимая тему, интересуясь лично ею, Вероникой.

За этими прозрачными глазами он услышал лязг гусениц и понял, что легче вложить средства, силы и время, чем связываться с этой журналисткой и ее газетой.

— У меня два образования,— сухо ответила Вероника, не поддерживая интерес к себе. Поднялась. Первая протянула руку. — Единственное, что я могу сделать для вас, это уйти.

Летуче улыбнулась и ушла. И, еще не выйдя за дверь, забыла и о Мельникове и о музее. В создавшейся ситуации ей это было все равно, и именно поэтому, она знала, все получится. Судьба не любит, когда от нее что-то очень требуют. Судьба любит, когда ей предоставляют право выбора.

Вероника закрыла за собой дверь. Мельников какое-то время смотрел на закрытую дверь. Он привык к тому, что все у него что-то просят, заискивая взором и вибрируя душой. А глаза этой женщины были свободны той свободой, которую дает правота и ощущение соб-

ственной человеческой значимости. Мельникову захотелось, чтобы она пришла и попросила что-нибудь для себя. Но он знал, что она не придет и не попросит. Такие для себя не просят ничего.

Аня стояла перед врачом раздетая по пояс, благосклонно разрешая себя выстукивать и выслушивать.

Вероника сидела возле стены на стуле, подавшись вперед, смотрела на свою дочь, и в эту минуту в ней жила только мать. Не существовало ни дела, ни мужа, ни себя самой — только эта девочка с широкой спиной и выпяченным пузом.

— Сердечко какое симпатичное! — похвалила женщина-врач, окончив осмотр.

В Веронике взметнулась надежда. Она влюбленно посмотрела на молодую страшненькую врачиху, ожидая, что та отменит все страхи, отдаст Аню домой и можно будет снова сдать ее на Нью и зажить своею жизнью.

Врач что-то написала на белом листке, потом протянула листок Веронике.

— Направление на госпитализацию, — сказала она.

— Почему?.. Ведь сердце хорошее...

— А почки плохие. Она ангиной болела?

— Болела, — вспомнила Вероника. — Весной...

— Скорее всего осложнение после ангины на почки. Советую вам не тянуть. Идет воспалительный процесс. Запустевают канальцы...

Эти запустевающие канальцы поразили Веронику.

— А когда класть?

— Да хоть сейчас. Чем скорее вы за это возьметесь, тем скорее закончите.

Веронике захотелось начать все немедленно. Ей казалось, что процесс запустевания движется неумолимо и происходит даже сейчас, когда она разговаривает с врачом. Необходимо немедленно в это вмешаться и остановить.

Она взяла Аню за руку и пошла с ней в приемный покой.

— Ты сейчас ляжешь в больницу, — сказала Вероника.

— А ты?

— А я к тебе приеду. Съезжу за твоими тряпочками и все привезу.

Аня вытащила свою руку и остановилась, не желая следовать за матерью. Вероника взяла ее за руку и повлекла, но Аня упиралась.

— Стой, если тебе нравится, — разрешила Вероника. — А я пойду.

Она пошла вперед, ожидая, что Аня побежит следом. Но Аня осталась стоять посреди аллеи, усыпанной желтыми листьями. На ней было красное пальтишко и платочек, повязанный концами назад, как у маленькой бабенки. Аня не плакала, смотрела со сложным выражением, как собака, которую ведут на живодерню и она не верит своему хозяину.

Вероника вернулась к дочери, присела перед ней на корточки и стала говорить ей, прямо глядя в глаза, апеллируя такими несложными понятиями, как «хорошая девочка» и «нехорошая девочка». Аня внимательно слушала, и в ее маленьком мозгу шла работа.

— Там хорошо, — убеждала Вероника. — Там много детей. У них есть игрушки. Я тоже принесу тебе куклу.

— Когда? — уточнила Аня.

— Прямо сейчас. Вот отведу тебя в больницу и пойду за куклой.

Аня доверчиво вложила свою руку в руку Вероники и разрешила заманить себя в приемный покой.

После некоторых формальностей: опять прослушивали, опять спрашивали, опять заполняли историю болезни, — пришла большая, просторная нянечка, взяла Аню за руку и повела за собой. Нянечка была высокая, а Аня маленькая, и поднятой детской руки не хватало

до взрослой ладони. Нянечка чуть поддернула руку к себе, отчего Аня вся перекосилась в противоположную от нянечки сторону, и они пошли по скользкому кафельному коридору как по льду.

Вероника постояла оцепенело, потом вышла из больницы и помчалась в «Детский мир». Именно помчалась: бежала к такси, потом выскакивала из такси и летела по коридорам «Детского мира». Она купила самую дорогую немецкую куклу с такой же, как у Ани, большой башкой в светлых прямых волосах и вернулась в больницу. Она передала куклу знакомой нянечке и попросила подвести Аню к окну. Нянечка пообещала и выполнила обещание. Подвела Аню к окну.

Вероника стояла на улице. Было не холодно, но ветрено. Ветер остервенело срывал с деревьев желтые и красные листья, и, прежде чем упасть, они взмывали вверх.

Окно в Анину палату, как объяснила нянечка, было на первом этаже третье справа. Больница размещалась в старом, прошлого века здании красного кирпича. Толстые стены, высокие окна, двойные рамы. И вот за этой двойной рамой появилось искусственно оживленное лицо нянечки и Анино лицо, искривленное мученической гримасой плача. Она держала в руках куклу, но кукла была ей не нужна. Ей нужен был дом, мать, отец и Нюра. А вместо этого были чужие стены и чужие люди. Она еще не умела понять, что это временно, что так надо. Ей казалось, что теперь будет только так, и она не понимала, почему с ней так поступили.

«Поезд дальше не идет, просьба освободить вагоны», — бесстрастно проговорил голос, безо всякого отношения к происходящему. И действительно: какое может быть отношение к тому, что поезд дальше не идет и пассажирам предлагается подождать следующего?

Люди высыпали из вагонов. Тетка в железнодорожной шапке двинулась вдоль состава, чтобы проверить, не заснул ли кто.

Вероника сошла с эскалатора, вошла в пустой вагон, уже проверенный теткой, и осталась сидеть в нем. Она не слышала предупреждения, а может, и слышала, но не пропустила в сознание. Она была отделена от всего мира беззвучно плачущим Аниным лицом.

Тетка неторопливо дошла до конца состава, потом повернулась на сто восемьдесят градусов, лицом к первому вагону, и махнула рукой машинисту. Дескать, можно ехать, все в порядке.

Молодой машинист вошел в вагон и тронул состав. Вероника покачивалась в вагоне и ничего не видела перед собой, кроме Ани в больничном окне.

Как все это случилось? Когда началось? Это началось весной, полгода назад. Ей предложили командировку в Ленинград.

Стало известно, что молодой ленинградский священник, обладающий замечательным голосом, решил перейти из религии в эстраду. Нужно было взять у него интервью. Вероника с радостью согласилась. Город Ленинград был необходим, как любимая книга, которую время от времени перечитываешь и испытываешь в этом потребность. Фотокорреспондент Мишка Красовицкий был влюблен в Веронику ярко и нахально. Материал со священником обещал быть необычным и, может быть, даже сенсационным. И очень хотелось выскрипеть, как ветер в трубу, из своего такого спокойного дома, где каждый день похож на предыдущий, а предыдущий на последующий. А тут — выброс, протуберанец в город, «знакомый до слез», с праздничным Мишкой к авантюрному священнику.

Билеты были взяты на вечер на «стрелу», а утром выяснилось, что у Ани тридцать семь и восемь. Ангина. Илья Давыдович прописал лекарство. Нюра сходила в аптеку. Вероника складывала чемодан.

— Ты уезжаешь? — поразился Алеша.

— Но ведь ты остаешься, — резонно заметила Вероника.

— Но ты же мать.

— А ты отец.

Вероника уехала.

Священник действительно оказался обладателем прекрасного голоса, но в эстраду переходить не собирался, и с первого взгляда было понятно, что это не эстрадный человек. Он был высокий, толстый, наивный, как переросший младенец, глубоко образованный. Он пригласил Веронику и Мишку к себе домой, в большую старинную квартиру на Старо-Невском, принадлежащую его тестю, тоже священнику. Жены не было дома, она работала в конструкторском бюро и в это время находилась на работе. Дома оказалась теща — интеллигентная сухая старушка, которая села за длинный рояль и стала аккомпанировать зятю. Сначала он спел несколько псалмов, потом несколько песен из репертуара Утесова. Голос у него был такой сильный, что закладывало уши, но пел он неартистично. Вернее, как не очень умный человек, произнося слова, но не проникая в них. Он не собирался в эстраду, но если бы даже и собрался, комиссия его не пропустила бы.

Старушка была сдержанна, противновата. Перед тем как сесть за инструмент, спросила: «А они понимают?» — в том смысле, что стоит ли метать бисер перед свиньями. Священник кивнул: дескать, стоит, можно немножко пометать.

Возле дверей висела его ряса, а рядом боксерские перчатки.

Когда через час Вероника с Мишкой вышли от них, мир вспыхнул, взорвался красками и жизнью. Как будто вышли из склепа на солнце. Мишка раскрыл свой кофр, достал оттуда бутылку с ликером и сделал большой глоток. Дал глотнуть Веронике. Это был замечательный вишневый ликер «шери-брэнди». Он еще больше обострил радость бытия, радость земной и грешной жизни. Они вышли с Мишкой на одну из многочисленных ленинградских набережных. Текла весенняя беспокойная вода, как будто тоже осознающая радость бытия. С третьего этажа по водосточной трубе слезал матрос — наверное, это была казарма или общежитие, и он оттуда убегал. Спускающийся по трубе человек вдруг приобрел в Мишкином сознании значение символа, чуть ли не предзнаменования. Знак объединения их судеб.

— Ты понимаешь? — таинственным шепотом спрашивал он.

Вероника, естественно, ничего не понимала, да и он не понимал. Просто был под градусом. Мишка тогда только начинал спиваться и везде носил с собой ликер. Именно ликер, потому что он был сладкий, являлся одновременно и закуской и выпивкой.

Вероника не шла на поводу его предзнаменований и знаков, однако чувствовала себя девчонкой, старшекласницей, пятнадцатилетней Никой, которой каждый листик на дереве обещал счастье.

А Аня в это время болела ангиной и получала осложнение на почки. Осложнения никто не заметил. Алеша смотрел в книгу, Вероника хватала за хвост уходящую юность.

Во всем плохом, что происходит с детьми, виноваты родители, и даже если они не виноваты, то виноваты все равно.

Вероника вдруг осознала, что едет одна в вагоне. Она поднялась и увидела, что соседние вагоны тоже пусты. Одна во всем составе. Погас свет. Она неслась в черноте. Мелькали красные лампочки туннеля. Ей казалось, что это возмездие несет ее в преисподнюю, но не испугалась. Сморщенное в беззвучном плаче Анино лицо вытеснило из нее страх за свою жизнь. Такая, как сейчас, она была себе не нужна.

Неожиданно поезд вынес ее из черноты в поле. Вероника плыла по осеннему полю, замкнутая в капсуле вагона. Потом в окна забили тугие струи воды. Состав пришел на мойку.

Если бы можно было пригнать на мойку свою жизнь.

Далее началось то, что врачи называют синдромом отрыва от дома. Аня не могла жить в больнице. Она выла утром, днем, вечером и ночью, не мирясь ни на минуту с предательством судьбы. Аня выла в палате, а Нюра под окнами.

— Господи, какой ребенок противный,— поделилась с Вероникой молоденькая медсестра.

— Может быть,— согласилась Вероника.— Но нам она нравится. У нас она одна.

Медсестра задумалась: она не ожидала, что это упрямо воющее существо, залитое слезами и соплями, может у кого-то вызывать симпатию.

— Ладно,— согласилась она.— Я вам ее сейчас выведу. Посидите в ванной комнате. Только чтобы никто не видел.

Вероника постарела за эти несколько дней, осунулась, перестала краситься и уже походила не на «Весну» Боттичелли, а на бабочку-капустницу, которую вытащили из перекиси водорода. Но Ане она показалась слепяще прекрасной. Увидев мать, она вздрогнула всем телом, потом разбежалась и вскочила на нее, как дикий зверек, обхватив руками и ногами. Вероника стала целовать ее личико. Аня не отводила глаз, и оттого, что Вероникино лицо было очень близко, они съехались у нее к носу. Она продолжала созерцать ненаглядное материнское лицо съехавшимися глазами.

В ванной комнате оказалась табуретка, выкрашенная белой краской. Вероника посадила дочь на колени, достала куриную ногу и стала скармливать, испуганно оглядываясь на дверь. Ане понравилась эта игра, она тоже оглядывалась на дверь и после этого кусала от курицы, хотя и не хотела есть. Она сидела, сложив руки в подоле платья, вялая и бледная, уставшая от непрерывной борьбы.

— Если ты будешь хорошая девочка, я попрошу нашего главного редактора — и он принесет тебе котеночка.

— Живого? — заинтересовалась Аня.

— Конечно живого. Самого настоящего. Он будет бегать, мяукать и пить молоко из блюдечка.

Заглянула медсестра, сообщила испуганно: «Обход» — и одновременно с сообщением схватила Аню за руку и потащила за собой. Но не тут-то было. Аня выкрутила руку и легла на пол, чтобы быть недосягаемой. За дни, проведенные в неволе, у Ани тоже появились кое-какие навыки и средства защиты.

Вероника увидела свою дочь в этом новом качестве, и ее глаза ошпарило слезами.

— Можно, я от вас позвоню? — нищенски попросила она медсестру. От Вероникиной танковости ничего не осталось. Она сама находилась под гусеницей.

Медсестра не могла разрешить такого явного нарушения и в таких явно неподходящих условиях, условиях обхода. Но отказать этим глазам под гусеницей она не смогла.

— Ладно,— расстроилась медсестра.— Только быстро.

Телефон стоял на столе посреди коридора, сбоку от него в поллитровой банке стеклянным букетом торчали градусники. Все вместе это называлось пост.

Аня и Вероника вышли из ванной комнаты, подбредли к посту.

Вероника набрала номер главного. Секретарша сняла трубку. Вероника назвалась.

— У него совещание,— вежливо, но определенно сказала секретарша.

— Соедините. Я из больницы.

Секретарша помолчала, видимо, ей дано было указание не связываться ни с кем из внешнего мира, но в голосе Вероники было нечто такое, что секретарша соединила. Вероника услышала чуть скриповатый голос главного, заканчивавшего фразу.

— Я знал, что будет именно так,— говорил он кому-то.— Я знал, что вы именно это скажете... Я слушаю.

— Здравствуйте. Это Владимирцева,— представилась Вероника.— Ваша сотрудница.

Главный промолчал. Он не то чтобы не помнил своих сотрудников. Он их помнил, но было трудно сразу переключиться с одной темы на другую. Так же как тормозить машину на полном ходу в гололед.

— Я слушаю,— повторил главный.

— Вы не могли бы достать моей дочке котенка? Маленькую кошку? — разъяснила она на тот случай, если главный, далеко отстоящий от детства, забыл, что такое котенок.

— Что? — удивился главный.

— Она лежит в больнице, но она не лежит. Плачет. Я сказала, что вы достанете ей кошку. Я сейчас дам ей трубку, а вы подтвердите.

Почему Вероника звонила главному? Можно было набрать любой номер, можно никакого номера не набирать, а попросить кошку в пустую трубку, в короткие гудки, сыграть перед Аней маленький спектакль. Но Вероника не хотела обманывать дочь в ее ситуации. И еще — она не давала себе в этом отчета, но ей казалось: когда кому-то плохо в океане вселенной и он посылает сигнал бедствия, то другой, пусть даже очень главный, должен уловить сигнал, если у него есть улавливающее устройство. И дать ответ: «Слышу. Плыву». А если не «плыву», то хотя бы «слышу».

Вероника протянула трубку Ане. Аня послушно прижала ее к уху. Сказала:

— Але.

В трубку, видимо, что-то говорили, потому что Аня слушала, сказала «да». Потом «нет».

Значит, главный переключился с одной темы на другую и серьезно говорил с незнакомой ему девочкой, попавшей в переплет.

В конце коридора распахнулась дверь, и в отделение вошла высокая усатая профессорша в окружении белых халатов.

Медсестра тут же нажала на рычаг, схватила Аню за руку. Аня срочно кинулась на пол, медсестра повезла ее за руку по кафелю, как санки за веревку. Это было не больно, но бесцеремонно. Аня взвыла. Вероника зарыдала и, прислонившись к стене, стала оседать, но не в обмороке, а в плаче.

Профессорша, она же заведующая отделением, остановилась против Вероники, устойчиво поставив ноги, как капитан гренадеров, и спросила:

— Это что такое? — При этом она успела рассмотреть кофту Вероники и ее сапоги, определяя и оценивая ее социальный статус.

Вероника хотела что-нибудь ответить, но лицо ее не слушалось. Она горько плакала, понимая, что ее слезы здесь никого не тронут. Здесь трагедии дело привычное, как градусники в банках.

— Понятно,— сказала Гренадерша. Это она сказала себе. Дальнейший текст уже касался Вероники.— Нечего дергать ребенка и дергаться самой. Она привыкнет. У детей пластичная психика.

Вероника проигнорировала распоряжение Гренадерши и появилась на другое утро. Приоткрыла дверь в отделение. Аня стояла в конце коридора и не отрываясь смотрела на дверь. Возможно, она стояла так всю ночь. Увидев мать, вздрогнула всем телом, крикнула:

— Мама!

В этот момент молоденькая медсестра, не вчерашняя, а другая, схватила Аню за руку и поволокла в палату. Видимо, распоряжение главврача было ей передано и даже записано в истории болезни, и она исполняла его неукоснительно.

Урография, то самое обследование, из-за которого Аню положили в больницу, было перенесено со вторника на пятницу. Почему? Ни-

почему. Просто так. А куда спешить? Ребенок страдает? Привыкнет. Детская психика пластична. Страдают родители? Ничего. Не помрут. Надо смотреть диалектически. У детей тоже должен быть отрицательный опыт. А взрослые — люди закаленные.

После работы пришел Алеша. В это время детей выдавали родителям для прогулки. Гренадерша ушла домой, и медсестра сменилась на вчерашнюю. Вчерашняя сестричка с легкостью выдала Аню. Может быть, не разделяла казарменных взглядов Гренадерши, а может, просто халатно относилась к своим обязанностям.

Алеша надел на Аню красное пальтишко, повязал платочек, и они отправились в больничный двор копать в песочнице.

Здесь было много детей и много мамаш. Вероника смотрела на желтолицых одутловатых детей с настоящей почечной недостаточностью, на их родителей и понимала, что они теперь одна компания.

Большеглазая женщина — с глазами преувеличенно большими, как у ночного зверя, — жаловалась Веронике на свою свекровь.

Свекровь, женив сына, решила, что выполнила свой материнский долг, и вместо того чтобы нормально перейти в статус бабушки, взяла да и вышла замуж, перешла в статус «молодухи». Теперь она носится и дрыгает задом, который похож на раскрытый зонт. Свекровь спросила своего нового мужа: ты будешь заниматься моим внуком или на черта он тебе нужен? Поскольку в вопросе уже был вариант ответа, то новый муж им воспользовался. «На черта он мне нужен, кто он мне?» — ответил муж. И был прав. Внук ему был совершенно посторонний человек. Надо было выбрать между внуком и новым мужем. Свекровь сказала, что когда-то она уже сделала выбор между сыном и любимым человеком: выбрала сына и всю жизнь отказывала себе в личном счастье. А теперь ей тоже хочется счастья, и это в пятьдесят-то лет. Пришлось мальчика сдать в ясли. В яслях его простудили. И вот результат: нефрит. А следствие нефрита — почечная гипертензия, а в перспективе — уремия. А уремия — это гроб. От этой болезни умер Джек Лондон! И все из-за того, что свекрови захотелось счастья. Пустила по ветру родное семя ради того, чтобы обнимать чужого мужика...

Аня накладывала в ведро мокрый песок, который хорошо утрамбовывался в кулича. Алеша сидел рядом и читал газету. Он и тут читал. Вероника слушала женщину и понимала: ее ненависть к свекрови помогала ей пережить свое горе. Вероника испытывала нечто похожее на ненависть, но не к другому человеку, а к себе, хотя легче обвинить другого. Страх за ребенка — это больше, чем страх за собственную жизнь. Это страх за свое бессмертие. Вероника со счастьем бы поменялась с Аней местами: забрала бы ее болезнь, залегла в больницу, чтобы Алеша и Аня ее навещали. Или не навещали. Это не важно.

Время прогулки окончилось. Алеша взял Аню на руки и понес к больнице. Понес не сразу, а предварительно стал увещевать и угроживать. Аня слушала, ей очень хотелось угодить отцу, но ее губы нервно задвигались, как бы ища место на лице. И когда Алеша понес ее к красному корпусу, она закричала сразу с самой высокой, самой отчаянной ноты, забила в его руках. Алеша повернул от больного корпуса и понес к выходу, к воротам в конце аллеи.

— Ты куда? — крикнула Вероника, плача.

— А ты что, не видишь, что с ней творится? — спросил Алеша.

Аня не сообщала, что ее несут домой, простирала руки за Алешино плечо, вскрикивала, как птица, выдыхая крик и вдыхая тоже с криком. Алеша широко шагал, унося дочь от этих криков. Вероника не поспевала следом и перемешивала шаг с пробежками.

— Но надо же сказать! — задыхаясь, прокричала Вероника.

— Завтра придешь. И скажешь, — спокойно сказал Алеша.

В этих криках он один был спокоен и, похоже, на какое-то время подменил Веронику в танке. А она трусила рядом, не понимая его и боясь.

Неподалеку от дома Алеша спустил Аню с рук, и она шла по знакомой дорожке собственными ногами. Нюра увидела их из окна и лихорадочно замахала рукой, всколыхивая, взбивая в воздухе радостную минуту. Аня увидела, но не отреагировала. В ней не зажглась лампочка. В недельной почти борьбе истощился ее аккумулятор, и требовалось время, чтобы снова зарядить ее счастьем, вернуть в нее свет. Нюра увидела все это с высоты пятого этажа и заплакала, вытирая глаза концом платка.

Назавтра Вероника стояла перед Гренадершей, как двоєчница перед директором школы.

— Вы просто выкрали ребенка,— обвинила Гренадерша.

— Она плакала,— со школьной беспомощностью оправдалась Вероника.

— Она у вас что, лишняя?

— Кто?

— Ваша дочь. У вас их что, десять?

— У нас она одна.

— Ставить единственного ребенка перед прямой угрозой...

— Угрозой чего? — оторопела Вероника.

— Жизни, чего же еще...

— Вы хотите сказать...

— Да. Именно это я и хочу сказать,— перебила Гренадерша.

— Но что же делать? — Вероника почувствовала, как погружается в океан безысходности.

— Везите обратно.

О том, чтобы везти Аню обратно, не могло быть и речи. Вероника написала какую-то бумагу под названием расписка о том, что забрали ребенка недообследованным и всю дальнейшую ответственность... и так далее и тому подобное.

Вероника расписалась под бумагой и пошла из больницы. Она не знала, что у врачей есть такой прием — гипердиагностика. Завышение, преувеличение опасности. Это делается для того, чтобы в случае плохого исхода можно было сказать: «А мы предупреждали. Мы не виноваты». Чтобы родители потом не писали письма в Министерство здравоохранения и не подавали в суд. А в случае хорошего исхода все будут благодарны врачам и забудут про гипердиагностику, в крайнем случае скажут: «Вот врачи, ничего не понимают». Но от этого врачам ни холодно ни жарко. Гренадерша страховала себя гипердиагностикой, а что чувствовала Вероника и как она шла домой — это уже не ее дело.

Вероника вернулась домой, и первое, что она сделала, — выпила стакан вина, чтобы вырубить себя из времени и пространства. Она подошла к дивану и легла. Диван то вздымался под ней, то шел вниз, как скоростной лифт.

Аня в соседней комнате играла с куклами в больницу. Она похудела и побледнела, ее личико стало прозрачным и аскетичным, как у богомолки.

Нюра не отходила от Ани ни на шаг. И даже когда нечего было делать, просто сидела и смотрела на своего перестрадавшего божка, скрестив руки на груди. Так бы и сидела, и ветер бы заносил прахом — не двинулась бы с места.

Вечером пришел Алеша. Услышал запах вина, увидел свою жену, распростертую на диване лицом вверх. Затылок онемел и одновременно раскалывался от боли, и Веронике казалось: если она поднимет голову, затылок останется на подушке.

— Встань и поставь чай,— приказал Алеша.

— Не могу.

— Можешь.

Алеша сел в кресло и развернул газету.

Вероника сползла с дивана и, держась за стену, побрела на кухню. Вид читающего мужа, как ни странно, уравновесил ее больше, чем вино. Если Алеша сидит и читает, значит, ничего в мире не изменилось. Больница с Гренадершей удалились далеко и уменьшились до точки. А дома было все как всегда. Аня не звенела и не светила, однако же была и топала ногами, и ее можно было потрогать и поносить на руках.

Затылок постепенно возвращался к голове, а голова к телу. Надо было жить. Надо было бороться, а не прятаться за вино.

Вечером Аня и Нюра легли спать, даже во сне не разлучая души. Вероника и Алеша сидели в кухне. Это были неплохие минуты, как ни странно. Они чувствовали себя как два солдата на передовой, когда один отстреливается, а другой подносит боеприпасы, и они не выстоят поодиночке. Они могут выстоять только вдвоем. На них шла колонна, именуемая прямая угроза, но они были рядом и бесстрашно смотрели вперед. Иногда прежде смысл их соединения ускользал от Вероники. А в эту минуту все встало на свои места. И Мишка Красовицкий с бутылкой ликера оказался во вражеской колонне, и на него тоже хорошо бы не пожалеть патрон.

За окном висела лохматая осенняя ночь. Хорошо в такую ночь сидеть в теплом доме и знать, что у тебя есть друзья и близкие люди.

Плетеный светильник отбрасывал на потолок тень, похожую на паутину. Они сидели долго, и долго покачивался в ночи круг паутины на потолке.

В редакцию пришло письмо от рабочего Нечаева А. Б., в котором он поведал о конфликте с инженером Зубаткиным В. Г.

Конфликт возник на охоте. Они гнали зайца, бежали по осеннему раскисшему полю. Заяц широко, активно прыгал — и вдруг сел, развернувшись лицом к преследователям (Нечаев так и написал: лицом, не мордой). Нечаев и Зубаткин бежали к зайцу, а он смотрел, как они приближаются, и не двигался с места. Было непонятно: почему он сидит? Но когда подбежали и приподняли зайца — стало ясно: у него на каждой лапе налипло по килограмму грязи и он не мог скакать, преодолевая четырехкилограммовый груз, равный весу его тела. Заяц это понял и остановился. Но сидеть спиной к преследователям еще страшнее, и он развернулся, чтобы «встретить смерть лицом к лицу».

Зубаткин вернул зайца на землю, сдернул с плеча винтовку и нацелился в упор, и это была уже не охота, а расстрел. Нечаев сдернул с плеча свою винтовку и нацелился в Зубаткина. И добавил словами, что если Зубаткин убьет зайца, то он, Нечаев, убьет Зубаткина. Зубаткин не поверил, однако рисковать не стал. Он опустил ружье и дал Нечаеву кулаком по уху. Нечаев драться не собирался, но агрессия порождает агрессию, и он дал Зубаткину прикладом куда-то в челюсть. Посреди осеннего поля произошла большая драка с нанесением словесных оскорблений и телесных травм. А заяц сидел и смотрел, как охотники дерутся. Для него было самое время убежать, и если бы он мог, то так бы и сделал.

Вернувшись в город, Зубаткин подал в суд, хотя ударил первый. Челюсть ему починили в больнице, свинтив и закрепив какими-то штырями, и теперь он мог этой челюстью пользоваться. А Нечаева будут судить за хулиганство сроком до трех лет, и хотя этот срок не особенно большой, у него на эти три года есть другие планы, а именно: вывести бригаду в отличники социалистического соревнования и довести сына из ясельного возраста до детсадовского.

Жена Нечаева пошла к жене Зубаткина попросить, чтобы она повлияла на мужа и тот забрал заявление из суда. Зубаткин тоже виноват, но это видел только заяц, а зайца в свидетели не позовешь. Жена Зубаткина запросила тысячу рублей деньгами, после чего жена Нечаева плюнула ей в лицо, а та в свою очередь вцепилась ей в волосы. Произошел двусторонний разрыв отношений. Нечаев просит газету помочь ему, потому что газета — это выражение общественной нравственности, а нравственность должна быть на стороне зайца, а не на стороне Зубаткина.

— Вы не хотите этим заняться? — спросил завотделом.

— Нет. Не хочу.

— Почему? — поразился зав.

— У меня дочь заболела. Поэтому.

— Дети обязательно болеют, — объяснил зав. — Иначе они не растут.

Беспечность зава как бы снимала опасность с Ани. Дескать, не она первая, не она последняя. Веронику гораздо меньше устроили бы сочувствие и испуг.

— А что с девочкой? — уточнил зав.

Вероника сказала диагноз.

— Это Егоров, — с той же легкостью отозвался зав. — Вы должны выйти на Егорова. В отделе науки должен быть его телефон. Он у нас несколько раз выступал на научных средах.

— Егоров? — переспросила Вероника.

— Это гений. Последняя инстанция перед богом. Стойте здесь, никуда не уходите. Я вам сейчас принесу его телефон.

Зав исчез, будто испарился. Ему было легко двигаться, потому что у него был дефицит веса. Он весил на двадцать килограммов меньше, чем принято при его росте, и поэтому мог подпрыгивать и парить в воздухе.

Вероника стояла обескураженная. Действительно, как можно было при ее танковом устройстве пустить Аню в поток, когда существует гений Егоров, который может то, чего не может никто!

Зав принес бумажку с телефоном из семи цифр — код от сейфа, в котором лежит Анина жизнь и ее, Вероникино, бессмертие.

Вероника вошла в свой кабинет, набрала семь цифр, секретарша Егорова тут же соединила. Вероника услышала голос человека, который торопится, но не просто торопится — спасается бегством из пожара, а вокруг него все горит, трещит и рушится, и если он сию секунду не выпрыгнет в окно, то на него сверху упадет горящая балка. А тут еще звонит телефон и надо разговаривать.

— Да...

— Здравствуйте, — растерянню произнесла Вероника. Она не умела разговаривать, когда ей не были рады. А ей не были рады. Это очевидно.

— Кто это? — отрывисто, торопливо, напряженно.

— Меня зовут Вероника Андреевна Владимирцева. Я мать девочки Ани Владимирцевой, трех лет.

— Короче, — приказал Егоров.

— У нее вульгарный пиелонефрит или врожденный порок почки...

— Запишитесь на консультативный прием. С собой должны быть рентгеновские снимки.

Разговор был окончен.

— Их нет! — выкрикнула Вероника, чтобы продлить разговор. Чтобы Егоров не положил трубку.

— Сделайте.

— Это невозможно! — снова выкрикнула Вероника.

— Почему? — удивился Егоров, и впервые она услышала человеческие интонации.

— Надо класть в больницу.

- Положите.
- Она не лежит.
- Это несерьезный разговор.

Егоров положил трубку, и в ней затикали короткие равнодушные гудки отбоя.

Вероника зарыдала. Зав стоял рядом. Его трясло. Ему казалось, будто он схватился мокрыми руками за оголенные провода: столько накопилось в воздухе страстей, так высока была концентрация отчаянья.

Вероника рыдала, положив лицо на стол. Рухнул лик надежды, снова приблизилась козья морда страдания.

- Мне выйти или остаться? — спросил зав.

Помощь могла выразиться в том, чтобы остаться и позвонить самому либо убрать себя и дать Веронике справиться и собраться.

Вероника махнула рукой, что значило: уйти. Зав послушно вышел, но остался стоять возле дверей, чтобы никого не пускать в кабинет. Он стоял с потерянным лицом. Чужое горе достало его сквозь врожденную беспечность, передававшуюся ему по женской линии, через мать и бабу.

Вероника перестала рыдать и просто лежала лицом на столе. Потом подняла голову, посмотрела на часы. Было без четверти три. Она дала себе еще десять минут. Сидела безучастная, отключенная от всего, глядя перед собой и ничего не видя. Когда часы показали без пяти три, она подвинула к себе телефон, набрала номер Егорова, услышала секретаршу.

- Кто спрашивает? — мягко поинтересовалась секретарша.
- Газета.— Вероника назвала свою газету.
- Одну минуточку.

Вероника снова услышала егоровское «да».

— С вами говорит газета,— сухо отрекомендовалась Вероника и еще раз назвала свою газету. Ей было безразлично, торопится Егоров или не торопится, поспевает или опаздывает. Интересы газеты на уровне государственных интересов, а больница — это часть государства.

— Да,— снова повторил Егоров, и это было совершенно другое «да». Это новое «да» означало: слушаю, слушаю вас внимательно, я готов все бросить и выслушать вас от начала до конца...

— Я хочу написать о вас очерк под рубрикой «Люди нашего города». Для этого мне понадобятся ваши три дня, скажем вторник, среда, четверг,— потребовала, почти постановила Вероника.

- Что значит мои три дня? — не понял Егоров.

— Это значит, что я должна быть возле вас три дня полностью, с утра до вечера. Мне нужен ваш день в срезе.

— А ночью? — пошутил Егоров. Теперь он робел и пробивался к человеческим интонациям.

- А вы и ночью работаете?
- Нет. Ночью я сплю.

— Значит, ночь не нужна. Во сне все одинаковы. Когда я могу прийти?

— Сегодня понедельник. Значит, давайте завтра. Я начинаю свой день в восемь пятнадцать.

- Записываю.

Егоров продиктовал адрес больницы и принялся растолковывать, как удобнее добраться на общественном транспорте.

— Шофер найдет,— сдержанно прервала его Вероника, давая понять, что она относится к другому социальному статусу, чем тот, что ездит на метро, а потом спрашивает у прохожих, заглядывая в бумажку: где такая-то больница, и такой-то корпус, и такой-то кабинет? Она опустится на сиденье машины возле своего подъезда и поднимется с сиденья возле нужного ей подъезда. А в промежутке будет

смотреть перед собой на бегущий мимо город и обдумывать планы на предстоящий день или не думать ни о чем. Просто смотреть.

Когда зав заглянул в комнату, он ничего не понял. Вместо сломленной в плаче Вероники сидел маленький портативный танк, отделанный натуральным шелком и прибалтийским янтарем. Моторы его были разогреты, жерло направлено на цель.

— Ну так чего, займешься зайцем? — беспечно спросил зав.

— Договорились, — сказала Вероника. — Только ты меня не топи.

Егоров сидел и отдыхал после трехчасовой операции. Ребенка привезли из-под Харькова. Пришлось оперировать по второму разу, перешивать наноу, переделывать чей-то брак.

Болело плечо. Это профессиональная болезнь хирурга, когда рука все время во взвешенном состоянии. Боль угнетала, как всякая боль, и ставила в тупик. Что делать хирургу с немеющей рукой? Амосов советовал в таких случаях дополнительные нагрузки. Значит, надо оперировать не по три часа, а по шесть.

Позвонила какая-то дура, напросилась на консультацию, однако отказалась принести рентгеновские снимки. Как можно подтвердить или исключить врожденный порок, не имея рентгеновских снимков? Егоров хирург, а не ясновидящий. Он терпеть не мог мамаш-дур, потому что от их кудахтанья и суеты больше вреда, чем пользы, и хорошо бы таких мамаш изолировать от детей на время их болезни, арестовывать и брать под стражу.

Вошла секретарша Сима, внесла чай.

— Не соединяйте меня больше ни с кем, — попросил Егоров.

Сима молча кивнула. За Симой он был как за каменной стеной.

Она любила Егорову так, как матери любят своих сыновей: служила и ничего не требовала для себя. Для всех Егоров был богом, но она видела, что бог бос, простужен и голоден. Она хотела обуть его, накормить и обогреть. А все остальные только норовили отщипнуть от него для себя. Вернее, для своих детей, а это еще больше, чем для себя, поэтому отщипывали поглубже и пообширнее.

— Маркин звонил, — сказала Сима.

— Что-нибудь передал?

— Нет. Просто так.

Это был единственный человек, который звонил просто так. Они дружили еще со школы, в общей сложности — страшно подумать — сорок лет.

Маркин женился не по любви, а потому что его Лидка была беременна. Егоров женился на своей Ирине по страстной любви. Он любил ее до умопомрачения в прямом смысле этого слова. До затмения мозгов. Маркин ему завидовал. Лидка знала, что муж ее не любит, и, чтобы удержать, почти каждый год рожала ему детей. А егоровская Ирина не хотела тратить красоту и молодость, и единственного сына пришлось вымалывать и выпрашивать ценою слез и унижений. Он любил ее долго, лет пятнадцать, а разлюбил в один день. Во вторник еще любил, а в среду проснулся свободным от нее. Может, это произошло не в один день. Был длительный период накопления, а щелчок произошел внезапно. Он разлюбил жену, она об этом не догадывалась и продолжала быть уверена, что имеет над мужем большую власть, разрешала себе оголтелость и самодурство.

Как говорил Антон Павлович Чехов: «Женись по любви или без любви — результат один». Так что у них с Маркиным был один и тот же результат, но там хоть дети, а здесь разгромные испепеляющие страсти, которые сейчас, издавека, казались ничем.

— Ирина Николаевна, — сообщила Сима. — Будете говорить?

— Я на операции.

Егоров знал, о чем будет говорить жена. Вчера их сын привел домой невесту. Девушка была настолько зажатой, что казалась неразвитой. Она заикалась, поэтому у нее была напряжена мимика и мычащий голос. Работает продавцом в булочной-кондитерской. Как можно с ней общаться? А может быть, сыну и не нужно интеллектуальное общение. Егоров испытал глубинное разочарование в сыне и стал присматриваться: не дебил ли он? Не дебил, конечно. Но разве такой должен быть сын у Егорова? Сам Егоров, если сравнить его с отцом, оторвался и взлетел, как сокол над майским жучком. А этот выше забора не взлетит. У него вообще отсутствует летающее устройство.

— Газета,— испуганным голосом сказала Сима.

Егоров поговорил с газетой довольно вежливо. Он вообще старался не ссориться с прессой. Пресса может вызвать осложнения, а всякие осложнения мешают работе.

Часы показывали три с минутами. Надо было спускаться в конференц-зал читать лекцию молодым врачам, приехавшим на курсы усовершенствования. Были среди курсанток молодые женщины. Егоров кидал глазами, но не прислушивался душой. Мир с некоторых пор стал казаться ему черно-белым, а не цветным. Из этого состояния могли вывести водка и любовь. Взрыв над обыденностью. Но водку он не пил, берег голову для утренних операций. А любовь требует всего человека. А всего себя у Егорова не было. Была только часть.

Вероника встала в шесть утра, чтобы к восьми попасть в больницу, подождать за дверьми и войти ровно в пятнадцать минут. Не в четырнадцать и не в шестнадцать. Обязательность и точность стали редкими, почти реликтовыми качествами, и пора было вносить их в Красную книгу. Точность — вежливость королей, а поскольку отменилась эта должность, то вместе с ней отменилась и точность.

Нужно приходиться Тогда. И Такой. Но какой? Вероника красилась, продумывая: в каком виде предстать перед Егоровым? Танком? Королевой? Весной? Танк пугает. Весна будит романтические надежды. Но неизвестно, что результативнее — страх или любовь. Пусть лучше боятся, чем любят. Никакой серии очерков о людях нашего города в газете не предвиделось. Вероника грубо соврала, но не раскаивалась в проделанном: цель оправдывала средства.

Сорок минут ушло на обретение образа. Вероника остановилась на смешанном типе: взгляд Весны, прямая спина королевы и, если понадобится интонации, гусеницы.

Час ушел на дорогу и поиск нужного корпуса. Рядом с детской больницей, в которой работал Егоров, располагалась другая, туберкулезная. Это был целый больничный городок, и Вероника, естественно, попала не туда и потом довольно долго бродила, зажав в руке бумажку с адресом. Но в восемь пятнадцать — не в восемь четырнадцать и не в восемь шестнадцать — она постучала в нужную дверь и вошла в нужный кабинет.

Вошла. И увидела. И узнала. Она узнала его сразу, хотя в кабинете находились еще двое в белых халатах: один молодой и толстый, похожий на женщину, другой старый и толстый, похожий на устоявшегося, вошедшего в силу кабана.

Егоров поднял на нее глаза. Польхнул глазами, как вспышкой. Зафиксировал взглядом, будто сфотографировал.

Вероника заробела и осталась стоять. Какой там танк, какая королева! Ученица с камвольного комбината.

— Это вы? — спросил Егоров и посмотрел на часы.

Вероника глубоко кивнула.

— Молодец,— похвалил Егоров.

К людям, небрежно обращающимся со временем и с обещаниями, Егоров терял всякий интерес. Неточность и необязательность являлись для него определяющим симптомом, как, скажем, сыпь для скарлатины. Сверху точки, а внутри — серьезный разрушительный процесс. При этом заразный. Егоров старался избавлять себя от таких людей. Если бы Вероника опоздала на пять минут, то все пять минут в нем нарастал бы протест против нее. И как знать, может, он бы ее и выгнал.

Толстый молодой сидел с потерянным лицом, его что-то расстраивало, может быть, он был недоволен собой. А Кабан был напорист, как всякий кабан, и что-то требовал. Наверное, благ.

Егоров слушал Кабана, поглядывал на молодого. О Веронике он, казалось, забыл.

У Егорова было смуглое от загара лицо, видимо, он недавно вернулся с юга, загорел, а веки остались белые. И белые лучи от морщин в углах ярких синих глаз. Время от времени он поднимал на нее глаза в лучах — мужичьи шальные глаза на барском лице. Егоров был похож одновременно на барина и мужика, будто девка-кухарка родила от молодого барина.

Кабан все напирал. Егоров смотрел в стол, чтобы не смотреть на Кабана. Молодой все глубже проваливался в свое одиночество. Лицо Егорова, смотрящего вниз, не освещенное глазами, было тяжелым, будто он перед этим плакал или пил. А потом умылся холодной водой.

Веронике захотелось сказать: «Не плачь. И не пей. Успокойся». И положить руку на его немолодую, слегка волнистую щеку.

Егоров, казалось, почувствовал ее руку на своей щеке. Поднялся. Позвал: «Идемте» — и, проходя мимо, взял за плечо. Больница — это был его лес, в котором он работал медведем.

Вышли из кабинета. Вокруг Егорова тотчас образовалась свита из халатов.

Начался обход. Егоров шел впереди. Халат отдавало, как мантию. Свита едва попевала за ним.

Первая палата была реанимационная. Здесь лежали послеоперационные и тяжело больные дети.

Возле окна — десятилетний мальчик, бледный до зелени. Он томился, маялся и капризничал. Возле него стояла больничная нянечка и увещевала, уговаривала. Мальчик не обращал на нее внимания. Он изнемогал, скривив губы, и каждая губа выражала свое отдельное страдание.

— Уремия, — объяснил Веронике молодой и толстый. Его фамилия была Марутян.

Вероника вспомнила большеглазую женщину в больнице. Она первая произнесла это слово «уремия» как конечный исход почечных заболеваний. Так вот как это выглядит.

— Дима, — обратился Егоров к мальчику, — ты почему не слушаешься?

Дима узнал Егорова и на какое-то мгновение подтянулся, потом губы его опять разбрелись по страданиям и голова не могла найти себе места на подушке.

Нянечка отозвала Егорова в сторону, что-то быстро обеспокоенно говорила. Это была больничная нянечка, ее сердце не разрывалось от горя, но она все бы отдала, чтобы Диме стало лучше.

Егоров внимательно слушал, склонив тяжелую голову. Потом сказал:

— Ну я же не бог...

Возле дверей лежала девочка Аниного возраста. Нитки стягивали свежий разрез на животе. Разрез и нитки были коричневыми от йода. Девочка тяжело, судорожно вдыхала. Набрать в себя воздух было для нее непосильной работой, и ее маленькое тельце содрогалось от вздо

хов. Выдохом не было видно и слышно, и казалось, что она только втягивает воздух и не может как следует вдохнуть.

Веронике стало душно. Она положила руку на горло.

— Ничего не нашли,— сказал Кабан.— Скорее всего это была просто кишечная колика.

— Значит, напрасно разрежали? — уточнил Егоров.

Все промолчали.

Вот, значит, как бывает в последней инстанции перед богом. Напрасно разрежали, только и всего. Родители принесли в больницу живую и почти здоровую девочку. А что им вернут обратно... Да и вернут ли.

Егоровская рука легла на ее плечо. Он вывел ее из реанимации. Шел насвистывая. Вероника поняла: история с девочкой воспринимается им как производственный брак. Должен же быть какой-то процент брака, должны же врачи набирать опыт. А опыт складывается не только из удач, но и из ошибок.

Вошли в операционную. Вероника не сразу поняла, что это операционная. Потом увидела на столе грудного ребенка. Разрез делали не скальпелем, а ножницами. Подрезали под лопаткой, лопатка отделилась, как у цыпленка.

Вероника повернулась и быстро вышла из операционной. Маруся вышел следом.

— Вам не надо заходить,— проговорил он.— Разве можно заходить, когда нет адаптации?

— Я журналистка,— оправдываясь, сказала Вероника.

— А журналисты что, не люди?

Из операционной вышел Егоров в прекрасном, жизнеутверждающем расположении духа. Подхватил Веронику, повел обратно в кабинет. За ним парила его свита.

В кабинете Егоров отвечал на звонки, отдавал распоряжения секретарше Симе и, казалось, забыл про Веронику. Она стояла, отвернувшись от всех, и плакала.

Егоров не замечал ее слез. Ему, наоборот, казалось, что он оказывает Веронике особую, почти царственную милость. Она должна быть профессионально довольна и человечески польщена.

— Не поворачивайтесь,— попросил он.— Я переодеваюсь.

Вероника слышала, как он двигал вешалку, шуршал одеждой, насвистывал песню из репертуара Пугачевой.

— Я готов! — радостно сообщил Егоров.

Вероника не оборачивалась. По ее напряженной, странно притихшей спине Егоров понял, что она плачет. Это не входило в его жизнеутверждающую программу. И было некогда.

— Ну-у... — разочарованно протянул Егоров.— Это никуда не годится.

Егоров избегал минусовых людей и минусовых настроений. Он ждал душевной дезинфекции, а не новой заразы.

Вероника чувствовала свою неуместность. Она не нужна была ему такая. А другой она быть не могла. И Вероника плакала от двойного одиночества: от своего собственного и оттого, что ее горе в тягость.

Заглянула Сима.

— Я сейчас на консультацию. А потом на ученый совет. Если позвонят, я уже выехал.

— Машина у подъезда,— сообщила Сима.

— Вы едете? — спросил Егоров.

Вероника вытерла тщательно накрашенные утром, а теперь поплывшие глаза. Не королева, не танк и не Весна. Горестная лужа.

Вероника и Егоров вышли из корпуса. Он уже не выводил ее за плечо, а сильно вырвался вперед.

Возле дверей на улице, как маленькая толпа поклонников, стояли родители и ждали Егорова. Вероника обратила внимание на цыганку с ребенком на руках. Другой ребенок держал ее за подол. Молодой мужчина стоял с неподвижным лицом. Слез не было и мимика спокойна, но Вероника видела, что он плачет. Может быть, это был отец Димы или того ребенка, которого разделявали ножницами.

Люди стояли и ждали. Их было немного, меньше десяти, они сгрудились маленьким испуганным стадом.

Увидев Егорова, они раздались в стороны, давая дорогу. Егоров прорезал эту толпу, прошел сквозь не глядя, как будто их и не было.

Вероника прошла следом за Егоровым, готовая провалиться сквозь землю. Она сама только что была на месте этих людей, но ей удалось протыриться, именно протыриться, другого слова не сыщешь, в егоровское окружение, в сопровождающие его лица. Но она знала, каково там. Там, где ты глубоко несчастен и тебя же унижают. Бьют лежачего, а ты стараешься поймать эту ногу и лизнуть ботинок.

— Садитесь.— Егоров открыл дверцу машины.

На них смотрели, повернув головы или повернувшись всем телом.

— Я не поеду,— отказалась Вероника.

— Почему? — удивился Егоров.

— Мне неприятно.

— Не понял,— нахмурился Егоров, опустив голову, выставив вздыбившиеся брови.

— Почему вы ходите сквозь людей, как звезда эстрады? Вы же врач, а не певица. Они же вас ждут. У них больные дети.

— Это детская больница. И естественно, что здесь лежат больные дети. Дети болеют. И даже умирают. И детская смертность входит в профессию. Вы хотите, чтобы я стоял и вытирал всем слезы?

— Да. Хочу. Родители бесправны. Я хочу милосердия. А вы жестоки. И это безнравственно.

— Я не понимаю: кто к кому пришел? Я к вам или вы ко мне? Это вы ко мне напросились с вашей газетой. Я вам нужен. А вы мне мешаете. И я вас, извините, терплю. Но больше терпеть не намерен. Вам понятно?

Егоров заметил, что последнее время он терял самообладание легко, а восстанавливал его трудно. Любей мелочи было достаточно, чтобы выбить его из ритма на целый день. А день был нужен.

— Потрудитесь оставить меня в покое.

Егоров сел в машину и уехал. Вероника осталась стоять перед больничным корпусом.

В окне второго этажа сидел мальчик в пижамке и походил на арестантика.

Зубаткин был похож на Кирибеевича из песни о купце Калашникове — та же обаятельная наглость, веселая ухмылка хозяина жизни. Он смотрел на Веронику с таким видом, будто это она сидела в его кабинете, а не он в ее. Зубаткин знал, что юридические законы на его стороне, а морально-нравственные категории — это что-то весьма неопределенное и неосязаемое, как облако. Сейчас оно круглое, потом продолговатое, а потом его и вовсе нет, рассеялось, как дым. Нравственность у каждого своя. Как почерк.

— Здесь сказано: вы бежали за зайцем,— напомнила Вероника.

— Собака бежала,— уточнил Зубаткин.— Я же не эфиоп.

— При чем тут эфиоп?

— Эфиоп — лучший в мире бегун на дальние дистанции.

— А куда собака девалась? — спросила Вероника.

— Она отвлеклась на другую дичь. Собака очень глупая.

— Это ваша собака или Нечаева?

— Естественно, Нечаева. У меня не могло быть такой собаки.

— Вы согласны с тем, что написал Нечаев? Это так и происходило?

— Если отбросить оценки и писи-миси, то примерно так.

— Значит, вы хотели убить зайца, который не мог от вас убежать?

— Охота — это охота, а не писи-миси.

— Оставьте, пожалуйста, свой слог. Разговаривайте нормально.

— Пожалуйста,— весело пообещал Зубаткин.— Объясню вам, филологам: охота — это охота. На охоту берут ружье. А из ружья целятся и стреляют.

— Охота — это охота, а не убийство. Зверь и охотники должны быть на равных.

— Вы хотите, чтобы у зайца было ружье?

— У вашего зайца не было ног. Вы не имели права в него целиться.

— Значит, целиться в зайца нельзя, а в человека можно?

— Не притворяйтесь,— предложила Вероника.

— Я не притворяюсь. Я действительно не понимаю: что вы от меня хотите?

— Я могу ответить честно?

— Ну конечно.

— Чтобы вы были другим. Или чтобы вас не было вообще.

— Я вам больше не нужен?

— Не нужен.

— А жаль...

Зубаткин поднялся и пошел из кабинета. Он был стройный, развернутый, как человек, занимающийся спортом. Перед тем как выйти, обернулся и посмотрел на Веронику, как бы раздумывая, прихватить ее с собой или нет. Решал он, а не она.

Зубаткин вышел из кабинета. Вероника некоторое время смотрела на дверь. Она продумывала статью, которую напишет или не напишет. Обычно идея, решение проблемы приходили через несколько дней. А сейчас она как бы вспахивала верхний, поверхность образующий слой.

Зачем человек ходит на охоту? Чтобы вернуться к своим истокам, к тому времени, когда сам был древний, почти такой же, как эта природа. Лес, трава, небо и звери — это то, что было до нас, есть сейчас и будет после нас. Современный, сегодняшний человек набит информацией, нагрузками, стрессами, но он вешает на плечо ружье и уходит к деревьям, к самоуглубленности, к тишине, чтобы от всего отрешиться, очиститься, слиться с природой и услышать в себе древний охотничий инстинкт, выследить и подстрелить опасного или большого зверя: кабана или лося. В конце концов, можно подстрелить и зайца, когда ты с ним на равных. Когда у тебя ружье, а у него ноги и лес.

Зубаткин пошел просто за мясом. Ни природа, ни самоуглубленность его не интересовали. Но разве Зубаткин одинок в своем циничном потребительстве? Недавно Вероника ездила в маленькую капиталистическую страну по туристической путевке. Все первые этажи зданий — магазины. Некогда духовная нация поэтов и философов вся вылезла в магазины. И никто не читает в метро. Имеет значение только то, что можно на себя надеть или съесть. Что пощупать и чем насытиться. Значит, зубаткины идут по земле целыми колоннами. А Нечаевы ничего не могут сделать. Они же еще и виноваты. Хотя нечаевское противостояние тоже не метод. Кулаком в челюсть зубаткиных не остановит. А к а к?

Вероника решила передвинуть свои мысли в подсознание. Не думать какое-то время. И решение, зерно статьи вдруг прорежется само собой, как однажды услышанный мотив.

Аня вошла в дом с истошным ревом. Ее глаза вытаращились от напряжения, лицо было мокрым от слез, она орала во всю силу, на которую была способна. Нюра шла следом, громко бранясь.

Вероника заметалась от одной к другой, чтобы понять, что произошло. А произошло следующее. Аня нашла возле помойки лошадиный (а может, собачий) зуб и хотела его пососать. А Нюра вырвала из рук находку и закинула в середину лужи. Аня побежала к луже, а Нюра догнала и нашлапала при большом скоплении детей. И все видели. Аня претерпела два вида ущерба: моральный и физический.

— Дуя! — кричала Аня (что означало «дура»). — А-а-а!

— А ты, какая? — обижалась Нюра. — Всякую гадость в рот жрать.

— Дуя! Дуя!

— Слышала? — Нюра выкидывала палец, призывая Веронику в свидетели. — Обзывается, шалыга чертова. Не. Мне такой ребенок не нужен.

Нюра действительно обижалась, потому что у нее действительно никого в жизни, кроме Ани, не было. Но и Аня оказалась неблагодарной гадиной, значит, нечего рассчитывать на душевное пристанище.

— Аня! Как тебе не стыдно! — Вероника кинулась успокаивать, обнимать дочь. — Хочешь, я подарю тебе пуговицу?

Аня не могла успокоиться сразу. Лоб у нее вспотел от крика и горя.

Вероника прижала ее к себе, маленькую и вздрагивающую, вспомнила больницу, а точнее, она ее не забывала ни на минуту, и подумала о тех испытаниях, а может, и пытках, которые ждут ее дочь. Как она могла свои сиюминутные эмоции поставить выше главной задачи? Главная задача — здоровье Ани. Значит, надо было ехать с Егоровым и приучать его к себе. За три дня он мог к ней привыкнуть и считать знакомой. А знакомому человеку отказать труднее, чем незнакомому. Вместо этого она полезла со своей правдой, которая сейчас, издавек, казалась сомнительной. У каждого из стоящих внизу родителей болел свой единственный ребенок. Но у Егорова их сотни и тысячи. И ему действительно некогда каждому вытирать слезы. И почему надо складывать на него свои эмоции? Наоборот, его нужно от них ограждать. Вероника — как нечаевская собака, которая неслась за зайцем, а по дороге отвлеклась на другую дичь и в результате подставила своего хозяина. Вероника подставила свою дочь. Она решила тут же исправить, выровнять просчет любой ценой. Даже ценой унижений.

Вероника посмотрела на часы. Была четверть пятого.

Она спустилась вниз. Поймала такси. Поехала в клинику.

Все ее существо сконцентрировалось на одной-единственной задаче: видеть. Она была уже не танк, а боевая ракета с запрограммированным управлением. И свернуть ее с курса могла только другая такая же ракета.

— Он не вернется, — тихо сказала Сима, ненавязчиво рассматривая Веронику. Она ей нравилась. Симе вообще нравились женщины иные, чем она сама. В Симе совершенно отсутствовали зависть и соперничество — чувства, которые сопровождают почти всех женщин на протяжении всего их жизненного пути. Сима была божий человек.

— А где он может быть? — осипшим голосом спросила Вероника. — Это очень важно.

— Позвоните домой.

Сима написала на отдельной бумажке домашний телефон Егорова и пододвинула Веронике аппарат.

Трубку взял Егоров. У Вероники сердце замерло и обвалилось.

— Его нет дома, — сказал голос Егорова.

— А вы кто? — удивилась Вероника.

— Я его сын.

— А где ваш папа?

— Сейчас я позову маму.

Подошла жена Егорова. Голос у нее был низкий и неокрашенный, как гудок. Такие голоса бывают при полном отсутствии музыкального слуха.

— Он на ученом совете, — прогудела жена.

— А это где, простите?

Жена назвала улицу и номер дома. Слово и цифра моментально вошли не только в память Вероники, но в ее кожу.

— Это журналистка Владимирцева, — запоздало представилась Вероника.

Видимо, это прозвучало как «извините», потому что жена ответила:

— Пожалуйста.

В голосе жены не проступало ни раздражения, ни лояльности. Егоров был врач, звезда первой величины, и она привыкла к постоянной его востребованности. А может быть, у нее был голос-альбинос, от природы лишенный красок, и она горевала и радовалась одним и тем же голосом.

Фамилия выступавшего была Пяткин. Профессор, сидящий рядом, шепнул, что по национальности он финн. Егоров подивился, что это за финн с фамилией Пяткин. А впрочем, какое это имело значение? Пяткин говорил и замазывал словами суть. Егоров ознакомился с его диссертацией. Она была добросовестна и громоздка. Чувствовалось, что Пяткин не один год просидел за столом, нажил седалищную мозоль, однако ничего нового во внутриутробной диагностике не открыл. Все то же, что было, но с оттенками.

Пяткин был худ, блес, бесцветен. Но на него с первого ряда взволнованно и восхищенно смотрели две женщины: пожилая и молодая. Видимо, мать и жена.

Егоров посмотрел на всех троих и подумал, что надо одобрить диссертацию, пусть Пяткин станет кандидатом и получит кандидатскую зарплату. Зарплата врача невелика. Как им платят, так они и работают. От таких равнодушных тружеников ущерб государству. И перекос в семье. Когда муж не может содержать семью, он не хозяин в доме. У него нет авторитета, и это влечет далеко идущие последствия. А поскольку семья — ячейка общества, получается перекос в обществе. Если же поднять мужчине зарплату, это сделает его хозяином в доме и автоматически выровняет общество. Значит, от того, что Пяткин станет кандидатом, большая общественная польза. Правда, внутриутробная диагностика будет пробуксовывать на месте, как застрявшая машина. Но придет другой и продвинет науку. Один будет буксовать, другой двигать, а получать они будут одинаково.

Егоров снова посмотрел на мать. Они с Пяткиным были похожи, но мать красивая, а сын нет. Должно быть, рано родила: Первый ребенок. Пробный. Егоров в секрете ото всех и от себя считал, что первый блин — комом. Наиболее удачные дети от пятой, шестой беременности. Но кто сейчас рожает пять-шесть раз? Только разве Лидка, чтобы удержаться своего мужа. От Пяткина Егоров переметнулся мыслями на своего сына. Этот ординарен и усидчив. А тот ординарен и ленив. Егоров вспомнил своего отца Тимофея Егорова, который был сапожником и пьяницей. В деревне его звали Тюнькой. И когда он сейчас приезжает в деревню, то бабы говорят: «Вон Тюнькин сын». Думал ли Тюнька, что его сын станет ученым, поднимет фамильную планку так высоко, что и не перепрыгнешь? А Вадик, Тюнькин внук,

гораздо ниже деда. Тот землю пахал, сапоги тачал, водку пил, успевал себе и людям. А этот ни себе, ни людям.

Егоров снова посмотрел на мать, потом на молодую. Молодая была незаметная, со скромным оперением, как птичка жаворонок. Но была в ней тихая нежность и своя красота. Тюнька любил красивых баб. Он говорил в старости: «Умирать пора, а они все ходят». Егоров вспомнил сегодняшнюю журналистку с размазанной по лицу краской и слезами. Что она от него хотела? Почему плакала? Что привело ее в ужас? То, к чему Егоров давно привык. Он привык к тому, что мир стал черно-белым, к безлюбию, к тому, что дома его не кормят и он сам готовит себе еду. К тому, что вынужден иногда брать на работу по протекции, что няньки, случается, пьют, а врачи берут подарки. Что в отделении тараканы. Что все его употребляют и никто не любит. Сначала все это его огорчало, и он тоже плакал. А теперь поправился. Он уже давно не плакал, лет двадцать. Разве только во сне. Во сне он иногда испытывает горе и счастье — такие глубокие, как в детстве.

Природа задолго готовит человека к смерти. Она делает его все равнодушнее, потихоньку гасит в нем свет, как служитель театра после спектакля. Сначала гасит свет на сцене, потом в зале, потом в фойе и напоследок в гардеробе. Егоров ощущал себя как полусовершеннолетний, а вернее, полутемный театр. Ему тайно мечталось, чтобы кто-то вбежал в театр, включил рубильники и зажег все люстры на полную мощность. Но он знал, что никто не вбежит и не включит. Его все использовали и никто не любил. А если и любили, то вместе со своими надеждами. И он никому не верил. Но и безверье не тяготило Егорова. Он и к нему привык.

Пяткин закончил свой псалом. Теперь была очередь оппонентов.

Вероника остановила такси. Улица, на которую торопилась Вероника, была почти рядом, и она боялась, что таксист заупрямится.

— Вперед, — скомандовала Вероника, не называя адрес.

— Куда? — спросил таксист.

— Я покажу.

Таксист тронул машину. Ехать без адреса было неудобно, но пассажирка сидела, как главнокомандующий. Через сорок копеек она остановила:

— Здесь.

— И все? — оскорбился таксист.

— И все.

— Могли пешком дойти.

— А вы зачем? — поинтересовалась Вероника.

Таксист посмотрел на нее как на ненормальную. Он давно приспособлял пассажиров к своим маршрутам, и кто кого выбирал — это еще вопрос.

Вероника заплатила двойную цену, на языке таксистов это называется два счетчика. Хлопнула дверь и ушла.

Таксист включил зажигание и поехал, раздраженный, в поисках нового пассажира. Теперь он не даст себя одурачивать так просто. На следующем он отыграется. А следующий шел себе во времени и пространстве и не ведал, что на нем будут отыгрываться за чужое злое.

Вероника вошла в зал. Села в заднем ряду, чтобы не мешать и не привлекать к себе внимания. Но она ничего внимания не привлекла, осталась незамеченной. Над залом, как туман, висела скука. Потом все задвигались, подтянулись. На трибуну вышел Егоров, и сразу туман рассеялся, взошло солнце. У Вероники вздрогнуло под ложечкой. Она поняла, что душа живет именно там, в районе солнечного сплетения.

Егоров поднял глаза. Они были синие, в белых лучах. Такие гла-

за бывают у летчиков. Они летают над облаками, где солнце сияет постоянно. Он начал говорить. Вероника вначале пыталась слушать, но потом потеряла смысловую нить, поскольку слабо разбиралась в медицине, и дальше уже просто смотрела, как он говорит. Егоров был не молод и не стар — в том возрасте, когда форма и содержание сливаются воедино. Форма еще не начала разрушаться, а содержание достигло своего расцвета. Он сочетался со своими жестами, голосом, был един и гармоничен и действительно походил на летчика, который несет над облаками свою науку. От его рук и лица исходила мужская сила. Он крепко держал свой штурвал в мужичьих руках. Егоров был человеком дела. Если бы он, как Алеша, сел в кресло с книжкой и несколько дней подряд просидел в бездействии, он бы умер от инфаркта. Он не приспособлен для созерцания и ничегонеделания. Как, наверно, приятно поднести ему утром наглаженную рубашку, а в обед поставить перед ним полную тарелку с борщом. Он, как мужик, приходит усталый со своего поля и заслужил хлеб свой.

Вероника вспомнила, как недавно возвращалась от подружки Эмки, которую звала декабристкой за удобу, категоричность и белые батистовые кофточки. Было поздно, такси не попадались, и Вероника остановила поливальную машину. Шофер, молодой парень, попросился на нее и сказал: «Сейчас я заеду в одно место, отвезу холодильник «Морозко», и поедем погуляем». Видимо, он принял Веронику за женщину определенного рода. «Сначала отвезите меня домой,— сухо ответила Вероника,— а потом можете ехать по своим делам». Он понял, что она не «такая», и не огорчился. Ему было все равно. Получится — хорошо. Не получится — ничего страшного. Можно так, можно так.

Вероника подумала, не тогда, а теперь, в зале ученого совета, что Алеша со своей аморфностью и долготерпимостью совсем освободил ее и она — как непришитый рукав. А что такое один рукав без пиджака? Кстати, как и пиджак без рукава. Вот это и есть графический рисунок их жизни: пиджак отдельно, рукав отдельно. На пиджаке вместо рукава — зияющая дыра. А сам рукав вне пиджака — что это? Труба? Штангина?

Однажды, кажется, в тот же вечер, Вероника спросила у Эмки: «Какие обязательства выполняет твой муж?» «Деньги и мясо,— ответила Эмка. — А твой?» Вероника подумала и ответила: «Ночует дома». «И все? — поразилась Эмка. — А зачем он тебе?» «Он хороший».

А можно ли сказать о Егорове: он хороший? Или «хороший парень»? Нет, это что-то совсем другое. Как река со своими воронками и омутами, подводными течениями. Интересно, а какие на нем лежат обязательства в семье? Наверное, деньги и базар. Мужчина сам должен ходить на базар, выбирать мясо и зелень. Но есть вещи поважнее: круг общения. К нему тянутся люди, как к реке. К явлению природы. Интересный человек — это ведь тоже явление природы. Она и сама тянется к нему, даже про дочь забыла. Сейчас сильные не родовые кланы, как в прошлом веке, а кланы единомышленников. Зубаткины собираются в свои кланы, а Нечаевы в свои. Он бы взял ее в свой егоровский клан, она бы чувствовала себя в нем уверенно и спокойно, как в родительском доме.

Мясо, друзья, клан — это много. Но он бы дал ей себя. Свой голос и жесты. Свое тепло и глаза, синие до подлости. Свои руки и свой шепот.

Вероника смотрела на Егорова не отрываясь, впитывая его в себя, как лист воду. Недавно обнаружили растение, которое может тысячу лет прожить в состоянии анабиоза, но если его поместить в воду, тут же начинает оживать.

Хорошо, что Егоров не видел ее и не мог читать ее мысли. Егоров собрал свои листки и сошел с трибуны.

Все поднялись, задвигались, устремились к нему, как железо к магниту. Две женщины, молодая и пожилая, протиснулись к Егорову, что-то заговорили приподнято-возбужденно, только что не обнимали. Егоров улыбнулся. Улыбка у него была детская. Лицо его менялось от улыбки, как будто солнце выглянуло из-за туч: только что все в тяжелой хмари — и вдруг в ясности и празднике сверкает каждая травинка.

Вероника вдруг испугалась, что он ее увидит, подойдет и скажет: «Я же просил вас оставить меня в покое». Но Егоров не заметил и не подошел. Зато подбежал Марутян.

— Вы здесь? — грустно обрадовался он. — Пойдемте с нами.

— Куда? — не поняла Вероника. Она была благодарна Марутяну за то, что он случился около нее в эту минуту. У него была способность возникать вовремя.

— На банкет. Пяткин празднует победу в ресторане «Прага». Неудобно не пойти. Все-таки результат труда.

— А я при чем?

— Вы красивая. А красивая женщина всегда при чем. Хотите, Пяткин вас сам позовет?

Марутян приглашал и делал комплименты, но его лицо продолжало быть несчастным. Может быть, в нем была глубинная, незаживающая боль. А может, он просто был так устроен: существовал на волне, которая ловит мир через трагедию.

В этот момент Егоров заметил Веронику. Они на мгновение сшиблись глазами. Вероника тут же их отвела, как бы давая понять: она не забыла его хамства и только профессиональный долг и обязательство перед газетой вернули ее в этот зал.

Егоров прошел мимо.

— Пойдемте? — обреченно попросил Марутян.

— Я не могу, — отказалась Вероника. — Мне надо быть дома. У меня ребенок болен.

— Ну вот. Опять больной ребенок. А здоровыми они бывают?

Дома все было как всегда.

Алеша подогревал себе скучный Нюрин обед. Кулинарка из Нюры была бездарная, к тому же она боялась тратить хозяйские деньги. Экономила. Кресло, протертое до дыр, покорно дождалось Алешу из кухни. Он поест и сядет. Рядом на журнальном столике уже лежали «Правда», «За рубежом», «Литературная газета». Работы ровно на вечер.

Аня и Нюра сладко мирились в соседней комнате. Они ругались и мирились на равных, несмотря на то, что одной было три года, а другой семьдесят. Аня еще не вошла в ум, а Нюра уже немножко выжила. Их умственные способности были идентичны.

— А зачем ты обзывалась? — упрекнула Нюра. — Говорила на бабушку «дура». Это что ж такое?

— Потому что ты моя, — объяснила Аня. Она полагала, что чужому человеку невозможно сказать «дура». А своему можно. Так что «дура» — это подтверждение доверия и любви.

— Не. Я так не согласная. — Нюра требовала не только внутренней любви, но и внешнего уважения. Соблюдения этикета.

— Согласная! — завопила Аня. — Согласная! Дуя!

После больницы Аня стала неуправляемой. Чувствовала, что ей все дозволено.

— Во! Опять! Опять! Я с этой девкой жить не буду! Въеду! — «Въеду» значило «уеду». — Въеду, и усё.

Сейчас они с воплями и криками выйдут за истиной. Так оно и вышло.

— Идите к отцу! — махнула рукой Вероника и пошла к своему письменному столу.

Она решила поработать, работа всегда возвращала ее в состояние равновесия с внешним миром. Подвинула начатую статью о Зубаткине. Статья называлась «Убийцы». Это название показалось лобовым и бездарным. Статья была бойкая и, может, даже умная, но к таланту эти качества не имеют никакого отношения. В таланте главное интуиция, а не ум. Ум — это рассудок. А интуиция — подсознание. Гении и женщины должны быть интуитивны.

Вероника отодвинула статью. От каждой строчки к лицу поднималась бездарность, как запах рыбы из кухни. Ее переполняло отвращение к себе, к дыре на обивке кресла величиной с обеденную тарелку, к идиотке Нюре. Обида на заболевшую Аню. Эта болезнь за волосы пригнула Веронику к земле, не поднять головы, не увидеть неба. Напрасно отказалась от ресторана. Сидела бы сейчас в веселии и празднике, выпила бы шампанского, помирилась с Егоровым. Судьба подсушила ей шанс, а она, вместо того чтобы использовать, встала и ушла. Что ею двигало? Ложно понимаемое чувство собственного достоинства. При чем тут собственное достоинство, когда в ребенке идет процесс разрушения и каждый час запусевают канальцы? И саму ссору тоже нельзя запускать. Ссора разъедает нутро, завтра помириться будет уже труднее, а послезавтра совсем невозможно.

Вероника посмотрела на часы. Было ровно девять. Двадцать один ноль-ноль. Вполне можно успеть.

Вероника метнулась к зеркалу. Вымыла лицо и на чистую кожу стала класть вечерний грим: золотые тени, темные румяна. Зеркало льстило ей до неправдоподобия. Оттуда глядела другая Вероника — интуитивная и гениальная. Ее перетряхивал внутренний озноб.

Подошла Аня и тоже стала краситься. Вероника не обращала внимания. В ней билась потребность: видеть. И было непонятно: то ли кровь пульсирует в горле, в губах, то ли это видеть... видеть... видеть...

- Ты куда? — отвлекся от газеты Алеша.
- Потом скажу, — пообещала Вероника.
- Потом можешь не говорить.

Вероника открыла дверь и вошла в ресторанный зал. Она сразу увидела банкет Пяткина и пошла к длинному столу в углу ресторана. Раздался дружный хруст. Это хрустели шейные позвонки выворачиваемых шей. На Веронике было черное вечернее платье. Главным в этом платье было его малое присутствие. Оно было короткое и открытое, держалось ни на чем, на каких-то планочках и перепонках.

Егоров не увидел ее первого появления. Он сидел во главе стола, склонив тяжелую бычью голову, смотрел в стол. Когда он пил, в нем просыпался Тюнька, вздымалась какая-то черная вода и начинала ломать берега. Но это бывало позже. А сейчас чувство вины перед всем миром.

Он поднял глаза и увидел журналистку, почти голую, накрашенную, как в театре. Егоров решил, что напился. Так не может быть. Она глядела на него не отрываясь, держа бокал возле лица. Глаза притягивали, втягивали. Ему показалось: он поехал со столом в эти глаза.

- Вам слово, — сказал Кабан. — А то неудобно, забыли, зачем собрались.
- За женщин!
- При чем тут женщины? За диссертацию! — поправил Петраков.
- А что за нее пить? Плохая диссертация, — простодушно объявил Марутян.

— Ты все говоришь правильно, но нарушаешь условия игры,— бесстрастно заметила жена Пяткина. — Или ругай и стой за дверь. А если сел за стол — помалкивай.

Кто-то засмеялся, но Егоров заметил, что мама Пяткина огорчилась. Он поднялся с бокалом в руках.

— Внутриутробные дети слышат и понимают. У них свой слух и своя память. Поэтому при них нельзя ссориться. Их надо любить. Любовь должна сопровождать человека до того, как он появился. Всю его жизнь. И потом. После жизни.

Глаза продолжали тянуть так сильно, что Егоров покачнулся. Пришлось взяться рукой за стол. Мысли сбились. От ее глаз было никуда не деться.

Над столом как будто протянулись провода высокого напряжения. Грохнула музыка, тоже какая-то электрическая. Марутян пригласил Веронику танцевать. Она пошла за ним в трепыхающийся круг, стала его частью. Но из-за плеча Марутяна искала егоровское лицо. Она уже без него жить не могла. Она снова стала реликтовым листком, а Егоров водой. Она впитывала эту воду каждой клеточкой, оживала. И все остальное рядом с этим отодвинулось далеко, уменьшилось до точки: ссоры, статьи, примирения, Анина болезнь. Стыдно сознаться, но даже Анина болезнь в эту минуту была меньше той космической энергии, которой, может быть, и заряжается все живое на Земле.

Музыка кончилась. Она подошла к нему и села рядом.

— Как тебя зовут? — спросил Егоров.

— Вероника.

— Ты неправильно произносишь свое имя. Вероника. — Он сделал ударение на «о». — От слова Верона.

Вероника вспомнила, что Верона — это итальянский город, в котором разыгрывалась одна из шекспировских трагедий.

Кабан наполнил их рюмки.

— Я видел, как она на тебя смотрела,— сказал Кабан.— Знаешь, что она от тебя хочет? Чтобы ты на ней женился.

Вероника покраснела. У нее было чувство, как будто ее схватили за руку в чужом кармане.

— А ты женись, Коля,— продолжал Кабан.— Послушай меня. Я уже старый. Женись, а то будешь потом по одному чулку давать, чтобы за вторым приходили.

Егоров слушал внимательно, склонив бычью голову. Выпил то, что налил ему Кабан, и устремил взгляд перед собой. Он вспомнил своего пробного сына, детей в реанимационной, попивающую жену. Что будет с ними со всеми?

— Нет. — Егоров качнул головой. — Я не могу.

— Ну и дурак,— заключил Кабан.

— Дурак,— согласился Егоров.

Вероника констатировала, что он от нее отказался. Она даже не огорчилась в первую минуту, просто констатировала сей факт: он выбросил ее листок из своей воды. Но этот реликтовый цветок не погибает. Он, правда, не живет. Погружается в спячку. Но не погибает. То, что недавно отодвинулось, стремительно вернулось на место. Анина болезнь выдвинулась крупным планом, загородила егоровские глаза.

— У меня к вам дело,— спокойно сказала Вероника.

— Я слушаю. — Егоров сосредоточился.

— Не здесь. И не сегодня. Давайте завтра.

— Хорошо. Приходите ко мне на работу.

— Если можно, на нейтральной территории. Скажем, в Доме журналиста. В семнадцать ноль-ноль. Вам удобно?

— Вполне.

— Вас туда не пустят без меня. Я буду ждать вас у входа.

Есть места, где он главный. А есть места, где его без нее не пустят. Это был еле заметный щелчок по носу. Унижение за унижение.

Вероника поднялась и пошла из зала.

Взяла пальто. Вышла на улицу.

Очередь на такси была небольшая, но ветер дул, как на вселенском сквозняке. Веронике казалось, что она стоит между двумя океанами. Голое платье мстило как умело.

— Кому до Рижского вокзала? — спросил таксист.

Рижский вокзал находился на противоположном конце от ее дома, но Вероника вышла из очереди и села в машину.

На переднем месте уже кто-то сидел. Вероника села за его спиной. Машина тронулась. Это было шестое такси за сегодняшний день. О! Какой длинный день! Как давно он начался и сколько уместил: конфликт, влюбленность, разрыв. Одно вытекало из другого. Влюбленность из конфликта, разрыв из влюбленности. В судьбу он ее не взял, а в интрижку, или, как говорят, в роман, она не хотела. С ним не хотела. Ее любовь была замыслена на судьбу, и не стоило уродовать замысел. Пускаться в роман с женатым человеком значило рвать душу и тело. Этих романтисток полные психушки. Вероника не была ханжой. Просто знала, что из чего вытекает. А как хотелось встать перед ним на колени и сказать: спаси. Не спас. Он не бог. Значит, надо спасаться самой. Где-то сидит Нечаев и ждет от нее помощи. Надо проверить, как там дела с музеем. Навести порядок в судьбах тех, кто жил раньше, и тех, кто живет теперь. От этого зависят те, кто будет жить потом. На каждого зубаткина есть по Нечаеву. На каждого умного по дураку. А именно дураки, вернее чудаки, что тоже разновидность дураков,— именно они спасали мир. Значит, статью надо назвать не «Убийцы», а «Чудаки». Она спрячется за Аню и за Нечаева. Она спасет их, а они ее. И другого спасения нет.

Машина остановилась. Пассажир расплатился и вылез.

— Ленинский,— сказала Вероника.

— Так это ж на другом конце,— удивился таксист.

— Покатаемся.

— У меня смена кончилась. Здесь мой парк.

— Ну выбросьте меня на панель,— предложила Вероника.

Таксист оглянулся, посмотрел на пассажирку. Потом вздохнул и поехал по адресу.

Лифт сломался. Пришлось идти пешком на свой четвертый этаж. Сверху раздались гулкие каменные шаги, как будто спускалась статуя Командора. Вероника замерла.

— Стоять! — зловецким шепотом приказала статуя. И повторила: — Стоять!

Страх открыл в Веронике какие-то дополнительные клапаны, она побежала вниз, как бы сказала подруга Эмка, помчалась впереди собственного изображения. Выскочила на улицу. Налетела на молодого военного. Военный был аккуратненький и с портфелем.

— Прошу вас! — Она схватила его за рукав. — Меня убивают.

В этот момент из подъезда выбежала собака и выволокла на поводке хозяина. Собака задрала лапу, торопиться ей уже было некуда. Хозяин огляделся по сторонам и стал проделывать то же, что и собака.

— Этот? — спросил военный у Вероники.

— Этот,— неуверенно сказала она.

Военный приблизился к хозяину собаки.

- Как вам не стыдно,— укоризненно сказал он.
— А что? — удивился хозяин. — Здесь все собак выгуливают.
Военный опять посмотрел на Веронику.
— Извините,— сказала она и пошла к своему подъезду.

Алеша не спал. Читал лежа.

— Меня чуть не убили! — разъяренным шепотом объявила Вероника. — А ты все книжки читаешь.

— А где тебя носит по ночам?

— Я делаю то, что должен делать ты! Потому что если не ты и не я, то кто?

— Ты не ответила на вопрос. Я спросил: где ты была?

— Охотилась за врачом.

Алеша успокоился, но не до конца.

— Молодой? — спросил он.

— Полтинник,— с пренебрежением определила Вероника. — Отговорила роща золотая березовым веселым языком.

Она зачеркивала Егорова, чтобы усыпить Алешину ревность и уговорить себя. Так поступал отец Григория Мелехова Пантелей из «Тихого Дона». Он всегда обесценивал утрату.

Вероника легла в постель. Алеша обнял ее. Она закрыла глаза и представила, что рядом Егоров.

Потом Алеша заснул. Вероника лежала, смотрела над собой и чувствовала себя зайцем, которому на лапы налипла половина поля.

Егоров вошел в свой дом, а правильнее сказать, в квартиру. У него была квартира, а не дом. Дома у него не было.

Все спали. Здесь никто никого не ждал. Он прошел в свою комнату в конце коридора, сел на кровать. Стал расшнуровывать ботинки. Он долго оставался головой вниз и чуть не свалился. Но все-таки не свалился, а снял ботинки и лег. Кровать была по-солдатски узкая. И плед из верблюжьей шерсти по цвету напоминал солдатскую шинель.

Егоров заснул одетый и увидел сон, такой явственный, что, казалось, и не сон. Ему приснилось, будто он заснул одетый. Вошла Вероника и тронула его за плечо. «Чего?» — спросил Егоров и сел на кровати. «Мы еще молодые. У нас есть большой кусок жизни. Можно прожить его в счастье». «Я уже не молодой,— поправил Егоров. — Но счастья все равно хочется». Они вышли из его квартиры, чтобы оказаться на нейтральной территории. Зашли за дом. Егоров расстелил на земле свой плед. Они легли рядом. Мимо ходили люди. Егоров обнимал Веронику и одновременно с этим думал: почему надо было ложиться в грязь и обниматься при людях? Что, разве нет другого места? Он испытывал мучительную неловкость и проснулся, как ему показалось, именно от неловкости. Тикал будильник, как мина с часовым механизмом. Какой-то благодарный родитель подарил сувенирные часы на батарейках в форме большого ключа.

Егоров слушал это тиканье и подумал: «А вдруг...»

Сима сидела с заговорщическим видом.

— К вам от Берулавы,— таинственно предупредила она.

Берулава был могущественный человек. Берулавам не отказывают.

Егоров вошел в кабинет. В кабинете сидели четверо: пара молодых родителей, девочка лет шести и парень, возможно старший сын. Перед каждым стоял чай. Сима молодец. Но к чаю никто не притрагивался. Родители сидели прямо, будто аршин проглотили. Они были черноволосы, темнолики и в черном.

Молодой парень поднялся навстречу Егорову. Остальные остались сидеть и не изменили выражения лица.

— Они не знают по-русски,— сказал парень. — Я буду переводить.

— Вы откуда? — доброжелательно поинтересовался Егоров.

— Из Местии. Мы сваны.

Егоров вспомнил, что Сванетия — горная страна и люди, как их природа, суровы и сдержанны. Там не принято выражать своих чувств. Женщина протянула Егорову листок. Это была выписка из истории болезни. Диагноз оказался суров: рак нёба.

Егоров не стал говорить лишних и нелишних слов, поскольку родители в них не нуждались, к тому же не понимали по-русски. Он молча поставил перед собой девочку, попросил раскрыть рот. Девочка поняла, доверчиво распахнула рот, открыв белые, как сахарочек, зубки. В отличие от родителей у девочки было совсем неплохое состояние. Посреди нёба — довольно большая опухоль с некротическим пятном. Егоров потрогал ее пинцетом. Опухоль была нетипично плотной. Егоров вглядывался, вглядывался в нее — так прошла целая минута. Девочке надоело стоять с раскрытым ртом. Она хлопнула его и хитро посмотрела на Егорова.

— А ну-ка открой еще разочек,— попросил он.

Девочка послушалась. Широко распахнула рот. Егоров подвел пинцет под опухоль. Потянул вниз. Раздался влажный чмокающий звук, и опухоль отделилась. Это был пластмассовый глаз от куклы. А то, что он принял за некротическое пятно,— черный зрачок, нарисованный на пластмассе. Видимо, в один из дней девочка засунула в рот полусферу глаза и присосала ее к нёбу. Поверхность была гладкая и не мешала девочке, она прекрасно с этим глазом ужилась.

— Все,— сказал Егоров. — Идите домой.

— Вы отказываетесь от операции? — спросил парень. — Нам сказали: вы возьметесь. Нам сказали: если не вы, то никто.

— Диагноз ошибочный,— объяснил Егоров. — Это не опухоль. Это глаз от куклы. Иностранное тело. А ребенок совершенно здоров. Парень перевел.

Девочка подошла к родителям, раскрыла рот. На том месте, где была «опухоль», осталось синюшное пятно.

У них не принято выражать не только горе, но и радость.

Родители остались сидеть в прежних позах, но сумасшедшая радость, взметнувшаяся в них, напирала на их глаза. Они сидели с вытаращенными от радости глазами.

— Можете идти,— разрешил Егоров.

Они поднялись, но не уходили. Егоров догадался, что они хотят дать ему деньги. Но он не брал деньги за чужое невежество.

Наверняка Егоров был не первый врач, к которому они обращались. И никто не сумел отличить опухоль от иностранного тела. Егоров читал лекции на курсах усовершенствования врачей и видел этих «специалистов», приехавших из глубинки. Он знал, что такое может быть. Уровень современных «земских врачей» бывает ужасающ.

— Идите,— мягко сказал Егоров. — Ничего не надо. Я ничего не сделал.

Они продолжали стоять: то ли не понимали, а может, не могли двигаться от радости. Большая радость, как и большая боль, действует как шок. Егорову некогда было переживать их шок, а выпроваживать было неудобно. Он попрощался за руку с девочкой и вышел из кабинета. На ходу сказал Симе:

— Проводите их, только повежливее.

Лифт был занят. Егоров пошел пешком на седьмой этаж, шагая через ступеньку, как школьник. Чужая радость заразительна. У не-

го за плечами как будто выросли крылья. Спал он мало, но чувствовал себя молодым и ясным.

Егоров вбежал в отделение. Здесь его интересовал определенный ребенок. Его привезли из Комсомольска-на-Амуре. Ребенок родился двуполым. В древности такие особи считались совершенными, их называли именем двух богов: Гермеса и Афродиты. Сейчас это воспринимается как порок развития, который следует устранить. Надо было определить пол и сделать ребенку операцию. Рентгеновские снимки показывали одинаковые возможности.

Завотделением Галина Павловна, большая и теплая, как русская печь, находилась в своем кабинете. При виде Егорова вспыхнула, как старшеклассница. Она была тайно, по секрету от самой себя влюблена в Егорова. Ему это нравилось.

— Невропатолог смотрел? — спросил Егоров.

— Смотрел. Вот заключение. — Галина Павловна протянула заключение. — Невропатолог считает: из этого ребенка не получится полноценный член общества. Зачем тогда оперировать? Мучить зря.

— А ну-ка позовите его, — попросил Егоров.

Заведующая вышла и через минуту привела человечка четырех лет, с носиком, как у воробышка, большими рыжими глазами. В этом возрасте пол почти незаметен, но челочка надо лбом указывала, что родители воспринимают его как мальчика. На нем была больничная пижамка с коротковатыми штанами. Виднелись косточки щиколоток. «Как в палате номер шесть», — вспомнил Егоров.

— Ну здравствуй! — обрадовался встрече Егоров.

Мальчик тут же поверил, что ему чрезвычайно рады.

— Здравствуй! — ответил он и вложил свою крохотную руку в егоровскую громадную.

— Как тебя зовут?

— Саша. А тебя?

— Николай Тимофеевич, — представился Егоров. — А ну-ка, Саша, угадай: лягушка квакает или каркает?

— Лягушка квакает, ворона каркает! — радостно прокричал Саша.

— А поезд катится или летит по воздуху?

— Поезд катится, самолет летает!

— А почему самолет летает?

Вопрос был трудным, но мальчик не задумываясь отчеканил:

— Самолет летает на бензине.

— На керосине, — поправила Галина Павловна. — Он дешевле.

Мальчик внимательно на нее посмотрел.

— Можешь идти в палату, — разрешила Галина Павловна.

Ребенок зашагал. Коротковатые штаны открывали узенькие, как палочки, щиколотки.

— Он не отстает, — определил Егоров. — Почему невропатолог дал такое заключение?

— Она у нас хамоватая, может, он и зажался. Да и вообще в наших, прямо скажем, не курортных условиях дети... — Она подумала, как сказать, не могла найти нужного определения.

— Ладно, понятно, — остановил Егоров ее поиск нужного слова. — А что родители? Как они к нему?

— Обожают. Целыми днями под окнами сидят, чтобы он их из окна видел.

— Значит, надо оперировать. Для них. Иначе представляете, что у них будет за жизнь?

Егоров поймал себя на мысли, что еще три дня назад он не стал бы перепроверять заключение невропатолога. А ссора с Вероникой и вообще сама Вероника заставили его остановиться, оглянуться. И от этого три судьбы резко меняют курс, разворачиваются от отчаянья к спасению.

— А кого будем делать, мальчика или девочку? — спросила Галина Павловна.

— А вы как считаете? — спросил Егоров.

— Мальчика. Мужчинам легче жить.

Егоров пришел на десять минут раньше. Вероники еще не было. Он стал ходить взад-вперед и подумал, что не ходил вот так взад-вперед и не ждал никого лет тридцать. У него никогда не было левых романов — не из-за повышенной нравственности, а из-за того, что он любил жену. Первые пятнадцать лет любил, потом думал, что любит, а теперь стал старый и некогда. В дне расписан каждый час. Егоров вспомнил свой сон, вернее, он его не забывал. Во сне из подсознания вылезло то, что он давил в себе: лет навалом, а счастья все равно хочется. Какое-то счастье у него было. Разве сегодняшний день не счастье? Дарить людям жизнь, радоваться их радостью — разве это мало? Но хочется своим счастьем делиться. Быть не одному. И этим небом поделиться — дымным и туманным, будто надымили из печной трубы. А вон ворона полетела. Егорову всю жизнь хотелось летать. Он был уверен, что скоро придумают крылья. Надел их на лямках, как вещевой мешок. Оторвался от своего балкона — и вперед. В моду войдут облегченные непродуваемые скафандры. Влюбленные будут летать, взявшись за руки.

Вероника появилась минута в минуту. На ней было черное свободное пальто с капюшоном, черные сапоги, она напоминала католическую монашку. Приблизившись, она подняла рукав и показала часы на запястье.

— А я ничего и не говорю, — оправдался Егоров. Он почувствовал себя виноватым за то, что явился раньше.

Они прошли через тяжелую дверь. Когда-то Егоров бывал в этом доме. Считалось, что здесь хорошо кормят. У дверей сидела интеллигентная старушка. Ее ампула — вышибала. Егоров заметил, что в театрах на служебном входе тоже сидят интеллигентные старушки, может, даже бывшие актрисы, и не пускают новое поколение. Сквозь этих старушек надо продираться, как через колючую проволоку.

— Это со мной. — Вероника кивнула на Егорова.

— Да-да, «это» с ней, — подтвердил Егоров, идя за Вероникой.

Ему нравилось за ней идти и подчиняться. Нравилось, как убедительно она изображает из себя хозяйку жизни. Танк из папье-маше. Танк для макета.

Они разделись. Егоров еле успел взять у нее пальто и передать гардеробщику. Вероника не привыкла, чтобы за ней ухаживали...

Потом они сели за столик в уголке. Народу было немного. Официант возник в полумраке, как фокусник, взвесив над блокнотом фирменный карандаш.

— Что будем есть? — спросила Вероника.

— Кто из нас двоих мужчина? — поинтересовался Егоров.

Официант полуобернулся к Егорову.

— Кофе, — сухо заказала Вероника.

— И все? — удивился Егоров.

— Все. И без сахара.

У Егорова было свое отношение к вопросу питания. Он считал, что преувеличенная потребность в еде — своего рода наркомания. Страна переполнена пищевыми алкоголиками. Едят в пять раз больше, чем требуется для жизнедеятельности. И то, что Вероника отказалась от еды, было для Егорова признаком культуры.

— А мне супчику, — попросил он. — Я без первого не могу.

— На второе? — спросил официант.

— Больше ничего. Я мало ем.

Официант кивнул и отошел.

Егоров стал смотреть на Веронику. Возле ее уха был затек от косметики. Она положила тон, но на периферийных участках не растушевала его, видимо, торопилась. Была резкая грань между крашеной кожей и некрашеной. Некрашенная поражала своей бледностью и беззащитностью. Хотелось притянуть ее голову к своей груди и замереть. Эта женщина изображала из себя хозяйку жизни, но она была замученная и заброшенная, как детдомовский ребенок. Он помнил все, что было между ними этой ночью, и не имело значения, что этого не было.

Вероника достала из сумки ученическую тетрадь в клеточку. Раскрыла ее и протянула Егорову.

Тетрадь была разлинована на колонки. Над каждой колонкой своя надпись: цвет, удельный вес, реакция, белок, лейкоциты, эритроциты, цилиндры и так далее. Внизу под надписями шли цифры.

— Что это? — удивился Егоров.

— Это анализы моей дочери, — спокойно ответила Вероника. — Я записала все ее анализы за последний месяц.

— Большая бухгалтерская работа, — отметил Егоров.

Он все понял. Она пробралась в его кабинет потому, что у нее больна дочь. Статья — повод. Цель оправдывала средства, и для достижения цели все было пущено в ход, включая вчерашний вечер. А если бы понадобилось, то и ночь. Та ночь, которой не было между ними, могла бы быть. Если бы это было н а д о. Егорова как будто ударили палкой по лицу. На «а вдруг» наступили ногой. «А вдруг» кракнуло под сапогом и сдохло.

Егоров молчал, справляясь с собой. Он, как сван, решил ничем не обнаруживать свои чувства. Она не знает про «а вдруг» и не узнает никогда.

Подошел официант, поставил кофе и солянку.

— Водки, пожалуйста. Я забыл заказать.

Надо было выпить за светлую память «а вдруг». Поставить точку.

— А разве нельзя было нормально мне позвонить и обратиться нормально? Зачем эта легенда с очерком? Зачем было врать?

— Я звонила. Но вы не хотели меня слушать. Сказали, что это несерьезный разговор.

— Когда? — удивился Егоров.

— Вы потребовали снимки. Я сказала, что их нет. Вы бросили трубку.

— Да... — вспомнил Егоров. — Действительно звонила какая-то ненормальная.

— Эта ненормальная — я.

— Но я и сейчас скажу то же самое. Стойкий белок может давать врожденный порок. Его надо исключить. Для этого нужны рентгеновские снимки.

— А можно сделать их амбулаторно? Чтобы не класть в больницу. Привезти ребенка. Сделать. И увезти обратно.

Егоров задумался. Амбулаторная урография, конечно, возможна, но это нарушение правил.

— А кто этим будет заниматься? — спросил Егоров и прямо посмотрел в ее лицо. Тон под ее глазами растрескался, и те морщинки, которые она рассчитывала скрыть, обозначились более явственно.

— Вы! — бесстрашно ответила Вероника и посмотрела на Егорова как человек, имеющий на него права.

Егоров внутренне считал, что она его обманула и он ничего ей не должен. Но ее морщины и бесстрашие отчаянья гронули его.

— Хорошо, — сказал он, помолчав. — Завтра я вас жду.

— Спасибо, — одними губами произнесла Вероника. Чувствовалось, что на этот разговор у нее ушли километры нервов.

— Это все? — спросил Егоров.

— Это все.

Они замолчали отчужденно. Вероника была вся в завтрашнем дне. Завтра Ане проткнут вену и введут синьку, и вся ее кровь станет синей, как у инопланетянки. Надо будет и это пережить.

Официант принес водку и маслины.

— Можно, я не буду с вами пить? — спросила Вероника.

— Ну конечно.

Снова замолчали.

— Как вас дома зовут? — спросил Егоров.

— Ника.

— И меня Ника.

— Почему? — Она искренне удивилась.

— Потому что я Николай.

Ника и Ника. То, что случилось между ними, могло стать любовью, но не стало. Пронесся в небе и сгорел метеорит. А могла быть звезда. Она пошла к нему на встречу во вторник. А он к ней — в среду. Их дороги не совпали на один день. Казалось бы, какая мелочь: один день. Но все трагедии — в несинхронности. Когда это случается на биохимическом уровне клетки, рождаются уроды. А когда несинхронность в судьбах, случаются судьбы-ошибки. Судьбы-уроды.

— Я пойду. — Вероника поднялась.

— Идите, конечно.

Она ушла.

Он положил свою тяжелую голову на тяжелый Тюнькин кулак. Решил напиться до черной воды, но с этим ничего не получалось. Он трезвел с каждой рюмкой, и все предметы вокруг и мысли становились все отчетливее. Теперь он знал своими трезвыми мозгами: время не проходит. Время стоит. Проходит человек. Он, Егоров, прошел свою молодость и свою зрелость. И поднялся на новый возрастной этаж. Его игры сыграны. Но зато какие открываются перспективы! Сверху видно дальше и лучше. И он будет надо всеми — одинок и свободен. И ближе к небу.

На другой день, в четверг, Вероника и Аня приехали в назначенное время.

Егоров был занят, но их встретил печальный Марутян. Он забрал Аню, а Веронику попросил подождать в приемной у Симы.

— Она без вас будет спокойнее, — объяснил Марутян.

Аня как-то сразу доверилась Марутяну и ушла вместе с ним без удовольствия.

Вероника осталась ждать. Потекли главные минуты, определяющие дальнейший ход жизни. Все остальное на этом фоне не имело никакого значения. Через полчаса определится: сейчас, сегодня, завтра, через неделю и навсегда.

Сима налила ей кофе — признак особого расположения. Она делала всех посетителей на тех, кому кофе, тех, кому чай, и тех, кому ничего. Ничего тем, кто думал, что за свои деньги может купить не только Егорова, но и всю клинику вместе с Симой.

Сима рылась в своих бумагах, печатала на машинке, отвечала на звонки — и делала это тихо. Тихо отвечала, тихо переключивала листки. У нее было поразительное понимание другого человека. Это, наверное, и есть интеллигентность: чувствовать другого как себя самого.

Через двадцать минут Марутян привел Аню. Она шла на своих ногах — живая и здоровая и нормального цвета. Однако недовольная. Вокруг ее глаз были красные пятна, значит, всплакнула. Платье было надето задом наперед, застежкой впереди. Вероника подхватила дочь, прижала к себе, чтобы из ее тела мощными струями перетекала любовь в это маленькое беззащитное тельце. Потом поставила Аню на стул и стала поправлять на ней платье. Перевернула застежками

на спину, застегнула все пуговички, сначала на спине, потом на манжетах. Эти привычные домашние действия успокоили Аню. Она чувствовала себя в безопасности. А Сима смотрела на них и качала головой.

— Сюда лучше не попадать,— приговаривала Сима.— Лучше не попадать.

Вошел Егоров. Марутян протянул ему мокрые рентгеновские снимки. С них капала вода.

Егоров и Марутян пошли в кабинет. Вероника растерянно посмотрела на Симу. Сима махнула ей рукой в сторону кабинета. Вероника и Аня вошли следом. На них не обращали внимания.

Егоров поставил рентгеновские снимки на светящийся экран. Стал смотреть с пристрастием. Марутян стоял рядом. Они переговаривались. Вероника прижала к себе Аню. Ждала. Каждый нерв был завинчен до предела. Так, наверное, переживали партизаны в погребе, когда наверху ходили немцы и непонятно: пронесет или убьют?

Вошел Кабан. Увидел Веронику и счел нужным развлечь ее разговорами. Он сыпал словами, чуть не анекдотами. Хотелось сказать «да заткнитесь», даже ударить. Но Вероника молчала, физически мукаясь от его голоса.

Егоров выключил экран.

— Затемнение в лоханках,— сказал он.— Процесс на почки не распространился. Пиелит.

— Это хорошо или плохо? — не поняла Вероника.

— Это лучше, чем пиелонефрит,— объяснил Марутян.

— Я бы антибиотиков не давал. Заваривайте травы, медвежье ушко, петрушку. Клюквенный морс. Побольше питья.

— А врожденный порок? — растерянно спросила Вероника.

— Его нет,— ответил Егоров.

— Это не такое уж частое явление,— подробнее объяснил Марутян.— Врожденные пороки по статистике бывают у двенадцати процентов. Вы попали в восемьдесят восемь процентов нормы.

Вероника молчала. У нее было потрясенное лицо.

— Но ведь в восемьдесят восемь процентов попасть легче, чем в двенадцать,— растолковал Кабан. Видимо, он принял растерянность Вероники за ее бестолковость.

Вошла Галина Павловна. Они с Егоровым заговорили о своем.

Вероника поняла, что она лишняя. Взяла Аню за руку, и они пошли из кабинета.

— До свидания,— попрощалась Вероника.

— До свидания.— Егоров поднял на нее спокойные льдистые глаза.

Из кабинета вышли в приемную.

— Скажи тете спасибо,— посоветовала Вероника.

— Спасибо, тетя,— послушно отозвалась Аня.

— Пожалуйста, моя деточка! — Симины глаза увлажнились.— Какая чудная девочка. Как пирог с вишнями!

Аня сконфуженно улыбнулась, склонив голову к плечу. Она любила, когда ее хвалят.

Егоров подошел к окну. Смотрел, как Вероника и девочка идут по больничному двору. Девочка была похожа на мать, и ему показалось, что Вероника идет рядом со своим детством. Егоров подумал: обернется или нет? Не обернулась. Вышла за ворота. Последний раз промелькнула сквозь решетки ее легкая голова.

В кабинете было душно. Панельные блоки не дышали. Егоров отомкнул тугие шпингалеты, раскрыл окно. Внизу из-за дерева возникла пара сванов. Похоже, они караулили Егорова, чтобы попасться ему на глаза. Они выступили из-за дерева и застыли в неподвижности,

как бы являя собой композицию «благодарность». Их руки были прижаты к груди, глаза умильно растарашены, губы шевелились, как во время молитвы. А может быть, они действительно на него молились.

Вероника зашла в автоматную будку, нашарила в кармане монету, позвонила Алеше на работу. Он ждал ее звонка. Алешин голос радостно взметнулся. Вероника дала трубку Ане. Она сказала свои «да» и «нет». В будке пахло мочой.

Вышли на улицу. День стоял ясный, умиротворенный, обеспечивал сейчас, сегодня и всегда. Все страхи закончились клюквой и петрушкой. Практически ничем. Вероника должна была испытывать не просто радость — счастье до эйфории. Но счастья не прослушивалось. Была усталость. И пустота. Хотелось сесть и не двигаться, как зайцу. Но Аня шла рядом, вложив в ее руку свои цапучие пальчики. Значит, надо было идти. И она шла.

Дома их встретила Нюра с котенком в руках. Котенок был крошечный, величиной с варешку.

— С работы привезли,— объяснила Нюра.

Вероника догадалась, что главный прислал обещанное с курьером.

Нюра поставила котенка перед Аней. Он поднял хвост и зашипел. Аня испугалась, и ее личико стало напряженным. Они стояли друг перед другом, маленькая девочка и маленькая кошка, и боялись друг дружку.

— Во тьманник! — незло осудила Нюра котенка. «Тьманник» значило носитель тьмы.

— Какой же он тьманник? — заступилась Вероника.— Он маленький.

Вероника подняла котенка с пола, посадила его себе на плечо. Прижалась к нему щекой. Почувствовав себя в любви и защищенности, котенок тут же замурылкал в самое ухо, затрещал, как мотоцикл.

Аня подняла голову и спросила:

— Он поет или ругается?



НАТАН ЗЛОТНИКОВ



И РАЗДУМИЙ ДОБРО...

Вручение знамени

Снег полярный, влажный от бурана,
В свете фар сгорает дочерна,
Падает на кожу барабана
Тяжелей отборного зерна.

И в оркестре слаженном рокочет
В час аэродромной тишины
На другом краю полярной ночи
Словно отзвук бури и войны.

Перед строем арtdивизиона
Проплывает знамя во весь рост,
Выше генеральского погона,
Выше марша, может, выше звезд.

Славный шелк, златою шитый нитью,
Что вобрал и звезд, и стрельб огни,
Для меня по странному наитью
Был большому зеркалу сродни.

Как узнаешь о судьбе заране?
Где ее вершина, где предел?
Но себя в трепещущем экране
Каждый хоть на миг, да разглядел.

Гаршин

Есть тайны негромких страниц,
Постигнешь их, делаясь старше,
Припомнится несколько лиц,
И первое — Всеволод Гаршин.

Все годы, что так коротки,
Болезненный прожил, несмелый.
Но мастер был первой руки
В старинном искусстве новеллы.

Он, сказочник и реалист,
Цветы знал и птичьи повадки.
В чиновничьем деле статист,
Словесные строил порядки.

И надобно в долгой тоске
Прислушаться к вещему зову,

Чтоб мир Мериме, Монтескье
Привадить к российскому слову.

Так дался ему перевод,
Как птице удачная нота,
Как будто судьба наперед
Ему рассказала про что-то.

Про что же, про что же, про что?
Что время стремится обратно,
Творенье всем ясно, зато
Творцу до конца непонятно.

Первое лето

Дом от верха до низа
Под грозою промок,
Лишь дрожит кипариса
Густо свитый дымок.

И тогда средь разора,
Может быть, в первый раз
Я подумал, что ссора
Не унизила нас.

Туча оползнем диким
Прямо в море сползла,
Сад густой ежевики
Изломавши со зла.

Стерлись версты и мили
Тышу лет, как давно,
С той поры, когда пили
С острой брынзой вино.

Это игры без правил,
Правёж без суда.
Смыв мосты, сбросив гравий
Пьяно пела вода.

Ты любила капризно,
Как я не привык,
И соленая брынза
Дразнила язык.

Памятник

Надменный памятник Баркляя
Слегка снежком припорошен.
Молва давно утихла злая
В России и за рубежом.

Казалось, места нету мести,
Снежок звучит как мадригал
Тому, кто делу честь по чести
Служил, молвой пренебрегал.

Душой готов на подвиг ратный,
Берег войска, не шел вперед,
А шел упрямо на попятный.
И невзлюбил его народ.

И недовольства смутный ропот
Шел словно тень за ним шаг в шаг.
Сквозь канонаду, конский топот
Он слышал вечное: чужак.

Запомним, хоть лукава память,
Что был ему неведом страх.
«Москву нам надобно оставить...» —
Он первым произнес в Филях.

Как верил в русского солдата,
Чтоб эти вымолвить слова,
Таившие для супостата
Погибель вместо торжества!

Упряма заблуждений сила.
И даже Пушкина перо
Не очень-то и защитило,
Добром воздавши за добро.

И лишь с фельдмаршальского жезла
Снежок летит на постамент,
Где имя вроде бы исчезло
Для верных книг и кинолент.

Хворост

Скажи мне об этом еще раз —
И я, как в промозглом лесу,
Тех слов соберу легкий хворост,
В укромное место снесу.

Налево я шел и направо,
Не так и устал, как продрог,
Скажи лишь — и тотчас лукаво
Заглянет в лицо костерок.

Направо я шел и налево,
И ты позабыла меня,
Но прежде дала для согрева
Короткое время огня.

Чтоб легче душе напоследок
От места, где зябнет зола,
Уйти и не помнить тех веток,
Тепло от которых взяла.



ВЛАДИМИР МУССАЛИТИН



РАССКАЗЫ

Но кто же расскажет мне об отце?

От меня требуют автобиографию. И вот в который раз пишу знакомые, привычные слова. Я, имярек, родился в таком-то году. Мой отец...

Сколько я написал таких автобиографий. И вторая строка после матери — всегда о нем, моем отце, которого я совершенно не помню. Мне было чуть больше года, когда он ушел на войну. Можно вообразить эти проводы. Прощание матери с отцом. Наконец, его со мной. Он, должно быть, взял меня на руки, сказал какие-то слова, чтобы я не ревел, видя его удаляющуюся спину в молчаливом мужском строю. Наверняка так и было, и мне даже кажется, что я расплывчато помню эту минуту, натужный поворот крепкой загорелой отцовской шеи, быстрый взгляд в нашу с матерью сторону и странную, лишь слегка раздвинувшую уголки губ, улыбку.

Когда жива была мать, я нередко допекал ее просьбой рассказать что-либо об отце. Каков он был? Какой имел характер? Как относился к людям? Как те относились к нему? Мой интерес был понятен. Хотелось узнать об отце как можно больше. Это знание, как подспудно чувствовалось каждым из нас, безотцовщиной, составляло предмет нашей мальчишеской гордости. Мы уже не казались себе несчастными горемыками. Смелее смотрели в глаза наших врагов и обидчиков, задиристость которых нередко объяснялась надежностью тылов, авторитетами стоявших за их спинами отцов. «Ну и что, что у тебя отец? — мог крикнуть ты в пылу драки. — Если бы мой был жив, ты не полез бы драться! Мой отец был героем! А твой, что твой...»

В отчаянно-горькую минуту, которых в той нашей, послевоенной поре было немало, редко кто из нас мысленно или вслух не прибегал к спасительному образу отца. Вот почему так необходимо было знать нам существенное, важное из жизни своих отцов, те их доблести, которые подтверждали правоту наших запальчивых слов в нередких тех драках, случавшихся тогда чуть ли не каждый день без какого-либо видимого на то повода.

Надо полагать, не один я терзал свою мать подобными вопросами. Однако рассказы матери об отце были скудны. И мне трудно это как-то объяснить. Казалось бы, видя этот мой неподдельный интерес ко всему, что было связано с отцом, мать должна была непременно сполна удовлетворить мое любопытство. Ведь был же у меня отец, с которым она, худо-бедно, прожила сколько-то лет?

Говорю так, потому что и впрямь не знаю, сколько прожили они под одной крышей. Я, кстати, спрашивал мать об этом. Но, странное дело, она отвечала как-то уклончиво. Твоего, мол, отца знала давно, а пришел к нам в дом незадолго до войны.

Но как понять это незадолго? За год, за полтора, за месяц? Я начинал напряженно думать о причинах столь странного отцовского поведения. Почему он так долго откладывал свой приход в наш дом? Быть может, я был нежелательным для него ребенком? Быть может, отец и не собирался жениться на матери, да обстоятельства вынудили? Под напором общественного мнения или после долгого борения с собственной совестью решил наконец прилюдно признать себя моим отцом? Но неужели так могло быть в действительности? Неужели отец и впрямь не хотел признать меня, жениться на моей матери? От обиды я закусывал губу и пристально смотрел на мать.

Теперь мне что-то становилось понятно. А именно то, почему мои родители носили разные фамилии. У людей, пребывающих в нормальном браке, думал я, такого быть не должно.

Ну ладно, допустим, меня отец мог и не любить. Но мать? Неужели он и мать не любил? Я смотрел на мать и не мог в это поверить. Как можно не любить ее! Неужели отец мог допустить, что где-то есть женщина лучше ее? Да и вообще — мог ли отец взять и жениться на другой женщине?

Нет, все-таки это странное, загадочное дело — семья. Сейчас, в зрелые годы, я все чаще задумываюсь над этим. Судите сами. Встречаются двое. Совершенно незнакомых, можно сказать, абсолютно чужих людей. И вот у этих еще недавно чужих людей рождается ребенок, для которого они, эти чужие между собой люди, становятся самыми дорогими, самыми близкими... Ребенок, как мосток, теперь связывает их. Он любит их на равных. Он не может взять в толк, что когда-то, до его рождения, отец и мать совершенно не знали друг друга и вообще могли никогда не узнать. В сознании ребенка они всегда стоят рядом. Будто родились вместе с ним и для него.

Он живет, не задумываясь над этим, пока сам не станет отцом. А став им, с удивлением заметит, до чего же странная это штука жизнь в своем извечном повторе сюжета: двое незнакомых, их производное, для которого теперь эти двое, прежде чужие люди, становятся самыми-самыми...

И пока раздумываешь над этой загадкой сочленения рода, за твоей спиной, глядь, и выстроилась плотная шеренга сородичей: дед, бабушка, отец, мать, ты сам с усам, твоя жена, твои дети, а там уже скоро и дети твоих детей... И кажется весьма странным, что в этом ряду дорогих тебе людей кто-то когда-то был кому-то абсолютно чужим человеком.

Так вот отец! Каким же все-таки человеком он был? Разве можно считать обстоятельным наиболее частый ответ матери, которая говорила, по обыкновению, так: «Ну что сказать про твоего отца? Человек как человек был?»..

Мать вообще была немногословна. И я, быть может, требовал от нее невозможного. Но мне хотелось знать об отце все. О том, как ходил, как одевался, чем увлекался, что нравилось, что любил или ненавидел, принимал безоговорочно или, наоборот, терпеть не мог. Именно о привычках и пристрастиях его больше всего хотелось мне знать. Знания эти были необходимы мне, как, впрочем, и любому из нас, росшему без отца, чтобы иметь свой, как мы скажем теперь, ориентир, чтобы выстроить верно свою жизнь, или, как сказал один из моих приятелей, линию судьбы.

Каждый из нас как бы исподволь накапливал эти знания о своем отце. И затем как бы невзначай во время наших мальчишеских забав — на рыбалке, возле мельничной запруды или за сбором щавеля в лесу — вставлял в разговор что-нибудь из жизни наших отцов.

Компания наша не была постоянной. Она то разрасталась до внушительных размеров, то по причине раздоров распадалась, однако костяк сохранялся постоянно.

И вот однажды мы втроем — я, Славка Гнеушев и Славка Никишаев — сидим возле уже изрядно осыпавшейся траншеи на опушке леса и сортируем по кучкам бронебойные и трассирующие патроны, что нашли тут же, на дне траншеи, под слоем песка. Славка Гнеушев и говорит:

— Мой отец артиллеристом был. Он на самых главных направлениях воевал. Под Москвой, Сталинградом. Почти до самого Берлина дошел.

— Артиллеристам, им чего! У них щиток бронированный. А ты в пехоте попробуй!

Никишаев, конечно же, имеет в виду своего отца, погибшего пехотинца.

— В пехоте опасней всего было, — подытоживает Никишаев.

— В пехоте опасно, — соглашаюсь я. — Но там за любой куст, за любой бугор спрятаться можно. А вот ежели ты летчик, тут уж никуда не спрячешься. Весь на виду. Тебя и с земли любая зенитка может сбить, и в воздухе протаранят или прошьют из пулемета.

Я стараюсь говорить как можно спокойней, но отчетливо чувствую свое волнение. Все во мне напрягается, даже голос каким-то чужим становится.

Никишаев округлил глаза. С чего это, мол, я про летчиков и самолеты? На полпути к кучке патронов застыла рука и Славки Гнеушева. Из кулака тонкой струйкой сыплется песок. В его глазах тоже недоуменный вопрос.

— Они, летчики, постоянно жизнью рисковали. И на земле, потому как аэродромы всякий раз бомбили, и там, в небе.

— А у тебя отец чего же, летчиком был? — задает роковой для меня вопрос Никишаев.

Мне бы правду сказать, откреститься. Мне бы смолчать, но меня уже безудержно понесло. И я не в силах что-либо с собой поделать.

Я долго молчал, слушая рассказы других про своих отцов, остро завидуя приятелям, которые что-то знают, что-то могут рассказать о том, как воевали их отцы. Теперь пришел мой черед. И я не жалею красок для описания многочисленных отцовских подвигов. В самом деле, если у Никишаева отец пехотинец, у Гнеушева — артиллерист, то почему мой не может быть летчиком? Загадочный, таинственный образ отца, как бы растаявшего в небесах, допускает такое предположение. И я горячо, торопливо на глазах у своих приятелей сочиняю его боевую биографию, его жизнь на войне, отмеченную многими геройскими подвигами. У человека, принадлежавшего к славному племени соколов, иначе и быть не могло. Отец летает. Беспощадно бьет фашистов и в небе и на земле. А когда кончается последний патрон, рывком бросает израненную машину на врага. И погибает как герой.

Явственно слышу этот пронзительный, обрывающийся на высокой ноте вой поршневого мотора и чудовищный металлический лязг.

Мои приятели буквально потрясены рассказом. В их глазах боль и страдание. Но в тех же глазах я вижу и другое — недоверие, несогласие. Получилось как-то нечестно, в высшей степени несправедливо с моей стороны. Волей-неволей своим рассказом я свел на нет, обесцветил, сделал обыденным то, что не казалось таким моим товарищам, ибо было связано с памятью о погибших отцах. Но что мог поделать я, чем мог помочь им, если мой отец был вот таким смелым, решительным, отчаянным человеком? К тому же в скупых рассказах матери я находил и определенные подтверждения тому. Правда, говорилось это ею всегда как бы между прочим. По какой-либо далекой или близкой связи с тем, что происходит возле нас. Идем, например, как-то огородами. Мужики гоняют по лугу мяч. Мать и говорит:

— Иван, отец твой, смерть как любил играть в футбол. Хлебом не корми, только дай постучать мячик. Сидит однажды с приятелями за столом. Чаевичает. Тогда иным чем не больно увлекались. А само-

вар у нас большой, хороший. Отец твой любил чай гонять. За вечер стаканов десять — двенадцать...

«Ого!» — удивляюсь я про себя, догадываясь, что эта деталь не главная в рассказе матери об отце. Не главная, но немаловажная. В хилое тело разве столько войдет! Значит, отец был крепким, сильным человеком. А если сильным, значит, смелым. Сильный всегда на себя больше других берет!

— Так вот, сидит, чай пьет. За окном мороз. Что ни есть крещенский! А отец твой вдруг возьми и предложи. Мол, давайте, ребята, в футбол сгоняем. Кто-то рассмеялся: больно жарко на улице, Иван! Да разве ему это помеха! Упрямый был. Если уж что задумал — будет переть до тех пор, пока не добьется. Выхватил футбольный мяч из-под кровати и за дверь. Приятелям неудобно: как же, Ивану мороз нипочем, а мы что же? И туда же за ним следом...

Этот короткий рассказ матери дает мне основание думать об отце как о рискованном, решительном человеке, дает возможность домыслить, досочинить боевую биографию отца — военного летчика. Кажется, я не только заставил поверить в это моих приятелей, но и сам стал верить. А что мне оставалось делать, если мать так толком и не смогла объяснить, в каких же частях воевал он?

— Он, что ли, и в письмах не писал о том, что он там, на войне, делает?

Мать напрягает память, стараясь вспомнить содержание отцовских писем. Их, как я уже знаю, и пришло-то всего два. И ни одно не уцелело. Потерялись во время эвакуации. Но как можно потерять письма? Значит, не очень дорожила памятью об отце, думаю с обидой я.

— Про то, где служил, он не писал, — наконец решительно заявляет мать.

— Ты хорошенько вспомни, — уже не то что прошу, требую я.

— Да что ты, в самом деле, как репей, прицепился? — сердится мать. — Говорю же тебе — не писал. Он о себе вообще ничего не писал. Все больше про нас спрашивал.

Раз так, думаю я, значит, мы не были ему безразличны. Значит, он любил мать и, быть может, меня. Но почему же все-таки у матери с отцом разные фамилии? Я чувствую всю щекотливость вопроса, но все-таки задаю его.

Мать несколько не удивляется этому.

— Тогда часто так бывало, — охотно поясняет она, — жили не расписываясь. Просто верили друг другу. Вот и все.

У меня с души спадает камень от столь простого объяснения. И я с еще большей жалостью начинаю думать об отце, о его таких недолгих годах.

Но особенно остро эту горькую истину я постигну, когда и сам войду в его лета. Эта мысль неожиданно пронзит меня на офицерских сборах в строю, на гарнизонном плацу, когда, поправляя портупекю, я брошу беглый взгляд на полевой погон, на свои скромные лейтенантские звездочки и вспомню, что отец мой носил в петлицах кубаря. Он погиб старшим лейтенантом. И вот уже я в его звании, в его летах стою в строю и слышу над головой зеленый шум мощных латвийских сосен, тот извечный шум, который ненавязчиво и властно заставляет думать о необоримости жизни, всего живого. Не верится, что какая-то злая, чудовищная сила возьмет и сметет в страшную черную бездну эти меченные знаками вечности сосны, холмы, озера, нас самих.

Нет, мы не дадим сделать этого. Ни за что! Никогда! Потому и стоим сейчас здесь, в тесном армейском строю. Как стояли совсем недавно наши отцы. Нам мало что известно о них, но мы, пожалуй, знаем самое главное. Мы не ведаем того, как умирали они, но мы с уверенностью можем сказать, во имя чего они шли на смерть...

Но пока мне только десять. Из всех горьких правд я знаю лишь одну. Ту, что отца нет. И то, что никто не может рассказать мне о нем. Я никак не могу понять мать, ее нежелание, неохоту вспоминать те незнакомые мне годы... Но почему она ведет себя так? Почему? Быть может, трудно и больно вспоминать? А быть может, потому, что не видит в той своей, довоенной жизни с отцом ничего интересного, стоящего?

Мое воображение беспрепятственно рисует отцову жизнь среди постоянных опасностей, без которых невысказана жизнь пилота. Иногда в разговоре с матерью я начинаю уточнять кое-какие детали, касающиеся летной биографии отца.

— Да откуда ты, трепуша, взял, что он у нас летчик? — весело ужасается мать. — Он бы по здоровью туда не прошел.

— Это почему же? — удивляюсь я.

Это мой-то отец, который в трусах по снегу гонял мяч, который мог осилить дюжину стаканов крепкого чая!

— Почки у него были большие, — как-то нехотя признается мать. — Простыл после финской кампании. Где-то там в болоте увяз. Чуть было не замерз.

— Так он еще и до этого воевал? — уточняю я.

— Ну да, — соглашается мать. — Он же у тебя кадровым офицером был.

— Но как же тогда его, больного, взяли на фронт? — недоумеваю я.

Для меня это действительно новость, да еще какая!

— А я, думаешь, знаю? Когда его комиссовали, он выбрал Осоавиахим. Это как ДОСААФ сейчас. Все потому, чтобы поближе к армии быть. Нравилась ему военная служба, тут уж ничего не скажешь. А когда война началась, он своего добился. Приходит под вечер в новенькой форме, перепоясанный ремнями. «Иду, говорит, Мария, в действующую». С тем его и видели. Скорее всего он попал в пехоту, — высказывает предположение мать.

Но эти слова проходят как бы мимо меня. Я вижу, как туго перетянутый новыми скрипучими ремнями отец легко и быстро бросает хорошо тренированное тело в кабину краснозвездного «ястребка» и тот свечой взмывает вверх. И тут же на моих глазах начинает яростно вращаться огромная, во все небо, огненная карусель хорошо знакомого мне воздушного боя. И в центре его по-прежнему самолет моего отца.

Мне он видится только летчиком. Во время уроков я, плохо, рассеянно слушая учителя, упорно рисую на промокашках краснозвездные самолеты. Читаю все, что касается авиации. Знаю наизусть отличия «Яков», «петляковых», «юнкерсов», «мессеров»... Я весь там, на войне, рядом с отцом. Который уже год мы рядом...

И вдруг между нами вероломно втискивается совершенно чужой, ненужный нам человек. Происходит это в субботу, в наш традиционный мужской банный день. Я уже вырос из того возраста, чтобы плескаться в корыте, выставляемом матерью на середину кухни. Теперь я хожу в нашу поселковую баню. И, само собой, суббота становится днем особым, не похожим на другие. Баня мне нравится.

В бане не то что дома. Дома два, ну от силы три ведра воды, нагретой матерью на плите. А в бане воды жалеть не надо. Ее тут — хоть залейся. Открыл левый кран — и из толстой короткой трубы ударяет мощная холодная струя, открыл правый — и вот бьет, хлопчет, обдавая паром, горячая. Один, другой, третий, пятый ушат воды опрокидываешь на себя, и это, разумеется, уже после основного мытья — помывки, когда все тело чисто и красно и кожа, натянутая ребрами, скрипит.

Как все это здорово! Даже трудно словами передать. Рывком, руки еще слабы, выталкиваешь таз над головой и торопливо, боясь

уронить, кренишь его — и на тебя весело, шумно обрушивается водопад, ласково-щекотливо крутанув волосы на макушке. Именно это ощущение одно из самых сладостных, и тебе не терпится вновь вызвать его. Ты можешь плескаться сколько угодно, до одурения, не сковывая себя, как дома, в движениях, не боясь пустить посреди пола лужу, которая ненароком просочится под пол, где у вас с матерью хранится заготовленная на зиму картошка. Да и какое это купание — в корыте! А тут, в бане, простор, обилие воды и сладостное ощущение чистоты и легкости своего тела, которое в любую минуту может оторваться от земли и улететь куда угодно. Нет уж, видимо, всю жизнь будет помниться мне наша вовсе даже не таровитая поселковая баня, которая, однако, придавала субботе что-то пьяняще-праздничное. Баня у нас, поселковой пацанвы, стояла, пожалуй, в том же ряду, что и кино.

Не последним достоинством нашей поселковой бани был, конечно же, буфет. Нам он интересен был тем, что в нем продавался морс. Благословеннейший напиток послевоенной поры, приготовленный по нехитрому рецепту местными умельцами: столько-то ведер воды, столько-то килограммов карамелек, оказавшихся из-за отсутствия должного товарного вида непригодными для торговли. Мы хлестали этот морс полулитровыми кружками, с каждым глотком чувствуя, как тяжелеет живот, чувствуя, что можно и оставить питье, но никто не оставлял. То ли жаль было потраченных денег, то ли сказывалась известная детская ненасытность в воде... Помылся от души, оделся — и прямая дорога в буфет. Блаженствуй, наслаждайся своей кружкой морса.

И вот в одну из таких суббот сижу на крепкой дубовой скамейке в предбаннике, попиваю не спеша морс, а ко мне подсаживается Паша Широбоков, он же Золотой, дюжий мужик, конюх райсобеса, прозванный так за то, что в свободное от основной службы время золотарил, то есть чистил отхожие места. Жил он по соседству с нами и по непонятной причине недолюбливал меня, хотя ничего плохого Золотому я не сделал. В огород к нему не лазил, злую его собаку не дразнил. Однако Широбоков то и дело задирает меня. Проходя через наш двор, бросит на ходу какое-нибудь обидное слово или еще, чего доброго, скосорылится — глаза сощурит, язык покажет и чапает себе дальше в сбитых на внешнюю сторону бесподобных в своих размерах кирзачах. Дурак, не дурак?

И потому, когда подсел Золотой, я невольно весь подобрался, ожидая от него какого-либо подвоха, тем более что я видел, как на моих глазах Широбоков принял свои положенные, как любил приговаривать он, наркомовские и теперь запивал их кружкой пива.

— Зашел бы как-нибудь, — неожиданно предложил Широбоков, — у меня карточка твоего бати цела. Так хоть взглянешь.

Карточка? Моего отца? Меня словно кипятком ошпарило. Насколько я знал, у матери не сохранилось ни одной фотокарточки. А тут у какого-то Паши Золотого! Как и где он мог познакомиться с моим отцом? Поселок, в котором мы теперь жили, не был нашим родным местом. Здесь мы с матерью оказались после войны, возвращаясь из эвакуации из-под Рязани. Тогда откуда же у Золотого фотокарточка моего отца? Как она очутилась у него? Выходит, отец знал Пашу раньше? Был знаком с ним до войны? Но тогда почему ни мать, ни я не знали об этом? Почему Паша раньше и словом об этом не обмолвился?

Нечего и говорить о том, что я тут же словно привязанный полпелся следом за Широбовым, задавая самому себе многочисленные вопросы относительно того, как фотокарточка отца могла оказаться в руках этого нехорошего, я бы даже сказал, злого человека, которому доставляло истинное удовольствие ни за что ни про что обижать меня.

Не пригласив меня в дом, Широбоков скинул в коридоре свои кирзачи и скрылся за дверью, но уже через какую-нибудь минуточку другую объявился вновь.

— На, смотри! — великодушно предложил он, давая мне крепкую картонку, на тыльной стороне которой виднелось рыжее пятно и косые строчки букв поверх него.

Я торопливо схватил картонку и прямо-таки впился в нее. Отец? Неужели он? На краю слегка осыпавшегося бруствера сидел улыбчивый мужчина в гимнастерке, туго перетянутой ремнями, в фуражке со звездой и длинным лакированным козырьком. Ноги в плотно облегающих, сверкающих новизной сапогах широко расставлены. Все на нем ново, ладно. Все ему идет: и эта фуражка, и сапоги, и выпуклые кубики в петлицах. Недаром же всю свою жизнь он был военным. Отец молод, но у глаз чуть заметны пучки морщин.

Я внимательно изучаю лицо отца, но странное дело — не могу его запомнить. Отбери сейчас у меня Широбоков эту фотокарточку — и я вряд ли смогу воспроизвести увиденное.

— Дядя Паш, откуда у вас эта карточка? — спрашиваю я и испытываю в эту минуту горячую благодарность к злему, нерадушному соседу.

— Было дело, — уклончиво отвечает тот, протягивая длинную руку.

Я бессознательно прижимаю фотокарточку к себе.

— Можно, я мамке покажу? Я верну, честное слово верну. Только покажу.

Золотой молчит. Если не даст, убегу вместе с ней, — решаю я. Несмотря на злого пса у ворот, который недовольно рыкнул на меня, когда я вслед за Широбоковым прошмыгнул в калитку.

— Валяй! — наконец соглашается тот. — Только к завтраму верни.

— Верну, верну! — горячо, лихорадочно обещаю я.

Вечером мы с матерью долго рассматриваем фотографию. Меня, честно говоря, несколько удивило, ошарашило то спокойствие, с которым мать взяла из моих рук и стала рассматривать фотографию отца. Мчась к дому, я думал, как сказать ей о фотокарточке, как подготовить ее к этому. Но не найдя слов, молча протянул матери картонку, а она, едва взглянув на нее, сказала тихо, спокойно:

— Иван. Отец твой.

Ей в отличие от меня не надо было смотреть на подпись на обороте, удостоверяющую, кто действительно изображен на фотографии.

— Твой отец... Иван, — подтвердила мать, отставляя подальше от глаз фотографию, как бы относя ее к тому времени, которому соответствовала она. Потом мать слегка наклонилась вперед, как бы желая преодолеть тот невидимый временной барьер, что стоял между давней фотографией и нынешним днем.

Несколько лет спустя на материных поминках я услышу от кого-то слова о том, что таких людей, как моя мать, жаль вдвойне, потому что их переехала война. Услышав эти слова, я буду долго повторять их, глядя на сидящих за столом и ничего не видя сквозь долгую, стойкую мутную пелену. Переехала война...

— Где ты взял эту карточку? — спросила мать.

Я ответил.

— Интересно, где они могли познакомиться? — вслух удивилась мать.

Об этом же думал и я. Действительно, где? Быть может, во время каких-нибудь сборов, когда отцу пришлось заниматься с резервистами, среди которых был и Паша Широбоков. Или уже в действующей армии, в самые первые дни войны. Хотя вряд ли. Тогда им было не до снимков.

Была тайная надежда, что Ширококов как-то пояснит, откуда у него эта фотография, расскажет о том, как и при каких обстоятельствах познакомился с отцом, но Золотой так ничего путного и не сказал, все твердил свое уклончивое «было дело», заставляя и мать и меня теряться во всевозможных догадках. Что же это за дело такое, если о нем ничего нельзя сказать?

Я потом не раз тужил, ругал себя за то, что ничего не смог выведать у Широкова об отце, но более всего клял себя за то, что отдал ему фотографию.

Лет семь спустя, вскоре после выпускного школьного вечера я вновь пришел к Золотому, который заметно постарел, хотя и был еще достаточно крепок и подвижен, и попросил отцову фотокарточку, чтобы перефотографировать ее, чтобы была у меня память об отце. У меня и сомнений не было на тот счет, что Золотой уважит мою просьбу. Он выслушал меня и коротко, жестко ответил, что нет у него больше этой фотокарточки.

— Как нет? — удивился я.

— Да так, нет! — холодно и спокойно ответил Ширококов.

— Вы что же, выбросили, порвали ее? — спросил я, ощущая непривычный холод в груди.

— А это как хочешь понимать, — с вызовом ответил Широков. — Нет у меня больше карточки. И баста!

— Но как же? Ведь она... — я терялся, подыскивая нужные слова, — она же мне нужна...

— Тебе-то, может, и нужна, — согласился Золотой, — а мне на кой ляд? Лишний раз глаза мозолить.

— Вы долго будете говорить загадками? — крикнул я, наливаясь злостью к этому ставшему постылым старику.

— А ты не кричи, — ответно обозлился Ширококов. — Больно горяч. А с горячими знаешь как?

— Но вы скажете наконец, как попала к вам фотография?

— Это не твоего ума дело, — отрезал Золотой.

На голос хозяйина вылез из конуры облысевший, одряхлевший пес, приоткрыл глубокую беззубую пасть, но Ширококов не дал ему взбрехнуть, сердито пнул старого пса подшитым валенком.

Разговор с соседом оставил недоброе чувство, набросил какую-то тревожную тень на все то, что связывалось в моей памяти с отцом. Молчат или отказываются говорить лишь о плохом, недостойном. Но в чем же таком мог провиниться мой отец? Что недостойное чести и звания командира мог он совершить? А быть может, не отец, быть может, по отношению к нему была совершена какая-либо подлость?

Но эти вопросы стали приходиться ко мне позже. Тогда же, в пору малолетства, военная отцовская судьба представлялась мне до одури удачливой и блистательной. Вопреки фактам (не убедила в этом даже фотография и обычная форма пехотного командира) я упорно представлял его военным летчиком, беспрестанно распаяя свое воображение, рисуя себе, да и своим товарищам яркие картины неравных воздушных боев отца. И мне верили, как и я сам безоговорочно верил своим приятелям, рассказы которых о боевых подвигах отцов становились тоже все ярче, богаче, значительнее. Мы словно бы старались друг перед другом, интуитивно чувствуя: насколько живо встанут в наших рассказах отцы, настолько долго будут жить они с нами, в каждом из нас. И мне не стыдно признаться сейчас в своих отчаянно-безоглядных ребячьих фантазиях. И никто, думается, не вправе укорить меня за то, что я наделял своего отца такой героической биографией, представлял его летчиком, летящим в далеком бездонном поднебесье. Была какая-то несокрушимая вера, надежда, что небо уберет его от жестокого, опаляющего вихря войны, что добрые воздушные потоки поднимут его на ту недосыгаемую для смерти и губительного огня высоту, а в нужную минуту опустят его живого

и невредимого на родную землю. Только затем моя безудержная фантазия и вознесла его на небеса, в заповедно-охранную зону, оторвав от нашей грешной земли, на которой он встретил свой последний час. О том, как и где это было, я узнал позже, после долгих запросов и поисков в различных архивах.

Произошло это, как я знаю теперь, между серединой и концом июля 1941 года недалеко от Ельни, куда неудержимо катилась 2-я танковая группа генерала Гудериана — ударная сила группы «Центр». Волей случая им суждено было встретиться — танкам Гудериана и солдатам моего отца. За день до этой встречи они наспех прошли курс в учебно-стрелковом полку, получили обмундирование и вооружение — верную трехлинейку и по три бутылки с горючей смесью «КС» на каждого. Специалисты поясняли, что бутылка с горючей смесью всем хороша, только надо не промахнуться попасть в танк, а для этого надо подпустить его на минимальное расстояние. Но как встать перед этой чугунной сатаниной?

Страх, безотчетный, первобытный страх прижимал к земле. А надо было оторваться от нее, встать хотя бы в половину роста, чтобы сделать резкий бросок, кинуть бутылку так, чтобы она шмякнулась о борт этой чудовищной машины.

Они под Ельней вначале стояли полком. Потом уже половиной его, которой вместо погибшего командира полка командовал комиссар, а потом, когда уже от полка осталось меньше трети, командование на себя взял мой отец — начальник связи полка.

Бутылки с «КС» вышли, а танки ползли. И приказа отступить не было. А значит, надо, мать ее перемать, выстоять, дожидаться подхода наших. И, собрав воедино все какие ни есть силы, бросить в последний бой. И здесь, на смоленской земле, навсегда покончить с этой гадиной.

Разве не мог мой отец вопреки всякой логике в жарком июле сорок первого года, когда мы были жестоко теснимы врагом в глубь страны, — так вот, разве не мог он не думать о близкой, неизбежной победе, надеяться на внезапный, но справедливый поворот событий, которые поставили бы все на свои места и воздали гадине должное! Конечно же, он мог думать так. И наверняка еще крепче утвердился в своей вере после тех двух июльских дней, когда словно по мановению божественного перста с неба на землю низверглась огненная лава, погребя под собой вражеские доселе чинно державшиеся порядки... Мне хочется верить, что отцу и его солдатам удалось услышать тот гневный рев «эрсов», нареченных позднее «катюшами», который донесся из-под Орши и Рудни и заставил изумиться, повернуть голову на этот непривычный, но седьмым чувством угаданный свой голос, просветлеть лицом и поверить в скорую нашу победу. Они должны были услышать этот рык, он обязан был явиться им, приготовившимся к своему смертному часу... И уже не так страшна была смерть, и уже не так страшно было встать во весь рост перед лязгающим бронированным чудовищем.

Но быть может, кому-то удалось остаться в живых, продраться, выскочить из этих цепких гудериановских клещей? Быть может, тому же Паше Ширококову, Золотому, который через плечо видел последний бой отца, его самого с выброшенной вперед рукой с наганом, с широко раскрытым, спекшимся от жары, онемевшим ртом?

Наверняка Ширококов видел все это, но не посмел рассказать мне. Хотя на каком основании я подозреваю, быть может, ни в чем не повинного человека? Лишь только на том, что у него была фотокарточка моего отца да воевали они какое-то время в самом начале войны на одном, смоленском направлении? Но это еще ни о чем не говорит! Нет, я, конечно, не имею права возводить напраслину на человека. И все же чудилось мне в давнишнем поведении Широкова что-то недоброе, зловещее по отношению к отцу. И я чувство-

вал, мне во что бы то ни стало надо повидать Широбокова, пока тот еще жив, и вытянуть из него все возможное.

Вскоре совершенно случайно я вновь оказался в своем поселке. Узнал, что Широбоков жив, и отыскал его. У калитки все такого же крепкого дома меня встретил уже глубокий старик. Глаза его слезились от старости и напряжения, с которым он всматривался в меня. Знакомого пса не было. Видимо, давно сдох. Широбоков долго и внимательно разглядывал меня. Я назвалса. И увидел, как напряглась жилистая морщинистая шея и побелели глаза.

Мы стояли какое-то время молча друг перед другом. Старик тяжело задышал.

— Неужели так ничего и не скажете об отце? — спросил я. — Вы же были там, под Ельней, и видели все это!

Старик странно хмыкнул.

— Да чего про то калякать, коли и сам все знаешь?

— Все, да не все. Иначе бы не пытал, — сказал я.

Старик отвернулся, словно бы выказывая безразличие к теме нашего разговора.

— Вы же ушли, оставив его одного. — То была моя давняя догадка, но теперь я нисколько не сомневался в достоверности ее и не боялся высказать вслух. — Вы убежали, а ему, может, вашего штыка не хватило.

— Как же, — ехидно отозвался Широбоков, — особенно против танка!

— Но вы же труса сыграли!

— Сыграл! — неожиданно вопреки моим ожиданиям согласился Широбоков и тотчас обернулся ко мне.

— Но как же так? — растерянно спросил я, совершенно сбитый с толку его откровенным признанием.

— Да так. Жить хотелось. Чего тут не понять! — отозвался Широбоков.

— И что же, вас совесть после не мучила? — спросил я.

Широбоков как-то искоса зло посмотрел на меня. Он был готов сорваться, но что-то удержало его.

— погоди минуту! — потребовал он и быстро для его лет смотался в дом и обратно. — Гляди! — Он сунул мне в руки тяжелую, издавшую металлический звон коробку из-под конфет. — Это все — после Ельни.

Я понял, что он решил показать свои награды и это для него весьма важно. Скорее машинально, нежели из любопытства я открыл коробку из-под конфет. Орден Красной Звезды, пять медалей, в том числе «За отвагу»...

— Так вот! — заметил Широбоков, забирая коробку назад.

Все верно, старик, подумал я, ты как мог искупил свою вину. Почему бы тебе не сказать всего этого раньше? Тогда мне ничего не надо было бы выдумывать своим приятелям. Рассказал бы им все, как было на самом деле. И про танки. И про бутылки с горячей смесью. И про отца. Что из того, что отец был связистом? Воевал в пехоте. Разве это как-то умаляет, принижает его судьбу?

И вот я думаю: сорок лет уже пролетело после войны. Сорок лет... Мы, казалось бы, вчерашняя послевоенная безотцовщина, сами стали отцами, а иные уже метят и в деда... Как же все-таки стремительно, безудержно это время. Думаю о его беге, какое там беге, точнее будет сказать — лете, и не верю, что ушедшие от нас без срока отцы ничего не могут слышать, видеть, наконец хоть как-то догадываться о нашем нынешнем житье-бытье. Это было бы в высшей степени жестоко, несправедливо и жестоко. Нет, они должны видеть и знать, что не зря сражались и гибли, что на огромных пустырях, оставленных войной, вновь возродилась жизнь во всей своей красе, что их дети стали людьми и тоже чего-то стоят...

Я не могу не верить в то, что в природе не существует такого часа, такой минуты, когда по какой-то незримой, неведомой, неясной пока что еще нам связи наша явь становится угадываемой ими. Вы наверняка возразите мне, скажете, что это мистика. Но я такой же материалист, как и вы! Верю, безраздельно верю в изначальность материи, в ее незыблемость, единство, постоянство. В то самое постоянство, с каким всякий раз в наш самый радостный и горький праздник на землю проливается обильный майский ливень. Вы ведь и сами не раз были свидетелями этого. Так как же и чем объясняете вы все это?

Солдатская ложка

Рассказ бывалого человека

Не мной замечено: человек с годами все больше привязывается к старым, надежным, хорошо послужившим вещам. Один дорожит ветхой табуреткой, которую давно бы пора выбросить на свалку. Другой, глядишь, не вылезает из допотопного, заношенного пиджака. Тоже чем-то дорог. Тоже что-то связано с ним.

Лично для меня такой дорогой вещью стала ложка. Обычная, вырубленная из куска алюминия и выданная мне после зачисления на довольствие расторопным старшиной вместе с таким же алюминевым котелком и всем прочим, положенным в таких случаях солдату на войне.

Выдали тогда мне и такую черную пластмассовую штучку, от которой как-то сразу нехорошо стало, как бы смертью повеяло. И то сказать. Тот черный патрончик, записочка в нем — как бы твой опознавательный знак на тот случай, если тебя прихлопнет и встанет необходимость известить твоих родных, близких в том, что тебя уже нет. Очень не понравилась мне такая постановка вопроса. Я жить хотел, а не быть убитым. Потому-то недолго думая эту недобрую черную штучку через плечо кинул, а подвернувшимся под руку ржавым, гнутым гвоздком царапнул на ручке своей ложки: И. Андреев, Ливны — место известно. Андреевых в нашем городе не так уж и много. От силы пять-шесть семей. Опять же ложка не этот черный патрончик. Она на жизнь нацеливает, на то, как врага перехитрить, пересилить.

Словом, засунул я свой подающий механизм за голенище и потопал по военной дорожке. Где мы только с ней, рднулей, не побывали! С запада на восток чуть не полстраны насквозь прошли, а потом вновь с востока на запад. Не раз меня мысль посещала: не выбить ли на ложечке моей все те места, которые остались в памяти, которые ты не только глазами, но и пальцами метр за метром ощущал, потому, как знаете, на войне не только в полный рост ходить приходится, но и частенько ползать и ничком лежать.

И лежать бы мне там, между Вяжами и Новосилем, и по сей день, кабы не ложка моя солдатская... Вы-то знаете, какие там бои, в районе Орловско-Курской дуги, в июле — августе сорок третьего гремели. Это вам, скажу, не шутки. Снаряд за снарядом. Не успеешь голову от земли поднять, как снова чуть ли не с ушами зарывайся в нее. А она, надо сказать, горячей была. И от солнца, что жгло, палило ее, и от огня. Однако не все же лежать. Надо и дело свое солдатское делать. А оно для нас в тот день заключалось в том, чтобы взять во что бы то ни стало одну небольшую высотку над Зушей. Две прежних наших атаки безуспешными были. К третьей готовились. Враг тоже умаялся. Устроил передышку. Обозники наши, воспользовавшись той минутой, обед горячий подвезли. Мы налегли на него как следует, ибо третьи сутки на сухомятке — сухарях с водой — сидели. А тут тебе щи с мясом да с кашей. Одним словом,

первое вместе со вторым. И все это, как водится, в одном котелке. Сейчас даже дивно подумать, что этак можно. Рассказываю своим внучатам, так их смех разбирает.

Да, но отобедали, выскоблил я подчистую свой котелок, облизал ложку, ладонью отер и, вместо того чтобы, как водится, за голенище ее запихнуть, в левый карман гимнастерки кладу. Чего раньше никогда не делал. Будто мне кто-то шепнул. Не успел пуговицу на кармашке застегнуть, как командир подает команду к атаке. Я за свой автомат и вслед за командиром вперед. Десятка метров не пробежал, как пуля с головы пилотку сорвала. Э, думаю, как лихо все закручивается. Бывают бои, когда все пули мимо тебя летят, будто ты заговоренный, а бывают, когда они все до единой в одного тебя, кажись, метят. Вот тот бой и был таким. Одна пуля пилотку сбила, другая из голенища клок вырвала. Это все, конечно, мелочи, когда пуля одежду тратит, но тут всегда жди подвоха. И лишь подумал я на бегу об этом, как одна слепая дура шлеп меня на полном лету в грудь. В самое сердце. Да такой сильный удар, что не только остановил, но и назад отбросил. Слышу, как липкая кровь по телу потекла, кровя гимнастерку, как сильный двоянный толчок сделало и замерло сердце. Эх, жалость какая, подумалось. И жить не жил, а вот ведь — убит. Но если убит, думаю, то должен упасть, а я стою. Стою и все вижу и слышу. Слышу, как наши во всю глотку кричат «ура» и несутся на высоту, обегая меня, словно столб, справа и слева. Так мертвый я или живой? — думаю. Запускаю руку под гимнастерку, ищу дыру в груди и не нахожу. Правда, чувствую под пальцами чуть ниже сосочка глубокую царапину. Догадываюсь: пуля в самое сердце метила, да ложка не дала, вот пуля и пошла рикошетом. Потрогал сердце. Цело. Стучит. Громко. Слышно. От радости, что остался живой...

К вечеру взяли мы ту высоту. Вытащил я из нагрудного кармана примятую пулей алюминиевую ложку и на глазах у всех, не стыдясь, поцеловал. Спасибо, спасительница! Ты пулю отвела.

До Берлина я с той ложкой дошел и домой невредимым вернулся. И помнил всегда, что жизнью своей я той ложке обязан. Потому и особое уважение к ней имел. В дорогу ли какую близкую или дальнюю — она всегда со мной. А странствовать мне в те годы, надо сказать, пришлось немало. Тут как раз целину стали поднимать. Я в числе первых добровольцев с нашего завода «Ливгидромаш» поехал. Привезли нас в Оренбургскую область, Адамовский район. Сказали: вот ваше место, тут вам и жить! Посмотрели мы кругом — голо, как во времена Адама. Даром, что ли, так район называли? Кто-то невольно вздохнул, так над ним все дружно посмеялись. Молодые, бедовые были. Все нам нипочем. Ни ветры, ни бураны. Они там, к слову, гуляют на славу. Степи вольные, бескрайние, преград никаких. И день крутит, и два, и три, а то и всю неделю. Я не мастак эти страсти описывать. У Пушкина в «Метели» хорошо это представлено, а еще лучше в «Капитанской дочке». Те места, что он называет, в той же стороне, что и наши, лежат. И вот однажды мы в такую круговерть тоже попали. Разницы никакой, хоть два века прошло. Стихия, как была она слепой, так и осталась. Героям Пушкина даже в известной мере можно и позавидовать. Они на лошадях следовали, а мы на тракторе. А на лошадь в степи в пургу да в метель куда как больше надежды. Пусты поводишь, дай принюхаться — глядишь, и к какому-либо жилому месту вывезет. Трактор же хорош, пока он едет. А случится захрясть, особенно посреди бурана, — пиши пропало. Паниковать, правда, раньше времени не стоит, но и не учитывать всей серьезности момента тоже нельзя.

На целине я жил уже третий год. Успел обзавестись друзьями-товарищами, попривыкнуть к этим местам, к большим безлесым просторам, которые поначалу наводили жуткую тоску. Степь и степь,

И вперед, и назад, и направо, и налево. Глазу не за что зацепиться. Многие не выдерживали — уезжали. Конечно, были и такие, что трудностей испугались, неустроенности житейской, но я знал и ребят-работяг, которые никогда не пикнут, как бы трудно ни было, а вот не смогли прижиться в тех краях. Как была та степь для них чужой, так чужой и осталась. Поработали самые трудные годы, долг свой честно исполнили и укатили с радостью. Разве можно их за это осуждать?

Так вот, работал я на целине. И поскольку работал на тракторе, то зимой мне нередко выпадали дальние рейсы. Наш «Степной» тогда усиленно строился, и зачастую приходилось ездить в Адамовку на железнодорожную станцию за различным материалом. А это, считай, полсотни километров в один конец! Целый день в дороге. Вскочишь часов в шесть с жесткой гостиничной койки, прогреешь трактор, сам подзаправишься как следует — и айда. Из совхоза обычно посылали на станцию несколько машин. Пару-тройку тракторов с тракторными санями. Настоящий санный поезд. В колонне идти, разумеется, веселее, особенно когда кто-то маячит впереди тебя. И за дорогу нечего опасаться, и за машину. Случись что, всегда найдется кому помочь. Куда как хуже ходить одной машиной. Тут вся надежда на самого себя, хоть вас в кабине подчас и трое крепких, здоровых мужиков. Там, на лесоскладе, где они играючись раскатывали бревна и кидали на тракторные сани подтоварник, они действительно были на своем месте. Здесь же, на тракторе, при всем желании ничем тебе помочь не смогли бы.

В тот раз я ходил на станцию один. В том смысле, что сам да двое грузчиков. Один из них, договорившись с директором, остался в райцентре по какой-то своей надобности на пару-тройку дней, до очередной оказии. Ну а мы с молодым парнишкой Иваном отправились знакомой дорогой в свой «Степной». Но знакомой она была до тех пор, пока не разыгралась метель, пока не заглотнула нас снежная буря. Так вот еду и не знаю, туда ли. Вроде в том же направлении, на восток, но сказать с уверенностью не могу. Раньше, до метели, столбы телеграфные ориентиром служили, но за Кумаком — есть в тех местах такая река, что берет начало на востоке Урало-Тобольского плато, — почти на половине нашего пути, столбы те пошли чуть правее, и мы тут же потеряли их из виду, как потеряли и прежний след, проторенный накануне гусеницами нашего «С-80» или чьими-то другими.

Но это, как говорится, полбеды. Настоящая беда пришла позже. Стал наш трактор как мертвый. Я тотчас к движку выявлять поломку. Что мог проверил — не заводится. Что хочешь с ним делай. Молчит, и все тут. Ну а метель силу набирает. Пока с движком провозился — как собака продрог. Нырнул в кабину, но и она успела настыть. Благо хоть от ветра защищает.

Смотрю, попутчик мой нахохлился, в угол забился и с надеждой на меня смотрит: мол, стронем мы трактор или нет? Посидел я малость, передохнул, всякие возможные варианты поломок прокрутил, снова в движок сунулся, но так ни до чего не докопался. Забрался в кабину и говорю Ивану: так, мол, и так, плохи наши дела. Куковать до утра придется. А там, глядишь, какая-нибудь оказия подвернется. Вижу, смотрит он с недоверием. Хоть и недавно в этих краях — прошлой осенью с новой партией целинников приехал, — но догадывается: коль так задымились поля, за ночь не утихнет.

«Выше держи голову, Ваня! — кричу я ему. — Где наша не попадала! Вот сейчас перекусим с тобой — и жизнь веселее пойдет!» Буханку хлеба пополам, шмат сала раскроил, Ивану подмигнул, мол, давай подкрепимся, а сам прикидываю, много ли у нас с собой провианта, хватит ли продержаться, если на положении осажденных окажемся. Еще пара буханок хлеба, да кусок сала, да еще кулек пря-

ников, что своей пацанве вез... Наконец, не все же этой метели мести. Рано ли, поздно — кончится. Вижу, мое настроение Ване передалось. Повеселел, приободрился парень, однако ближе к ночи снова сник. А причина известная — холод. Хоть на нас и телогрейки и штаны ватные, но железо есть железо.

Слышу, Ваня постукивать тихо зубами начал. «А ну живо разминку! — приказываю ему.— Открывай дверцу. С твоей стороны снегу меньше». Сам за ним следом выпрыгиваю. Поскакали, постучали руками, друг дружку потормошили. Но так и не поняли: то ли согрелись, то ли еще больше замерзли. Забрались снова в кабину и слушаем, как метель беснуется. «А бескунак, он когда?» — спрашивает Ваня, и я догадываюсь, почему он задал мне этот вопрос. Бойтся парнишка, как бы не случилось с нами того же, что и с пятью кунаками, которые на свадьбу к своему товарищу спешили, да так и не попали, оказались засыпанными снегом. Потому согласно той красивой и жутковатой казахской легенде и дует в степи по весне резкий холодный ветер. Дует ровно пять дней. По числу кунаков. «Бескунак,— усмехаюсь я.— Ваня, впереди, в апреле, когда земля прееет, когда мы тебя в армию собирать начнем. Вот когда!» «Ясно»,— отвечает Ваня, но рассеянно, по голосу слышу — не отпускает его тревога.

Кое-как досидели мы в своей железной коробочке до утра, трактор больше чем до половины снегом засыпало — дверцу еле-еле с Ваниной стороны открыли и, вконец иззябшие, на волю выбрались. А там, должен сказать, еще гуще наворачивает. Оно и понятно, в степи простору много — вот пурга силу и набрала. Бьет и хлещет, чуть ли не с ног валит. А что будет завтра, думаю, если к завтраму метель не утихнет? И невеселая картина мне рисуется. Вижу я наш трактор, найденный другими где-то в конце недели, и нас в нем заледенелых. Нет, не хотел бы я такой смерти. И вообще никакой бы не хотел, ибо я по натуре оптимист и охоч до жизни.

Положение пиковое. Оставаться дальше здесь нельзя, заметет окончательно, как медведя в берлоге, но и двигаться куда-то рискованно. Как все-таки быть, что делать? Покрутил мозгой так и этак и принимаю решение: идти. Пока есть силы — идти. Ну и подумаешь, что степь. Так она — живая. Это тебе не безлюдный Северный полюс, где, однако, люди тоже присутствие духа не теряли. И как могли боролись за жизнь. «Пошли»,— говорю своему попутчику. «Куда?» — спрашивает он. «Домой»,— отвечаю ему без тени сомнения, будто и впрямь знаю, в какой стороне наш с ним дом. Сдается мне, что все-таки не успели мы сбиться. Крутит, разумеется, со всех сторон, и все-таки основная ударная сила ветра приходится с левого бока. Это и нужно держать в голове, хотя, конечно, ветер в любую минуту может поменять направление. Да что там гадать-рядить. Всяко может быть. Может, он возьмет да и совсем стихнет. В это, правда, верилось меньше всего. Сутками ни один буран в степи не обходится. А наш только что разгулялся. Силы в нем много. Этак тебя погоняет, нахлестывает, снежком обкидывает, дыхание рвет. Ничего, говорю себе, это ничего. Если правильно идем, то тут до центральной усадьбы нашего совхоза где-нибудь с пару десятков километров, ну, может, малость больше. Но это все равно по силам двум здоровым крепким мужикам. Надо сказать, я тогда не курил, дыхалку имел хорошую, и доведись весь день провести на ногах — усталости не чувствовал. Закалкой той армии обязан, а именно службе в пехоте. Эхма, как вспомнишь, сколько пришлось отмахать! Сотни и тысячи километров. Артиллеристы, танкисты там на своей технике катят, а мы знай себе правой-левой шаг отбиваем. «Эй, пехтура,— задирают те, что на колесах,— цепляйся!» Однако кричат незлобно, знают свою зависимость от нас. Сколько раз из снега, грязи выдергивали.

Словом, ходо́к я был ненлохой. И мог на себя надеяться. Ну а Ване солдатскую выучку еще надлежало пройти. И потому мне приходилось щадить парня, то и дело оглядываться — как он там? Часа полтора примерно топаем, минут пять — десять передышка. Больше нельзя, чтобы не остынуть, да больше и не прстоишь — ни прислониться, ни привалиться. Постоим чуток и дальше, заслоня лицо варежкой. А она уже вся ледяная, вся коркой покрылась, как и фуфайка и штаны ватные. Не успеешь содрать, стрясти, как вновь с головы до ног весь обрастаешь этой ледяной чешуей.

Вначале через полтора часа передышку устраивали, потом привалы пришлось участить. Стекло на часах от холода замутнело, стрелки плохо видно, но все-таки вижу, что на семи они застыли. Выходит, маемся в степи без малого двенадцать часов. Немало. А сколько еще предстоит? Вижу, напарник мой совсем сник. «Не могу, — признается, — дай хоть на минутку присесть!» «Еще чего, — говорю, — а ну живо вперед!» В подобных случаях не уговоры нужны, а приказы. Они лучше всего действуют. А он все одно тянет: «Устал. Не могу». «Раз не можешь — держи!» Скинул свой солдатский ремень, на руке у него захлестнул и за собой потащил. Вначале Ваня послушно шел, а потом, гляжу, тормозит. «Ты чего это?» — кричу ему. А он: «Сил больше нет никаких» — и руки как плети вниз уронил. Того и гляди в снег головой торкнется.

Подошел я, встряхнул его, прислонил к себе, чтобы он маленько передохнул. «Ты что же это, — говорю, — Ванек, меня подводишь?» А он чуть ли не в слезы: «Бросьте меня тут, прошу...» А я его давай трясти за плечи. «За кого же, — говорю, — ты меня принимаешь? Тебя брошу, а сам пойду. Так, что ли?» Он согласен кивает и шепчет мне: «Вам же легче будет. Силы сэкономите... А то обоим тут остаться придется. Я чую это...» «А я другое чую, — кричу ему в ответ, — что идти нам к дому надо! Ведь это совсем теперь близко!» «Нет, — мотает головой Иван, — не дойдем». «А тут я могу с тобой, Ваня, поспорить на что хочешь!» — кричу я ему. «Не дойдем», — лепечет он. «Сними-ка с ресниц своих наледь, — приказываю ему, — да посмотри-ка хорошенько сюда». А сам руку за пазуху и вытаскиваю из нагрудного кармана ватника свою солдатскую ложку. «Видишь?» — кричу и сую ложку в руки. «Ложка!» — удивляется Ваня. «Она самая, — подтверждаю я, — солдатская! Заговорная. От всех бед и порух. Так что, спорим?» Смотрю, Ванечка немного оживился, приободрился. Сжевали мы чуток мороженого салца с мороженым хлебцем и дальше дорогу по дымящемуся целику торить пошли. Стоило лишь вспомнить мне про ложку свою солдатскую, как и у самого надежды поприбавилось. «Уж не дай, родная споткнуться, — умолял, уговаривал, будто и впрямь наша судьба зависела теперь всецело от моей алюминиевой ложки. — Спасла тогда, — нашлетываю, — выручай и теперь. Тогда не обидно, не страшно было помирать. Тогда я что? Я один. Сам перст, как говорится. А теперь у меня их трое и вот-вот четвертый должен объявиться. Так что, как видишь, дорогая, не могу я, не имею никакого права взять вот так и за здорово живешь свалиться посреди степи. Не дойдя, быть может, самую малость до дома». Иду и вот так закливаю, заговариваю свою ложку и, в общем-то, судьбу свою.

Целую ночь мы с Ваней в степи проблукали, однако, верите ли, под самый порог дома вышли. Открыл я дверь, свалился тут же при входе на табуретку, сунул руку в карман и заплакал. От обиды. Гостинец ребятам нес. А всего один пряник остался...

Преданно и честно служила мне старая солдатская ложка. И не только один я к ней особые чувства питал, но и дети мои. У них так даже соревнование существовало — кому сегодня отцовою ложкой есть. Внуки подросли — их у меня пока что четверо: два внука, две внучки — так у них ложка нарасхват. Вы же знаете, какие нынче

детки переборчивые. И того не хочу, и этого не буду, а дедова ложка в руках — едят за милую душу, без всяких тебе уговоров.

Ну а право первоочередного пользования, ясное дело, за мной. Придут гости, жена перед каждым приборы разложит, а мне вынимает мою алюминиевую ложку. Держи-ка, мол, отец, свой подающий механизм. И тот, кто уже не раз видел мою солдатскую ложку, все равно глаз скосит, дивясь моей привязанности к этой незатейливой и даже весьма грубой на вид вещи. Не всякий же знает о том, какая у нее судьба. Иной думает: блажит мужик. Один мне так и сказал, когда я в больницу попал. Я ведь и там со своей ложкой не расставался. Может, потому, слава богу, и выкарабкался удачно.

Куда бы меня судьба ни заносила, ложка солдатская всегда со мной была. И когда в отпуск на Днепр собрался, первым делом ее прихватил. И надо же случиться такому — там, на Днепре, я потерял свою ложку... Рыбачил на лодке, неосторожно ступил, лодка перевернулась, и рюкзачок мой утонул. Ничего мне из того рюкзачка не жаль, лишь ложку одну. «Эх, тыпа-растяпа,— клял я себя,— как же ты ложку не сумел спасти!» И так скверно на душе стало, что словами, пожалуй, и не передашь. Умом понимаю, что винить себя не за что, со всяким может случиться подобное, а вот не могу отделаться от чувства, что совершил что-то недостойное, недозволенное. Чувствую, не смогу забыть про эту ложку, да и не дадут забыть. Домой вернулся, внуки в гостях. Меньший, Костик, канючит: «Не хочу есть, не буду». Мать уговаривает: «Но почему же? Ведь это вкусно». А он все одно: «Не хочу. Не буду. Дай дедову ложку». Не выдержал тут я, цыкнул на своего внука. Заелись, мол, понимаешь ли! Деликатесы им всякие подавай! Хотя никаких таких деликатесов внук не требовал, а нужна ему была всего-то старая ложка, которая не только мне дорога была, но и какой-то отдаленной памятью, через меня переданной, и в нем жила. Да...

Время идет. Мои, догадываясь о моей потере, о ложке ни слова, хотя до пропажи она нередко служила предметом разговоров. Мои молчат, но мне-то от этого не легче. Никогда не думал, что может быть со взрослым человеком такое, что может он так серьезно тужить о потерянном. Многое кое-чего я до этого терял — деньги, часы, зонт, снова деньги. Не потому, что уж таким рассеянным уродился, а потому, что всякий человек в жизни своей что-нибудь да непременно теряет, но верите ли, никогда вот так не тужил, не переживал, как из-за какой-то простенькой алюминиевой ложки, которой и цена-то гривенник. Среди ночи проснусь и первое, о чем непременно подумаю, — о ложке. И зыбится, качается она перед глазами, меняя свои очертания и даже размеры. Иногда и спасительным щитом почувдится, что до поры до времени укрывал, оберегал меня от всяческих бед. И нехорошее предчувствие на сердце падет: как бы теперь, когда я без нее оказался, как бы теперь — не случилось чего. И не столько о себе тревожусь — я что ж, я жизнь свою, считай, прожил, — сколько о детях своих: сыновьях, внуках. Верно и то, что со старостью мнительность пришла. А это, надо сказать, штука весьма пренеприятная. Да...

Года два во всяких таких неприятных предчувствиях промаялся, и потянуло меня вновь на Днепр. У нас, фронтовиков, привилегия. В отпуск идешь когда захочешь. Я выбрал июнь. Самый меньший мой внук, Костя, как раз первый класс закончил. И решил я его с собой взять, потому как увидел — в нем тоже рыбак просыпается. А потом, жизнь на свежем воздухе, костерок, самим тобой разложенный, каша, своими руками приготовленная, — что может быть здоровее и полезнее? Две наши с ним недели на Днепре как один день пролетели. Все было хорошо — и погода и рыбалка. А рыбачили мы с ним в тех же самых местах, где я в позапрошлом году свою ложку обронил. Но я о том внуку ни слова. Потерянного, как говорят,

все равно не воротишь. Так стоит лишний раз душу терзать? Тем паче, заметил, внук эту самую потерю не меньше моего переживает. Нет-нет как бы невзначай да про ложку солдатскую спросит.

Закончилась, значит, наша рыбалка. Собрали мы свою палатку, новый, купленный по случаю отпуска рюкзак. Отвезли все это на вокзал и отправились налегке побродить по городу, посмотреть на всякие достопримечательности. Городок небольшой, но глянуть есть на что: парк с вековыми липами, прекрасно сохранившийся кремль, мощные крепостные валы, огромная колокольня, знаменитая «тридцатьчетверка» посреди площади на постаменте, ну и еще кое-что любопытное из современного периода. Внуку все это интересно, особенно то, что с войной минувшей связано. Чтобы внуку уж полное удовольствие доставить, остановил я прохожего, спрашиваю: где тут у вас краеведческий музей? Прохожий нам и пояснил.

Поскольку времени у нас было достаточно, мы не спеша все залы обошли, все экспонаты осмотрели. Как и догадывался я, внуку моему больше всех был нужен зал Великой Отечественной войны. Он так и прилип к стеклу, за которым висела солдатская шинель, на крючки застегивающаяся. Спрашивает: «Деда, а деда, а ты такую носил?» «Такую же самую», — отвечаю. А в витрине той, помимо шинелишки родной, пары сапог, шапки да каски железной, стоит котелок алюминиевый да ложка латки. Увидел я ложку, да и отвернулся, чтобы не расстраиваться, а внука ложка эта, можно сказать, больше всего и заинтересовала. «Смотри, деда, — шепчет горячо, — ложка, как твоя!» «Да-да, — соглашаюсь с ним, — как моя». «И звездочка такая же, — вновь уточняет горячо внук. — И еще там, на ложке, вот что нацарапано, — поясняет за спиной внук и читает по слогам, будто букварь перед ним: — „И. Андреев. Ливны. Ты-щу девять-сот со-рок три...“» «Повтори, что ты сказал?» — кричу я ему, совершенно забыв, где мы с ним находимся. А сам руку в боковой карман. Очки шарю. Ага, вот они. Так-так. Носом к витрине. Вижу — она. Моя ложка! И запрыгали, затанцевали губы, того и гляди, как малой, разрежусь. «Негоже, солдат, — говорю себе, — совсем негоже». Перевел дыхание, а сам в беспокойстве зал оглядываю, ищу того, кто бы мне объяснил эти чудеса, а именно как моя ложка здесь, в музее, очутилась. Чувствую, это нужно сделать еще и потому, что и внук нашу ложку также признал и глядит теперь на меня как-то растерянно и недоверчиво, словно меня во лжи какой подозревая. Тут в зал и вошла молодая женщина, видимо служительница музея. «Девушка, — обращаюсь я к ней, — можно ли вас на минуту?» «Да, я слушаю вас», — тут же отзывается она и к нам подходит. «Не скажете ли, — спрашиваю ее, — как попала к вам вот эта ложка?» И дрогнувшим пальцем на витрину указываю. Ну она и поясняет: водолазы какие-то работы на дне реки вели и нашли. Выслушал я ее. Все совпадает. Все верно. Кроме одного ее предположения относительно времени попадания ложки на дно. Девушка думала, что ложка со времен войны там лежит. Ну я и сделал необходимое уточнение. Сказал, что значит та ложка для меня. И в подтверждение того, что все это так, что тот И. Андреев из Ливен — именно я, протягиваю девушке удостоверение участника войны и высказываю ей свою просьбу. Нельзя ли, мол, вернуть мне мою солдатскую ложку с тем условием, что как придет срок и ложка солдатская окажется мне не нужна... мой внук вернет ее назад. Девушка выслушала меня и говорит: «Я вас хорошо понимаю, только выдать сама вам ложку, которая числится теперь музейным экспонатом и имеет свой инвентаризационный номер, не могу. Тут требуется разрешение директора. Подождите, пойду посоветуюсь с ним».

Директор понимающим человеком оказался. Разрешил. «У нас, — говорит, — до вашей ложки другая на том месте лежала. Безвестная. Ничейная. А ваша — именная, сразу же экспозицию оживила, другой дух, если хотите, ей придала. Но если она вам так нужна, то, конеч-

но же, возьмите. Тем более что эта вещь ваша, как говорится, законная». Я поблагодарил директора и повторил свое обещание. «Ладно, ладно,— смеется тот,— как считаете нужным, так и поступайте. Полное на то ваше право».

Вышли мы на улицу. Я ложку из кармана вынул и тайком от внука и раз, и другой, и третий губами к ней приложился. «Здравствуй,— говорю,— родимая, вот ты и снова со мной...» А потом внуку: «Держи, Костя! Теперь нам и сам черт не брат!» А он — в одной руке ложка, а другой за меня крепко держится. И просит так серьезно: «Живи, деда, сколько тебе хочется. Ладно? Я не хочу твою ложку куда отвозить». Вижу, что слова мои не на шутку внука расстроили. И говорю: «Конечно, буду жить. Иначе нельзя. Дел вон сколько всяких. А я еще и половины не сделал». Говорю и уверенность в себе чувствую, как в те далекие годы, когда я свою ложечку за голенищем кирзового сапога носил и быстро и легко по земле топал.

Я и сейчас слышу тот шаг. И все благодаря немудреной солдатской ложке, которая мне словно бы молодость вернула.



ЯКОВ ХЕЛЕМСКИЙ



ВОСКРЕШАЯ ДОВОЕННЫЙ ГОД...

Воскрешаю предвоенный год,
Коридоры «Пионерской правды».
В комнату мою сейчас войдет
Добрый гость, незаменимый автор.

Слышу смех его издалека,
Крупную походку тоже знаю.
Он подростком во главе полка
Воевал, года свои скрывая.

Два десятилетия уже
Как бои гражданской отшумели,
А ему и ныне по душе
Приходить в папахе и шинели.

Вот он занял весь дверной проем,
Безоглядно мною почитаем.
— Как живется?
— Хорошо живем!
Есть набор...
— А ну-ка почитаем!

На столе рабочем у меня
Три колонки, сверстанные к сроку,
Потому что с завтрашнего дня
Чук и Гек отправятся в дорогу.

И помчит их аж до Синих гор
Повести веселое движенье.
...Влажный оттиск. Утренний набор.
Есть начало. Будет продолженье.

Автор, наклонясь над полосой,
Молча исправляет опечатки.
Ставит наверху автограф свой
И провозглашает: — Все в порядке!

Но не сводит со страницы глаз —
Миг такой и классику желанен.
Поздравляю гостя: — В добрый час!
Он в ответ: — Спасибо, к и е в л я н и н.

Мальчиком, покинув Арзамас,
Пламенем крещен в пехотной части,
Он в двадцатом в Киеве у нас
На командных курсах обучался.

И сейчас в редакции, в Москве,
Сохраняя выpravку солдата,
Мимоходом вспомнил о родстве
С городом, где рос и я когда-то.

Улыбнулся: — Ну, з е м л я к, пока.
Я, возможно, загляну и завтра.
...Как он молод — бывший комполка,
Завсегдатай «Пионерской правды»!

В обмундировании своем
Он порою выглядит сурово,
Весь напоминание о том,
Что война не за горами снова.

Что наступит страдная пора —
Взрывы, пепелища и окопы.
На знакомых берегах Днепра
Пригодится командирский опыт.

В сумку спрятав ручку и блокнот
(Не до очерков корреспонденту!),
Он опять под Киевом войдет
В гущу боя, а потом в легенду.

...Дым улегся, отпылал пожар,
И десятилетия отшумели.
Снится мне вернувшийся Гайдар,
Как всегда, в распахнутой шинели.

Память необъятная моя!
Вот он рядом. Правит корректуру.
Но уже годится в сыновья
Своему наследнику Тимуру.

ВИКТОР ЛЕСКОВ



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВЗЛЕТ

Повесть

1

Эти заботы встали перед полковником Вязничевым без предварительного уведомления. У него и в мыслях не было, что между Миловидовым и Глебовым, двумя его офицерами-руководителями, будут какие-то разногласия.

Он собрал летный состав на предполетные указания прямо на командном пункте. Есть на каждом аэродроме своя колокольня — на открытом месте высокая башня, откуда далеко видно и еще дальше слышно. Венчается башня прозрачным многогранником, как алмазной короной, под зонтиком крыши. Это и есть самое бойкое место на аэродроме — командный пункт руководителя полетов. Внутри короны просторный зал с зеленоватым свечением экранов, пульсированием электронных лучей, настольными планшетами воздушной обстановки.

Как ни светло в экранном зале, а с приходом летчиков стало еще светлее — от голубоватых, как снег в солнечный день, костюмов. На всех не хватало стульев, и кто помоложе — а у вертикальщиков все молодые, три-четыре года службы после училища, — стояли у стен с планшетами на виду.

Полковник Вязничев сидел в винтовом кресле на приступке командного пульта и по очереди предоставлял слово синоптику, дежурному штурману, начальнику связи.

Что можно, что нельзя, где, когда, при каких условиях — об этом докладывали начальники, каждый по своей службе, на летную смену.

Летчики в погонах не летают. Случись кто посторонний на КДП, ни за что не признал бы в Вязничеве полковника. Ростом невысок, в плечах узок, на лицо худ — откуда только сила в человеке?

А выглядел молодо! В свои сорок ни сединки, ни морщинки, светло-русый зачес слева направо, по-мальчишечьи без пробора. Мастер спорта! Не по шахматам или там верховой езде, где лошади бегают, а по военному пятиборью. Там все надо самому! И еще не пить, не курить, любовниц не водить.

Последнее слово на указаниях за командиром, предпоследнее — за руководителем полетов. Майор Глебов встал со своего кресла, несколько полноватый для своих тридцати двух (далеко, увы, не Вязничев), горсткой прибрал в сторону преждевременно поредевшую челку. Глебов в таком же, как и все, светлом костюме со стежками «молний» на наколенных карманах, но заметно поношенном.

— Обращаю ваше внимание! Как говорил метеоролог, у нас начинается переходный период, происходит перестройка синоптиче-

ской системы. Не попадите впросак! То дуло на сушу, теперь заворачивает на море!

Не отличался Глебов хорошо поставленным голосом, отработанной дикцией. «Метеоролог» у него звучало как «метеолоох», «синоптической» как «синотической». А речь? Ну что это такое: «говорил метеоролог», когда в армии не говорят, а докладывают. И не «заворачивает на море», а дай точные параметры ветра в градусах и метрах. Или «не попадите впросак» вместо конкретных указаний по безопасности полетов! Не доклад, а какой-то деревенский разговор.

— Для упреждения сноса своевременно возьмите поправку в курсе,— продолжал Глебов.— Над посадочной площадкой поздно думать, как бороться с боковым.

И вот тут в паузе после фразы отчетливо прозвучал негромкий вопрос командира эскадрильи майора Миловидова:

— Где такое записано?

Кто знаком с авиацией, тот сразу поймет, что такие вопросы, а тем более на предполетных указаниях, не возникают с бухты-баракхты. Их вынашивают не один день и если задают, то лишь в подходящий момент и не без скрытого умысла. На этот раз вопрос Миловидова рассчитан был на присутствовавшего здесь ведущего летчика-испытателя НИИ вертикальщиков Олега Григорьевича Антоенко.

Действительно, не один раз спорил Глебов с Миловидовым, как лучше заходить на посадку при боковом ветре, но так и не могли прийти к единому выводу.

Создалось некоторое замешательство, какое бывает после бестактной выходки в благородном собрании. Можно было сделать вид, что никто ничего не слышал. Но тогда, значит, признать хоть в какой-то мере правомерность вопроса. Глебов при всей его внешней мягкости был не таким человеком, чтобы сглаживать острые углы.

— Вадим Петрович,— вполоборота повернулся он к Миловидову,— не креном, а курсом! Доверните на ветер и моститесь сколько угодно.

— Иван Сергеевич! — в свою очередь проявил любезность Миловидов.— Вы можете изменить инструкцию?

Не в бровь, а в глаз! Инструкция для летчика — закон! Каждое слово, как говсрится, кровью записано. И говорится неспроста! За строкой инструкции весь опыт развития авиации, передовые идеи, талант конструкторов, искусство и жизнь испытателей — вот что такое инструкция. Никому, будь ты хоть сват министра, не дозволено произвольно толковать ее положения. А в ней черным по белому записано: упреждение в курсе и скольжение в сторону бокового ветра. То есть создать крен!

Ну и что Глебов? Летчики ждут. И Миловидов ждет. Он, командир эскадрильи, должен точно знать, как учить своих орлов.

Миловидов не в пример Глебову жилист, подтянут, аккуратен. Что-то в нем больше от Вязничева: так же собран, целеустремлен, легок на ногу. Лицом смугл, красив, в серых серьезных глазах спокойное ожидание. Он прав, он может и подождать.

Чувствуется в Миловидове армейское воспитание с суворовского училища. В крови, в натуре уважение к точности и порядку. В образе мыслей тоже. Так как же учить молодежь? По инструкциям или по самостоятельным рекомендациям? Сегодня одно скажут, завтра взбредет кому-то другое?

Надо иметь в виду, что каждое слово на КДП, каждый писк ловится микрофоном и накручивается на магнитофон. Разумеется, не для того, чтобы слушать только самого себя. Но и для прокурора: «Говорил?» — «Говорил». — «Отвечай!»

Кто осмелится заявить: «Товарищи, не летайте, как написано в инструкции!»?

Вот в этот момент полковник Вязничев и отметил про себя: обижен Миловидов! Полгода назад оба они, и Глебов и Миловидов, были командирами эскадрилий. Освободилась должность заместителя командира полка. Надо кого-то двигать. Кого? Выбрали Глебова. И вот цветочки... Цветочки потому, что через месяц идти в поход. И если у них на земле идет наперекосяк, то что же будет на корабле, в длительном плавании? Да они на первых же милях не то что по-деловому решать вопросы — смотреть друг на друга не смогут.

— Волокитное дело вносить поправки в инструкции, — сказал Глебов, обращаясь больше к летчикам. — Мы разработали рекомендации, методический совет их утвердил. Осталось дело за канцелярией.

Ни спора, ни дискуссии, ни позы изрекателя истин. Что было на самом деле, то и сказал. Как надо, так себя и повел. Вот за это и ценил его Вязничев.

Летчики все поняли. Глебов в вертикальщиках с первым поколением, давным-давно уже оседлал «мустанга», в какие только переплеты не попадал.

А что Миловидов? Год как после академии. До академии он этих самолетов вертикального взлета и посадки в глаза не видел.

Интересно бы послушать самих испытателей. Что скажут они? Антоненко со своими спецами проводил очередной этап программы, отрабатывал взлет с укороченным разбегом.

Никто его ни о чем не спрашивал, да и не мог спрашивать, но все ждали его слова. По характеру не должен от молчаться.

Антоненко сидел рядом с Глебовым — старые друзья! — высокий, худой, сильно поседевший. Не вставая со стула, в порядке личного мнения заметил:

— Мы писали инструкцию не на все случаи жизни. При слабом боковике можно и креном прикрыться. Но на вашем аэродроме с сильными завихрениями лучше не рисковать, а сразу взять упреждение курсом.

В развитии самолетов вертикального взлета последним законодателем был он, Олег Григорьевич Антоненко. Больше верилось, что не подъемные двигатели преодолевали земное притяжение, а он, заслуженный летчик-испытатель, на своих плечах поднимал новую машину в небо. А по виду скромный интеллигент с негромким, без командных интонаций голосом, предельно предупредительный в разговоре.

Последнее слово на указаниях за командиром. Вязничев много распространяться не стал:

— Утверждаю указания руководителя!

И точка. С таким не поспоришь: глянет — и растрепа подбирает живот. Не зря кто-то из испытателей не без иронии назвал Вязничева коротко: солдатский штык! Да, не то что Антоненко.

— Вопросы есть? — А острый взгляд на Миловидова.

— Никак нет, — отвалился тот от прозрачной, витринного стекла стены.

— По самолетам!

Указания закончились, а разговор нет.

— Вадим, послушай меня! — придержал Глебов Миловидова, не забывая о недавних добрых отношениях. — Будешь прикрываться креном — скрутишься в один момент, выкинет на лямки.

Да, катапульта срабатывает автоматически. Только начнет валить машину, система фиксаторов пеленает летчика — и... он с парашютом в одну сторону, самолет в другую. Разбираются уже на земле. Есть вина летчика — потерю самолета не прощают. Слишком

дорога техника. Переводят туда, где попроще. Была судьба счастливой, а теперь уж как получится.

Об этом и предупреждал Глебов.

— Со мною такого не случится! — сказал Миловидов. А в глазах прямой вызов.

Глебов, улыбаясь, не отступил:

— Есть одно спасение при срыве: двигатели на максимум и на второй круг!

— Спасибо! — Миловидов загромыхал каблуками летных ботинок по деревянным ступеням лестницы, как по пустым коробам, вниз.

— Может, вернуть? — осторожно предложил кто-то за спиной Вязничева. В таком состоянии лучше не идти на полеты. Тем более командиру эскадрильи.

И у Вязничева первый порыв — вернуть, пока не натворил беды.

— Не надо возвращать, командир, — сказал замполит подполковник Рагозин. — Плохая примета. — И, улыбнувшись, по очереди обвел взглядом всех, кто был на КДП. Вроде бы сразу всем улыбнулся.

Рагозин походил на охотника, скрадывающего дичь. Он все знает наперед и очень осторожен. Идет — травинка не шелохнется. Никакой суеты, шараханий в сторону: продуманный маневр, выверенный шаг и точный выстрел.

Роста он выше среднего, но худоплеч и длинноног. Посмотришь на него, и кажется — все время улыбается: здоровый румянец, веселая синь в глазах, приветливость в лице. Этот, подумаешь, всегда будет за тебя.

— Все проблемы, командир, после полетов!

Вовремя сказал свое слово замполит. Вязничев тоже подумал, что ни к чему сейчас выяснение отношений, тем более при Антоенко.

— Хорошо, пусть летит, — разрешил он.

В конце концов, морально-психологическое состояние летчика перед полетом — это по части замполита. Если Рагозин за полет, значит, так тому и быть.

2

Как бы ни говорили молодому летчику, что он родной брат Икару, до каких бы небес ни возносили, а наступает день и час, когда надо решить простой вопрос: выпускать в небо самостоятельно или нет? Сломает самолет — инструктора по шапке, погибнет сам — виновника под суд! Есть в человеке изъян — неминуемо, неотвратимо скажется на полетах.

От КДП к летному полю вела вниз по сопке длинная, с пятью переходными площадками лестница. По сторонам вдоль всей ее длины сверкали серебрянкой трубчатые перила. Внизу, у последней ступеньки, стоял автобус с дверцами нараспах. Миловидов одной ногой стоял уже в автобусе. Вязничев спускался следом.

— Вадим Петрович! Поехали со мной! — крикнул он Миловидову.

Миловидов поглядел через плечо с явным сомнением: приказывает, предлагает?

— Переходи в мою машину! — повторил Вязничев с заметным напряжением в голосе. Значит, не просто командирская любезность.

Едва захлопнулась за Миловидовым брезентово-железная дверца «газика», машина сразу пошла вразгон. Они выехали на рулежную полосу. Белые пунктиры осевой линии, словно дождевые капли, срывались с верхнего обреза ветрового стекла к нижнему.

— Меня озадачил твой вопрос на предполетных указаниях,— не оборачиваясь сказал Вязничев.

— Товарищ полковник,— обиделся Миловидов,— ну что за двусмысленные толкования инструкции! Читай одно, а в голове держи другое. Я за четкость и ясность!

Вся служба у Миловидова шла на волне успеха, нигде ни сучка ни задоринки. С первого захода поступил в академию, окончил ее с отличием и сразу стал комэска. Кто для него Глебов, недавний комэска без академического образования? Доморощенный самоучка, благодушный, мягкотелый, и не ему бы стать заместителем командира полка, а Миловидову.

Над людьми, над их отношениями, думал Вязничев, стоит само дело. От этой печки надо и плясать.

— Хоть один самолет в мировой авиации приживался в небе с первого исполнения? — спросил он.

— Не знаю,— сказал Миловидов.

— А я знаю. Сколько самолет летает, столько и ведутся доработки. Естественно, вносятся изменения, поправки в инструкцию. Что здесь неясного?

Впереди показалась групповая стоянка, а на ней, как в парадном строю, готовые к немедленному вылету самолеты.

По-хорошему, сейчас бы напрямик катить к морю, присесть на выброшенный штормом, отполированный, как слоновая кость, кряж и завести под теплым солнышком неторопливый разговор. Почему бы и не посидеть? До вылета еще сорок минут.

— Держи прямо,— сказал Вязничев шоферу.— На залив.

— Командир, я в первом залете...— засобирался на заднем сиденье Миловидов.

— И я в первом,— коротко взглянул на него Вязничев.— Успеем. Перед вылетом полезно дать глазу простор.

Аэродром лежал у моря. Взлетно-посадочная полоса тянулась вдоль горной гряды. Гряда эта, вроде глухой стены замка, внешним полукольцом выпирала в залив, а бетонка пересекала внутренний двор от одного крепостного рва до другого. Взлетали на море и садились с моря, никогда не забывая, что по обеим сторонам полосы возвышаются ярус за ярусом сопки.

Посмотреть на аэродром сверху, так взлетная полоса как по ученической линейке отторгала от материка небольшой полуостров, соединяя северный залив с южным.

Вот эта выступавшая в море боковина и создавала неожиданные и непредсказуемые помехи полетам внезапными изменениями ветра по силе и направлению. Или, как говорил синоптик, ломкой ветра.

В прибрежных районах, как известно, климат муссонный. Зимой ветры свистели над полосой с материка на море, летом с моря на материк, а в переходный период как попало. Точно заигравшиеся котята, гоняли потоки вокруг сопки туда и обратно, не считаясь с прогнозами озабоченного синоптика. «На сей раз ничего не могу поделаться!» — только разводил он сокрушенно руками, как будто в другой раз что-то значил в произволах небесной канцелярии.

С утра на берегу было пока тихо. Небо и море сходились под углом двумя зеркально-голубыми плоскостями по четкой линии горизонта. Над изломами сопки поднималось солнце — как вылучивалось из распада стекла шариком, раскаленным до прозрачно-малинового свечения.

— Миловидов, мы идем первыми!

Вязничева можно было понимать и буквально. Похоже, до них сегодня еще никто не успел побывать на берегу. По урезу моря, по дуге вдоль песчаной косы, расположилась колония белых, розовевших на солнце чаек. Часть из них зашла в мелководье. Но все пти-

цы стояли неподвижно, будто дремали, греясь в первых лучах солнца. При появлении людей ближние чайки взлетели на море, пунктиря лапами по воде, дальние, осторожно вскинув головы, по-у-синому отходили дальше берегом.

— Самолеты вертикальных взлетов и посадок,— сказал Вязничев,— начинают еще не летать, а подлетывать. Испытатели закончили первый, исследовательский этап, мы продолжаем его проверкой жизнью. Никто не лишает нас права делать свои выводы и давать практические рекомендации. Я не против споров и дискуссий. Но не на предполетных же указаниях! — повернулся он к Миловидову. — Пожалуйста, решай спорные вопросы в рабочем порядке.

— Почему? А если предполетные указания даются вразрез с букварем? — Миловидов ни толики вины не брал на себя.

Летал Миловидов отлично. Этого у него не отнять. То, что другим давалось с трудом, у него получалось играючи. Плохо только, что и Миловидов это знал.

— Нам надо искать такие варианты, чтобы летали все — и молодые, и неопытные, и средних способностей. С запасом надежности.

— Согласен, командир. Но сначала надо научить правильно летать! Надо уметь правильно летать!

На этом «уметь летать» Вязничев понял, что дальше разговаривать с Миловидовым бесполезно. Не переубедить. Он знал эту болезнь молодости: так называемый синдром отличника. Живет человек и считает себя безупречным во всех отношениях. Прекрасная пора счастливых взлетов и смелых решений. Сам черт ему не брат! Он все знает, все умеет, на каждый случай собственное мнение. Попробуй кто подступись с поучениями — ни в какую не примет.

Только пережив потери и поражения, человек начинает освобождаться от заблуждений на свой счет. Да и то не всегда и не совсем.

А Миловидов пока в победителях, ничего такого не испытал.

— Хорошо, Вадим Петрович,— сказал Вязничев.— Я смотрю, разговор у нас разворачивается долгий, а времени мало. Давай продолжим его в другой раз. Согласен?

— Согласен.— Миловидов следом за Вязничевым направился к машине.

— Как обстоят дела с Махониным? — уже на ходу поинтересовался Вязничев.

— Плохо, товарищ командир. Вывозную программу выбрали полностью, а инструктор самостоятельно не выпускает.

Лейтенант Махонин летал в эскадрилье Миловидова и озадачивал всех своей техникой пилотирования: полетит на обычном истребителе — настоящий боевой летчик, просто чудеса в небе творит, пересядет на вертикальный — как подменяют человека, на площадку попасть не может.

— Он сегодня летает?

— Нет, в наряде.

— Сколько уже не летает?

— С прошлой недели.

— Так он у вас летчик или офицер для нарядов?

— Пока думаем, что делать. Потом доложим решение,— вполне резонно ответил Миловидов.

— Вам и думать нечего! Для этого существует методический совет. Завтра же подготовить документы на заседание!

— Будет сделано, командир!

Вязничев замолчал, скрывая досаду. За двадцать лет в авиации у него выработалось чутье на несчастье. Раз пронесет, другой, десятый, а на двадцатом не минует. Где-нибудь, когда-нибудь, но ку-

пится Миловидов на своей гордыне. Что он, командир, в данной ситуации может предпринять? Отстранить от полетов? Но тогда на каком основании? Найти повод, но это просто непорядочно...

3

Предупреждения синоптика Миловидов не оставил без внимания. В самолет он садился предельно собранным, настроенным на четкие и решительные действия в любой ситуации, не исключая и аварийной.

— Ноль тридцать пять, прошу запуск!

В эфире кажущаяся неразбериха голосов: кто запрашивает взлет, кто отход от аэродрома, кто заход на посадку. И все-таки Глебов не пропустил этот позывной, остановился в плановой таблице на фамилии Миловидова: в свое время вышел на связь. В свое!

— Запуск!

И с этого момента Миловидов для Глебова стал меченым атомом, ни на минуту не выпускал он его из поля зрения: смотрел, как Миловидов подрулил к предварительному старту, как занял исполнительный.

— Ноль тридцать пять, прошу взлет!

— Встречно-боковой слева под шестьдесят, порывы до восьми! Взлет разрешаю!

А сам Глебов из-за командного пульта тянул шею, чтобы лучше видеть, как взлетает Миловидов. Ударили в стороны из-под фюзеляжа сизые клубы дыма, низовой грохот всплеском волны докатился до КДП. При взлете по вертикали физически ощущается противоборство машины с силами земного притяжения. Самолет — само напряжение всех тщательно сбалансированных сил — чуть приподнимается, будто зависает над площадкой. С виду так совсем неказистая машина. Не то кузнечик, не то зеленый в голубом чепраке конек-горбунок с острой лобастой головой дельфина. Смотреть особенно не на что, но грохоту на всю вселенную. Кажется, самолет только и держится на этих буйствующих, рвущихся в стороны, но спрессованных в единую твердь вихрях. Дрожат, бьются под фюзеляжем прозрачной плазмой столбы раскаленного воздуха, и небесный свод словно раскалывается с металлическим звоном от зенита до горизонта. Обычный бетон не выдерживает, разлетается под струями подъемных двигателей, как тесто. Поэтому и бронируют площадки листовой сталью. Смотришь на взлетающий самолет, и видно: достаточно малости, ничтожного рассогласования в технике — и рухнет подъемная сила. Но нет, плавно отдаляясь от площадки, самолет словно попадает в восходящие потоки воздуха, подхватывается вверх. Поднялся выше линии горизонта, выше зеленеющих по сопкам кущ, блеснул на солнце глянец голубых крыльев и перешел в разгон скорости.

Взлетел Миловидов. Но взлететь нехитрое дело. Как садиться будет.

Все шло спокойно у него до выхода на посадочный курс. Впереди в лобовом стекле уже просматривалась серым крестьянским рядном посадочная полоса. Шелковым шнурком выделялся по центру пунктир осевой линии. Внизу остывающее и полинявшее к осени море. Измятины зыби на нем, точно забоины на листовом цинке.

— ЭСКЭМ включен, ПД на запуск! — доложил Миловидов о включении автоматики системы катапультирования.

Она срабатывала при изменении положения самолета сверх допустимых пределов. Но чтобы не выбросило летчика в воздухе при выполнении боевых маневров, ее после взлета выключают. А перед посадкой на случай непредвиденного срыва включают снова. Стои-

ло Миловидову отвлечь на несколько мгновений внимание, как полюсу будто взяли за дальний конец и потащили в сторону.

— Слева под семьдесят, порывы до шести! — передал руководитель полетов.

Миловидов и сам видел: хорошо несет! Первым звонком стал для него выход на береговую черту. Там всегда вроде порожка со сдвигом потоков. Машину ни с того ни с сего потянуло вправо, как на раскатанном ухабе. Миловидов тонким и быстрым движением перехватил скольжение, придержал левой педалью, вернул машину в управляемый полет. «Ничего себе забросы! Так действительно может выкинуть на лямки после случайного порыва ветра».

И чтобы такого не произошло, он без колебаний собственноручно выключил систему автоматического срабатывания катапульты.

Самолет шел над посадочной полосой и словно вливался в поле зрения — острием иглы, полушаром остекления кабины, короткими, смещенными назад крыльшками. Турбинный гром стеной валился за самолетом, раскатываясь по земле. С КДП было видно, как техники, обхватив головы, присели спиной к полосе, ожидая, когда пройдет пик волны.

Глебов не спускал глаз с самолета. Видно было, как Миловидов то прибавит крен, то уберет, явно побаиваясь, как бы не передать лишнего. Все-таки на своем ставил!

Мы привыкли видеть самолет на скорости: мелькнет перед глазами — и уже его нет. А при посадке по вертикали он идет над полосой, как при замедленной видеозаписи. Кажется, пешком обогнать можно. И весь в прямом обзоре, как на ладони.

Шел Миловидов, чуть приспустив левое крыло.

— Убери крен! — предупредил его Глебов, но летчики всегда болезненно относятся к подсказкам с земли. А здесь еще дело принципа. Этот полет был продолжением их спора.

— Понял, вас понял! — А сам и пальцем не пошевелил: как шел с креном, так и продолжал идти. Он демонстрировал высший класс техники пилотирования, он показывал, как самолет может летать.

Мелко дрожал пол на КДП, всюю дребезжали стекла. Один сплошной грохот и в экранном зале. Скажи рядом кому слово — не услышит.

В сквозном просмотре под самолетом дрожали в горячих струях линия горизонта, очертания сопок.

Несколько на отлете от фюзеляжа столбы спрессованного подъемными двигателями воздуха загибались встречным потоком, вытягивались в серый, с размытыми краями след самолета. На небе оставалась точно желтовато-пыльная борозда с неровным рваным отвалом.

Растопыренной треногой шасси, надломленной вниз острой кабиной, ярко-зеленым подбрюшьем, короткими крыльшками-плавниками самолет напоминал морского дракона, поднявшегося из темной пучины на поиск добычи.

Медленно, будто причаливая к невидимой мачте, самолет приближался к посадочной площадке. По мере уменьшения скорости нос его поднимался вверх, а хвост, напротив, приспускался вниз, словно осаживали на тугих поводьях горячего коня.

Машина нависла над опаленным, в цветах побежалости посадочным кругом. Тугие струи подъемников уже не ложились в дымный след, а растекались в круговую крону перевернутого дерева.

Метр за метром, осторожно теряя высоту, машина приспустилась к точке приземления, коснулась площадки, чуть приподнявшись на сработавших амортизаторах. И как одним поворотом ключа выключили грохоталку. Машина, на ходу складывая одно за дру-

гим крылышки в вертикальное положение, отруливала в сторону технической позиции для подготовки к повторному вылету.

Сел Миловидов! Что бы ему там ни говорили, как ни стращали, а он как хотел, так и слетал! Кто ему указчик и кто судья?! Сам себе и царь и бог.

И на КДП он как на крыльях взлетел. В облегающем, со шнуровой по бокам костюме, под мышкой белый защитный шлем с зеленоватым забралом светофильтра. Темные волосы разметались в стороны. Как ни старался Миловидов быть сдержанным, но разве скрыть или погасить в глазах искрящуюся радость!

— Молодец! Хорошо сел! — первым встретил Миловидова на командном пункте подполковник Рагозин.

Во время полетов от звонка до звонка замполит находился на аэродроме. Где случался затор, он спешил туда. А если смена проходила спокойно, любимым местом Рагозина было кресло рядом с руководителем полетов. Особенно когда полетами руководил Глебов. У него все можно спросить, все уточнить.

— Да, на посадочном хорошо сносит! — с легкой душой поделился Миловидов. И как не было никаких разногласий и разящего наповал вопроса на предполетных указаниях. — При подходе к береговой черте так мотает, что дух захватывает.

Глебов ничего не сказал: слетал, и ладно. А если подумать лучше, то не тому радуется Миловидов. Не на том пути он стоит. Этот успех его вроде приманки, чтобы подловить на большем. Поэтому Глебов и сдержан:

— С утра сегодня сравнительно спокойно. Без забросов, но к середине дня ветер усиливается.

Нет, не собеседник на этот час Глебов.

— Зина! Какие клипсы! — Миловидов отошел к планшетистке. Вскоре после Миловидова поднялся на КДП и Вязничев:

— Слетал?

— Шесть шарей! — весело отозвался Миловидов.

— Хорошо!

— Присутствие Вязничева, конечно же, сковывало Миловидова, не позволяло целиком отдаться празднику души. Постоял немного за спиной Глебова, посмотрел, как садятся его летчики, да и сам засобирился:

— Разрешите, товарищ полковник, убыть на подготовку к повторному вылету?

Вязничев не оборачиваясь кивнул: иди.

На втором вылете и сорвался Миловидов. Разве могло иметь какую-либо силу предупреждение Глебова об усилении ветра?! Конечно же, нет! Что Глебову тут, на земле, видно?!

Как и в первом полете, Миловидов только вышел на посадочную прямую — и сразу же выключил автоматику катапультирования.

Он благополучно миновал береговую черту, вышел на прямой, крупным планом обзор с КДП. Машину как на невидимой ниточке подвели во взвешенном состоянии к коврику посадочной площадки — одно крыло ниже другого. И тут как подтолкнуло уже приподнятое крыло. Еще выше.

Дальнейшее произошло в одну секунду. Машина кленовым листом скользнула влево и затем маятником — из одного крена в другой — на правое, зигзаг за зигзагом теряя высоту.

— Обороты! — одно только успел крикнуть в микрофон Глебов.

Миловидов слышал команду руководителя полетов, но они уже ничего не меняли. Он в кабине раньше других почувствовал начало срыва. Он ждал этого момента, был готов к нему. Только повело влево, он дал ручку к правому борту и не ощутил ответного движения машины. словно враз ослабили натянутые струны управления.

«Понесло!» Голова еще не успела сообразить, а рука на рычаге двигателей уже пошла вперед. Он помнил, он всегда держал в памяти как единственный шанс на спасение предостережение Глебова: «Двигатели на максимум!»

Он до конца перевел ручку вправо, а машина со скольжением на крыло, как с ледяной горки, сыпалась влево. Перед глазами муляжным кругом качнулась земля, запрокидывался горизонт.

Одной рукой Миловидов упирался в рычаг двигателей, другой тянул ручку на себя. Вторым своим сердцем ощущал он работу двигателей. Успеют набрать максимальные обороты, или раньше самолет коснется земли?

На долю секунды Миловидов упустил начало выхода из крена, с опозданием отвел ручку от правого борта, и самолет перекинуло струйными рулями в другой крен. От реактивных столбов разметывались в стороны под самолетом клубы пыли.

В нескольких метрах от земли двигатели набрали полную мощь. Самолет прекратил снижение, перешел в набор высоты. Он поднялся в небо из грохочущего желтого облака возрожденным из пепла фениксом.

«Кажется, вынесло?» — верил и не верил Миловидов. Только после разгона скорости, только почувствовав привычную упругость потока на ручке управления, он перевел дух: «Вынесло!»

— Посадка по-самолетному! — с некоторым опозданием передал Глебов. Видно, и там, на КДП, не обошлось без замешательства.

«Только это и осталось! — с горечью принял команду Миловидов. — Не можешь по вертикали, мостись по-самолетному».

Посадку по-самолетному он выполнил по высшему классу — как спичкой по терке чиркнули колеса напротив «Т», — но было ли это утешением?

— Ноль тридцать пять, прибыть на КДП!

На стоянке выключил двигатель, открыл фонарь, а из кабины вставать не хотелось. Откинулся на спинку кресла и слушал: точно строчит высоту жаворонок. А мог бы и не слышать. Мать жалко, наверное, не перенесла бы. И сына... С трех лет в сиротстве... По чьей вине?

Не хотелось встречаться с Вязничевым. Все может сделать: и снять с должности, и понизить, и вообще убрать с вертикальных... И поделом! Всего заслужил. Но идти надо. В такой сумятице чувств и явился Миловидов на КДП. Как и ожидал, кроме Глебова, в экранном зале ждут его и Вязничев с Рагозиным. Все, значит, тоже видели.

— Товарищ полковник, по вашему приказанию... — докладывал, а слова застревали на непослушных губах.

Слушал Вязничев и дивился перемене: тот Миловидов и не тот. Разом осунулся, скулы резче выступили, на губах суховейный налет.

— Хлебнул, говоришь, через край?

— Хлебнул, — ответил Миловидов.

— Что теперь скажешь?

— Кругом виноват. Рано посчитал, что все могу.

Видел Вязничев: сильно тряхнуло! Куда девалась его петушина статья? Может, первый раз в жизни по-настоящему кинуло.

— Почему не сработала катапульта? — спросил Глебов.

— ЭСКЭМ до береговой выключил, — не стал кривить душой Миловидов.

— Так оно и есть! — Глебов взглянул на Вязничева: вопрос этот на КДП уже обсуждался. И не только этот.

— Значит, вы нарушили инструкцию по эксплуатации самолета? — очень четко вычислил вину Миловидова подполковник Рагозин.

— Нарушил.

— Значит, в одном вы ратуете за пункт инструкции, а в другом сами грубо нарушаете?

Молчал Миловидов. Нечего было на это ответить.

Вязничев смотрел на него скорее с сожалением. Мог бы он отстранить Миловидова от полетов, доложить командиру, настаивать на снятии с должности.

— Ты знаешь, чем рисковал, выключая ЭСКЭМ?

— Жизнью, товарищ полковник.

— А во имя чего?

— Из упрямства, доказать хотел Глебову... Виноват.

— Иди и готовься к методическому совету. Заодно сделай схему своей предпосылки с подробным анализом ее причин.

— Есть! — Повернулся через левое плечо и пошел с КДП.

«Методический совет? Какой методический совет? — путался он в мыслях, не решаясь остановиться и переспросить. — Неужели меня разбирать? Ах да, Махонин!..»

И уже не слышно было, чтобы громыхали каблуки летных ботинок по деревянным ступеням лестницы.

4

Нет в армии ни одного человека, который ни за что бы не отвечал. Даже за контровку на гайке и то кто-то отвечает. А с командира особый спрос. Он отвечает за главное: есть коллектив или нет! Не арифметическое сочетание штатных единиц, отделений, звеньев, эскадрилий, а воинский коллектив — боевое братство людей, спаянных единством воли и цели.

Нет коллектива — виноват только командир. Может, сам по себе он хорош и пригож, может, добр и толков, пусть даже гениален, но раз людей сплотить не может — извините, не командир.

Когда ставили Вязничева, то знали, что он с полком справится. А задачи были непростые. С одной стороны, боевая подготовка, с другой — освоение новой техники. Рядовые летчики шли, что называется, по горячим следам испытателей. Новые виды полетов, новые технические приемы, особенности эксплуатации машин передавались строевым летчикам из рук в руки.

Нельзя сказать, что у Вязничева все шло гладко. Было всякое. Но в общем счете оставалось бесспорным, что Вязничев правит полк верным курсом, что он как командир на своем месте.

В армии порядок зависит от того, как командир расставит подчиненных на служебной лестнице по их достоинствам. Вот не скажи он, Вязничев, своего твердого слова, разве стал бы Глебов его заместителем?

Назначение шло не одним днем. Не обошлось, естественно, и без окольных разговоров. В какой-то мере и они накладывали отпечаток на взаимные отношения Глебова с Миловидовым.

Офицеры из отдела кадров в вышестоящем штабе стояли за Миловидова. Как-то на командирских сборах в перерыве между докладами подошел к Вязничеву направлонец и осторожно за локоток отвел в сторону.

— Юрий Федорович, мы за кандидатуру Миловидова. Закончил с отличием академию, основательная методическая подготовка, твердые командирские навыки.

Вязничев думал, как бы помягче возразить человеку, а тот решил, что командир сомневается. И продолжал убеждать:

— Давайте посмотрим дальше. Кто из них перспективней? Сегодняшний командир эскадрильи — это завтрашний командир полка. Что у Глебова? Летное училище и девять лет командирской учебы. Он отличный летчик, но, согласитесь, характер у него не командирский. Мягковат, уступчив.

Другой на месте Вязничева счел бы самым подходящим потрафить кадровикам. Такая служба, что запятую в аттестации не там поставят — и судьба человека решится по-иному. Да, прав офицер кадров! Не мешало бы Глебову прибавить и металла в голосе, и строгости в лице, и ремень дырки на три потуже затянуть. По строевой выправке он Миловидову и в подметки не годится. Но зато службу мог тянуть, как вол. Где их взять таких, чтобы со всех сторон любоваться можно? У Вязничева в полку не было...

— У Миловидова действительно чувствуется подготовка. И четкость мысли, и решительность действий, и ясность позиций. Не последнее дело и семейная традиция.

Имелось в виду, что Миловидов воспитывался в семье военных, был представителем третьего поколения кадровых офицеров. Дед закончил службу начальником штаба танкового полка. Отец и ныне здравствовал заместителем командира дивизии. Чем Миловидов-младший не завтрашний командир полка при его абсолютно безукоризненных данных?

— Я полностью согласен с вами, — ничего не стал доказывать Вязничев. — Но пусть он хоть раз в поход сходит. Там человек весь на виду. Вдруг он даже качку не сможет переносить?

Но решающим было то, о чем Вязничев не говорил. Прежде чем иметь мнение о человеке, он старался понять, откуда тот родом, есть ли у него биография, свой след в жизни. Или куда принесло течение, тем и живет?

По себе знал Вязничев, родившийся на Волге в сорок пятом, что истоки его души начинаются под Псковом, а еще точнее, с того русского поля возле села Занькова, где 20 июля 1944 года произвел вынужденную посадку на подбитом «ИЛ-2» его отец Вязничев Федор Ильич, по мирной профессии учитель математики.

Два километра не дотянул он до линии фронта. В воздухе до самого приземления его сопровождал второй штурмовик. А потом встал в круг: наверное, надеялся прикрыть, спасти товарищей. Но из самолета никто не вышел. Может, были ранены, может, не видели шансов уйти от врага.

Немцы шли цепью к подбитому самолету. Их, подпустив на близкое расстояние, встретил огонь бортового оружия: сначала с земли, потом огнем поддержали с воздуха.

Немцы откатились, но потом развернули орудие и прямой наводкой на глаза жителей подожгли самолет. Вместе с машиной сгорели и летчики.

Раньше похоронной пришла от однополчан отца армейская газета с коротким, в два столбца, повествованием «Последний бой».

Однако не одной только памятью отцовского подвига жила душа Вязничева. И своя, самостоятельная жизнь преподносила суровые уроки. Он рос в тяжелые послевоенные годы. Кроме него, на руках матери остался еще и брат двумя годами старше. А заработок медсестры районной больницы был тогда скудным. Но она всю жизнь любила отца. И не раз говорила сыновьям: «Отец был бы тобой доволен!» — или: «Отец не похвалил бы тебя...»

Без сомнений и колебаний Вязничев после школы пошел в летное училище и очень рано понял, что в жизни может рассчитывать только на свои силы.

Поступил он только с третьего раза и вскоре понял, что попал не туда. Училище готовило летчиков для транспортной авиации. У Вязничева просто не было средств раскатывать по стране, и он пошел в то летное училище, какое было ближе к его родному Вольску.

А все перевернул показательный полет на учебном самолете второго поколения — с реактивным двигателем.

— Смотри, возникни, как пилотируют летчики! — Его инструктор был родом из истребительной авиации.

И провалилась разом вся ширь горизонта, когда самолет пошел на мертвую петлю, и закружилась мягкая зелень земли в витках нисходящей спирали, и облака, бывшие, казалось, на недостижимой высоте, волокнисто обтекли остекление кабины на выходе из боевого разворота.

— У нас полетаете, а потом всю жизнь держитесь за рога, чтобы молоко не плескалось. — Да, таков удел транспортников.

После этого полета один вид транспортных самолетов на стоянке с вислоухо неподвижными винтами производил на него удручающее впечатление.

Но очень скоро он узнал, что ни одному из курсантов не удалось перейти из транспортного училища в истребительное. Начинать сызнова? Он уже вышел из возраста кандидата, и двери всех летных училищ были для него закрыты.

Из транспортного училища Вязничев уходить не стал. Напротив, грамотно определившись, предпочел другой путь: прилежная учеба, отличная служба, безупречная техника пилотирования. Как говорится, летчик должен летать на всем, что может летать, и немного на том, что вообще не летает. Но зато после выпуска из училища не полужил на волю случая. Он твердо знал, что хочет и что надо делать. Ему предлагали королевские места службы, однако лейтенант Вязничев поехал в трудный округ, на окраину с тяжелым климатом, зато там была возможность перейти в истребительную авиацию.

Решающий разговор состоялся в штабе округа. Сперва лейтенанта не поняли, хотя он и старался быть убедительным. Вязничев вышел из кабинета, но остался в приемной. Он подождал, когда к концу рабочего дня станет меньше посетителей.

Во второй раз ему нечего было терять. Казалось, что в глубине кабинета его плохо слышат, и он старался говорить погромче. Но его все равно понимали с трудом и только из-за инертности человеческого мышления: из транспортников в истребители? нет, не было!

Скорее всего какое-то значение имела сама четкость и логика в изложении доводов. И внешний вид: держался лейтенант без напряжения, чувствовались в нем дисциплина, собранность, отличная выправка. Форма не топорщилась необношенно, как часто можно видеть на лейтенантах, он словно влит в нее. И характер уже виден: серьезен, строг, целеустремлен. Действительно, чем не летчик-истребитель?

— Вы в училище выполняли сложный пилотаж?

Выполняли, не выполняли — это обстоятельство, по сути дела, ничего не значило. Все равно в любом полку начинает лейтенант с нуля, с простых кружков. Сложный пилотаж имел лишь значение для ответа этому настойчивому лейтенанту. Другой раз простота хуже глупости.

— Нет, не выполняли, — честно ответил лейтенант.

— Ну вот...

Это стоило Вязничеву четырех потерянных лет. Его не пустили в истребительный полк, но и в транспортный не направили. Послали в учебный полк инструктором на тот самый самолетик, который перевернул его душу в училище. Четыре года учил Вязничев молодежь искусству пилотажа. И тут после долгих усилий перед ним открылась наконец возможность перейти в боевой истребительный полк. Но рядовым летчиком. Это было очередное снижение, снижение по вертикали, только уже в служебном порядке. Другой бы подумал, что приобретает, что теряет. Вязничев согласился сразу. Да, он должен был начинать все сначала, но это было началом истинно своего

пути, где не жалко положить все силы и всю жизнь. Здесь, только здесь могли быть настоящие радости и успехи.

Через год службы в боевом полку капитан Вязничев становится летчиком второго класса, еще через год — первого. Затем академия и по окончании ее просьба: отправить на Тихоокеанский флот на самолеты вертикального взлета. На этот раз к просьбе подполковника Вязничева отнеслись с пониманием.

Вязничев не взял себе в заместители Миловидова потому, что не видел за ним его линии жизни. Только счастливые наметки. А чтобы понимать другого человека, своего подчиненного, надо самому пережить не только успехи, но и поражения.

Другое дело — судьба майора Глебова.

5

Методический совет собрался в кабинете командира полка.

Вопрос один: летать лейтенанту Махонину на вертикальных или проститься с ним.

Полковник Вязничев, как командир и председатель, — за своим столом. Члены методического совета за приставным во всю длину кабинета.

Богатое наследство досталось Вязничеву от предыдущего командира: не кабинет, а настоящие апартаменты, хоть свадьбу в них гуляй. Надраенный до блеска пол, высокие, в человеческий рост панели из полированного дерева; под потолком чуть не хрустальная люстра. Одно удовольствие сидеть в таком кабинете. Но не стоять. А еще хуже — ждать за двойными дверями в предбаннике вызова.

Здесь и находился Махонин — высокий, широкой кости лейтенант — на тот случай, если у него захотят спросить что-либо.

Первое слово на методическом совете, как водится, за командиром эскадрильи, в которой летал Махонин.

Встал Миловидов — само воплощение безупречности во всех отношениях: от строгой линии пробора в аккуратной стрижке, будто только от столичного парикмахера, до складок на брюках. И начал с армейской четкостью докладывать то, что знали уже все.

Бывают невезучие лейтенанты. Как не заладится с первого дня, так и пойдет служба через пень-колоду, не только с креном, но и со снижением.

Прибыл Махонин в часть, только начал вписываться в коллектив, слетал раз-другой с инструктором — и на тебе, заболел желтухой. После госпиталя отправили в отпуск по болезни. А заодно и в очередной согласно годовому графику.

После отпусков самое бы время летать, но родной инструктор ушел в поход. Передал другому. У другого и своих летчиков достаточно, однако с Махониным несколько кружков сделал. И чем-то ему не понравился лейтенант. Передали третьему. А в авиации как? Стоит одному инструктору в чем-то усомниться, другой начинает задумываться: почему я должен быть стрелочником?

Третий инструктор добросовестно отлетал с Махониным вывозную программу, а на контроль для самостоятельного вылета начальникам не представляет. Где-то, в чем-то Махонин недотягивает. Надо бы его еще повозить. А время идет. И в один прекрасный день кто-то открывает, что одноклассники Махонина уже с корабля летают, а он только в районе аэродрома ковыряется, и то с помощью инструктора. Сколько можно еще возить? Да хотя бы знать, будет ли толк! Лимит своих учебных полетов Махонин выбрал. Добавить еще единоправно никто не может. Каждый полет не в копеечку выходит, а рублями высвистывает. Как же быть?

В таких случаях последнее слово за методическим советом.

Докладывал Миловидов, и нельзя было не заслушаться им. Что значит академическое образование, до чего высока у человека командирская культура! Никаких сбоев, неточностей, приблизительно в докладе. Развернул Миловидов на столе в метровую длину сложенный гармошкой график, рядом рабочую тетрадь на нужной странице открыл и все рассказал как было. Когда первый вылет Махонин сделал, когда последний, сколько с одним инструктором налетал, с другим, третьим, сколько всего полетов выполнил. Не просто доклад, а убедительнейшее доказательство, что в эскадрилье сделали все возможное для ввода Махонина в строй боевых летчиков. И если не получится, то в этом вина лишь самого Махонина.

Собрал Миловидов на столе график и, закрывая рабочую тетрадь в ярко-синем капроновом переплете, будто последней страницей перелистнул летную судьбу Махонина.

— По лётно-психологическим качествам считаю целесообразным перевести лейтенанта Махонина на другой тип летательных аппаратов.

Как приговор без права обжалования прозвучал вывод Миловидова. И каждого из большого совета поневоле стегануло: неужели ничего нельзя изменить? Взять и с первого шага поломать жизнь человеку?

И еще резануло слух это ученое «летательных аппаратов». Работали на самолетах, всю жизнь говорили о самолетах, а тут какие-то летательные аппараты появились в обращении. На космический корабль его, что ли?

Нельзя было не заметить некоторую надломленность самого Миловидова. В другой раз заключительное слово его звучало бы так, что аж стены звенели, а после неудачи на посадке он и в голосе упал. Понятно, не ровен час, и самому придется стоять на месте Махонина. Вязничев пока молчит, ходит, думает, и до чего он додумается — одному богу известно. Но сказал, что Миловидова пока на вертикальных не планировать. «Пусть отдохнет» — вот его слова. Попробуй пойми, что он вынашивает.

Каким бы ни был большим совет, а есть в нем два-три человека, которые и делают погоду на любых обсуждениях.

Кто-то из них возьми и скажи:

— Зачитайте, пожалуйста, характеристику из училища.

Живет же, наверное, и сейчас тот инструктор, написавший в характеристике Махонина такие слова: «Качество техники пилотирования отличное...»

Миловидов до конца дочитал лейтенантскую аттестацию, но мог и не читать. У всех осталась на памяти только первая строчка. И недоумение: как же так?! там летал, а у нас не может?

Заворочался на своем месте Глебов. Если в училище летал хорошо, а в полку не могут научить, то, значит, низкий уровень методической работы. То есть камешек в его огороде. Заместитель командира в числе прочих дел отвечает и за методическую работу. Это его хлеб. Будь Глебов порасчетливей, так ему есть полный резон поддерживать вывод Миловидова: не подходит по индивидуальным летным качествам. Излишне напряжен, может, боится, а потому скован, с опозданием переключает внимание, резко реагирует на отклонения в полете.

— Товарищ командир! Я предлагаю послушать самого Махонина! — вскинул Глебов руку.

Пригласили Махонина. Он вошел как на деревянных ногах и остановился у порога. Рыжеватый, поджарый, с мускулисто-накаченной шеей. Лицо сразу взялось бело-пунцовыми пятнами. На таких горячих и воду возить опасно. Бочку опрокинет.

Глебов спросил его напрямую:

— Махонин, ты хочешь служить в палубной авиации?

Что-то дрогнуло в лице лейтенанта, поник он взглядом. Не сразу, но ответил, хотя и не с охотой:

— Одного желания мало.

Глебов не то что вспылил, но обиделся за лейтенанта. Сказал в сердцах:

— Что ты, как на канате, балансируешь? Если хочешь — одно, не хочешь — так и скажи! Пойдешь на другие самолеты! Никто тебе зла не сделает.

Резонно: если сам человек не хочет летать на вертикальных, никто его не научит. И методика обучения здесь ни при чем.

— Хочу! — твердо ответил лейтенант.

— Вот это другое дело. — Глебов уселся на свое место.

Были Махонину и другие вопросы, были после его ухода и выстуления. Еще раз взял слово Миловидов.

С ним нельзя было не согласиться. Все его инструкторы перегружены подготовкой других молодых летчиков к предстоящему походу, Махонина завозили, и легче человека научить сначала, чем переучить, лейтенант действительно не показывает высокую технику пилотирования на самолетах вертикального взлета и посадки.

И все понимали, что командиру эскадрильи нужны сильные, подготовленные во всех условиях летчики, а не такие недоразумения, как Махонин. Да, по-своему командир эскадрильи прав.

Лишь немного Миловидов не дотянул до безоговорочного авторитета. По всем статьям он выходил в хозяева летной жизни, если бы, кроме срыва, не оказывалось против него еще одно обстоятельство. Миловидов не был инструктором на самолетах вертикального взлета. Пока сам переучивался, не мог выбирать инструкторскую программу, и с Махониным он не летал. И все, что предлагал Миловидов, хоть и говорилось своим голосом, но с чужих слов.

В числе последних взял слово Глебов. Прибрал в сторону поредешую челку, прокашлялся.

— Чего там валить с больной головы на здоровую: на нашей совести отставание Махонина. Будь на его месте любой летчик, хоть семи пядей во лбу, и все равно не мог бы научиться летать.

Пункт за пунктом перечислил Глебов все нарушения в методике летного обучения лейтенанта. Кому как не ему знать все тонкости летного мастерства?

— Предлагаю дать Махонину дополнительные полеты.

Сел Глебов, и чувствовалось: чаша весов заметно перевесила в пользу Махонина. Если Глебов берет вину на свою службу, кто станет оспаривать? Ему видней...

Окончательно судьба летчика фактически была решена выступлением Рагозина. У него были свои доводы. Посчитайте, сколько государственных денежек уже затрачено на товарища Махонина, — это раз. Неудача с ним ляжет пятном на честь всего коллектива — два. Самому Махонину будет нанесена тяжелейшая душевная травма — три. И если есть возможность, как явствует из выступления товарища Глебова, то ее надо использовать до конца.

На Глебова Рагозин мог бы и не ссылаться. И так все знали, что из всех летчиков Глебов был у замполита на первом счету.

— У меня вопрос, — почувствовав критичность момента, встал Миловидов. — Если мы оставим Махонина, кто учить будет? В моей эскадрилье его уже все инструкторы вывозили.

Да, безусловно, Махонина оставлять в эскадрилье Миловидова нельзя. Однако если передать его в другую, то как там заладится? Одна эскадрилья от другой не на необитаемых островах. В одной сделали вывод, что не умеет летать, а в другой разве не такие инструкторы?

Полковник Вязничев, до того не принимавший участия в споре, отозвался на вопрос Миловидова без раздумий. Будто давно у него уже было готово решение:

— Майор Глебов.

Тут и хмурые не удержались от улыбки. Только Глебов вроде как поник головой: еще одна забота на его шею!

— Действительно, Иван Сергеевич, много народных средств ух-лопали, посмотрите еще вы.

Глебов не стал оспаривать:

— Понял, командир! Назвался груздем...

Посмеялись и голосовать не стали.

Не столько решение командира было тому причиной, сколько сняли грех с души. Если Глебов не научит, тогда действительно и жалеть нечего.

6

В первые годы полета на новых самолетах главным было обкатать как следует машину. Техника постоянно совершенствовалась, в полетах не обходилось без сложных ситуаций. Одно дело — техника, а другое — и летчики не сразу освоили тонкости пилотирования. «На арену цирка вызывается летчик такой-то...» Один взлетает, а все смотрят. И смех и грех. Взлетает носом на север, а пока поднимается, уже смотрит на юг; то выше водокачки вынесет, то над землей стрижом косит.

И вообще земля имеет силу притяжения, самолеты — свойство падения, а человек — чувство страха.

Перед небом равны все: и опытные летчики, и совсем зеленые лейтенанты. Никто из смертных не чувствует себя в кабине самолета властелином неба. Особенно если случаются неприятности.

Это был рядовой полет на разведку погоды. Глебов любил открывать летную смену. Правда, приходилось вставать раньше других. Но это ему не в тягость. Наверное, в крови крестьянского сына тяга подняться на ранней заре. С первым шагом из подъезда сделать несколько глубоких вдохов, освежающих, как родниковая прохлада. А перед самым восходом солнца встать лицом на восток, чтобы в глазах полыхала заря, и прислушаться к земле: покой и чистота кругом, день не взбаламучен нескончаемой суетой, легка и безмятежна первая после ночного забытья песня птицы. Из-за дальних гор, голубеющих в дымке крутобокими облаками, показывается краешек солнца. И как золотым сиянием озаряется мир. Здравствуй, день входящий!

Глебов, тогда капитан, заместитель командира эскадрильи, взлетел по-самолетному. Случается такое утро, что ни ветерка, ни дуновения. Самолет разбегался по полосе, и за валом катящегося следом грома осыпалась с трав рясная роса.

И в небе спокойно. Ни сдвигов потоков, ни гвалта в эфире, ни карусели транзитных самолетов. «Как по заказу!» — не мог не подумать Глебов. Он не торопился набирать высоту. Его задача — оценить условия работы в районе полетов. Не абсолютная свобода, но свое право, не ограниченное жесткими условиями учебного задания, свободного маневрирования.

Внизу темным глянцем простиралось море. Через залив, оставляя еле заметную кипень следа, шел сейнер. Глебов вышел на него и, заваливая крестом машину, перевел ее в боевой разворот. Он смотрел вниз и видел, как отдаляется кружевной изрез береговой черты, словно земля сошла с орбиты в свободный межпланетный дрейф.

Никогда не думал Глебов, что ему придется так летать. В то время, когда его друзья задумывались, как пробыть в летчики, Глебов и не помышлял об авиации. Зачем ему какие-то самолеты,

если так хорошо на земле?! В своем селе он был парнем в почете. И школу окончил хорошо, и выедет в поле пахать — как всю жизнь за плугом ходил, и станет с косой в ряд — мужикам пятки подкашивает, и возьмет грабли — лучше женщины подгребают. Не силой берет, а азартом. Работает с шутками-прибаутками, энергии на троих. Такому не научишь, таким надо родиться.

Отец и наладил Ивана Глебова из родного села. Он увидел в сыне талант к труду. Все работают, а те, у кого любое дело в руках горит, не так часто в жизни встречаются. Отец и вынес свое решение: «Учись — человеком станешь!» Иван и так и сяк: «Что мне, здесь плохо? Я хочу дома работать». Отец на своем стоит: «Я сказал — учись!»

Был бы в округе какой-нибудь сельскохозяйственный институт, Иван Глебов точно бы направился туда. Но ведь нелепость какая: учиться на агронома или на животновода езжай из села в город, где сельским хозяйством и не пахнет.

Если не оставаться дома, то ему все равно было, куда идти. И он поступил, куда звончее: в политехнический, на факультет электроники.

Там, в городе, по любознательности и записался в аэроклуб. Лето пролетал — понравилось, второе — еще больше. Инструктор попался такой, что выжимал все соки. В зоне ни минуты на созерцание: то бочку заставляет крутить, то в штопор с виража сорвет, то на боевом развороте ручку перетянет — и готово: свалились. Но этого мало. Еще и на земле ждет с кислородной маской на манер отцовского ремня, если курсант плохо слетал. Он и определил после выпуска судьбу Глебова: «Твой талант здесь!» И как отрубил все остальные дороги в жизни.

Знал бы кто, как завидовал Глебов кадровым лейтенантам, попав из аэроклуба в боевой полк. Легкая у них дорога, неограниченная перспектива! Сами того не знают, что имеют. А на что он мог рассчитывать, если впереди такие орлы и следом подпирают не хуже? Только на свои силы! Там и начинался характер Глебова. Если летать, то только по высшему классу, нести службу — образцово, выполнить поручение — до последней точки. В боевом полку он стал коммунистом, получил первый класс, переучился на новейшую технику. Там назначили командиром звена.

Нет, не случайно после получения запроса командир полка первым вызвал к себе Глебова:

— Пойдешь летать на вертикальных?

Старшему лейтенанту Глебову и в полку было неплохо. Но душой почувствовал — это то, что ему надо: неведомое, трудное, но интересное.

— Пойду!

Таким образом и оказался Иван Сергеевич в морской авиации.

Ну а дальше пошла служба своим чередом. Осваивал новую технику Глебов легко, дали ему возможность окончить экстерном летное училище...

— Ноль двадцать два, зона три, безоблачно, видимость более десяти! — доложил Глебов из поднебесной выси. — Прошу выход на привод!

— Выход на привод разрешаю, две четыреста доложить! — дал возвращение на аэродром руководитель полетов.

Глебов перевел машину на снижение. Двигатель работал на малом газу, и его почти не было слышно. Самолет скользил к земле с шелестом потока на крыльях, играя бликами в лучах поднявшегося солнца...

Внизу многоцветная, от ярко-рубинового до нежно-желтого, палитра осени. Летал Глебов и радовался: светло-зеркальный разгорал-

ся день! Он повернул машину на посадочный курс, перешел на спокойное снижение по глиссаде. Прекрасно виден аэродром. И чем ближе, тем шире кажется распах полосы. Глебов запустил подъемные двигатели, начал рассчитывать посадку по вертикали.

Сначала он ничего не понял: перед лобовым стеклом будто разрыв осколочного снаряда. Ни отвернуть, ни изменить высоту было уже невозможно. Единственное, что успел капитан Глебов инстинктивно, на манер боксера, уклоняющегося от встречного удара,— пригнуть голову за козырек приборной доски. И тут же пулеметной очередью пришлось по обшивке самолета — от носа до хвоста — серия глухих ударов. Что такое, откуда?! Не по показаниям приборов, седьмым чувством уловил Глебов сбой в работе подъемных двигателей. Когда он поднял голову, не было перед глазами привычного горизонта, не играла лазурью высота неба, а была только надвигающаяся земля в порыжелом цвете жухлой травы.

— Остановились подъемники!

Другой в такой ситуации и слово не может произнести, а Глебов доложил точную причину. «В какую сторону начнет валять?» Земля рядом, самое время прыгать рвануть держки катапульты.

Глебов потянул ручку управления, мало надеясь, что машина выйдет из снижения. Нет, пошла за ручкой, выровнялась... Но она была без скорости, почти на критическом угле атаки и плашмя проваливалась вниз. Теперь линия горизонта ушла под самолет, а перед глазами лишь голубело чистое небо.

Глебов рывком двинул рычаг маршевого двигателя на максимальный режим и без промедления импульс за импульсом стал крутить сопло — переключать поддерживающую самолет силу снизу в горизонтальную тягу, на разгон скорости.

Дрожала вздыбленная вверх машина на пределе аэродинамических сил, остановилась возле критической отметки стрелка указателя скорости, прибор изменения высоты показывал медленное снижение самолета.

Кто бы сейчас видел Глебова! Побледневшее, искаженное напряжением лицо: глаза, кажется, не видят, уши — не слышат. Сам он — лучшая из электронных машин, улавливающая малейшие изменения в поведении самолета. Его задача не дать свалиться машине, продержаться секунду, две, три. Только потянет на крыло — срывает катапульту и выкинет из самолета.

Он чувствовал себя зависшим над пропастью, но продолжал выбирать микрон за микроном, изменяя тягу таким образом, чтобы самолет и не рухнул, без опоры реактивных столбиков, и набирал поступательную скорость.

Раньше чем стрелка указателя скорости тронулась на увеличение, Глебов по затажелению ручки управления понял, что самолет обретает силу.

— Ноль двадцать два, ухожу на повторный! — передал он руководителю полетов.

— На повторный! — эхом повторил Вязничев.

До этого он Глебову и слова не мог сказать. Не успел. То летел самолет нормально, а потом вдруг, как споткнувшийся конь, припав на колени, мотнулся головой вниз. У Вязничева и дух перехватило. Как будто ухнул по горло в прорубь: ни вдохнуть, ни выдохнуть! «Падает Глебов!» У руководителя в таких случаях одна реакция, одна команда: «Покинуть самолет!» Рука метнулась к ключу радиостанции, но не успел сказать, Глебов его опередил. Как выстрелило в эфир его скороговоркой. А через мгновение машина вздыбилась и с саднящим ревом пошла на второй круг.

Вязничев проследил взглядом за самолетом, выждал, когда войдет он в нормальный режим полета, и тогда только запросил:

— Доложите, что у вас произошло?

Глебов ответил через паузу:

— Точно не могу сказать. После выхода на береговую как осколками ударило по фюзеляжу. Произошло самовыключение подъемных.

— Повторный запуск не производить,— на всякий случай предупредил Вязничев.

— Понял, понял,— как само собой разумеющееся подтвердил Глебов.

— Маршевый в норме?

— Параметры без отклонений.

— Повнимательней! — Неизвестно, на сколько его хватит в таких условиях.

Понятно, что посадку выполнять Глебов мог только по-самолетному. А тогда это было непростым делом. На таких крылышках только за счет скорости и держался самолет. К полосе подходил как в боевой атаке — со свистом.

До самого приземления Вязничев не спускал с самолета глаз. Только когда в конце пробега скрутился жгутом, отделяясь, теперь уже не нужный тормозной парашют, Вязничев помягчел лицом.

— Ноль двадцать два, я к вам сейчас подъеду!

«Что там могло случиться?» — ломал голову Вязничев, не зная, что и предположить: какие осколки?

Он приехал на стоянку, а вокруг самолета весь технический состав толпится. Смотрит, будто технику на выставку выкатили.

Перед Вязничевым расступились. И разом разрешились все загадки: по яркой зелени фюзеляжа на входе воздухозаборников по кромке крыла кровавые сгустки со следами оперения птиц. Птицы к осени сбиваются в стаи. Какая-то и взметнулась перед самолетом. Такие случаи в авиации бывали.

— Товарищ командир, можно считать, охотничий сезон открыт,— шутили техники.

Чуть поодаль стоял капитан Глебов. И он не без интереса поглядывал со стороны на свой самолет: надо же, как разукрасило.

Вязничев подошел к нему, пожал руку.

— Как, Иван Сергеевич, разведка погоды? Видел, как тебя мотало, слова не мог сказать. А каково тебе было!

— Честно сказать, не успел испугаться,— широко улыбался Глебов.— Как горохом сыпануло. Мелкая, видно, птица. А потом знай одно: тяни!

Стоял он душа нараспашку, весь открыт, всем доступен. Что значит вернуться победителем!

Для Вязничева тогда Глебов был просто одним из заместителей командира эскадрильи. Знал, конечно, что летает давно на вертикальных, что походов у него больше всех — и не в шаге от бонных ворот, а океанских,— что по посадкам на корабль нет ему равных, и принимал все как должное. Однако, глядя на него в ту минуту, прониклся добрым чувством. Вот пишут, что летчик совершил подвиг. Отказала катапульта, и он выбрался из горящего самолета через входной люк. Конечно, ему пришлось преодолеть и сопротивление воздуха, и силы беспорядочного вращения и свободного падения. Спору нет, он проявил самообладание, мужество, силу воли — но совершил ли подвиг? Или всего лишь действовал естественный инстинкт выживания? Слово «подвиг» сродни движению вперед. Может быть одним мгновением — бросок на амбразуру. А может быть длиной в целую человеческую жизнь, восхождением к высокой цели. Глебов подвига не совершал. Ничто не мешало ему покинуть в этой ситуации самолет. И никто его ни в чем не упрекнул бы. Но самое трудное и самое важное в любом срыве — установление истинной причи-

ны. И любое недоразумение стопорило работу на неопределенно долгий срок. Вязничев не говорил, что у него было на душе к Глебову, и стоять молчать тоже неловко.

— Поехали, Иван Сергеевич, подвезу на КДП,— пригласил он его в машину.

— Командир, хотелось бы посмотреть то место перед полосой, где попал в стаю.

— Хорошо, садись.

Проехали в конец полосы и увидели в нескольких сотнях метров от посадочной площадки на некошенной примятой траве с десятков куликов, сбитых спутной струей. Они лежали вразброс, острыми крыльшками вверх.

— Собирай, Иван Сергеевич, и на жаркое! — Вязничев вышел из машины, остановился над птицами.

Глебов собирать, конечно, не стал и сказать ничего не сказал. Посмотрел молча и вернулся в машину.

Потом на разборе полетов, когда он рассказывал обо всем случившемся, его слушали с открытой симпатией. Немного неловкий в разговоре, но как толково, на инженерном уровне он объяснял поведение машины. Простой, улыбчивый, синеглазый — и совсем ничего от супермена, от человека железных нервов.

Взялся Вязничев писать ходатайство на поощрение Глебова и открыл в личном деле: отец — Глебов Сергей Егорович, механизатор колхоза «Россия», награжден орденом Ленина.

Вот это пахарь! Сын-то в отца пошел! На таких и выезжала ма-тушка Россия во всех своих бедах.

7

Лейтенант Махонин шел на полеты как на судный час. Быть или не быть? Глебов такой, что обманывать не станет.

И Глебов шел к самолету Махонина волнуясь. Да, он сделал все возможное, чтобы вытянуть лейтенанта в палубные летчики, но вдруг Махонин действительно окажется неспособным вертикальщиком?

Махонин встретил его за стоянку до своего самолета:

— Товарищ майор, к полету готов, техника исправна!

— Подход пять, полет два, общая четыре,— посчитал Глебов.— Четыре тебя устраивает?

Есть инструкторы, которые с первого шага к самолету нагоняют на летчика страх, чтобы тот лучше слетал, есть другого типа — лишь бы сели. Глебов не относился ни к тем, ни к другим. Он с летчиком заодно, вместе выполняют общую задачу.

— Все будешь делать сам. Я вмешаюсь в управление только при необходимости.— С этими словами и поднялся Глебов по стремянке в инструкторскую кабину.

Все знали, что, если полет выполнится без отклонений, Глебов может молчать до посадки. Вылезет, скажет: «Молодец!» — и пошел от самолета.

Но с Махониным, понятно, не тот случай. Лейтенант запустил двигатель и на всякий случай к инструктору с вопросом:

— Разрешите запрашивать предварительный?

— Я же тебе сказал: меня в самолете нет!

— Понял.

И все-таки после выруливания Глебов напомнил о себе. От стоянки до площадки рулить почти через весь аэродром, и было время сказать слово.

— Махонин!

— Слушаю вас,— тут же отозвался по переговорному устройству лейтенант.

— У меня было хуже, когда я пришел в боевой полк. Ты, смотри, хоть дощечки ложки — прорулил, а я и рулить не умел. Командир звена сел меня проверять. «Давай,— говорит,— выруливай». А мне инструктор тормоза ни разу не доверял, все делал сам. Я, конечно, пытался что-то изобразить, но командир звена сразу вычислил: «Ты что, рулить не умеешь?» Вместо полета по полосе покатались. Научил рулить, а потом полетели. Точно так было,— усмехнулся, не отпуская переговорной кнопки, Глебов.

Махонина интересовало свое:

— А самостоятельно выпустил? — Как говорится, мельнику ветер.

— Выпустил. Правда, лишний полет пришлось сделать. Но я тебе скажу, он мне за три полета дал больше, чем инструктор за десять. Инструктор никакой свободы не давал. Только самолет в сторону, он сам исправит ошибку и свое: «Так держи!» Но разве будешь летать, пока не научился исправлять своих ошибок? — Разговаривал Глебов как равный с равным.

— Так точно,— согласился Махонин.

— Ладно, давай повнимательней, больше я тебя отвлекать не буду.— Глебов отпустил кнопку переговоров.

Махонин начал взлет. Глебова не интересовали детали, не замечал он громов и молний, всех этих внешних эффектов отрыва самолета от земли. Ему надо было видеть человека. Не только лицо Махонина в зеркале переднего вида, а как летчика: или он пилотирует машину, или машина возит его, а он в кабине, как мышонок в кубышке.

Самолет отдалился от площадки с небольшим снижением назад. Махонин чуть резковато, но придержал машину. Подъем по вертикали он выдержал почти без отклонений. Боковым порывом ветра нос начало разворачивать в левую сторону, но лейтенант придержал педаль, вернул самолет на взлетный курс. Главное, он чувствовал подъем по вертикали как один из этапов управляемого полета, а не впадал, как случалось с другими, в состояние аффекта или, напротив, замедленных реакций.

«Взлет у него, можно считать, отработан»,— прикинул про себя Глебов.

Четко, без ошибок Махонин выполнил все действия, необходимые в цикле взлета, и ввел машину в первый разворот. На прямой ко второму развороту он вообще показал чистейший полет, но Глебов этим не мог обольщаться: держать самолет в горизонтальном положении могут все. А лейтенанты с их молодыми глазами, отличной реакцией и школярским усердием чаще всего и летают аккуратней бывалых летчиков.

Как ни присматривался Глебов, но пока не видел в Махонине никаких погрешностей. Отлично держится в воздухе. Но что же в нем другие находили? Инструкторское дело — работа тонкая. Глаз да глаз нужен. Что ни человек, то особый случай. А если не видишь, зачем тогда сидишь в кабине? Тем более у летчика, которого одни учили, а другие переучивали? Инструктор все равно что доктор: главное, увидеть болезнь и установить точный диагноз.

Глебов не торопился с выводами. Главные трудности у летчиков, как известно, при посадке. Там видны все их достоинства и недостатки.

На посадочный курс вышел Махонин строго по осевой линии полосы, своевременно начал снижение по глиссаде. Стал выпускать уже закрылки. Самолет, естественно, слегка потянуло вниз. Но на то и летчик, чтобы держать машину в заданном режиме. На ручке управления появилась тянущая нагрузка. И тут Глебов заметил, что

Махонин стал выбирать триммер, то есть сбалансировал самолет так, что на ручке управления никаких нагрузок. Сиди и пой!

Глебов мог бы и не заметить такую малость или, заметив, не придать значения. Выбирать триммер или не выбирать — это дело хозяйское, как летчику на душу ляжет. Но он, Глебов, сам так не делал. Да, есть тянущие усилия, ну и что? Подержи, примени силу! После запуска подъемных двигателей нагрузка сама снимется.

Глебов ничего такого не стал говорить, смотрит, что будет дальше. Махонин запустил подъемные двигатели, запросил посадку. Все пока спокойно, хорошо, и посадку разрешили, но уже видит Глебов, как засмыкал Махонин ручкой управления — мелкие движения вперед-назад, вправо-влево. Заменжевался парень. И было из-за чего: до площадки 0-го-го еще сколько, а самолет уже на пониженной скорости. Зато высота в полтора раза больше необходимой.

— Ты что так рано затормозил? — подал голос Глебов.

— А я не тормозил, — с полной правотой в голосе ответил лейтенант.

— Отпусти ручку, — очень спокойно сказал инструктор.

Махонин отпустил. И Глебов ее не взял.

— Ты видишь, куда самолет летит? Я тоже не держу ручку.

Самолет вроде как вспухал на восходящем потоке, переходя из снижения в набор высоты.

— Видишь, куда полез! А он должен идти по глассаде! Открывай триммер назад и сажай самолет!

Для лейтенанта это, пожалуй, была невыполнимая задача.

Что такое лишняя высота? Представьте, вы стоите на круглом столе в метре от земли, а потом вас подняли на двадцать метров. В каком случае круг стола закрывает внизу большую поверхность земли? Чем выше стоишь, тем дальше видно, но под собой остается невидимой большая зона. Так и в самолете.

Махонин отдал ручку от себя, однако с осторожностью. И как не будешь бояться, если с верхотуры не видно за обрезом кабины ни площадки, ни створа полосы! Куда снижаться, если глазу не за что зацепиться?

— Проверьте высоту! Идете выше! — забеспокоился помощник руководителя полетов на выносном командном пункте.

— Исправляем! — ответил ему Глебов.

Тут инструктор уже сам взялся за управление. Одним моментом прибрал обороты, отдал ручку, тут же вернулся назад — и вот, пожалуйста, площадка. Высокий подход для него не проблема. Но чтобы так исправлять, надо не одну сотню посадок на корабле сделать.

— Бери, досаживай! — передал Глебов управление Махонину.

Над площадкой и лейтенант чувствовал себя уверенно, выдержал снижение как по отвесу, мягко приземлил машину в центре площадки.

Однако полет в целом, надо признать, у него не получился. Первый блин, что называется, комом.

Пока рулили на предварительный старт для второго полета, Глебов много не говорил, не перечислял навалом всех ошибок летчика.

— Махонин, ты понял, в чем причина? Твой инструктор говорит, что высоко подходишь. Это следствие, а не причина. Самый кончик начинается после выпуска посадочных закрылков. Все остальное натывается, как на клубок. Не бери триммер, ты же сильный парень. Посмотри сам, как будет получаться. Ты меня слышишь?

— Слышу.

И еще слышал Махонин заинтересованность инструктора. И сам начинал верить: «Точно, оттуда у меня ошибка».

Во втором полете он получше зашел на посадку. Высоту выдержал, но скорость не усмотрел, немного превысил расчетную.

Зато в третьем полете от взлета до посадки Глебов и пальцем не дотронулся до ручки управления. Весь полет лейтенант сделал сам. Не зря же его целую вывозную программу в полку катали.

Вылез Глебов из кабины и вместо замечаний сказал другое:

— Напрасно я не нарисовал тебе в плановой таблице два самостоятельных кружка. День счастливей! Ладно, готовься в следующую смену: два контрольных и два самостоятельных. Будешь летать.

Стоял лейтенант руки по швам и краснел перед Глебовым. Он и сам уже знал, что будет летать.

8

У командира с замполитом жизнь идет по одному кругу: аэродром, полеты, штаб, личный состав. Одни у них и заботы.

Вязничев сам зашел в кабинет замполита. Как был на полетах в шевретовой куртке поверх комбинезона, так и пришел к Рагозину. Сел на предпоследний в ряду стул, рядом положил фуражку — хоть и в гостях, но все равно хозяин.

— Фу-у-у... устал! Что, Володя, будем делать с Миловидовым?

Рагозин ждал этого вопроса. И готов был к разговору. Решая судьбу командира эскадрильи, никак не обойти замполита. Но сам разговора не начинал.

— Задайте, командир, лучше два вопроса, но полегче. — Рагозин разминал сигарету за своим столом.

— Что здесь сложного? — просто спросил Вязничев.

— Я разговаривал с Антоненко, он вообще-то не склонен винить Миловидова, — осторожно начал Рагозин. — Говорит, летчик тут не виноват.

Очень точно он вычислил точку опоры для своего первого шага в защиту Миловидова.

— Как не виноват? — не ожидал такого поворота Вязничев. К мнению ведущего испытателя он не мог не прислушаться.

— Самолет попал в зону сильного теневого завихрения...

— Чего-чего? — Куда девалась усталость Вязничева. — Какие завихрения? — Он сразу отвалился от спинки стула, оживился, как после удара гонга на очередной раунд.

— Антоненко сам собирался зайти к вам, командир. Короче говоря, при сильном боковике с подветренной стороны сопки образуется вроде воздушного мешка...

Рагозин набросал оранжевым карандашом контур сопки, обозначил стрелками кольцевое движение воздушного потока.

— Вот в этой зоне, — вывел он на бумаге эллипс, — устойчивость самолета зависит от силы бокового ветра.

Оба они были отличными летчиками и не могли не согласиться: да, посадку на площадку под сопкой выполнять сложнее даже при незначительном сносе. И молодые летчики здесь чаще допускают ошибки.

— Антоненко думает внести ограничения. — Видно, хорошо поговорили, до технических тонкостей.

— Ограничения так ограничения, — не стал возражать Вязничев. — Будем летать с других площадок. Но в чем доблесть Миловидова? Выполни он указания руководителя полетов — и никаких срывов!

— Кто его знает, — не согласился Рагозин. — И с упреждением хорошо валит на крыло.

Вязничев знал историю отношений Рагозина с Миловидовым. Когда-то были натянутыми, теперь стали чуть ли не дружескими. Так что же, и службу по дружбе?

— Володя, ты хочешь оправдать Миловидова?

Вязничев был и оставался для Рагозина уважаемым командиром. При нем ушел из замполитов эскадрильи в политическую академию, к нему вернулся замполитом полка. И вообще не в характере Рагозина кривить душой.

— Юрий Федорович, я не хочу его оправдать. Но как его наказывать?

— Объявить взыскание, разобрать в партийном порядке.

До Рагозина замполитом был не летчик, а из бывших наземных специалистов. Поколение политработников-вертикальщиков еще не успело подрасти. Тот таких вопросов не задавал бы. «На парткомиссию? Понял!» — и шел провинившийся по заданной орбите.

— Юрий Федорович, нет никаких оснований привлекать Миловидова к партийной ответственности.

Вязничев принимал в расчет молодость замполита и относился к нему с командирским терпением.

— Володя, Миловидов не выполнил указания руководителя полетов — раз, самовольно выключил автоматику катапульты — два, совершил предпосылку к летному происшествию — три.

Рагозин хоть и выслушал командира внимательно, но не отступился от своего.

— Командир, не выключи он ЭСКЭМ, мы бы потеряли и машину и летчика.

Они немного помолчали. Конечно, так могло быть, но могло и не быть. Однако у них должен быть другой подход к каждому случаю.

— Володя, речь сейчас не только о Миловидове. За нами целый полк. Каждое нарушение мы должны возводить в степень всего летного состава. У нас не может быть личных отношений.

Рагозин понял его, смутился:

— Юрий Федорович, давайте разберемся без личных отношений.

Он встал, пошел включить свет. В окнах уже за вечерело. С порога, весь на виду, продолжил:

— Давайте разберемся по-партийному. Миловидов действительно нарушил пункт инструкции. Согласен. Но какие причины? Низкие моральные качества? Политическая незрелость? Профессиональная неподготовленность? Нет, здесь все нормально. За что судить? Человек отважился проверить на себе другой пункт инструкции. Проверил, чуть шею не сломал. Но вышел из сложнейшей ситуации победителем. Теперь снимать с него голову? Где логика?

Тяжело было Вязничеву соглашаться, но он и другое видел: замполит честно и искренне отстаивает свое мнение. И конечно же, это мнение подкреплено авторитетом Антоненко.

— Хорошо. Тогда ты что предлагаешь?

— Кто его знает, командир. — Рагозин направился за свой стол. — Наказать, конечно, надо, чтобы было в науку другим. Но крутить через парткомиссию, по-моему, не стоит. — И сказал дальше совсем другим тоном: — Одно дело — командир эскадрильи, а другое — его характер. Только заведи — вдрызг со всеми разругается. Много ли будет пользы?

Тут Рагозин глядел в корень.

— Может быть, ограничиться дисциплинарным взысканием?

Решающее слово Рагозин оставлял за Вязничевым:

— Если вы прикажете, мы его и на парткомиссию вызовем.

Ох и дипломат замполит: тихо, мирно обставил дело так, что Вязничеву ничего не осталось как развести руками.

— Нет, зачем же мне вмешиваться в твои дела. Я накажу Миловидова своей властью.

С тем Вязничев и ушел.

А Рагозин, оставшись один, думал о своем: само собой делается только плохое. На хорошее всегда надо усилие.

Вязничев приехал с аэродрома вместе с Антоненко. До штаба на машине, от штаба, сдав оружие и документы, пошли, минуя столовую, домой к Вязничеву.

Антоненко жил со своими испытателями в профилактории, но все равно, хоть и в картинах, а стены казенные. И еще, честно признавался он, не только уши, но и глаза устали за время командировок от мужского общества.

Они шли по аллее молодых тополей, тянувшихся шеренгами нобранцев по сторонам тротуара.

— Я что-то в последнее время не вижу на полетах Миловидова,— завел разговор Антоненко. Вопрос не вопрос, вроде высказанного недоумения.

Всех вертикальщиков до последнего лейтенанта Антоненко знал лично. И если у кого в полете случались осложнения, испытатели тут как тут: что, как, почему? Только зашла речь о Миловидове, Вязничеву показалось: как нарочно договорились с Рагозиным действовать в две руки. Ответил сдержанно:

— Миловидов у нас пока отдыхает.

— И долго ты его морить будешь?

Вязничев не то что не любил, а просто не терпел, когда кто-нибудь вмешивался в его служебные дела. «Я здесь командир полка!» — не раз и не два слышали от него и младшие и старшие начальники.

Точно так же не принимал он сочувствия к себе. Как-то заметили, что и день и другой ходит он мрачнее тучи. Здесь же вспомнили, что не так давно Лидуся с детьми уехала в отпуск — так величали в простонародье Лидию Сергеевну Вязничеву. Может, вести худые получил? Кому бы подойти и облегчить командирскую душу? Решили послать начальника штаба. Он первый заместитель, кабинеты рядом, вроде соседа... Тот и пошел. Время, конечно, улучил, когда Вязничев в кабинете был один. Постучался, спросил, как и положено, разрешения обратиться. Вязничев что-то писал, с появлением его поднял голову. «Юрий Федорович,— перешел начальник штаба на доверительный тон, подступая ближе к командирскому столу,— смотрим на вас, и как камень какой на душе...» Начальник штаба и трех шагов не успел сделать. Навстречу ему приподнялся Вязничев — кажется, и чуб одновременно встал дыбом: «Кру-у-у-гом!»

Может, и перед Антоненко вскинется? Нет, совсем другой тон:

— Олег Григорьевич! Он чуть в землю не запахался — и что же, оставить просто так?

— Ты считаешь, мало ему? — Такие вопросы мог задавать Вязничеву только Антоненко.

— Я считаю, ему надо дать должную оценку! И сделать выводы.— В голосе Вязничева определенность сложившегося мнения.

Им не дали договорить. Навстречу откуда ни возьмись вывернулся командир ОБАТО и попросил уточнить план на будущую неделю. Но почувствовалось, что вопрос остался открытым. И как бы здесь не нашла коса на камень.

Какую власть имел над Вязничевым Антоненко? Ведущего испытателя? Ничего подобного. Будь тут другой человек, Вязничев мог бы запросто сказать: «У вас программы, а у меня — боевые задачи! Пожалуйста, не мешайте работать!»

Так в чем сила Антоненко? Чтобы это понять, надо вернуться к их самой первой встрече года три назад на одном из приморских аэродромов. Тогда была пора межсезонья: холод и сырость с моря перемежались мокрым снегом.

Вязничев загадывал узнать Антоненко по словесному портрету. Знал, что худощав, темноволос, смуглолиц. И как ни исхитрялся, а

за ведущего испытателя принял разбитного, жизнерадостного, в шикарном кожаном полуреглане доработчика.

А Антоненко стоял в задних рядах шумного круга заводской бригады. Одет был скромно: простая болоньевая куртка, порыжелая, с опущенными ушами шапка. Высокий, немолодой, с удлиненным тонким лицом и грустными глазами.

Как Антоненко одевался, так же прост был и в отношениях с летчиками. Никакой академичности, чинности, должностного самомнения.

Но зато как он работал: ни дня не знал, ни ночи! Один для него существовал бог — дело! Всех вертикальщиков он считал равными на пути в неведомое. Нет ни лейтенантов, ни генералов — все рядовые. Казалось, он знал все о самолетах вертикального взлета, но умел на равных спорить с молодыми летчиками: горячился, писал формулы, рисовал графики, доказывая испытанные собой истины.

На другой день лейтенант при встрече с ним терялся: заслуженный летчик-испытатель страны, говорят, еще и полковник запаса. Поздороваться — нескромно, вроде как в знакомство набиваться, пройти молча — еще хуже. Антоненко неизменно здоровался первым, помня всех вертикальщиков по имени.

На чем они сходились с Вязничевым? Во-первых, на отношении к делу. Но было еще и личное.

Вязничеву дома всегда открывал младший сын. Где бы Егор ни был — на кухне, в большой комнате, в дальнем углу спальни, — раньше всех на звонок срывался он. Если кто оказывался ближе к двери, малыш кричал на ходу: «Я открою!» — и мчался в прихожую.

Вязничев всегда слышал его шаги: приглушенные, когда он проносился по паласу большой комнаты, и шумные перед дверью, как теперь. Радовался так, будто они не виделись по меньшей мере полгода.

— Папа! Мне сегодня скрипичный ключ задали! — выстраивалась очередная новость в его шестилетней жизни.

В садике у него началось музыкальное образование.

— Чего?

— Скрипичный ключ.

За младшим не так быстро, но появился старший сын с тихой, застенчивой улыбкой. Он рад приходу отца, однако перерос детскую непосредственность, как-никак уже восьмиклассник.

За сыновьями, как обычно, вышла в прихожую Лидия Сергеевна. Если женщине столько лет, на сколько она выглядит, значит, ей было около двадцати пяти. Среднего роста, гибкая в талии, по-спортивно-му легка походка. Красивая белолицая горянка с живым блеском черных глаз. Правда, в короткой стрижке темно-каштанового отлива пробивались отдельные штрихи посветлее — оказывается, и современным красителям не справиться с сединой, — но имеет ли это какое-нибудь значение!

— Здравствуйте, Олег Григорьевич, проходите, пожалуйста. — Голос у нее негромкий, но чистый и высокий. По образованию она была учительницей иностранных языков, вела в школе английский, но знала и французский.

Если основательность и надежность этой семье давал Вязничев, то свет и тепло являлись творением его жены.

Антоненко в семье Вязничевых оттаивал, оживлялся.

— Лидия Сергеевна, мир вашему дому!

Не нагибаясь, носком за пятку он скинул одну за другой туфли и подхватил на руки Егора.

— Ух ты! Тяжелеешь, брат!

— Проходите в большую комнату. Стол давно накрыт. Позволили к полвосьмому, а пришли в девятом, — выговорила Лидия Сергеевна.

К гостям она относилась более чем серьезно. Начинаясь паника, беготня, срочные авралы, жаренья и паренья. Надо было, чтобы квартира блистала чистотой, а стол ломился от кулинарных чудес.

Антоненко составлял исключение. Он мог заходить, как в деревне один сосед заходит к другому: если не о чем говорить, то хоть вместе покурить. Но здесь был другой случай: Антоненко хорошо знал и любил английский язык и с Лидией Сергеевной отводил душу. Словом, он был не только гостем мужа, но и желанным собеседником хозяйки.

В большую комнату он не пошел, а с малышом на руках свернул на кухню.

— Лидия Сергеевна, я хочу вам помочь. Разрешите нарезать хлеб? — спросил Антоненко по-английски.

Лидия Сергеевна сняла с вешалки ситцевый, голубого горошка детский фартук.

— Подойдет? — уточнила тоже по-английски.

— Еще как! — оглядывал себя Антоненко справа и слева.

— Почти как из кулинарного техникума, — оценила она с улыбкой.

С ней можно было говорить, можно было молча смотреть на разброс маковых родинок на тонкой шее — смотреть и не насмотреться! — все равно хорошо.

Когда сели за стол, Антоненко, окинув взглядом белую скатерть, сверкающую сервировку, высокий, из тонкого стекла графин с прозрачно-алым соком, заметил:

— Как на празднике. Кстати сказать, сегодня восьмое августа. Моему Алеше исполняется двадцать лет.

Это была грустная тема, обычно ее не касались, но такой Антоненко человек, что не помнить и не сказать о сыне не мог. Дом сына не был домом отца. Насколько легко Антоненко справлялся с самолетами, настолько тяжело складывалась его семейная жизнь. Он был женат третий раз. Что и как — никогда не говорил он худого о женщинах. А почему легко не получалось — бог знает.

Двадцатилетие сына — это и для отца дата. Казалось бы, не грех вознести стопку-другую во здравие обоих. Лидия Сергеевна знала, что Антоненко спиртного не переносит, однако не удержалась предложить:

— Олег Григорьевич, у нас рижский бальзам.

И Вязничев поддержал жену:

— Выдержать обычай, Олег Григорьевич. За здоровье Алексея? Антоненко отказался:

— Нет, Юра. Если бы все наши тосты имели силу... А он у меня и так молодец. Пишет, что начал летать на боевом самолете...

Уговаривать дальше Антоненко не имело смысла. С ним было даже так. В одном из походов, взлетая с корабля еще на первых испытательных полетах, ему пришлось катапультироваться. Без этого на испытаниях не обходится. Только пересекли обрез полетной палубы — и машина, зацепившись за леера, скovyрнула вниз, за борт. Работали на спарке, и второму летчику-испытателю повезло даже спуститься на парашюте на палубу. А Антоненко оказался в океане. И спасатели не подвели, и команда четко сработала, а все ж какое-то время пришлось Олегу Григорьевичу поплававком качаться на волнах. Надо сказать, что это случилось зимой, в январе. И не в южных широтах, а в северных. Подняли его на палубу, и тут же судовой доктор с фляжкой спирта. Набухал стакан — пейте! Первому, конечно, Антоненко. Он ни в какую. «Олег Григорьевич! Полагается стресс снять!» «Какой стресс? Я и глазом моргнуть не успел. Спасибо, не хочу. Вот разве чаю с малиной».

И у Вязничевых ужин обошелся без спиртного. Лидия Сергеев-

на за столом долго не засиделась, пошла укладывать Егора, и Антоненко засобирался.

Вязничев вышел его проводить. На улице стояла ночь, но не с той погибельной темнотой, когда глухо и хоть глаз коли, а по-приморски просветленной. Само небо от высыпающих звезд кажется с темновато-синеватым отливом, а у горизонта по всему окоему тянулась светло-голубая полоса, будто землю снизу подсвечивали прожектором.

У них был один неоконченный разговор — о Миловидове. И сейчас ничто не мешало им высказаться до конца.

— Юра, тебе не приходила такая мысль? Глядишь сверху — необъятная, на сотни километров тайга. А с земли зайдя в нее — ни одного настоящего дерева: пустолесье, лозняк, трава выше головы.

Интересно у них было. Антоненко старше Вязничева всего на два года и всегда с ним на «ты», Вязничев только на «вы».

Олег Григорьевич дальше продолжал свою мысль:

— Настоящее дерево вырастает из зерна. А то, что мы видим, — корневая поросль. Выгонит в руку и струхлявит недоростком. Вот так и у людей. Знаешь ты кого-нибудь из гениев, чтобы жили облаканными? Самое страшное для человека оказаться выше средних. Так и с твоим Миловидовым. Он у тебя талантливый парень! На моей памяти никому не удалось вывести машину из такого положения. И талант сбивает его на самостоятельность. Мне понравилось, как он задал вопрос на предполетных указаниях. Абсолютно верно!

Говорил бы такое кто-нибудь другой, Вязничев, может, только посмеялся бы: «Какой талант?» А на этот раз допускал как возможность.

— Хорошо, пусть талант. Но и амбиции не отнять. Из-за чего началась карусель? Глебова, а не его поставили заместителем!

Однако Антоненко не согласился. Более того, так задело его за что-то личное.

— Не без того. Живые люди. Одно другого не исключает. Но почему карусель? Он что, вверх колесами над стартом прошел? Почему амбиции? Он выполнял полет по инструкции.

Горячность Антоненко передалась и Вязничеву.

— Олег Григорьевич, вы же говорите: инструкция не догма. А в авиации все всю жизнь учатся. Если летчик решил, что он все знает и все умеет, — век его недолог.

— Вот и Миловидов тоже учился! — коротко, с несвойственной ему резковатостью ответил Антоненко.

Вязничев приостановился.

— Что за учеба — сломя голову? У нас не экспериментальный цех. В один голос ему говорим, как надо делать, а он делает как хочет.

Вот в этом и винил себя Миловидов при разговоре с Антоненко: «Говорили же, предупреждали, а я, как дурень, на рожон полез!» Антоненко его утешать не стал, а сказал без обиняков: «Боишься — не делай! Сделал — не бойся! Никакой твоей вины нет. Срыв на нашей, испытательской совести. Ничего тебе не будет».

И с Вязничевым он говорил то, правда другими словами:

— Юра, почему ты почитал, что он летает как хочет? Он летал, как мы написали! Он и нам показал, как нельзя летать! Благодаря ему дали рекомендации в центр об изменении пункта инструкции.

— А наши указания не в счет?

— Так и надо говорить: послушался! — продолжал Антоненко с прежним пристрастием. — Мы говорим: инициатива, творческий поиск, яркая индивидуальность! Но вот на деле человек проявил профессиональную смелость, а мы сразу его на отсидку!

— Пусть подумает, только на пользу пойдет.

— О чем думать? Человек, как и вообще жизнь, всегда во взвешенном состоянии противоречий: если уступает мужество, наступает трусость; прекращается движение — начинается застой; если не поиск, то догма. О какой нормальной жизни можно говорить?

Меньше всего ожидал Вязничев, что его когда-нибудь станут упрекать в подавлении инициативных летчиков.

Антоненко можно понять: он не только летчик, но и исследователь. У него свой взгляд, свои пределы свободы действий. А у командира свои.

— Индивидуальность, но не индивидуализм! — возразил Вязничев. — Мы люди военные. Не карьера, а служба. Как говорится, щит родины. От каждого из нас требуется, чтобы в любой момент встать и принять на себя удар! Встать насмерть! А если он думает о карьере, о том, как лучше устроить свое благополучие, легче жить, разве он встанет насмерть? Нет, это не броня, а глина.

— Юра, у тебя есть основания так думать о Миловидове?

— Оснований нет, но есть сомнения: ему приказ, а он станет думать...

— Дорогой товарищ полковник! И ты прекрасно знаешь, сколько из-за сомнений в людях и под эту марку — не за вину, а по подозрению вины — оттесняли честных и порядочных людей за борт жизни. Только за то, что они немного не так думали, потому что видели чуть дальше.

— Олег Григорьевич, мы, кажется, перешли на обобщения.

— Да, Юра, без них не обойтись. Вернемся к Миловидову. Когда вы там затеете с ним разбирательство, не забудьте пригласить меня. Я дам ему характеристику: молодой, перспективный, отлично летает, в сложной обстановке действует смело и решительно, строго соблюдает требования инструкции по пилотированию самолета. Слушай, Юра! — как осенило вдруг Антоненко. — А зачем вам разбираться? Давай мы возьмем к себе Миловидова!

Вязничев не так скор был на ответственные решения: этого отдать — а кого пришлют?

— Пока повременим, — после некоторого раздумья ответил он.

Этим разговором и был решен в принципе вопрос с Миловидовым.

10

После перерыва в полетах вертикальщики восстанавливали технику пилотирования сначала на обычных истребителях наземного базирования — были и такие самолеты в их полку.

Контрольный полет Миловидову дал сам Вязничев.

В первые секунды отхода от земли, в тот момент, когда прямая разбега истребителя как бы переламывается и самолет будто опирается на кончик оранжево бьющего конуса пламени, круто нацеливается в небо, полковник Вязничев услышал удар в правую стойку шасси. Будь это не спрессованные в скорость и мощь секунды взлета, а, скажем, горизонтальный полет, полковник Вязничев и в своей кабине инструктора, конечно бы, уточнил у летчика, что это был за удар. Но сейчас не до уточнений, а взгляд на приборы: техника безотказно работала! Самолет уверенно и броско врывается в голубую высь, и впереди, словно раскатываясь ковром, отдалялась четкая линия горизонта. На этой прекрасной, надежной, проверенной годами работы машине все системы работали всегда на отлично. Но полковник Вязничев уже не мог не думать об этом ударе. Что могло быть: выстреленный из-под переднего колеса дикарь щебенки? скол бетона от плиты? или птица? Скорее всего крупная птица из прибрежной фауны...

Но самолет пока шел без отклонений от нормы. И доклад Миловидова прозвучал без тени тревоги, звонко и понятно:

— На первом, убрал, выключил, нейтрально!

Но только минуло две-три секунды после того, как началась уборка шасси, самолет резко начало заваливать в правый крен. В первый момент Вязничев решил, что это Миловидов так отчаянно крутанул машину.

— Ты куда? — перехватил он ручку управления.

— Сама затягивает!

— Отпусти ручку!

И точно, теперь Вязничев почувствовал по разом возросшей нагрузке всю силу кренящего момента. С трудом им удалось вернуть машину в прямолинейный полет.

— Докладывай руководителю!

Это первая заповедь в авиации: что ни случается в воздухе, сразу информация на землю. Чтобы не осталось неизвестным непредвиденное развитие кризисной ситуации. А сам Вязничев без раздумий перевел кран шасси на выпуск.

— Самолет кренит вправо!

Этот доклад резанул слух в привычной разноголосице радиообмена. Эфир сразу умолк, как умолкает птичий гомон при близком выстреле.

А на голубом колере высоты еще не успел развеяться пунктир форсажного следа. Теперь вели радиообмен только двое.

— Самолет удастся удержать? — Это четкий вопрос майора Глебова. За ним угадывалась в готовности взведенного курка решительная команда на покидание самолета.

— Удастся! — И будто срезало наполовину неожиданный выброс высокого напряжения.

Больше руководитель полетов ничего уточнять не стал. Там, в кабине истребителя, кроме Миловидова, Вязничев. Что надо, он скажет сам.

Его узнали бы и без позывного по замедленной манере разговора. Как только у Вязничева затруднительное положение, будь то на земле или в воздухе, он начинал тянуть слова.

— Кренение возникло во время уборки шасси...

На первый взгляд специалиста все просто: левое колесо убралось быстрее правого. Или правое застряло в промежуточном положении. Такое бывает. Но что говорит дальше инструктор:

— В выпущенном положении три зеленых горят, а кренящий момент усилился. Повторные циклы ничего не меняют! — Коротко и ясно так обнажить суть дела мог только он, полковник Вязничев. Вот в чем загвоздка: шасси выпущено, зеленые горят, а самолет кренит вправо. Такого не бывало.

— Больше шасси не убирайте, — совершенно спокойно передал Глебов.

— Не убираю.

— Пройдите над стартом, посмотрим на вас с земли. — И дальше тем, кто стоял в готовности к взлету: — Зарулить на стоянку, выключить двигатели!

Таким образом, полеты пока стопорились.

— Заместителю командира по инженерно-авиационной службе срочно прибыть на КДП! — передал Глебов по громкоговорящей связи при полном молчании всей группы руководства.

Одним небо ниспослано судьбой, чтобы греться под солнцем, другим — чтобы не замечать его, третьим — испытанием на верность.

Они сидели в кабине герпящего бедствие сверхзвукового истребителя не бесстрастными аналитиками. Не до холодных размышлений, когда не знаешь точно, что же случилось.

Десятки глаз следили за тем, как истребитель заходит на полосу. Все как обычно. Никаких кренов, скольжений, изломов. Все та же строгость полета, будто по струне, над осевой линией, все тот же

содрогающий по-над сопками грохот — сама мощь боевого оружия. Ярko сверкнул блик на стальном кольце воздухозаборника, и самолет уже вон где — росчерком над горизонтом. Кто бы знал, чего это только стоило.

Неполадки шасси налицо.

— Ноль тридцать пять, правое колесо развернуто поперек!

И сразу все стало ясно. Значит, при взлете при ударе нарушилась кинематика уборки шасси, колесо развернуло лопатой и заклинило против полета. Ни вперед, ни назад никакой силой его не свернешь. Отсюда и дополнительное сопротивление, которое разворачивает и кренит самолет.

Что дальше? Устранить неисправность в воздухе невозможно. Остается...

Неслышно, как из-под земли, появился в экранном зале подполковник Кузьмин, заместитель командира по инженерно-авиационной службе, — среднего роста, худой, сутуловатый, седой как лунь. Поднялся и молча встал рядом с Глебовым.

— Что будем делать, Анатолий Иванович?

И в хорошее время Кузьмин не разговорится, а тут, когда за каждое слово надо ответ держать, трудно было ждать от него быстрых решений. Был бы типовой, описанный в инструкции случай, а то ведь нештатная ситуация. Черт его знает, как оно будет, как поведет себя самолет дальше.

— Колесо встало заслонкой... — начал было объяснять Глебов, но Кузьмин его остановил.

— Да я видел, — сказал устало. И дальше вопреки ожиданию твердо, без тени сомнений: — Катапультироваться!

Решение старшего инженера не произвело, казалось, впечатления только на электронные часы под потолком — как мигал зеленоватый проблеск секунд, так и продолжал мигать.

Да, такая возможность предполагалась, витала в воздухе, но неужели это действительно случится? Неужели ничего больше нельзя предпринять? Неужели нет иного выхода?

Планшетистка, сняв наушники, так и не донесла их до стола, во все глаза смотрела на руководителя полетов: что скажет он? неужели согласится?

Скрипнуло под Глебовым кресло на винтовой опоре. Не сразу, но Глебов сказал:

— Не будем спешить, Анатолий Иванович. Запас топлива на самолете позволяет подумать.

— Думай не думай... Представьте себе трехколесный велосипед, у которого выкручено боковое колесо. — Не настаивал, не убеждал, а вроде как сам с собой рассуждал Анатолий Иванович.

— Они сразу после касания выпустят тормозной парашют! — Не мог Глебов смириться с мыслью взять и так просто потерять машину.

— Вы думаете, парашют спасет? А если самолет волчком закрутится в полосе? А если кувыркнется через нос вверх колесами? Чем его тогда удержат? А вдруг парашют не выпустится или оборвется? Нет, только катапультироваться! Потеряем машину, но люди спасутся. — С инженерной точки зрения благополучный исход посадки не гарантировался.

Глебов запросил у Миловидова остаток топлива. Тот успокоил:

— Расход в норме!

Значит, время на размышления еще есть.

Зазвонил телефон, дежурный штурман снял трубку, представился и тут же передал ее Глебову, шепнув на ходу: «Командующий!» Быстро же проходит оперативная информация.

— Здравствуй, Глебов! — Командующий почти всех вертикальщи-

ков знал лично, и не секрет, что относился к ним с симпатией.— Что с Вязничевым?

Глебов коротко доложил.

— Вы полностью оценились?

— Пока нет, товарищ командующий.

— Не тороплю. Я тоже консультируюсь с главным инженером.

Дал запуск спасательному вертолету?

— Пока нет.

— Давай! Второе: пусть Вязничев займет высоту, безопасную для катапультирования.

— Понял.

— Окончательное решение доложить мне лично!

— Есть!

И там, наверху, судя по всему, закрутилась машина.

Косвенным образом напряжение доходило и до летчиков в воздухе. Они понимали, конечно, из каких соображений дали готовность спасателю, предупредили выдерживать заданную высоту. На земле сейчас запарка: считают, прикидывают, уточняют — но к какому придут выводу?

И в самолете у них состоялось нечто вроде совета.

— Что будем делать, Миловидов? Какие у тебя соображения?

Как бы ни было, а последнее слово за летчиками. В их руках самолет. Вязничев спрашивал не потому, что не знал, как поступить. Информации с земли о причине крена было достаточно, чтобы полностью определиться. Но он в самолете не один. И, спрашивая, думал о том, чтобы вопросом не повлиять на выбор летчика. Как он считает правильным, так и должен говорить. Вязничев ждал, что ответит Миловидов. Это было важно.

— У меня, товарищ командир, не соображения, а решение: я буду сажать самолет!

То есть ты, командир, поступай как хочешь, а я как знаю.

Вязничев не оскорбился.

— Мое решение — тоже садиться! Но зачем нам рисковать обоим?

— Командир, решение на катапультирование каждый летчик принимает самостоятельно.

То есть он предлагал Вязничеву воспользоваться парашютом.

— Тогда окончательно: будем садиться!

Вязничеву ничего не оставалось теперь, как надеяться на мастерство Миловидова. Он в передней кабине, ему и выполнять посадку. Много ли инструктору видно из задней.

И с ними повторилось то, что повторяется всякий раз, когда возникает в небе так называемый особый случай: на земле думают, рассчитывают, а потом запрашивают, что скажут сами летчики.

— Ноль тридцать пять, ваше решение?

Миловидов ответил сразу, однозначно, как давно решенное:

— Садиться!

Итак, что хочешь, то и выбирай: летчики — за посадку, инженер — за катапультирование. Как ни особый случай в авиации, так прямо или косвенно, но ни один не обходится без руководителя полетов, ему и отвечать по всей строгости закона; посадил летчик самолет — честь ему и хвала, случилось несчастье — крайним остается руководитель полетов, не сумел грамотно оценить обстановку.

— Ноль тридцать пять, от первого ко второму проверить управляемость на предпосадочной скорости!

Вязничев оценил эту команду. Глебов смотрит вперед, проигрывает вариант посадки, не принимая его вслепую. На малой скорости из-за дополнительного сопротивления может не хватить запаса аэродинамических рулей управления. Попросту говоря, есть опасность, что самолет перевернется через крыло и рухнет перед полосой. Гле-

бов давал команду проверить поведение машины на высоте, безопасной для катапультирования.

— Проверил. Держится устойчиво! — доложил Миловидов.

Руководитель полетов хоть и не бухгалтерский работник, но и ему надо уметь считать. Быстро и хорошо все за и против. Что за? Во-первых, самолет до полосы держать можно; во-вторых, подготовка летчиков не вызывает никаких сомнений: и садут отлично, и после посадки не будут ждать, куда кривая вывезет; в-третьих, как-никак, а самолет будет уже на земле, можно и со стороны оказать помощь.

Что против? Никто не знает, как поведет себя самолет после приземления на развернутое поперек колесо. Ну и возможные отказы авиатехники. Они могут быть, могут и не быть. Есть риск? Есть! Зато в случае удачи сохраним машину.

— Ноль тридцать пять, вырабатывайте топливо до минимального остатка!

Значит, Глебов принял решение сажать самолет. Запас топлива при аварийной посадке только лишний горючий материал.

Осталось получить подтверждение на посадку у командующего.

Глебова соединили в несколько секунд.

— Майор Глебов. Разрешите доложить?

— Да, да, Глебов! Слушаю вас! — В голосе командующего, приглушенном расстоянием, чувствовалось ожидание доклада.

— Приняли решение сажать!

— Сажать?

— Так точно!

На какое-то время установилось молчание.

— Решение Вязничева, надо полагать, такое же? — уточнил генерал.

— Да, посадка.

Снова короткая пауза, затем вопрос:

— Вы лично, Глебов, уверены, что это решение обосновано? То есть не слишком ли вы рискуете? Не много ли берут на себя летчики? Говорить, что у них отличная техника пилотирования, исчерпывающие знания летного дела, тонкий расчет, слишком долго.

— Уверен! — сказал Глебов.

— Хорошо, что уверен. Утверждаю ваше решение!

Глебов положил трубку, тяжеловатой походкой подошел к пульту управления.

— Ноль тридцать пять! Заход на посадку по остатку топлива!

Спокойная команда, привычная летчикам, но на этот раз как мечом рубанул: все, выбрали худшее! Теперь всякие отходы отрезаны. Только вперед!

— Ноль тридцать пять, топлива на последний круг!

— Понял, заход разрешаю!

Дальше начались конкретные указания по технике выполнения посадки:

— Приземление на левую половину полосы... Поддерживать креном... Тормозной парашют... Двигатель...

Все это были правильные и необходимые напоминания. Летчики выслушали их с должным вниманием. Но и Вязничев сам по натуре был человеком пунктуальным, систематизированных действий.

— Значит, так, Миловидов, запоминай первый этап — до приземления... Здесь главное — готовность к немедленному катапультированию.

Полет оставался полетом. Любой сбой техники в их положении непоправим.

— Второй этап — после приземления... — Он отчеканил точно по инструкции, строгую последовательность действий каждого. Во всем, что касалось полетов, Вязничев не терпел приблизительности. — Третий этап — после окончания пробега...

Конечно, это очень смело — окончание пробега. Но на этом этапе Вязничев предусматривал больше всего неожиданностей: пожар, ва-лежку, заклинивание фонарей.

Никогда еще никто из летчиков не получал такого основательно-го инструктажа перед посадкой.

— Готов?

— Готов.

— Ну, пошли!

Теперь, когда они были уверены, что все предусмотрено, разложено, обговорено, осталось одно: твердость руки.

На аэродроме их ждали все: и с капониров, и с крыш стартовых домиков, и с высоких кабин спецмашин. На исходных позициях стояли в ряд с запущенными двигателями машины аварийно-спасательной службы.

В опустевшем эфире остался лишь голос руководителя посадки.

— До посадочного пятьдесят...

На экране локатора под электронным лучом засветка истребителя пульсировала в ритме живого сердца.

Он появилась из серого марева на сходе двух стихий серебристым слитком. И словно освобождаясь от туманного плена дали, по мере приближения к полосе, казалось, все увеличивал скорость.

Трудно назвать полетом предпосадочное снижение современного истребителя. Это стремительное падение по круто наклоненной плоскости, и не верится, что в нем можно еще что-то изменить или исправить.

Дальше все происходило в секунду: резко выпрямленная над плоскостью бетона кривая снижения, на мгновение распластанный в неподвижности самолет, сизый дымок первого касания возле левого обреза полосы; почти одновременно с ним вспыхнуло за хвостовым оперением оранжево-белое облачко тормозного парашюта. Самолет лишь зафиксировал прямую пробега, а потом его повело вправо сначала по дуге большого, затем круто уменьшающегося радиуса. Истребитель, разворачиваясь, пересек осевую линию, затем правый обрез полосы — уже под прямым углом, — дальше его потащило по грунту, а из-под культи веером, как от точильного камня, выбивался по высокой дуге шлейф пыли. На глазах у всех самолет продолжало сносить в сторону от полосы, и никто ничем не мог помочь. Это было как то непредвиденное и непредсказуемое, что и составляло степень риска. Человек здесь бессилён что-либо изменить. Оставалось лишь ждать, чем кончится, прослеживая направление движения: минует ли, на их счастье, машина лобовую преграду?

Самолет припадал на переднюю стойку, и от этого хвостовое оперение казалось неестественно задраным, отдельно летящим в высоком разнотравье.

Но наступил момент, когда всем стало ясно, что пик разрушительной мощи миновал. Самолет укрощался на глазах, терял скорость, выравниваясь в естественное положение. Наконец он стал. Явь не явь, а среди яркой зелени в стороне от полосы самолет стоял целехонек и невредим. Почти одновременно как по команде открылись фонари передней и задней кабин.

Спешили к самолету люди, спасательные средства, но можно было уже и не спешить. На углу крыла полковник Вязничев и майор Миловидов в высотных костюмах спокойно снимали шлемофоны. Молодые светлые лица, по-мальчишечьи разметанные пряди, а в глазах радость встречи!

Были они сейчас похожи на астронавтов, вернувшихся после блужданий в других мирах к нежному теплу родной земли.

На редкость ярким выдался этот день, будто солнце навсегда остановилось в зените. Над аэродромом отгрохотало, стихилось, ос-

тановилось все в глубоком безмятежье. И казалось, что так было всегда.

Из тех, кто подоспел в числе первых к самолету, был Олег Григорьевич Антоненко. Как всегда, он стоял в задних рядах.

Вязничев пожал руки первым из встречавших, напрямик шагнул к нему.

— Олег Григорьевич, рад вас видеть.

И Антоненко сделал шаг навстречу.

— Здравствуй, Юра.— Его «здравствуй» звучало сейчас не приветствием, а пожеланием на долгую жизнь.— Поздравляю! Одно дело — везение, а другое — чистая работа!

— Не меня, его поздравляй.— показывал Вязничев за себя на Миловидова. Тот стоял в окружении летчиков своей эскадрильи.— Он сажал.

— А-а-а? — торжествующе протянул Антоненко.— Что я тебе говорил? — И дальше, понизив голос, чтобы никто не мог слышать: — Забрать?

Вязничев, напротив, таиться не стал:

— Спросите у него. Отказался!

Антоненко несколько даже опешил:

— Почему?

— Я, говорит, закончил командный факультет. Мне нравится работать с личным составом.— И уже от себя заключил: — И правильно сделал. Здесь таланты тоже нужны. Но за самовольство с выключением автоматике...

11

«Вода качается и плещет, и разделяет нас вода...»

Прошли те времена, когда на пирсе звучало «Прощание славянки», когда жены долго махали косынками вслед уходящему в плавание кораблю.

На углу авиационного городка, возле пятиэтажек дадут команду: «По машинам!» — уткнется жена в грудь летчику, шепнет два слова — и прости-прощай поехали! Кого везут на аэродром, а с аэродрома вертолетом, кого на пирс за десятки километров, с пирса как-то на корабль.

Стоит красавец крейсер на рейде, точно богатырь в чистом поле, а если посмотреть с кили — вроде гигантский дельтоплан с могучим размахом крыльев.

И с первого шага на палубу летчики вступают в корабельную жизнь. Одни заботы, одни тревоги, одни дороги.

Хотя и известно время отхода, но все равно не привыкнуть: ложишься спать — родной берег вон, на виду, а проснешься — пустота вокруг, бескрайнее океанское безмолвие. Как будто всю жизнь так вот и было. А города с потоками людей, березовые перелески, родной дом — все это вроде совсем из другой, далекой теперь жизни.

Вязничев сидел в прозрачном трехграннике СКП, выступавшем вроде ласточкина гнезда сбоку надстройки над полетной палубой, и смотрел на уходящий за кормой след. Косо била в борт крейсера увалистая океанская волна. Утренняя зыбь простиралась вдаль измятинами фольговой обертки, теряясь в дымке редющего тумана. Только за кормой оставалась разглаженная, будто после утюга, полоска следа. А на нем малахитово зеленели вспучины глубинных пластов, вывернутых на поверхность ходовыми винтами.

Тесно на командном пункте руководителя полетов, сидишь как в будке телефона-автомата. Но зато мачтовая высота: и видно далеко, и мыслям кажется просторно. Особенно когда в океане не день, не неделю, а уже который месяц. Глянешь на уходящий след за кормой — вот он, след твоей судьбы, — и будто просечкой короткого за-

мыкания обожжет душу: «Как далека сейчас родина! Когда же снова увидишь ее!»

А ведь были же века только пеших странствий! Целой человеческой жизни не хватало дойти от моря до моря, узнать край земли.

Конницы и колесницы сократили расстояние между народами до одного похода завоевателей.

Машины и самолеты стянули уже континенты в один суточный пояс.

С космических кораблей наша матушка Земля — всего лишь нежно-голубой шарик. Сверкающий и хрупкий, как елочная игрушка. С целым миром людей. И каждый человек в нем не сам по себе, а в едином сиянии голубой планеты.

И каждый завтрашний день для всех нас — первый в будущее. Так было для тех, кто жил в прошлом веке, кто двадцать, сто веков назад. Однако каждый день не возникает из размытой туманности. Сегодняшний — продолжение конкретного и реального вчерашнего и вместе с тем начало завтрашнего.

Каждое новое поколение не начинается с пустого места, а наследует мир предыдущего. От родителей — детям, от одной жизни — другой, от прошлого — будущему. Так из миллионов больших и малых судеб и складывается история родины. Боль, мудрость, слава — все по наследству. Мы всегда между теми, кто был до нас, и теми, кто будет после нас. Как ни исключительна жизнь каждого человека, как ни удивляет она нас новизной каждого дня, оглянитесь в прошлое: все, чем мы страдаем, с кем-то уже было, а в нас только продолжается.

Неужели все кончится одним разом? И не станет ни прошлого, ни будущего?! И никому не будут нужны высокие порывы человеческой души?

Неужели на каком-то витке своей орбиты светящийся голубой шар планеты, вспыхнув ядерным смерчем, продолжит свое движение обугленным камнем?

Раньше войны готовились годами: разрабатывали планы, собирали трудовой люд, муштровали, скрепляли боевым порядком, стягивали силы к границам. Сейчас ничего не надо. Один поворот ключа — в любое мгновение! — взрыв детонатора и...

Какая сила может предотвратить катастрофу? Только народ! Тот самый народ, который защитил мир от фашистского порабощения. Тогда — от порабощения, теперь — от уничтожения. Мы — оттуда родом...

12

— Личному составу покинуть полетную палубу. Взлетает вертолет! — командно прогрехотало мощными динамиками трансляции.

Такова корабельная жизнь: много не размечтаешься. Не дают! Это было звонком и для Махонина. Всем покинуть полетную палубу, а ему — за работу.

На рассвете стеной стоял туман. Какие, думалось, полеты? Но пригрело солнышко, приподняло пелену, появились разрывы с голубыми лоскутками высоты, и в одночасье развеяло, унесло серые вороха, уплыли в горизонтное марево стаями перелетных лебедей. Заиграл океан бликами на изломах волн, просветлело небо. Чем не условия для летной смены.

По лужайковой зелени палубы, мешковато ступая на утолщенной микропоре летных ботинок, шел лейтенант Махонин, высокий, широковатый в плечах (посмотреть со стороны), точно к стартующей ракете. Но была разница. На ракете стартуют раз-два в жизни, а он в день по два-три раза, сам взлетая и снижаясь, сам управляя машиной на вертикальных режимах. Там — огни юпитеров, здесь — океанская служба.

Самолеты подняли из ангаров на верхнюю палубу, стояли они со сложенными крыльями, будто вышли на утреннюю зарядку и замерли перед летчиками с полусогнутыми в локтевых сгибах руками.

На другом конце палубы готовился к работе спасатель. Вязничев наблюдал, как садился в вертолет водолаз. Зеленоватый легкий костюм плотно, как трико, облегал фигуру. Под мышками он держал ласты. Без спасателя над океаном не летают.

Вертолет оторвался от палубы и сразу пошел вразгон, задирая стрекозой хвост, набычившись, точно хотел поддеть на рога весь океан. Набрал скорость, косообоко вошел в разворот, затрепетал справа по борту белой бабочкой над синью вод. «К работе готов!»

И порулил на полетную палубу самолет Махонина, на ходу раскладывая крылышки: сперва левое, потом правое.

Вязничев наблюдал за его взлетом. Металлический звон двигателей отдавался в корпусе корабля, отражаясь от надстройки, казалось, до острия последней антенны.

Машина приподнялась на стойках, точно выпрямляясь в сгибах шарниров, чуть подалась назад, на хвостовое оперение, отделяясь от палубы передним колесом. Потом, качнувшись, поочередно правыми и левыми колесами. Будто последовательно поднимала каждую из своих палубных опор на ступеньки в небо.

В верхней точке подъема машина начала медленное движение вперед. А через несколько секунд в той стороне, куда ушел самолет, остался только размытый шлейф реактивного следа.

Задание на полет Махонину — отработать атаку по морской малоразмерной цели. Цель — бурунная мишень. Два красных конуса, сваренных основаниями друг к другу. Поплавок с бочку величиной. Мишень мотыляется на тросе за кораблем, взрывая бурунный след. Сверху, с самолета, видно не столько мишень, сколько усы — остро летящий в пенной кипени угол волны. Точно идет торпеда...

Заход Махонина для атаки весь на виду. Палубный самолет просквозил небо чуть в сторону от корабля, по левому борту, на встречных курсах. Вытянутый фюзеляж, смещенные к середине короткие крылышки — в нем было больше от самонаводящейся ракеты, чем от пилотируемой машины.

— Цель вижу! Разрешите работу? — запросил Махонин.

— Работу разрешаю!

Зеленоватая стрела вошла в разворот, нацеливаясь острием на снующий в белой кипени конус мишени. Короткие секунды стремительного сближения.

— Сработал двумя! — быстрый доклад Махонина.

Одна за другой отделились снизу от машины еле заметные, как пороховые палочки, учебные бомбы. Они летели плашмя и, в первые мгновенья кажется, наперегонки с самолетом. Но чем круче становилась траектория их снижения, тем заметнее было отставание от самолета. По мере приближения к цели бомбы выравнивались в вертикальное положение и, словно обретая собственное зрение, одна чуть выше другой, как в боевом порядке, свистели под крутым углом в самое острие буруна. Сдвоенный всплеск! Один за другим взметнулись в месте падения оранжевые облачка разрывов. Будь это не учебные, а боевые бомбы, не видать бы больше боцманской команде своего конуса.

— Хорошо сработал! — передал Вязничев. — Разрешаю заход на посадку!

— Заход на посадку! — доложил Махонин.

Машина приближалась к кораблю с тем, что и на взлете, громом стартующей ракеты. Струями подъемных двигателей поднималась водяная пыль, и вокруг крыльев самолета играли на солнце до самой посадки радужные ореолы.

Не успел Махонин отрулить машину для подготовки к повторному вылету, как на корабле объявили тревогу.

— Освободить полетную палубу! Семьсот первому, ноль тридцать пятому на вылет! — поступила команда по корабельной трансляции.

Длительный поход — это не значит бесконечное созерцание океанских просторов. Особенно когда корабль приходит в район учений. Море для него тогда что для солдата поле боя. И он в центре сражения. Вводные идут одна за другой.

Один из эпизодов, в плане учения — воздушный бой. Но любая тревога, будь то на суше или в море, это всегда тревога на сердце: «Неужели случилось?»

— Нам? — Миловидов еще ни разу не вылетал с корабля по тревоге. Он находился вместе с Глебовым в специальном кубрике.

— Нам!

И по тому, как подхватило Глебова, с какой сосредоточенностью он засобирался, на ходу застегивая «молнии» летного костюма, Миловидов понял — дело серьезное! Тысяча вопросов: куда, зачем? На земле обычно ставят задачу, а потом поднимают в воздух. Здесь даже спросить нет возможности: и самому некогда, и не у кого — все бегут, только ноги мелькают по трапам. Да и спрашивать необязательно. Он — ведомый! У него одна задача: держаться ведущего! Главное — не отстать!

Миловидов выскочил на полетную палубу следом за Глебовым.

— Взлетаем! Задача в воздухе! — крикнул тот на ходу, бегом направляясь к своему самолету.

С виду трудно было ожидать от него такой проворности.

— Пара в сборе! — доложил Глебов. — Задание?

Им тут же передали:

— В зоне обнаружения — две посторонних!

— Понял!

— Разрешаю маневр для атаки! — В голосе полковника Вязничева жесткость боевого приказа.

— Выполняю!

Задача Глебова перехватить «противника» на дальних подступах к кораблю.

И сразу включилась в работу группа наведения.

— Цель номер один! Азимут... Дальность...

Миловидов слушал информацию, и было ясно, что «противник» маневрирует, пытаясь сорвать атаку истребителей, прорваться к крейсеру.

Хорошо, что впереди идет Глебов. Он за время своих походов не один раз поднимался в небо по тревоге и знает, что делать.

— Повнимательней! Сближайтесь! — предупредили с корабля. — Азимут... Дальность... Сошлись в групповую...

И «противник» тоже готовился к отражению атаки истребителей.

Миловидов увидел их впереди себя в разрыве облаков. Они шли на встречных курсах значительно ниже, так что издали и не было заметно их движения. Будто плашмя лежали два белокартонных силуэта на сером глянце стола.

— Семьсот первый, впереди наблюдаешь? Ниже под курсовым двадцать!

— Наблюдаю.

Одного взгляда было достаточно Миловидову, чтобы определить по конфигурации, что это были за самолеты.

— «Ласточки!» — сказал он, не называя позывного Глебова: и так поймет.

— Свои! — также без позывного ответил ведущий.

Но бой, хоть и учебный, оставался боем.

— Семьсот первый! Цель вижу! Прошу работу! — передал Глебов повеселевшим голосом.

— Разрешаю визуальный контакт! — в тон ему ответил Вязничев.

— Понял!

Глебов перешел на пикирование с правым креном. Вслед за ним, не разрывая строя, снижался Миловидов. «Ласточки» косо скользили в боковой раме фонаря плавно и бесшумно, будто их протягивали вперед невидимой нитью.

Они разошлись правыми бортами, а через несколько секунд уже шли одним курсом. Глебов увеличил скорость, легко сократил разделявшую самолеты дистанцию.

Глебов вышел в левый пеленг к ведущему пары, Миловидов стал в правый пеленг с ведомым.

Они шли в плотном строю, так что хорошо было видно лица летчиков. Экипаж «ласточки» рад был этой встрече над океаном. Миловидову улыбались с блистеров кормовой кабины, в приветствии вскинули руки пилоты из передней кабины.

Обнять бы их, расцеловать каждого, но вместо этого Миловидов должен был выдерживать безопасный интервал полета.

Русская натура: правый пилот ведомого экипажа тут же извлек откуда-то снизу ярко-малиновый термос. Отвинтил сверкающую крышку, что-то налил в нее. Будешь? — приподнял он крышку, будто предлагая тост за встречу.

Миловидов провел ладонью по шее, показал в сторону корабля: своего хватает!

Летчик заулыбался, закивал: понял! понял!

В сомкнутом едином строю, взрывая небо громовой волной, самолеты прошли над крейсером. Рядом с «ласточками» палубные самолеты казались игрушечными.

«Ласточки», покачивая крыльями, приветствовали и прощались с экипажем корабля, разворачиваясь на курс к родным берегам. Пойдем с нами! — позвал за собой правый пилот. Нет, мне туда! — показал Миловидов себе за плечо.

— Ноль тридцать пятый, возвращаемся!

Миловидов еще раз вскинул руку, теперь уже прощаясь с «ласточкой», перевел самолет в набор высоты, занимая место ведомого в паре с Глебовым.

— Семьсот первый! Возвращаемся! Заход на посадку!

— Семьсот первый, паре роспуск! Разрешаю посадку с ходу.

Впереди по курсу, будто на крыльях полетной палубы, вспенивал форштевнем океанскую зыбь родной крейсер. Плоскость посадочных площадок казалась с высоты полета спичечным коробком затерявшимся в зыби волн.

После посадки пары стихило над океаном — короткие минуты перед очередной волной громовых раскатов. Светило солнце, плыли одинокие облака, небо было похоже на высокое зеркало, в котором отражалась васильковая синь тихого озера с медлительными парусами прогулочных яхт. Мир жил, радовался, благоухал, но он, как и все живое, нуждался в защите, в доброй, созидательной, справедливой силе.

И впервые за все время плавания майор Миловидов отметил про себя, что притяжение полетной палубы несколько не меньше притяжения земли.



МИХАИЛ СТРИГАЛЕВ



СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

Видения августа

Им стартплощадкой — поле, лес,
ветвей, листвы столпотворень...
Косым углом летят деревья
на звезды, слыша зов небес.

Стартует корабельный бор,
сгорая в августовском зное:
в стволах, как в дюзах,— смогом в хвое —
сгорают жизненный простор...

И — липы тож!.. Немые стражи
земных наитий и забав...
и чащи сонные дубрав...
и братья все меньшие наши
(лишь мы — ни с места, человеки)...—
считают, вдаль летя, парсеки!

А мы, как рыбы на песке,
уже в агонии предсмертной
в сухом, нелепом тростнике,
мы — и воители и смерды —
глотаем кислород последний...

Уходят ветераны

По лесенке годов — все выше — И в том уходе поименном
они уходят за черту — им не исправить ничего:
на огненный рубеж давнишний, ошибки, в жизни совершенной,
на ту войну, на ту, на ту... свое — чужое торжество...

Уходят ночью, утром ранним, Им, ветеранам, не впервые
домашних не предупредив, в те грозовые, в те дымы —
как подобает ветеранам,— спешить в свои сороковые
в свой окончательный призыв... под обелиски и холмы...

Глагол летучий, огневой

Я спорю с молнией ночной; Связует тайной роковой
на тучах с отблеском лиловым исток, течение и русло
мелькнут столетья предо мной, глагол летучий, огневой
их в этот миг предгрозовой в земле славян, в земле родной,
постичь по силам вещим словом... издревле нареченной Русью!

* * *

Где ночует жаворонок?
В поле, в поднебесье? —
ты спроси меня спросонок.
Я отвечу: в песне...

В пенье, улучив минутку,
прикорнет немножко
на окне у тучки, шуткой
звезды огорошив...

Баллада о мысли

Зигзаги молний — как траншеи. Ее, свободную от веку,
И — мысль распята на кресте. не задушить, не потушить:
И — пулеметы-фарисеи она, как светоч человеку, —
ей саван шьют на высоте. времен связующая нить.

Чтоб на кресте не трепыхалась И, рвя решетки, как тенета,
(а вдруг и пулей не прошить!), ломая изгородь ракет,
ей в спину целится «поларис» — летит свободней космолета
но мысль убийцам не убить! из континента в континент!

Липа медует...

Славься вовеки, время цветенья!
Чтоб урожай удался в свой черед,
мало для этого было везенья:
липа медует!.. Жито красует!..
Бульба цветет!..

Рук наших бережное участие
знают и нива и огород..
Нежим надежду — это ль не счастье:
жито красует! Липа медует!
Бульба цветет!

Осенью будет застолье на славу —
к нам, коли ласка, просим, народ!
Будет п о г о д н о — гром на дубраву:
липа медует! Жито красует!
Бульба цветет!..

Сибирь

Георгию Маркову

За Камнем — Спящая земля... В метельном пенье без конца
Сибирь... Старинные поверья... и в голубом турбинном гуле
Не ты ль, индустрией звения, есть что-то и от бубенца
возносишь ввысь столбы и перья? и тройки, скачущей в разгуле.

Разверзла недра и сердца, Есть грусть кержачки молодой
откинув плат с плечей упрямых, и партизан сибирских удаль...
у Падуна и у Гольца, Сибирь! Да кто же так напугал,
в героическом Братске и на БАМе. назвав тебя Дремун-землей?

А твой мечтатель у реки За Камнем — матушка Сибирь
с названьем безмятежным как связь времен, как локоть
Шуша — друга...
не он ли мощь твою подслушал, И — нипочем шальная вьюга!
предвидя старт с твоей руки? И — по плечу вселенной шири!

ВАСИЛИЙ КАЗАНЦЕВ

★

ХОТЕЛОСЬ СЕРДЦУ СПЕТЬ...

* * *

— Все охотней, все чаще ты стал
Под высоким шатром небосвода
Восхищаться высокостью скал.
Поля гладью. Сияньем восхода.

— Потому что вернее узнал,
Как пряма, неподдельна природа.
Потому что смертельно устал
От борьбы, от войны без исхода.

* * *

Пред холодным, осенним рассветом
Над душой его реяла тьма.
Это время наполнило светом
Торопливые строки письма.

Напрягая последние силы,
Он шагнул в глубину темноты,
Это время на нем прочертило
Громового величья черты.

Ввысь взнесло громоносное время
В неприступное зарево гроз.
Это он громоносное время
В неприступные выси вознес!

* * *

— Зачем ты гредишь кровью?
Мечом копьем, огнем?
Живи как я, любовью,
Иди моим путем.

— А как, живя любовью,
Свой полный счастья дом
Оберегаешь?

— Кровью.
Мечом, копьем, огнем.

* * *

Всем своим я обязан косьбе.
Всем родным я обязан пастьбе.
Всем живым и святым, и свободным —
Перелеску, проселку, избе.

Всем плохим, всем дурным, всем негодным,
Всем бесплодным — обязан себе.

.

Извилистость молнии быстрой —
Вода дождевая в траве.
На влажные, крупные искры
Вода раздробилась в траве.

Сверкает, молчит, не всплеснется.
Застыла в своей синеве.
Как будто пролитое солнце,
Искрясь, цепенеет в траве.

С пылающим зноем в согласье.
С прохладной землею в родстве.
Как будто забытое счастье
Лежит под ногами в траве.

У поваленного дерева

— И пилил я, и гнул я, и бил я,
Чтоб в избе моей стало светло.
И его наконец победил я.
— Отчего ж так глядишь тяжело?

— Не о том, что его победил я,
Как просторнее стало в окне,
А о том, как пилил я, как бил я,
Как рубил я, все помнится мне.

.

Высокий кедр и низкий злак
Равны между собой,
Когда, земли пронзая мрак,
Восходят над землей.

Высокий кедр и низкий злак
Равны между собой,

Когда, идя в начальный мрак,
Сливаются с землей.

Но ясным светом, правотой,
Свободой, красотой —
И славой! — в час любой иной
Равны между собой!



ВИКТОР КАЗАКОВ



ТРЕТИЙ ГОРИЗОНТ

Труд — основной источник материального и духовного богатства общества, главный критерий социального престижа человека, его священная обязанность, фундамент коммунистического воспитания личности. Партия и впредь будет заботиться о всемерном повышении авторитета честного, высокопроизводительного труда, развитии инициативы и творчества в работе, об укреплении начал коммунистического отношения к труду.

Из проекта новой редакции Программы КПСС.

1

Моторист закрыл дверцу, и клеть, по пояс спрятавшая Чиха, быстро пошла вниз. Несколько секунд еще виден был сочащийся влагой ствол шахты, но вот и осклизлые стены ствола, и железную клеть, и бригадира в полной шахтерской амуниции, молчаливо державшегося за поручни над головой, поглотила темнота.

Ноздри шекотал идущий снизу воздух. Он был чист, дышалось легко, и все-таки в воздухе без труда угадывались запахи сырости, угля и моторов многочисленной техники, спущенной глубоко под землю для того, чтобы человек, удесятрив свои силы, мог энергично брать из ее недр черный антрацит.

Несколько лет назад спуск в шахту «Майская» занимал меньше времени — уголь здесь тогда лежал неглубоко. Но истощился первый горизонт, углубились на второй — угольные пласты тут были хорошими, толщиной в полтора метра, — сейчас очистные забои уже ушли на третий горизонт, на глубину семьсот с лишним метров. Шахта рубит трудные тонкие пласты, их толщина меньше метра, — все, что осталось...

Сегодня Чих спускался в лаву позже обычного.

Когда его ничто не отвлекает от работы, он на шахте уже в шесть утра: встречает ночную и провожает под землю первую смену. В восемь тридцать сам спускается в забой, работает с первой сменой и со звеном, которое приходит в лаву в два часа дня. Выезжает на поверхность, когда в кабинете начальника участка уже собирается на наряд третья смена. Конечно, так (и столько) работать нелегко, особенно когда тебе вот-вот исполнится ни много ни мало — шестьдесят пять лет. Но, во-первых, у Чиха есть пока и силы и здоровье (недавно в поликлинике на профилактическом осмотре врачи подивились его крепкой, мускулистой фигуре), во-вторых, по мнению бригадира, при нормальной нагрузке работа вообще не должна и не может быть легкой... Такой распорядок позволяет Чиху контролировать все четыре смены и хорошо знать, чем «дышат» лавы (их у бригады две). А сегодня он приехал на работу позже потому, что накануне ночью еще был в поезде.

Несколько дней Чих провел в Москве, куда его приглашали на всесоюзное совещание. Сидел в президиуме, был на приеме, который устроил для лучших рабочих отрасли министр, три дня назад видел себя на экране телевизора в программе «Время». На совещании говорили о достижениях, называли передовиков, не обошли, конечно, и его, дважды Героя Социалистического Труда. Но не это произвело на Чиха самое глубокое впечатление. Бригадир, первую Золотую звезду получивший еще в

1971 году, успел с тех пор привыкнуть и к сидению в президиумах и к похвалам. Привык и к тому, что о наиболее острых проблемах, о том, что по-настоящему волновало людей, говорилось чаще не с трибуны, а в кулуарах совещаний да еще по вечерам в номерах гостиниц. На этот раз и на совещании и в кабинете министра разговор шел гораздо откровеннее и острее. Министр, в частности, подчеркивал: чтобы, как говорилось на октябрьском Пленуме, «заложить в двенадцатую пятилетку коренной поворот к интенсивности и качеству», надо особое внимание уделить в рабочих коллективах организованности, дисциплине, бережливости. Чих знал: да, тут есть о чем подумать и на «Майской». И раньше, конечно, и подчеркивали, и уделяли, но вот недавно на партийном собрании назывались такие факты. В прошлом году только за прогулы пришлось уволить с работы 108 человек; за четыре года пятилетки из-за простоев, недисциплинированности, отпусков с разрешения администрации шахта потеряла свыше 250 тысяч человеко-дней — недодала продукции на 25 миллионов рублей. На чьей совести эти потери? В основном, конечно, на совести пьяниц. Правда, рассказали о том, будто шахтеры пьют больше других,—обывательские сплетни; шахтер, выпив, под землю, где каждый грамм кислорода дорог, не полезет, там и с похмелья делать нечего — в таком состоянии человек безответствен, опасен. Но факты, как говорится, упрямая вещь: до сухого закона в среде горняков, прямо скажем, дело еще не дошло — медвытрезвитель в городе пока не закрывают... И с бережливостью не все в порядке. Подземное оборудование стоит немалых средств, а как на шахте с ним обращаются? Рельсы, трубы иногда остаются в завалах, не возвращаются в металлолом отработавшие свое ленты транспортеров, кабель, все еще перерасходуется взрывчатка, лес... Никогда до этого так остро не ставились эти вопросы, и Чих понимал почему: судьба «коренного поворота» в первую очередь будет зависеть от того, насколько ответственно все мы станем относиться к делу.

Сидя в вагоне поезда, мчавшегося из Москвы к донским степям, Чих много думал о новых ветрах, которые подули над страной. Партия призвала решительно покончить с пустозвонством, хвастовством, безответственностью. С высоких трибун в повседневные разговоры людей легко вошли новые — четкие, ясные и волнующие — формулировки: «развернутая концепция ускорения социально-экономического развития страны», «улучшение стиля работы», «планомерное и всестороннее совершенствование социализма», «улучшение хозяйственного механизма»... Давно всего этого ждал Чих. Новые ветры были попутными...

Темнота постепенно рассеялась, снова стали видны сырые каменные стены ствола шахты. Клеть, замедлив скорость, осторожно опустилась на небольшую освещенную электролампами площадку.

Чих зашел в маленькую комнатку стволового. Снял с плеч, повесил на гвоздь куртку: на третьем горизонте температура воздуха плюс тридцать с лишним, и бригадир предпочитал работать в лаве в рубашке. Куртку он заберет на обратном пути. Поправил каску на голове. Белая рубашка туго обтягивала мускулистую спину; широкий ремень надежно держал на левом боку у пояса аккумуляторную батарею, на правом — коробку самоспасателя.

Через несколько минут Чих, включив шахтерскую лампочку, уже шел по темно-му штреку, полого спускавшемуся вниз.

На душе было беспокойно.

Дела в основной лаве (а именно на нее были все надежды, вторая лава у бригады — резервная), судя по сводке диспетчеров, так и не наладились. Правда, бригада еще третьего августа выполнила свою пятилетку — перевалила за четырехмиллионный рубеж, но у нее кроме плана есть еще и обязательство: добыть и в этом особо трудном году не менее миллиона тонн топлива. Для этого в оставшиеся до конца года сутки звенья должны выдавать на-гора не по 1000—1500 тонн угля, как в последние недели, а как минимум по 3 тысячи тонн.

Как это сделать?

В 1983 году бригада впервые спустилась на третий горизонт. Своим практическим опытом она должна была ответить на вопросы, которые волновали весь бассейн (а может быть, и всю отрасль): сколько угля в год можно добывать на тонких пластах? какие механизмы здесь лучше всего использовать? как быстро станет передвигаться в этих условиях лава? и т. д. С первых же минут работы на глубине 700 метров шахтерам стало ясно, что третий горизонт своих богатств легко не отдаст. Нужно

было на ходу переделывать все: струговую установку, крепь, психологию рабочих. С техникой было нелегко. Лава стала испытательным полигоном, где каждый день рядом с шахтерами работали сотрудники Шахтинского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института, инженеры заводов, изготовляющих для шахтеров технику. Совместно отработывалась модернизация машин для третьего горизонта. С психологией было, пожалуй, труднее. На третьем горизонте значительно изменились условия труда шахтеров: забой стал намного ниже, в нем в полный рост уже не поднимешься; лава продвигалась почти в два раза быстрее, значит, в два раза увеличивался труд, который нужно было затратить для передвижки крепи; угольный пласт проходил в зоне так называемых горно-геологических нарушений, и кровля часто обрушивалась на струговую установку... Пока доводили до ума технику, уточняли технологию, выработка, естественно, упала, а вместе с этим — прямо пропорционально — уменьшились и заработки. Бригада в 1981 году значительно обновилась: пришли ребята из ПТУ, средний возраст коллектива стал 27 лет. Третий горизонт серьезно испытывал молодежь и на профессиональные качества и на моральные устои. И она выдержала экзамен: из бригады, поставленной в экстремальные условия работы, не ушел ни один человек.

До этого восемь лет подряд бригада Чиха ежегодно выдавала на-гора не менее миллиона тонн угля. Но тогда она работала на «нормальных» пластах. А сколько станет выработывать теперь?

В восемьдесят третьем миллиона не получилось.

Вся шахта внимательно следила за делами в лавах Чиха в следующем, 1984 году. И Чих в новых условиях вышел на свой традиционный миллионный рубеж! Это был подвиг.

Были цветы, аплодисменты, телевизионные камеры, крупным планом показывавшие на всю страну черные улыбающиеся лица шахтеров, только что вышедших из клетки. Но беспокойство не покидало Чиха. Он хорошо помнил, с какими трудностями шла бригада к этому миллиону. Третий горизонт оказался орешком с характером, и бригадир понимал, что еще не все ключи он подобрал к этому орешку.

А добывать меньше миллиона тонн уже нельзя. Так думала вся бригада. На партийном собрании, где речь шла об обязательствах на 1985 год, один из звеньевых, выходя, сказал: «Назад пятиться не будем».

«И вот пятимся, теряем темпы...»

Третью неделю падала выработка. И вроде винить некого. Мало того что природа запрятала на 700 метров под землю не лучший для добычи (правда, высококачественный) пласт угля, в местах, где проходят сейчас лавы, над угольным пластом оказалась очень сложная порода (специалисты называют ее неустойчивой, трещиноватой), она то и дело рушится тотчас же, как только из-под нее убирают уголь. Тогда приходится останавливать струг, лезть в завал, подпирать «трещиноватую» стойками, браться за лопаты, отбойные молотки, а то и звать взрывников. Конвейеры, по которым из лавы идет уголь, в это время, естественно, стоят... Когда-то тонкие пласты совсем не разрабатывали, но теперь забрасывать их было бы непозволительной роскошью: они содержат больше половины оставшихся в Ростовской области запасов топлива. И надо, конечно, научиться брать уголь не вообще на тонких пластах, а на любых тонких пластах, даже таких, как вот эти, расположенные в зоне горно-геологических нарушений.

И вот бригада горбатится в лавах, выбрасывая из них не столько угля, сколько породы.

...Три шахтерские лампочки, покачиваясь, плыли навстречу. Это могли быть рабочие только его бригады, чужие по этому штреку, как правило, не ходят. «С ночной смены...» Ночная смена давно на поверхности, что задержало в лаве этих троих? Задержать могло одно: не сделали вовремя работу...

Поравнялись, остановились. На черных лицах — усталые белозубые улыбки.

— Здравствуйте, Михаил Павлович...

— Здравствуйте.

Чих отметил: прячут глаза в темноту. Но все-таки спросил:

— Как дела в лаве?

Переминаются с ноги на ногу.

— Неважно, Палыч,— наконец ответил тот, что стоял ближе к бригадиру.

Чих минуту помолчал, подумал, но разговора продолжать не стал. Не обращая внимания на мелкие лужи под ногами, зашагал дальше.

Навстречу опять шли три лампочки, за ними еще две. Значит, в лаве после смены оставались не трое, а все звено... Что же там могло случиться?

Один из подошедших, поздрававшись, начал было горячиться:

— Порода, Палыч...

Чих, не дослушав, оборвал его:

— Где Бондарь?

Рабочий повел подбородком влево:

— Идет сзади.

2

Бригадир не скрывал своего плохого настроения.

Редко, но случалось, попадал он в ситуации, когда его воля оказывалась слабее воли обстоятельств. Чих тогда ходил чернее тучи, и проходило это лишь после того, как ему в конце концов снова удавалось овладеть обстоятельствами. Хорошо знавшие его люди не однажды задумывались: где источник его легендарных трудовых успехов? не в этой ли настырности? Некоторые искали (и находили) в нем особый талант; некоторые удивлялись его здоровью и физической силе; говорили о честолюбии Чиха и о том, что по натуре он — лидер... Чих считал, что все это досужие выдумки, а успехи свои объяснял одним — желанием работать. «А другие, — говорили ему, — разве не хотят работать? Почему они не ставят рекордов?» «Значит, мое желание — сильнее», — отвечал Чих.

Убеждение, что часто степень успеха равна степени желания работать, подсказывал ему собственный практический опыт, и один из первых эпизодов, положивший начало этому опыту, случился 30 лет назад.

Тем летом Чих приехал жить в Шахты. Пряной южной зеленью благоухали городские скверы и парки, солидно стояли кварталы добротного построенных многоэтажных домов, опрятность улиц придавал и недавно проложенный асфальт...

А вокруг города возвышались терриконы.

Сохранилось предание, будто в 1696 году Петру I, раскинувшему свои шатры в этих ковыльных степях (царь вел войска на штурм Азова), принесли случайно найденный неподалеку от бивака кусок антрацита. Петр, по достоинству оценив находку, якобы сказал тогда: «Сей минерал если не нам, то нашим потомкам зело полезен будет». Но до исследования запасов угля на Дону руки тогда не дошли: царь долго воевал...

Дальнейшая история донских шахт зафиксирована уже не только в памяти народа, а и в документах. В 1721 году у реки Кундрючьей нашел уголь подьячий Григорий Капустин. Об этом доложил царю, и Петр издал указ, в котором писал: «На Дон, в казачьи городки, в Оленьи горы да Воронежскую губернию под село Белогорье для копания каменного угля и руд, которые объявил подьячий Капустин, из Бергколлегии послать нарочного, и в тех местах того каменного угля и руд в глубину копать сажени на три и больше, и, накопав пудов по пяти, везть в Бергколлегию и опробовать...» Столица сначала забраковала донской уголь, но Капустин проявил характер. Защищая авторитет своей находки, он писал в Бергколлегию: «С каменного угля, взятого в казачьем городке Быстринке, и в Туле, и в Москве пробы чинили. Делали кузнецы тем каменным углем топоры и подковы новые, и они, кузнецы, то уголье похваляли и сказывали, что от него великий жар, а в Санкт-Петербурге по пробе иноземцы то подписали, что будто жару от них нет. Знатно, несущую пробу чинили».

Тяжба закончилась через много лет. В 1805 году около реки Грушовки старшина Войска Донского Попов построил хутор, где вскоре была открыта первая угольная шахта. С хутора и пошел город.

Чиха охотно взяли работать навалотбойщиком на шахту «Южная» — так тогда называлась «Майская».

В тот год ему исполнилось 35 лет. Внешне все как будто до этого устраивалось нормально: он воевал и остался жив, победу отпраздновал в Кенигсберге; демобилизовавшись, приехал в Армавир, стал работать механиком на консервном заводе; женился, родилась дочь. Но... Душу не покидало какое-то — вроде и беспричинное —

беспокойство, некое ощущение непрочности и несерьезности складывающейся жизни. Наверно, ему еще предстояло открыть для себя что-то очень важное...

Наступил день первого спуска в шахту. Пока шли к стволу рабочие бригады, молодые, здоровые парни, весело подшучивали друг над другом и, конечно, над новичком. Чиху их шутки не нравились — он считал, что товарищи с подначками могли бы и подождать, — но и надуть губы, тем более ссориться с ребятами не хотелось... Когда самый бойкий парень, кося на Михаила насмешливые глаза, начал рассказывать «страшную историю», «недавно случившуюся» в забое, Чих уже знал, что скажет в ответ.

Пришли в лаву. Бригадир Обушников стал распределять «паи». Тут Чих впервые услышал слово «рештак». Оказалось, что это — металлический желоб, часть скребкового конвейера; навалотбойщикам он служил и мерой труда: один рештак — 2,5 метра забоя. Обушников молча выслушивал «заказ» и так же молча отмерял: кому — два, некоторым — три рештака, самые опытные и мускулистые ребята брали по четыре-пять рештаков. Когда подошла очередь Михаила, он попросил:

— Мне — девять рештаков.

Бригадир задержал луч лампочки на лице Чиха. Человек он был добрый и не хотел худа новичку.

— Девять рештаков — это девяносто тонн угля. Ты это знаешь?

Чих сам уже все подсчитал — точно, 90 тонн за смену придется перекидать лопатой на конвейер.

— Осилю, бригадир.

И осилил! Когда бросил последнюю лопату, болела спина, грязные ручки пота текли по лицу, руки, казалось, больше не способны были даже пошевелиться, а сердце торжествовало: смог, победил!.. Может быть, именно в ту минуту Чих и сделал для себя так недостававшее ему важное открытие: такие мгновения и есть главные мгновения жизни.

Обушников подошел к Чиху, когда тот уже закреплял забой. Молча помог подбить одну стойку, вторую, наконец тихо спросил:

— Откуда в тебе столько силы, Миша?

Чих впервые за этот день улыбнулся:

— Спроси у мамы...

Сказал в шутку: родителей у Чиха давно уже не было в живых. Подарив своему третьему сыну крепкое здоровье, средний рост, крупные черты лица и упрямый характер, они умерли от голода в своем родном селе Ворошиловка, возле Юзовки. Мише тогда исполнилось 8 лет, старшие братья, не зная, как выжить самим, отдали его в детдом.

Да, Чих знал, на что при желании способен человек, но в последние недели лава вела себя уж очень безобразно: забой пришел в район особо сложных горно-геологических условий, кровля непрерывно осыпалась и не давала работать. Откуда тут было взяться хорошему настроению?

Однако где-то рядом со злостью бригадир все отчетливее начинал ощущать разгоравшийся в нем азарт: чего стоила бы жизнь, если бы человеку в ней не приходилось пробовать себя до конца!

3

Вместе с Валерием Бондарем, звеньевым, подошел и горный мастер Михаил Панченко. Бригадир, конечно, узнали, остановились, но, поздоровавшись, с разговорами не торопились. Знали: если работа в лаве идет плохо, говорить с «папой» (так шахтеры бригады между собой называют Чиха) трудно.

Чих начал первым:

— Струг стоит?

— Стоит, Михаил Павлович. — Бондарь, приободряясь, поправил на ремне аккумуляторную батарею. — На конвейер обрушился большой кусок породы. Тонн пять.

— Ну и что? Тебе это впервой? — Сделал паузу, во время которой пытался остыть, но, поняв, что этого не получается, рассердился еще больше... — Хорошо же вы подготовили рабочее место для первой смены...

— Старались, Михаил Павлович, два часа лишних работали.

— Ну, а толк? Породу убрали?

— Не получилось.
— Надо было распалить!
— Взрывники потратили всю взрывчатку,— из-за спины звеньевого подал голос Панченко.
— Почему мало взяли? — осветил его лицо Чих.
— Больше им не дают. Говорят...
— Ты — горный мастер! И отвечаешь за это! Какое мне дело, что где-то кто-то говорит чушь?.. Ну и куда вы теперь? Домой?
Бондарь обиженно отвернул голову. Выдохнул:
— Идем за взрывчаткой. Палить будем.
Чих, одобряя это правильное решение звеньевого, едва кивнул козырьком каски и пошел дальше.
Наконец увидел желтое пятно света и серую пыль, волнами клубившуюся вокруг одинокой лампочки. Здесь начиналась лава.

Автору не обойтись без небольшого технологического отступления: тем, кто не был в шахте, надо объяснить, как выглядит рабочее место Чиха и его товарищей.

Итак, на глубине 700 метров почти горизонтально (уклон небольшой) лежит пласт угля. Его площадь — квадратные километры, а толщина, как уже говорилось, скромная — меньше метра (в иных местах — полметра). Как выбрать эту начинку из каменного пирога?

Подземный организм шахты сложен. В ней есть огромное хозяйство по обеспечению производства электроэнергией, службы, ведающие вентиляцией (в минуту мощные вентиляторы прогоняют 20—30 тысяч кубометров воздуха), откачкой воды (в час до 600 кубометров); в ней проделаны десятки штреков-ходков, вентиляционных и грузовых штреков, проложены километры конвейеров, есть железная дорога, по которой маленькие электровозы перевозят вагонетки. Но главное рабочее место в шахте — очистной забой или лава: здесь добывается уголь.

Лава — это подземный коридор, разрезающий по горизонтали угольный пласт. Ее длина — 200 метров, ширина — около 3 метров (она равна ширине крепи), а высота — меньше метра (высота лавы диктуется толщиной угольного пласта; в частности, поэтому шахтеры любят толстые пласты — в забое тогда не надо извиваться ужом).

Поскольку угольный пласт залегает под уклоном в несколько градусов, различают верх лавы и низ. Перпендикулярно к концам лавы подведены два хода — верхний штрек и нижний штрек (по верхнему штреку и подошел к лаве Чих). Вдоль всего 200-метрового коридора, у самого угольного пласта, смонтирована струговая установка. Принцип ее работы прост: стальной резец — струг, закрепленный на цепях, прижимаясь к угольному пласту, с огромной скоростью движется вдоль лавы и выстругивает антрацит из породы. Уголь при этом рушится на скребковый конвейер, который и выносит топливо в нижний штрек. Оттуда по ленточному конвейеру уголь движется дальше — к вагонеткам.

Шахтеры — звено десять человек — обеспечивают работу струговой установки и управляют крепью. Струговая установка, выбирая уголь, все время движется вперед. Вслед за ней рабочие передвигают и крепь. Освободившаяся от «крыши», уже не нужная задняя часть забоя от горного давления обрушивается. Таким образом, лава, все время двигаясь, постоянно сохраняет свои параметры.

Вот в таком коридоре (напомню только один его параметр: высота — меньше метра) и работает смена шесть часов.

У верхнего привода струга что-то подкручивал на конвейере помощник машиниста Михаил Демочка. Чих, наклонив голову, прошел мимо него, потом, встав на четвереньки, сунул голову в щель, изнутри освещенную тусклым светом шахтерских лампочек. Кинул руки вперед, подтянул колени...

«Папа» в лаве... Эта информация, мгновенно переданная всему звену, заметно изменила настроение смены. Все знали, что Чих плохой работы не прощает, а тут вовсе нет полезной работы, струг стоит уже часа два (треть смены!). Конечно, можно успокоить совесть, посмотрев на вывалившийся с «крыши» забоя огромный кусок породы, — на «КАМАЗе» не увезешь. Но угля-то нет. И не будет до тех пор, пока они не уберут с конвейера этот злополучный кусок. Только как его убрать?

С начала смены не шла работа, ребята суетились, хватались то за лопаты, то за отбойные молотки, нервно покрикивали друг на друга. Нет, «папе» похвалить их сегодня не за что...

Но все понимали и другое: бригадир обязательно найдет выход из тупика, в который их загнал проклятый монолит. Значит, будет главное — уголь.

Минуты металлургические стойки крепи, по кускам породы, вдавливавшимся в живот, Чих пробирался по лаве. Метров через пятьдесят лампочка осветила серые бока упавшего на конвейер куска породы. Он действительно был огромен и, казалось, намертво придавил два рештака струговой установки. Бригадир прополз еще несколько метров вперед, внимательно осмотрел место, где остановился сам струг, снова на правил лампочку на обвалившийся монолит...

— Бери молоток, — негромко сказал оказавшемуся рядом с ним Виктору Переяслову, звеньевому.

Переяслов кинулся в темноту и через мгновение вынырнул из нее, держа в руках отбойный молоток, за которым тащились резиновые шланги.

— И ты. — Чих кивнул Виктору Комарову. — Оба постарайтесь отбить у породы ту часть, что прикрыла угольный пласт.

Шахтеры поползли к завалу, приподнялись на полусогнутых коленях, и через минуту молотки, высекая красные искры, уже вгрызались в крепкое тело монолита.

Чих, облокотившись на бортик все еще стоявшего конвейера, молча наблюдал за их работой. Он надеялся, что, отбив у монолита часть подножья — ту, что лежала на рештаках, — можно будет запустить струг, а значит, звено, пока придут взрывники (без них, конечно, весь этот кусок породы из забоя не уберешь), не станет терять зря время.

Звеньевой заползал то с одного, то с другого бока камня, всей грудью наваливался на молоток. Комаров уже работал на спине, пытался подсесть породу снизу. Минут десять отстукивали свою глухую дробь молотки, и казалось, монолит им не по зубам. Но вот по камню побежала трещина, и большой кусок породы, отделившись, упал на транспортер. Потом отвалился еще один кусок породы, еще...

Чих наклонился к микрофону переговорного устройства, укрепленному на бортике конвейера.

— Низ, низ, — громко позвал машиниста струга, сидевшего на другом конце лавы, примерно в 150 метрах от бригадира.

— Слушаю, Михаил Павлович, — тотчас же отозвался «низ».

— Прогони струг.

Последовала пауза, и Чих нетерпеливо крикнул в микрофон:

— Плохо слышишь, Пойманов?

— Не поломаемся, Михаил Павлович?

Машинист боялся: не слишком ли рискует бригадир. Но Чих опытным взглядом видел: в щель, образовавшуюся между угольным пластом и монолитом, струг пройдет.

— Прогони, — строго повторил он.

Все в лаве — и те рабочие, что занимались крепью, — на минуту остановились, замерли. Наступала ответственная минута.

С шумом промчался струг — никаких преград на его пути действительно уже не было! Высеченный из пласта антрацит повалился на транспортер...

Из лавы пошел уголь!

Через полчаса Чих уже был у нижнего конца забоя. Остановился возле сидевшего у привода струговой установки машиниста Петра Пойманова, кинул взгляд на цифры в зеленом глазке, дрожавшем на аппарате, — это был счетчик, показывавший, сколько раз струг пробежал вдоль лавы. Потом посмотрел на часы: полсмены прошло, а струг по-настоящему лишь начинал работать. Торопиться надо... Его белая рубаха уже наполовину была грязной, по черному лицу медленно текла струйка пота

И вдруг в лаве опять стало тихо.

— В чем дело?! — кинулся Чих к микрофону. — Почему остановились?

Верх пробасил в динамик:

— Пришли взрывники.

Через несколько минут раздался глухой взрыв, сразу же за ним — второй. Едкий запах взрывчатки защекотал ноздри, а вскоре транспортер, вновь включенный, уже уносил в нижний штрек обломки так помучившего сегодня бригаду монолита.

Потом опять пошел уголь.

Чих, пригнув голову, сделал два шага вперед и наконец-то выпрямил спину. Лавы кончилась. Освещенный редкими лампочками, тянулся нижний штрек, по левой стороне его, нагруженная углем, бежала лента конвейера. Бригадир прошел по штреку несколько метров и сел на большой кусок породы, прислоненный к каменной стене. Снял трубку телефона, висевшую на основной стойке, назвал номер диспетчера на погрузочном пункте. Когда трубка ответила, спросил:

- Сколько вагонеток погрузили?
- За сегодняшние сутки — триста.
- Спасибо...

Повесил трубку. «Очень мало...» По расчетам Чиха, бригада, чтобы выполнить обязательство, должна сейчас добывать в сутки минимум тысячу вагонеток.

4

В два часа дня в лаву пришла смена — звено Валерия Фандеева. Оно было одним из самых надежных в бригаде, поэтому именно с ним Чих решил сделать рывок. Пусть не посетуют ребята, если он будет слишком суров...

Чих, обдумывая тактику наступления на лаву в ближайшие шесть часов, молча сидел рядом с машинистом струговой установки. С шумом, чем-то напоминавшим морской прибор в хороший шторм, прибегал в нижний конец лавы и вновь устремлялся к ее верхнему концу могучий струг: звенели цепи, тершиеся о каменное дно лавы: грохотал, падая на конвейер, уголь... Звуки работающего забоя заметно улучшали настроение бригадира.

Теперь нельзя было терять ни минуты. Успех придет, если удастся увеличить время работы струговой установки. Что для этого нужно? Быстро устранять неисправности у техники (а случаются они, к сожалению, часто: работать под землей тяжело не только людям, а и механизмам из стали), вовремя передвигать крепь, не позволяя породе осыпаться. Кто из шахтеров этого не знает? Прописные истины, о них молодым ребятам рассказывают еще в ПТУ. Но у одних эти действия получаются лучше, у других хуже. И вовсе не потому, что одни открыли для себя какие-то особые секреты, а другие их не знают. Дело и не в степени прилежания; лодыри в шахту, где заработок напрямую зависит от количества добытого угля, не ползут, они «найдут себя» на менее пыльном рабочем месте. Дело в степени мастерства: одни могут то, чего другие не могут.

На «Майской» все долго восхищались девятью рештками молодого навалоотбойщика, но Чих вовсе не собирался надолго оставаться «лидером лопаты». Кончив без отрыва от производства специальные курсы, он за два года стал на предприятии лучшим машинистом угольных комбайнов. Назначили бригадиром — начал добывать в комбайновой лаве столько угля, сколько на шахте не добывала тогда ни одна другая бригада. Появилась на «Майской» струговая установка, работая на ней, соседи в месяц выдавали на-гора до 35 тысяч тонн антрацита; Чих получил вторую такую установку, и в первый же месяц бригада сделала 36 тысяч тонн. Одним из первых в стране Чих в 1974 году дал миллион тонн угля. За десятую пятилетку бригада добыла рекордное количество топлива — 6 миллионов 400 тысяч тонн, — столько, сколько добывает сейчас на хороших пластах крупная шахта! Одиннадцатая пятилетка для бригады была отмечена еще несколькими всесоюзными рекордами... Сейчас производительность труда каждого рабочего у Чиха в 4 раза выше производительности рабочего в среднем по стране. В 4 раза!

Конечно же, Чих — талантливый человек.

Но талант — свойство незащищенное, чтобы воплотиться в Необычное, ему нужны, как говорится, соответствующие условия. Талант — дар божий, а вот условия — дар, в значительной степени уже благоприобретенный самим человеком. Чих, прокладывая себе дорогу в жизни, не хитрил перед людьми: подростком старательно пас скот, потом так же добросовестно работал слесарем, трактористом, шофером... Очень рано поверил в истину: «побеждает тот, кто умеет трудиться» и стал трудиться — воспитал в себе завидное свойство людей, которых радуют не только результаты труда, но и путь к этим результатам. Для Чиха каждый метр в лаве таит интригу, загадку, ему по-настоящему интересно единоборствовать со стихией в сотнях метров под землей, а победа в этом единоборстве доставляет самую

большую радость. Радость удесытерется от сознания, что ты — на переднем крае жизни, твой уголь, питающий энергетическое сердце страны, в государственных статистических отчетах стоит в первых строках, а в важнейшем документе современности — проекте новой редакции Программы партии — прямо сказано: «Важнейшая задача — эффективное развитие топливно-энергетического комплекса страны». Важнейшая задача!

Страна хорошо платит Чиху за нелегкий труд — и деньгами и славой. Он — дважды Герой Социалистического Труда, в центре Шахт установлен его бюст из черного мрамора; Чих награжден четырьмя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, он — заслуженный шахтер РСФСР, полный кавалер знака «Шахтерская слава», лауреат Государственной премии СССР, дважды уже избирался делегатом на съезды партии... Человек живет ради доброго слова тех, «чей дорог суд», а тут вся страна адресует тебе заслуженные аплодисменты. Что еще нужно человеку?

Нужно еще движение. Как бы ни был высок рекорд, душа Чиха не приелет долгого ликования по поводу достигнутого. Один газетчик, отдавая дань некоторой патетике, но, в сущности, справедливо писал как-то о знаменитом шахтере: «То, что еще вчера казалось Чиху пределом, сегодня для него — уже пройденный рубеж, а высота, взятая сегодня, становится плацдармом для штурма завтрашнего рекорда».

Чих всю жизнь поднимается вверх по крутым ступеням. И подъему на очередную ступень всякий раз предшествует нечто Новое, открытое бригадиром.

...Много сил у шахтеров отнимала кровля забоя — приходилось вручную передвигать по лаве громоздкие и тяжелые металлические стойки. Во время одной из поездок в Москву Чих рассказал министру Братченко: «Таскаем, Борис Федорович, тумбы по лаве. В отрасли много институтов, в них — сотни научных сотрудников, конструкторов. Неужели они не могут придумать для нас более удобную крепь?» Министр, минуту подумав, ответил: «В Шахтах есть наш исследовательский институт. Попробуем, Михаил Павлович, начать с него».

Заключили с институтом договор. За важное дело взялись доктор технических наук Матвеев, конструкторы Бондаренко, Литвиненко, Туров. Они не раз спускались в лаву, советовались с бригадиром, испытывали опытные агрегаты. Реализовывалась идея соединить струговую установку с гидравлической крепью — «крышей», состоящей из металлических секций, которые поддерживались бы домкратами и могли передвигаться. Идея оказалась плодотворной: новая крепь в струговой лаве появилась. Каждая секция ее весит около 3 тонн, но рабочему, чтобы передвинуть ее, достаточно небольшого усилия — надо лишь повернуть ручку. С тумбами навсегда было покончено, а бригада, надежно защитив себя железной «крышей», стала добывать в сутки значительно больше, чем добывала до этого, — две тысячи тонн угля. ...Струговая установка, проработав два часа, продвинулась в лаве на 2 метра. Машинист, как и полагалось по инструкции, остановил механизм: надо было закрепить выработанное пространство. А нельзя ли обойтись без таких остановок? Если изменить традиционный способ крепления забоя, если... Чих, глядя на замерший конвейер, решал давно мучившую его проблему, а на другой день, вечером, отправив в лаву третью смену, задержался в кабинете начальника участка.

— Думаю, можно принять новый паспорт крепления. — Развернул примятую тетрадь.

Предложение бригадира, уточненное инженерами и внедренное в забое, помогло тогда Чиху выйти на новый рубеж производительности: в сутки его коллектив стал выдавать на-гора по три тысячи тонн антрацита. ...Чих предложил удлинить лаву и усовершенствовать струговую установку: вместо одного скребкового конвейера поставить два, увеличить толщину стружки угля, заменить шестерни на конвейере — чтобы увеличить скорость движения цепи. Специалисты и на этот раз уточнили расчеты, механики переоборудовали струг, и бригада стала добывать в сутки по семь тысяч тонн угля! ...Бригада в забое работала по так называемому графику цикличности: смены не были связаны единым производственным процессом, одна смена была целиком занята ремонтом техники. А если создать сквозную комплексную бригаду, все четыре смены сделать добычными, ремонтировать технику одновременно с выработкой, перемены осуществлять прямо в лаве, не останавливая конвейеров? Начальник участка поддержал и это предложение бригадира. Только спросил:

— А как будем считать работу?

— В целом сделанное не сменой, а бригадой. А заработок — по КТУ.

Так Чих одним из первых в отрасли внедрял наиболее прогрессивную форму организации труда — бригадный подряд, сыгравший большую роль, в частности, в последнее время, когда бригада стала работать на тонких пластах.

Какой огромный труд стоял за всем этим!

Незаурядность человека, его успехи искренне радуют, восхищают людей. Но, бывает, не всех: от яркого света таланта у иных в мелких душонках заводится зависть, и, глядишь, вслед за аплодисментами уже пополз грязный слухок: «Что-то тут нечисто...» «Проницательные» борцы за «справедливость» вот так просто объясняли порой успехи Чиха: «Ему создают особые условия: первому дали новый комбайн, новую струговую установку, первому установили гидравлическую крепь». Так, мол, и каждый смог бы поставить рекорд.

Нет, не каждый! Во-первых, технику, оборудование Чих получает строго по норме — столько же, сколько дают и остальным бригадам. Во-вторых, да, он действительно первым получает новые машины, но это потому, что Чих терпеливее и лучше других испытает, освоит и доведет их до ума! Не побоятся при этом временного снижения производительности и, следовательно, потерь в заработке... Спустили в лаву новую струговую установку, смонтировали ее, включили, и... «Проницательные» помнят, что было потом? Двигатели на струговом конвейере оказались маломощными, летели турбомуфты, диафрагмы, приводные звездочки... Сколько времени тогда провозилась бригада вместе со специалистами, чтобы исправить все это! Кто тогда завидовал Чиху? А гидравлическая крепь? Она тоже рождалась в немалых муках. Опытный образец испытывали в забое — целый год уточняли, меняли, совершенствовали. Поставили наконец под нагрузку, и из 25 домкратов половина не вынесла горного давления, вышла из строя. Усилили домкраты — через неделю перестали передвигаться секции... Бригада все это время выполняла план (что само по себе было удивительным!), но находились «доброхоты», которые, посмеиваясь, «мудро» советовали махнуть рукой, плюнуть на все, беречь здоровье. Чих устоял перед всеми трудностями и довел дело до победы. Воля человека — тоже одно из соответствующих условий, нужных таланту, чтобы раскрыться.

...Посмотреть новую крепь на шахту приезжал министр. Спустился в лаву. Кроме крепи ему, очевидно, хотелось собственными глазами увидеть и тех, о ком накануне его отъезда в Шахты сообщила оперативная министерская сводка: «Бригада Чиха на шахте «Майская» за прошедшие сутки выдала рекордное количество угля...», посмотреть на «черных богатырей» не в зале торжеств, а вот тут, в забое. Прислонившись к металлической стойке, он долго наблюдал за работой смены.

Летело время. Струг если и останавливался, то, к счастью, ненадолго — поломки были незначительными.

Крепь, крепь надо вовремя подтягивать, постоянно держать «крышу» на минимальном расстоянии от стругового конвейера — от этого сейчас зависит ритм работы в лаве. Кто там суетится вокруг стойки? Секция опустилась почти до самого края домкрата, надо срочно... Чих знал, что надо сделать срочно, а вот рабочий, похоже, еще обдумывал свой маневр.

Бригадир втиснул бока между двух больших кусков породы и через минуту был у зажатой секции.

— Чего крутишься?

— Да вот...

— Вовремя надо было подтянуть секцию! Бери молоток....

Рабочий проворно уполз по лаве на несколько метров вниз и вскоре отбойным молотком уже колотил породу в полу забоя: чтобы заработал домкрат, надо было опустить зажатую горным давлением стойку. Навалясь на два огромных кулака — на одном из них блестело золотое обручальное колечко, — парень изо всех сил держал дрожащий молоток. Не утерпел, пожаловался:

— Крепкая порода.

— А ты должен знать, как с нею справиться. Зайди вот так...

Из-под молотка летели искры, порода не сдавалась, стреляла мелкими осколками. Рабочий снял куртку, и через минуту его мокрая на спине рубашка была серой от пыли.

С неодолимой силой струг чесал угольный пласт: 200 метров вверх, столько же под уклон. Но вот машинист выключил установку. Чих повел луч лампочки влево

вдоль угольного пласта и увидел: метрах в десяти в передней части забоя порода обрушилась на конвейер. Завал! Самая большая неприятность для рабочих очистных забоев. Порода над угольным пластом оказалась столь слабой, что обрушилась сразу же вслед за проходом струга — до того, как рабочие успели продвинуть крепь. Завал — это остановка угольного конвейера, это работа всей смены на пределе физических возможностей, наконец, завал — это появление в забое опасного места. над головой у рабочих еще нет «крыши», а надо ползти и разбирать породу. Мужество шахтера проверяется, в частности, тогда, когда не раздумывая надо кинуться к завалу.

Чих первым оказался возле опасного места. Правой рукой обхватил лежавшую рядом деревянную шпалу и по-пластунски пополз. Тут же появились трое помощников. Бросив в их сторону беглый взгляд, Чих узнал Валерия Фандеева, звеньевого.

Кровля, надежно поддержанная деревянными стойками, наконец перестала осыпаться. Чих устало скомандовал в микрофон:

— Низ, низ! Прогони струг.

Машинист тотчас же включил привод. Струг несколько раз прошел по осыпавшейся породе, вынося ее из забоя потом вышел на чистый угольный пласт.

Бригадир был доволен: завал ликвидировали быстро.

Чих прислонился к стойке, расслабил плечи. Шел десятый час его работы в лаве. Если и дальше дела сегодня пойдут так, как идут сейчас, бригада, пожалуй, сделает за сутки 3,5 тысячи тонн... Если не потеряет темпа... Бригадир краем уха прислушивался к негромким командам звеньевого.

Но через несколько минут у самого верха лавы опять раздался его глухой и требовательный голос:

— Ну, а этот козырек почему не срезаешь? Хочешь придавить струг? Уже сегодня имели дело...

Молодой рабочий сгоряча (смена шла к концу, и уже все устали) огрызнулся:

— А я тут при чем?

Чих не прощал такой логики. Прикрикнул, не скрывая раздражения:

— Вот ты какие слова знаешь? Живо бери молоток!

На этот раз порода поддавалась легко. Нижняя часть козырька, быстро подрезанная отбойным молотком, упала на транспортер, рабочий, манипулируя ручками домкрата, под нависший монолит выдвинул железную «крышу» крепи.

Чих повернул голову к тем стойкам, где работал звеньевой. Луч лампочки упал на плечи Фандеева, склонился по его большим рукавицам, державшим тяжелую деревянную стойку. Вот он легко поднял ее, направил на крышу секции, с другой стороны секции стойку так же ловко подхватил Николай Коваленко... Чих придирчиво наблюдал за их четкими действиями и не находил в них ни малейшего промаха.

«Железные хлопцы...»

5

Чих любит свою бригаду. В лаве это, может быть, и незаметно, потому что забой — необычное рабочее место. На шахте охотно вспоминают, как однажды под землей у них побывал один литератор-драматург. Делясь в узком кругу впечатлениями, он не без доли юмора и всем понятной фантазии рассказывал: «Ползу я за Чихом по лаве, а лаве той конца-краю не видно. Лег на живот, не успел прислушаться, как стучит собственное сердце, глянул — Палыча уже нет, исчез за камнями. Пополз я снова — на тусклый свет впереди. Вдруг открывается передо мной что-то вроде пещеры, а в ней — пыль, лампочки прыгают, черные лица, белки глаз, зубы сверкают, шум, гам, слова всякие, и Чих уже размахивает руками — подключился к этому хору. Как черти в аду...» Тут, конечно, многое сказано в шутку, для красного словца, но одно безусловно верно: работа в лаве требует от людей не только большого физического, но и нервного напряжения. А как известно, лучший способ сберечь нервные клетки — это не переживать молча, дать эмоциям возможность выйти наружу. Может быть, поэтому и установилось в забое неписаное правило: не носить камень (даже мелкую гальку) за пазухой, и если в лаве что-то не так, бригада быстро находит слова, с помощью которых восстанавливает порядок. Тут как в хорошей семье: крепче любят друг друга, но и строже спрашивают друг с друга.

У Чиха к своему коллективу — особое тепло. Здесь хорошо понимают бригадира и быстро становятся мастерами горного искусства.

Однажды Чиха пригласил к себе в кабинет директор шахты. Усадил в кресло, сам сел в другое — рядом. «Хочу попросить вас, Михаил Павлович, об одном одолжении — в прямом смысле слова, — так начал он тот разговор. — На соседнем с вами участке — там, вы знаете, такие же, как у вас, и угольный пласт, и струговая установка — бригада показывает низкую производительность. А мы ничего не можем сделать. Хочу одолжить у вас для той лавы ребят. Человек двадцать. Не возражаете? Пусть они покажут, как можно работать. Только сами не ходите...»

У Чиха отлегло от сердца. Он приготовился к худшему: думал, директор попросит отдать рабочих в чужую бригаду навсегда. Так уже не один раз было, и Чих, в общем-то, понимал, во-первых, неизбежность и закономерность таких потерь, а во-вторых, их полезность и для шахты и для его воспитанников (некоторые бывшие звеньевые Чиха, например Анатолий Носаченко, Владимир Куринов, Виктор Бандура, сейчас уже возглавляют бригады). Но сердце всякий раз болело: забирали-то лучших. Улыбнулся: «Одолжу, Борис Яковлевич».

Двадцать рабочих Чиха на трое суток влили в соседнюю бригаду — по 5 человек в каждую смену. За первые сутки лава, из которой до этого добывали не более 400 тонн угля, выдала на-гора 800 тонн топлива, за вторые — 1100, за третьи — 1300. Но стоило чиховцам вернуться на свои места, как выработка у соседей стала прежней.

Здесь знали, что надо делать, но не хватало той малости, которая обычную работу делает работой мастерской. Не хватало школы Чиха¹.

В коллективе есть и еще одна «малость»: общий дух, общая, как сказали бы ученые-социологи, нравственная концепция. Откуда это появилось? Сложный, специальный вопрос, и, конечно, Чих никогда над ним не задумывался. Но он постоянно ощущает этот дух и знает его удивительную силу. ...Струг остановился — порвалась цепь. Осмотрели установку и обнаружили: кроме цепи, износились редукторы, решетки, ведущие короба. Решили, что механизм свое отработал, пора менять.

Легко сказать — менять! Начальник участка, когда Чих сообщил ему эту крайне неприятную для него (как, впрочем, и для бригады) новость, хлопнул ладонью по столу:

— Вы с ума сошли — менять струг! Конец месяца, план не выполним! Ты же знаешь, Михаил Павлович, сколько времени потребует ремонт.

Чих знал: по норме — 10 суток. Начальник механического цеха на все просьбы бригады сократить срок ремонта отвечал категорически:

— Двести сорок часов — это минимум. Техника работает под землей, она должна быть надежной.

Чих, конечно, тоже думал о плане, но он видел, что, без конца ремонтируя изношенную струговую установку, бригада к концу месяца задание все равно не выполнит. Поэтому стоял на своем:

— Будем менять. А чтобы не сорвать план...

Накануне этого разговора бригада на собрании приняла решение: спуститься в лаву на выходные дни и помочь механикам отремонтировать струг...

Чих давно не видал такой неистойвой работы. Струговая установка весит 60 тонн. Старую надо было разобрать, вынести из лавы, поднять на поверхность, новый механизм — опустить, смонтировать... Нет, вовсе не завышенной была норма для такой работы — 240 часов.

Все было сделано за 36 часов.

Сколько за 30 лет было таких эпизодов! Менялись в бригаде люди (шахтеры в 50 лет уходят на пенсию), но как эстафета передавались вновь прибывшим в коллектив не только мастерство, а и вот эти нравственные устои. Один Чих, даже сознательно стремился он к этому, не справился бы с подобным делом — уж слишком оно хлопотно и деликатно; нравственные устои берегли, хранили, передавали новичкам все они вместе, и в первую очередь те, кто нес за дела в бригаде особую ответственность, — коммунисты.

На коммунистов (а в каждом звене есть своя партийная группа) Чих мог спокойно положиться всегда, в самые трудные минуты. Помнится... Несколько лет назад под Новый год в лаве произошел большой обвал, конвейер, засыпанный породой, встал.

¹ Об этой школе могла бы быть специальная, технологическая, глава очерка. Ограничусь тем, что упомяну: в лавах Чиха стажировались свыше 5 тысяч шахтеров из Ростовской области, Донбасса, Подмосковского, Карагандинского, Воркутинского и других угольных бассейнов страны. Показывал бригадир свое мастерство и зарубежным горнякам, специально для этого приезжавшим в Шахты.

Срывался график добычи угля в последние часы года. Чих из забоя передал на поверхность сигнал о помощи, и 28 коммунистов бригады — у них этот день был выходным — через два часа были в лаве. Завал ликвидировали, струг запустили и недостававшие тонны топлива «сделали», но за праздничные столы уже не успели — Новый год встречали тут же.

Чих вспоминал, в частности, об этом эпизоде, читая в проекте новой редакции Программы партии слова: «Принадлежность к партии не дает никаких привилегий, а означает лишь более высокую ответственность за все, что делается в стране, за судьбы коммунистического строительства, общественного прогресса. Каждый коммунист обязан быть образцом в труде и в поведении, в общественной и личной жизни. От того, насколько полно проявляется авангардная роль коммунистов, во многом зависит прочность связей партии с массами, ее авторитет в народе. Партия постоянно будет усиливать спрос с каждого из своих членов за отношение к своему долгу, за честный и чистый облик партийца, оценивать его по делам и поступкам». «Вот так,— размышлял Чих над чеканными строками,— не по словам, а по делам и поступкам...»

Да, Чих никогда не задумывался над тем, как сложился в бригаде здоровый моральный климат. Но, бесспорно, сам он активно помогал этому процессу.

Он делал это лучшим способом — примером. ...Каждый день Чих проводит в лаве не по шесть часов, а как минимум по девять-десять. Молодые ребята, видя, как вкалывает бригадир, без лишних нравоучений проникаются не только уважением к нему, но и его моралью: если работать — то с максимальной отдачей, вполсилы жить не стоит. ...Получив приглашение «почтить своим присутствием» очередное мероприятие, где он нужен в качестве «свадебного генерала», Чих надевает парадную шахтерскую форму и, конечно, идет по указанному адресу, но, отсидев полагавшийся по регламенту часы, всякий раз спешит переодеться и спускается в шахту — даже если на дворе уже ночь. Мероприятие, может быть, кому-то и было нужно, но для Чиха время, проведенное на стороне, — потерянное время, и надо наверстывать упущенное. И в этом — мораль: свое дело каждый должен делать лично. ...Однажды приехал на «Майскую» шахтер из другого бассейна — передовик, о нем много писали в газетах. Познакомились они с Чихом, не без пользы поговорили — обменялись опытом — и решили вместе спуститься в шахту. Оделись, вышли к автобусу, чтобы ехать к стволу. Но тут подбежал фотокорреспондент местной газеты и попросил разрешения щелкнуть. «Конечно, лучше бы это сделать после лавы, лица были бы выразительнее». — Репортер торопливо готовил аппаратуру, а Чих увидел: его новый знакомый спокойно достал из кармана какие-то коробочки, и через минуту лицо его стало черным. Загримировался! Чих решительно отказался фотографироваться. И в этом как будто незначительном поступке была мораль: нельзя фальшивить. ...Чих знал в жизни не только победы. Когда ему дали первую бригаду, он быстро сделал ее лучшей на шахте. Секрет того успеха был простым: Чих заставил людей работать. Но кое-кому стиль нового бригадира пришелся не по нраву, милее были старые порядки. А тут случилась промашка: куском породы Чих в лаве поранил руку, на некоторое время лег в больницу. И «обиженные» быстро подсуетились — уговорили руководителей шахты дать им нового бригадира. Начальник участка поддержал их ходатайство — предал своего молодого помощника, так старавшегося хорошо работать, сутками не выходявшего из лавы... Потом рабочее собрание дружно осудит все это, а руководство шахты отменит несправедливое решение. Но Чих категорически откажется вернуться в бригаду, рядовым горнорабочим уйдет в соседний забой: уже в те годы он считал, что предательство — грех последний, непоправимый.

6

Пришла третья смена. Александр Беленький, замещавший в последние дни звеньевое, встретив бригадира у входа в лаву, улыбнулся:

— Узнал: шестьсот пятьдесят вагонеток уже нагрузили сегодня нашим углем. Давно такого не было.

Чих устало поднял на него глаза:

— На вашу долю осталось немного — триста пятьдесят вагонеток.

Беленький от неожиданности на мгновение замер, 350 вагонеток за смену на этом пласте они до сих пор не добывали (он еще не знал, что такую выработку только что дало звено Фандеева). Но раз бригадир сказал...

— Попробуем, Михаил Павлович.

Чих верил: в эту смену ребята должны погрузить тысячную за сутки вагонетку. Для этого он, кажется, продумал все.

Смягчил голос:

— Попробуйте, Саша. Обрати внимание...

Присели рядом — у привода струга. В это время вышел из лавы, выпрямился в полный рост Фандеев. Чих, посмотрев на него, про себя отметил: лицо звеньевого, черное, запорошенное пылью, заметно осунулось — нелегкой была смена. Отстегнув ремень на поясе, протянул батарею на ладони:

— Поменяемся, Валерий, аккумуляторами.

«Папа» остается в лаве еще на одну смену!.. Не снимая каски, Фандеев прикрепит над козырьком заметно севшую лампочку Чиха, пристегнул к боку бригадирский аккумулятор и, попрощавшись, пошел вверх по штреку.

— Так вот, Саша, обрати внимание...

Лава наступала.

Чих, двигаясь к верхней части забоя, на минуту остановился передохнуть возле борта конвейера. Он любил смотреть на уплывающий из лавы уголь, ему иногда казалось, что здесь, под землей, в этих черных кусках антрацита есть какая-то одушевленность, тайна. Но сегодня было не до тайн. Смене предстояло сделать последний за нынешние сутки рывок, и от него, бригадира, в немалой степени зависело, каким он будет... Пополз дальше и вскоре уже строго спрашивал у молодого широкоплечего парня:

— Почему отстала секция? Это твой пай?

— Мой.— Парень рукавицей вытер пот со лба.— Давление в шлангах упало.

Этого еще не хватало! Чих отыскал ближайший микрофон селектора.

— Мотор, мотор... Позови Германоза. Германов!

Голос гидравлика был едва слышен.

— Да, я... Знаю, Михаил Павлович... Не работает насос.... Перебрал все, сейчас меняю клапана.

— Меня не интересуют ни твой насос, ни твои клапана, понял?! Если ты через несколько минут не дашь давление...

Парень, по-прежнему возившийся у стойки крепи, вскоре сообщил:

— Домкрат работает нормально.

Ребята — видно было по всему — старались изо всех сил, а Чих точными распоряжениями то на одном, то на другом рабочем месте (он все время передвигался по лаве) поддерживал высокое напряжение. Настроение бригадира заметно улучшилось, хотя и раздражали досадные мелочи.

По-прежнему неустойчивой была кровля — ладно, тут винить было некого. Но вот несколько минут в лаву не подавали воду — что-то там случилось с магистральной трубой. Почему случилось? Есть же люди, отвечающие за это дело. Люди есть, а ответственности нет... Придумали: «ответственный работник» — про высокое начальство. А остальные безответственные? Попробовал бы рабочий, который из компрессорной подает в шахту воздух, быть безответственным... Полетела струговая звездочка — рано, по всем нормам должна была продержаться еще недели две, хорошо, что есть запасная. О, эти запасные части — звездочки, шланги... Днем с огнем ищем — на других шахтах выклянчиваем, у спекулянтов втридорога покупаем. Кто конкретно ответит (и ответит ли?) за все это?

О технике, работающей под землей, Чих в последнее время ни думать, ни говорить спокойно не мог.

Тридцать лет он трудится в очистных забоях — на врубовых комбайнах, струговых установках. Для своего времени это были хорошие механизмы ничего не скажешь. Но сейчас — век компьютеров, микропроцессоров, с космосом когда разговариваем, слышно лучше, чем по селектору Женю Бондарева, машиниста струга. А чем порадовали инженеры в век НТР шахтеров? О комплексной механизации в лаве все еще только разговариваем. В забое сохранились понятия «верхняя ниша», «нижняя ниша» — это углубления в угольном пласте в начале и в конце лавы, за которыецепляется струг, иначе он работать не может. Как делаются ниши? Отпаливают взрывчаткой края лавы, потом самые плечистые ребята берут в руки... лопаты — ин-

струмент, как известно, появившийся на вооружении шахтеров еще во времена Григория Капустина.

Струговая установка, конечно, намного увеличила добычу угля в забоях — грех обижаться на производительность механизма. А его надежность? В объединении Ростовуголь 80 процентов времени струговые установки не работают. 80 процентов! Вот где резервы. У Чиха струг стоит меньше, но вовсе не потому, что его бригада поставлена в какие-то особые условия. Технику ей не делают по специальному заказу, просто, как все у Чиха, эксплуатация струга, уход за ним здесь продуманы лучше, чем у других: почти все рабочие овладели смежными профессиями, в частности слесарным делом, каждое звено запаслось двумя комплектами ремонтного оборудования. Поломался струг — к нему бросаются не двое, как в других бригадах — машинист и его помощник, — а вся смена: одни снимают двигатель, другие вышедшую из строя турбомуфту... Но и в этой бригаде струговая установка, не проработав и года, изнашивается до такой степени, что ее надо выбрасывать (так и делают).

Однажды Чих вместе с директором по производству объединения Ростовуголь Писеевым были на приеме у министра. Братченко прямо спросил их: «Что бы вы хотели от нас в первую очередь?» И они, не задумываясь, ответили: «Дайте нам в лаву такой конвейер, чтобы хоть один год мог работать». Потом их пригласили на заседание коллегии, и они слышали, как министр по поводу ненадежности техники говорил нелицеприятные слова и своему аппарату и руководителям отраслевой науки. Чих, видя, как краснели министерские товарищи, жалел их, думал: ну, теперь дело пойдет.

Не шибко-то пошло. Где-то, говорят, создали опытные образцы новой подземной техники, испытывают специальные механизмы для добычи угля на тонких пластах, думают и о комплексной механизации подземных работ. Но когда эта новая техника придет в лаву? Через десять лет?

Когда инстанции, ответственные за новую технику, упрекают в неповоротливости или консерватизме, они, как правило, объясняют отставание «объективными причинами». Но какие причины заставляли, например, машиностроителей делать старые, малопроизводительные станки? Наделали их по несколько на каждого в стране станочника, теперь жалуемся, что их обслуживать некому. А зачем обслуживать этот вчерашний день? Кто мешал своевременно переключиться на производство роботов, обрабатывающих центров, техники, обеспечивающей гибкую технологию? В Ростовской области 60 процентов запасов угля содержится в тонких пластах, ясно, что они — будущее бассейна. Но почему до сих пор нет специальной техники по добыче топлива на этих пластах?

Не один раз Чих задавал все эти вопросы с авторитетных трибун, а в ответ — одни слова, слова... Все беды струга, говорят, — в плохом металле. Но почему технику, которая производит не пирожное, а вгрызается в каменные недра глубоко под землей, надо делать из плохого металла? Да потому, говорят, что металла не хватает. Ну, а если не будет хватать угля, откуда появится металл? Чиху не нужны слова, ему надо, чтобы в лаве была современная надежная техника, чтобы те, кому поручено ее делать, делали ее, а не рассказывали без конца о трудностях, которые они испытывают.

Конечно, он понимал, что кроме людей, которые плохо работают, есть еще и обстоятельства, тормозящие хорошую работу. Об этом остро говорилось на апрельском и октябрьском Пленумах ЦК партии, на совещании в ЦК по вопросам научно-технического прогресса. В проекте новой редакции Программы КПСС — в разделе «Совершенствование социалистических производственных отношений, системы управления и методов хозяйствования» — записано в первом абзаце: «Необходимую предпосылку ускорения социально-экономического прогресса общества партия видит в постоянном совершенствовании производственных отношений, поддержании их устойчивого соответствия динамично развивающимся производительным силам, в своевременном выявлении и разрешении возникающих между ними неантагонистических противоречий».

Сейчас в лаве в ожидании, когда рабочие заменят струговую звездочку, Чих вновь подумал о своей последней поездке в Москву. Десятки людей, с которыми ему удалось в этот раз поговорить по душам, как и он, жили одним — верой в добрые перемены. Эту веру всеяляла провозглашенная партией конкретная и конструктивная программа по совершенствованию всей жизни страны, всенародное желание, не жалея сил, взяться за выполнение этой программы.

Струг, пробегая вдоль лавы, подобно могучему плуту взламывал угольный пласт, зажатый между серой породой. Вслед за ним бессильно валился на конвейер и мчался к нижнему штреку черный антрацит. Чиху (он позволил себе минутный отдых и сейчас сидел в своей любимой позе — спершись плечом на бортик струговой установки) этот поток чем-то напоминал сейчас горную реку, а куски угля, отражавшие свет бригадирской лампочки, казалось, излучали таинственную и добрую энергию. Куда уйдет отсюда с таким трудом только что отвоеванный у природы, еще пахнувший семисотметровой глубиной ростовский антрацит? К металлургам, чтобы, сгорев, дать жизнь чугуну и стали? К энергетикам, чтобы закрутились на заводах моторы, включились приборы, пришли к людям свет и тепло?..

В забое наступил тот момент, когда каждый рабочий выполнял свое дело на пределе возможного. Николай Белоусов, Александр Серов, Виктор Черных, Николай Марцев, все остальные образовывали крепкую цепочку четких взаимосвязанных действий, из которых рождался устойчивый ритм жизни лавы. Струговый конвейер медленно, но без остановок наступал по всему двухсотметровому фронту.

За полчаса до конца смены Чих снова спустился в нижний штрек. Снял со стойки телефонную трубку. Не ожидая вопроса, диспетчер — он заметно волновался — сообщил:

— Есть тысяча вагонеток, Михаил Павлович! Поздравляю!

Сел на лежавший рядом большой кусок породы. Устало вздохнул: «Сделали...»

Впереди в штреке замелькали яркие огоньки, они быстро приближались, и вскоре Чих в гуле молодых и полных сил голосов четко услышал голос Ивана Комерова, звеньевоего.

Шла смена.

«Два часа ночи?»

Чих снял каску, устало посмотрел на тускло светившийся огонек лампочки.
«На сегодня, пожалуй, хватит».

Шахты, Ростовская обл.

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

БОЛЬШЕВИКИ *

Письма Анны Кравченко и Александра Спундз
(1917—1923)

1 (14) января 1919 г., Борисоглебск.
... Газет мы так и не имеем, а телеграммы, выпускаемые местной редакцией, очень сбивчивы (плохо проредактированы) и малочисленны. Знаем о боях на улицах Берлина, о переговорах с учредилками в Уфе. Что делается на фронтах — не знаем, говорят только, что Севастополь и Батум заняты англичанами и что якобы их флот видели уже в Балтийском море. Но, может быть, это то же, что союзники под Борисоглебском?

Никогда еще, кажется, так отчетливо ясно не любила я наших идей, как сейчас, и чем больше искажается и оплевывается врагами нашими — вольными и невольными — все лучшее из творчества, тем святее и чище кажется каждый шаг революции...

Налет казаков поставил все точки над «И». Учительство рукоплексало им, в гимназиях шел оживленный торг награбленных вещей, ученики выдавали своих товарищей-коммунистов. И теперь все эти люди, ничуть не смущаясь, приходят и просят жалованье, сукна на пальто и т. д.

Саша, любимый мой, сообщи о себе хоть Аболину, а я уж от него буду узнавать о тебе...

Где-то глубоко-глубоко в сердце все еще таится надежда: а вдруг ты сам приедешь...

Твоя Аня.

Москва, 17 января 1919 г.

Аня, родная! Хотелось так обо многом писать, но не знаю, буду ли в состоянии это сделать...

Только что получено радио: «Либкнехт убит, Люксембург избита настолько, что нет надежды на выздоровление»¹. Злоба кипит, руки сжимаются в кулаки, хочется мести, жестокой мести... Готов растерзать... Шейдемана² и всех этих непревзойденных по низости псов...

Гнусный удар из-за угла в тот момент, когда противник... безоружен. Насколько ясна низость этого шага даже для мелкобуржуазных негодяев там, в Берлине, видно из того, что они не посмели сделать это открыто. Они сыграли комедию расстрела «при попытке бежать».

Подробности ты сама узнаешь из газет или телеграмм. Не могу о них писать, слишком я взволнован...

Как сегодня помню открытое, прямое лицо Либкнехта. Сохранилось живое впечатление о той глубине и серьезности, с какой он выяснял положение в России.

Но совсем по-особому гяжело, кричать хочется при вести о потере Розы. Такие умы вообще редкость. Это один из редких (если не единственный) случай, когда женщина могла бы быть прекрасным вождем рабочего движения большой, культурной страны. Заменить Либкнехта трудно, но ее-то во всяком случае некому сменить на ее посту.

С.

Публикация, комментарий и примечания И. БРАТНИНА.

* О к о н ч а н и е Начало см. «Новый мир» № 1 с. г.

¹ Основатели Коммунистической партии Германии Карл Либкнехт и Роза Люксембург были арестованы 15 января 1919 года и в тот же день зверски убиты.

² Ш е й д е м а н Ф.— один из лидеров крайне правого крыла германской социал-демократии.

Вильно, 25 января 1919 г.

...Еду вместе с делегацией Совета солдатских депутатов 1-го германского армейского корпуса¹...

Сегодня вечером или завтра поеду на лошадях дальше, в Ковно для переговоров с тамошним (кстати сказать, очень правым и подлым) Советом. Но у нас тяжелая артиллерия — 8000 харьковских немцев, которые в восхищении от наших порядков и все клянутся за нас агитировать. Возможно, что это притворство, но даже офицеры говорят в почти таком же тоне. Они ожидали грабежей, полного отсутствия транспортных возможностей и т. п. Нашли лучший, чем на Украине, транспорт, отсутствие грабежей и возмущены до глубины души обманом. Ты знаешь, что я умею быть внимательным к нашим недостаткам, но что у нас железнодорожный транспорт, несмотря на несравненно худшие объективные условия, работает не в пример лучше петлюровско-гетманского, в этом я убедился сам. Когда-нибудь — об этом подробнее.

Нежно, нежно обнимаю тебя, Яшутку.

Саша.

¹ Напомни читателю, что в те дни А. П. Спунде по поручению ВЦИК РСФСР сопровождал эшелоны этого корпуса, следовавшие из Украины в Германию.

Вильно, 26 января 1919 г.

Доброе утро, Анюшка! Сегодня еду с двумя немцами (в Ковно). Возможно, что мне там придется задержаться на некоторое время. Порядки там совсем как корниловские у нас в 1917 году: восстановлены погоны, отдавание чести, смертная казнь и т. п. Когда об этом узнали мои немецкие солдаты, возмущению их не было предела. Как и у нас, действие вызывает противодействие — корниловщина (у них гинденбурговщина) усиливает коммунизм. Минимум 60—70 процентов тех солдат, которых я везу, несомненно настроены большевистски.

Надо торопиться, поэтому кончаю...

Несмотря на всю жестокость, которая присуща борьбе, я так ярко чувствую преросходство наших взглядов перед взглядами наших противников! От этого и нравственно и физически настроение радостное, полное воли к борьбе...

Саша.

Ковно, 29 января 1919 г.

...Едущие со мной солдаты почти все обращены в православную (коммунистическую) веру. Но здесь, в Ковно, совсем иные порядки. Совет фактически не играет никакой роли. Эти франты в узких рейтузах, высоких воротниках, которые все делают mit Einvernehmen (по соглашению) с верховным командованием, задача которого — активная борьба с большевизмом. Но каковы добровольцы, которых они для этой цели собирают, показывает следующий факт. На днях рабочие оккупированных областей, не имея ни одной винтовки, угнали за демаркационную линию целый немецкий бронированный поезд. Немцы (командование) взбешенные, арестовали всех известных им коммунистов. Здесь уже существовал Совет рабочих депутатов. Возможно, что мне придется здесь недельку-другую побыть. Тогда писать уже не смогу...

Саша.

Ковно, 30 января 1919 г.

Доброе утро, родная! Мои немцы ушли по делам, и я опять с тобой. Знаешь, Аня, как мы ни ворчим на свои порядки, они все же объективно не плохи. Требования немцы (сегодня приехал еще один) в восхищении от нашего транспорта после четырех с половиной лет империалистической и гражданской войн. Председатель корпусного Совета Вольрабе только что характеризовал поездку как glänzend (блестяще).

Когда читаешь берлинские газеты, то видишь, что там теперь происходит, особенно после подавления спартаковского движения; видишь, что многое, чем мы остро недовольны, глубоко объективно присуще природе переходного времени. Берлинские «Vorwärts», «Vossische Zeitung» и другие — точное повторение наших «Речи», «Дня» в период июль — октябрь 1917. Я возьму их с собой — показать тебе при встрече.

Анюшка, мы должны жить вместе это время! Больно, когда лучшие психологически моменты приходится переживать одному — не с кем обо всем поговорить...

Весь душой с тобой и мальчиком.

Саша.

Ковно, 2 февраля 1919 г.

...Опять есть возможность, и пишу тебе пару слов. Надо спешить, ибо немецкий товарищ через 10 минут уезжает в Вильно. Возможно, что и меня скоро выставят,— уже были попытки. 31 января вечером немецкий лейтенант на ст. Кошедары (последняя станция, принадлежащая немцам) заявил, что он меня в Ковно не пропустит. Я заявил главному командованию, что если я в Ковно пропущен не буду, то им придется считаться с 8000 немецких солдат. Через полчаса мне было предложено ехать.

Ты не знаешь, как я считаю дни до встречи с тобой. Масса впечатлений, и каждым хочется с тобой делиться. Хотя бы история в Кошедарах: о ней можно написать почтовый лист, а я пишу два слова.

Надо кончать. Едущий уже стоит в пальто.

Пиши почаще в Москву. Буду очень рад, когда приеду.

С.

Ковно, днем 2 февраля 1919 г.

...Сегодня рано утром (встал в 5^{1/2}) перечитал твои письма с октября месяца...

В одном из ноябрьских писем ты сообщала, что к тебе обратились борисоглебские гимназистки с просьбой читать с ними политическую экономию. Знаешь, Аня, если только мало-мальски возможно, занимайся с ними. Будет ли это политэкономия или что-нибудь другое, это несущественно. Главное — надо оказывать на них влияние. Особенно мне это стало ясно после того, что я видел здесь, в Ковно. Коренных регулярных немецких войск здесь давно уже нет. Город и вообще оккупированные местности на западе заняты добровольцами так называемого сводного резервного корпуса (Das Zusammengesetzte Reservekorps). Это буквально все мальчики лет по 18—21. Говорю мальчики не потому, что они молоды. Я тебе рассказывал не раз, что молодежь 17—20 лет вполне серьезно и успешно выполняла сложную партийную работу. Но это прямо полухулиганы. Когда они сидят в кофейне, то стучат стульями, грубо обнимают кельнерш и т. п. Ясно чувствуется, что эти не получили никакого воспитания. И это ясно, ибо их отцы и, что еще хуже, они сами были на войне, а матери добывали хлеб вместо отцов.

Когда после этих наблюдений я прочел твое письмо, мне стало ясно, что если только есть малейшая возможность, нужно сделать все зависящее, чтобы таких людей выбрасывалось в жизнь возможно меньше. Поэтому, Анюшка, друг, если можно урвать в неделю пару, другую часов, завяжи связи с гимназистками. Ведь они могут приходиться к тебе. Может быть няню найдешь...

О деньгах не беспокойся. Как только вернусь в Москву, pošлю опять немного. 500 рублей, посланные 16 января из Москвы, ты думаю уже получила. Если они уже вышли, займи у кого-нибудь на две-три недели. Думаю между 10—20 непременно быть в Москве.

Писал тебе раз из Вильно и 2 раза (сейчас уже третье письмо) отсюда, все заказные. Не знаю, получила ли ты их. Главное, уже две недели не видал русских газет и не знаю, что на казачьем фронте делается. Пока кончаю, время идти...

Саша.

Вернулся. Через 1/2 часа пойду обедать, а пока опять побуду с тобой.

Тяжелые, гнетущие вести идут из Германии. Кроме Либкнехта, Розы (если ты получила мое письмо из Москвы, то знаешь, что эта последняя мне особенно дорога как воплощение необыкновенно яркой, ясной мысли), убито «при попытке бежать» еще четыре видных коммуниста... Не могу я спокойно читать слова «при попытке бежать». Так ярко вспоминается вакханалия этого рода расстрелов у нас, в Латвии в 1905—06 годах: я тебе уже кое-что рассказывал про это. Таких размеров, как у нас, этот способ убийств не достигал нигде в России. Но ведь то было царское правительство и прибалтийские бароны. Теперь же это делают «народные уполномоченные», действующие как социалистическое правительство.

Только не думай, что я настроен мрачно. Далеко не всегда я бываю так бодр, жизнерадостен, я бы даже сказал боеспособен, как сейчас. Это состояние мне хочется передать тебе...

Саша.

24 января (6 февраля) 1919 г., Борисоглебск.

Родной мой Саша, вчера вернулась из поездки в Урюпинскую, есть кое-что порассказать, и теперь это можно сделать, ибо я привезла с собой нашу верную Дуню. Из-за нас ее сажали в тюрьму, конфисковали все ее имущество. Вела она себя очень стойко и под ружьем дерзила, на ругань по нашему адресу отвечала, что других таких людей в Урюпине, как Селивановы, нет. Из тюрьмы ее отдали в прислугу к офицеру, и как только началась эвакуация Урюпина, она ушла от них на свой хутор, где я ее и застала. Когда я приехала к ним, вся семья кинулась ко мне, как к родной, плакали от горя и от радости, наделили всем чем могли. Дуня сейчас же собралась и теперь хозяйничает в нашей квартире...

Вчера же получила от тебя письмо из Вильно от 26-го. Оно так много дало мне. Только очень я буду теперь беспокоиться о тебе, риска много в твоей работе. Хорошо еще, если ты будешь почаще давать знать о себе...

В Урюпинской я провела сутки. Дети брата живы, хотя пришлось их отставать, а одно время даже скрывать. От нашего дома остался один остов, мебель вся переколочена и растащена, даже окна проширяли штыками. О положении дел на фронте, о настроении казачества в Урюпине узнать было трудно, ибо местная интеллигенция живет совсем в стороне от борьбы. Но зато когда я попала в хутор Красный, в котором пробыла тоже сутки, узнала очень многое. Пришлось говорить и со старыми казаками, которые оставались дома, и с теми, которые к этому времени возвращались домой с позиций безоружные, беспогонные.

Если привести в некоторую систему все слышанное, то получается следующая картина. В Донской области установился вполне прежний порядок, если не считать того, что учителям позволили выбирать инспекторов, а духовенству — благочинных. Казаков скрутили в бараний рог, расстреляли, каторжные работы ссылались в изобилии. Уйти из пределов Донской области не было никакой возможности. Распространялись всевозможные слухи о полном бессилии Советской России, и эти слухи как нельзя лучше подтверждались теми беспорядочными, легко разбегавшимися отрядами, которые стояли на границе. Несмотря на все это, среди казачества начинало расти озлобление на руководящие верхи. Непрерывная служба из-под палки, отсутствие мануфактуры, обуви, керосина, невозможность часто смолоть муки (мельницы стоят из-за отсутствия нефти, почему в некоторых станицах размачивают в воде зерно и едят вместо хлеба), эпидемии сделали свое дело. Постоянные обещания помощи от союзников и неисполнение их еще больше будоражили рядовое казачество. Так что когда Краснов пообещал... приехать в Урюпинскую с представителями от союзников (упоминалось имя какого-то английского генерала Пуля), то среди казачества определенно стали поговаривать о том, чтобы убить Краснова.

Приехать в Урюпинскую Краснову не удалось, потому что 6 января старого стиля она была занята красными. Натиск их был для казаков полной неожиданностью, и как только выяснились размеры его, так казаки стали отказываться идти в бой. Отступление велось поспешно, отказывались брать с собой беженцев.

Под станицей Алексеевской сделали было еще попытку заставить казаков сражаться, но и тут они, за редким исключением, отказались. Так дошли до 1-го Донского округа, до станицы Вешенской. Казаки этой станицы все время бывали самыми рьяными вояками, «раздували пожар», по выражению одного казака. Но как только вступили советские войска в их округ, они решили сложить оружие. Приказано было другим казачьим частям вступить с ними в бой, но вешенцы окопались и открыли огонь.

По другим станицам начались избиения офицерства. Сдавшихся казаков обезоруживают и распускают по домам для мирных работ с одним только условием — в случае отступления советских войск все способные носить оружие должны отступать вместе с ними. Но казаки и так говорят, что второй раз они не позволят мобилизовать себя. Станицы многие совершенно выжжены, больно смотреть на них, зарботков нет.

Таким образом масса казачества уже отошла от белых. Немало способствовало этому еще и то, что пришедшие красноармейские части поразили их своей дисциплиной, сознательностью, вежливым обращением. Теперешняя Красная Армия окончательно убедила казаков в силе Советской России.

Все это, конечно, еще не значит, что борьба на Дону окончилась, особенно в южной части, но что она пойдет очень быстро, в этом сомневаться не приходится.

Может быть, весной можно будет перебраться в Урюпинскую. Скорее бы приехал ты, и мы бы поговорили о планах на будущее. Так хочется жить вместе...

Газеты пока приходят с запозданием на пятье сутки. Я подписалась на центральные «Известия» и «Правду»...

Пиши, мой милый, дорогой Саша. Без твоих писем как-то тускнеет жизнь. Завтра обязательно напишу тебе еще письмо...

Ждем не дождемся твоего приезда¹.

Твоя Аня.

¹ В тот самый день, когда Анна Григорьевна писала это письмо — 6 февраля 1919 года, — Спундэ телеграфировал ей из Вильно: «Сегодня выезжаю Москву если можно приезжай на пару дней». А прибыв в столицу, прочитал ответную телеграмму, в которой Анна Григорьевна сообщила, что она больна и просит его приехать в Борисоглебск. Из-за сильных снежных заносов на железной дороге Александр Петрович не смог приехать в Борисоглебск. Потом — новые срочные задания... И только в первых числах мая ему удалось побывать там.

Москва, 20 мая 1919 г.

...Помаленьку втягиваюсь в работу, которая обещает быть интересной¹...

Общее положение довольно ясно. Положение на фронтах лучше, чем когда я был в Борисоглебске, — взяты за это время Бугульма, Бугуруслан, Чистополь, подходим к Уфе и Мензелинску. По-видимому, перелом не временный и не случайный. Но зато положение под Питером более чем угрожающее, белые совсем под самым Питером — ближе, чем были немцы в брестские дни. Я все же настроен оптимистически и думаю, что Питер мы не потеряем². На юге возможно, по-моему, скорое продвижение в Кубань и на Кавказ. Авантюра Григорьева³ заставила украинские организации подтянуться. Поэтому, когда Григорьев будет раздавлен, освободятся силы для Донско-Кубанского фронта, где мы уже месяцами, по существу, не двигаемся с места.

Есть о чем поговорить по поводу партийного съезда, но это — до встречи.

С.

¹ А. П. Спундэ был назначен заместителем заведующего финансово-счетным отделом Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ).

² За неделю до того как Спундэ написал это письмо, войска генерала Юденича на широком фронте начали наступление и вскоре вышли на подступы к Гатчине и Красному Селу (последнее в двадцати пяти километрах от Петрограда). В самом городе белогвардейское подполье готовило удар с тыла. На боевые рубежи вышли отряды петроградских рабочих, прибыли значительные подкрепления с других фронтов, и победа была одержана. Разгром войск Юденича под Петроградом сыграл важную роль в обеспечении решающих побед Красной Армии над объединенными силами внутренней и внешней контрреволюции в 1919 году.

³ Петлюровский атаман Н. А. Григорьев, перешедший на сторону Красной Армии, был 18 февраля 1919 года назначен командиром бригады (переформированной вскоре в дивизию). А в начале мая 1919 года поднял антисоветский мятеж. В результате решительных мер мятеж был подавлен, Григорьев бежал к махновцам; Махно же, видя в Григорьеве своего соперника, убил его 27 июля 1919 года.

Москва, вечером 22 мая 1919 г.

...Теперь мы все же начинаем «приводить в православную веру» город — начинается процесс повышения производительности труда, упорядочение вообще хозяйственного аппарата. С неделю тому назад я присутствовал на заседании Высшего Совета Народного Хозяйства, слушал доклад Главкожи. Ушам своим не верил. Люди при архитяжелых условиях по некоторым продуктам давали производительность до «керенской» или даже «парской». По некоторым вещам производится больше, чем заказывает и принимает армия. И если армия не обута везде, то тут виновен транспорт и ненадежность военно-хозяйственных инстанций. Пусть это пока исключение. Тем не менее это очень симптоматично. Перейдет этот процесс и в деревню, как ни тяжело то, что происходит... Надо ни на минуту не забывать, что мы от любой страны отличаемся тем, что лучшие люди у нас на фронте. Отбора такого нет нигде...

Что я остался в Москве, об этом не беспокойся. Пока, по крайней мере, я сколько-нибудь сильно не голодал. Посмотрим, что будет дальше, пока унывать нет оснований. Надо сказать, что я на себе особенно ощущаю пусть медленный, но все же заметный рост аппарата снабжения — это потому, что я питаюсь почти на 100% тем, что мне дает продовольственный орган...

С.

Москва, вечером 23 мая 1919 г.

...Настают весьма острые дни. Вчера получены сведения — правда, не совсем еще проверенные — о потере Риги¹. Ты знаешь, как твердо я верю в нашу победу, как мало вероятной я считаю контрреволюцию в России, и потеря Риги меня не разубеждает в этом. Но все же бесконечно больно. Ведь если так — значит, были уличные бои. Страшно подумать, во что превратится цветущий когда-то край. А ведь борьба еще долгая. В Западной Европе процесс идет как-то удивительно упорно, и нам действительно придется испытать чашу голода, холода, крови до самого дна.

Я все думал немного отдохнуть, побыть на одном месте, но теперь все больше склоняюсь к тому, чтобы устроить поездку на фронт; тяжело как-то быть здесь, когда так тяжелы удары со всех сторон. О питерском положении ты, конечно, уже знаешь.

Боже мой, как хочется хоть небольшую, но настоящую передышку получить. Анюшка, если будет случай, приезжай (само собой, если я буду в Москве). Очень хочется побыть с тобой.

Как тяжело покупается каждый новый шаг в жизни.

Весь с тобой.

C.

¹ 22 мая 1919 года Рига оказалась захваченной силами внутренней и внешней контрреволюции.

Москва, 26 мая 1919 г., 1^{1/2} ч. ночи.

...Из Венгрии приехал товарищ один — тамошний военный комиссар, бывший военнопленный у нас, Самуэли¹. Только что слушал его рассказы о Венгрии. Несмотря на усталость, хочется с тобой поделиться.

Настроение у них бодрое. Был момент, особенно 1 и 2 мая, когда они висели на волоске, теперь они окрепли. Успели уже создать довольно солидную (относительно) Красную Армию, на 80% состоящую из рабочих. Он (Самуэли) говорит, что теперь уже по его оценке Венгерская революция с румынами и прочими балканскими контрреволюционными силами справится. Но не так обстоит дело с французами, у которых громадный технический перевес (надо помнить, что Венгрия была обезоружена еще при социал-патриотическом правительстве во исполнение условий перемирия). Он рассказывает об очень сильном движении в Италии и Франции, но прежде всего пролетарская диктатура, вероятно, восторжествует в Чехии.

Если брать в грубых чертах, то можно подметить в Венгрии все основные русские черты, но сказывается большая культурность и, кроме того, относительно мирная первая фаза революции — отсюда меньше развала. И еще то, что в то время, как у нас железнодорожники долго (да и отчасти и сейчас) были «викжелистами»², саботажниками, у них это наиболее революционный элемент. Железнодорожники у них, кроме максимально незаменимых, мобилизованы и отправлены на фронт. Жел. дор. движение у них строго регламентировано — езда допускается только по советским разрешениям. Поэтому на железной дороге порядок. Только трамваи, как в России, переполнены...

Несмотря на всю бодрость, в один момент у т. Самуэли все же промелькнула тревожная нотка. Это не о судьбах революции, а о судьбах человечества. И он абсолютно прав. Если нас задавят, то это будет большой шаг назад, к варварству. (Объяснять не объясняю — мы на эту тему с тобой не раз говорили.)

Они считают, что судьба Венгерской советской республики решится в течение ближайших двух — трех — четырех недель. Если в течение этого времени французы с юга наступать не будут, тогда по меньшей мере их наступление может не быть роковым. Сейчас силы слишком неравны. В одном из оккупированных французами (колониальными войсками) городов, за дореволюционной демаркационной линией сосредоточены сотни орудий. Им венгерцы ничего противопоставить не могут.

Будь у нас Украина не такой крестьянской, мы могли бы отвлечь на себя румынские войска, но это, не имея значительного пролетарского ядра, как было в Великобритании в октябре 1917 года, невозможно — дай бог справиться с психологической и организационной анархией у себя внутри.

Да, еще факт. Эсдеки, которые хотя и в меньшинстве сидят в Будапештском Совнарком, были чрезвычайно похожи на наших эсеро-меньшевиков по своей дряблости и трусости в критические дни (начало мая). Они предлагали передать власть беспартийному рабочему комитету, единственная задача которого сохранить общий

порядок до прихода румын, а самим уйти. В ответ на это они получили недвусмысленное указание, что, как немцы говорят, *mit gefangen, mit gehängen* — схвачены и повешены будете вместе с нами.

Саша.

¹ С а м у э л и Тибор — видный деятель венгерского рабочего движения, один из руководителей Венгерской Советской республики, по профессии журналист В мае 1919 года приезжал в Москву для обсуждения вопросов совместной борьбы Советского государства и Венгерской Советской республики против империалистической интервенции. Военные силы Антанты при поддержке внутренней контрреволюции подавили советскую власть в Венгрии. 2 августа 1919 года при переходе австрийской границы Самуэли был убит контрреволюционерами.

² Викжель — Всероссийский исполнительный комитет железнодорожного профсоюза, ставший в дни подготовки и проведения Октябрьской революции контрреволюционным центром.

Москва, вечером 29 мая 1919 г.

Когда получил твою телеграмму, что собираешься приехать сюда, не хотелось уже писать. Стало весело на душе. Когда появилась возможность говорить, писать не было смысла. Теперь буду считать дни...

Давеча я сделал большой довольно крюк по Москве — вышел на Москворецкую набережную, там до Яузы, на Земляной вал и по Мясницкой обратно — словом, версты четыре, а то и все пять. Чувствовал, особенно когда разошелся, довольно хорошо. В такие моменты всегда хорошо работает голова. И вот мне стал совершенно ясен один вопрос, над которым я часто и много думал. И захотелось сразу же поделиться с тобой. Пусть это письмо и не пойдет уже, но я его отдам тебе, когда ты приедешь.

Я никак себе до сих пор ясно не мог представить, сохранятся ли и в каком виде при новой общественной структуре города, с одной стороны, и деревни, с другой стороны. Конечно, не мог я успокоиться на городах-садах, с собственными домиками и прочей мешанской дребеденью. Общие фразы о здоровом строительстве тоже ничего не говорили уму и сердцу. И вот сегодня я как-то вдруг понял, что неизбежна (именно не возможна, а неизбежна, как все наше экономическое строительство) форма, которая и у города и у деревни берет их положительные стороны.

Я не фантазирую. Сегодня я долго проверял себя и вполне убедился, что это не прекраснотушная мечта, а объективная неизбежность. Когда ты приедешь, расскажу подробно, в чем дело. Думаю и статью на эту тему написать. Уж очень мне легко стало, когда вдруг как бы завеса какая-то упала и то, что по меньшей мере год мучало меня своей неясностью, вдруг стало так ясно, так просто, что даже странно кажется, как это я раньше не пришел к этому...

С.

* * *

Через несколько дней Анна Григорьевна переезжает в Москву и сразу начинает работать в Московском комитете партии ответственным организатором молодежи. Одновременно читает лекции на Кремлевских пулеметных курсах.

...Август 1919 года. ЦК РКП(б) направляет на Урал и в Сибирь группу опытных, проверенных коммунистов с важным заданием: восстановить партийные и советские органы в освобождаемых от Колчака районах. В составе группы А. П. Спундэ и А. Г. Кравченко.

Первая остановка — Челябинск. Спундэ становится председателем Челябинского губкома партии, Кравченко налаживает работу органов народного образования.

Освобожден Омск, и они переезжают туда. Спундэ возглавляет Омский губком партии, Кравченко организует Совпаршколу и заведует ею.

Начало января 1920 года. Освобожден Красноярск, и Спундэ направляют туда. Он становится председателем Революционного комитета и губкома РКП(б) Енисейской губернии (той самой, где до Февральской революции четыре года отбывал ссылку). Сибирским бюро ЦК РКП(б) Кравченко оставлена в Омске.

Снова разлука...

10 января 1920 г., Омск.

...Завтра утром кто-то уезжает в Красноярск, и я тороплюсь написать тебе это письмо и переслать газеты за 14, 16, 18, 19, 20 и 21 декабря...

Сегодня в 9 часов вечера будет совещание по вопросу о работе среди казачества, сейчас я туда и уйду; приду, напишу тебе еще ¹.

Последние новости — взяты Таганрог, Мариуполь, Новочеркасск. Что делается на Восточном фронте, ты знаешь лучше нас...

Больше писать не могу, устала за сегодняшний день.

Если успею, напишу завтра.

Аня.

Работе среди казачества, о которой упоминает в этом письме Анна Кравченко, партия придавала большое значение. Известно, что немалая часть казаков, поддавшись контрреволюционной пропаганде, влилась в колчаковскую армию. Надо было заблуждавшимся открыть глаза. Этой Цели послужила, в частности, остропублицистическая статья А. Кравченко «Прежде и теперь», напечатанная 22 ноября 1919 года в газете «Казак» Челябинского губернского оргбюро РКП(б).

11 января 1920 г., Омск.

Доброе утро, родной мой. Спешу отнести это письмо с газетами, чтобы не опоздать, а потом — на заседание, опять по казачьим делам...

Победы наши велики, но я никак не могу отделаться от впечатления от рассказа товарища из Москвы о голоде там. После его рассказа мне реальнее стала тревога т. Ленина ¹...

Аня.

¹ Ленин неоднократно возвращался к вопросу о борьбе за хлеб, с большой тревогой указывая на роковые последствия, к которым может привести голод. Так, 5 декабря 1919 года на Седьмом Всероссийском съезде Советов Владимир Ильич говорил: «Нужно, чтобы все рабочие знали и помнили, что без хлеба для людей, без хлеба для промышленности, т. е. без топлива, страна обрекается на бедствия» (Полное собрание сочинений, т. 39, стр. 409). Возможно, эти слова Владимира Ильича и имела в виду Кравченко.

22 января 1920 г., Омск.

Уже больше двух недель прошло, милый Саша, после твоего отъезда, и до сих пор нет от тебя никакой весточки. Что ты доехал уже до Красноярска, знаю со слов других (твоя телеграмма с просьбой о деньгах).

Я по-прежнему работаю почти целыми днями. За последнее время начала чувствовать себя совсем плохо, вчера и позавчера определенно боялась, что наша девочка появится на свет раньше двумя месяцами, и с сегодняшнего дня решила сократить работу до минимума. Это советуют мне сделать и окружающие. Хочу засесть по школе исключительно за инструкции (третья часть материалов уже наполовину готова) и за писание конспектов, ибо из лекторов их никто не дает. В этом деле мне будет помогать т. Хотимский ¹. Пишу для нашей деревенской газеты. Хочется мне написать за это время одну брошюрку ², да не знаю, удастся ли, мое присутствие дома делается все более и более необходимым...

Аня.

¹ Хотимский В. И. — член Сибирского бюро ЦК РКП(б).

² «Странички из истории нашей партии (Популярный очерк)» — так называется эта книжка, вышедшая в Барнауле в 1920 году. В том же году ее издали в Томске и Иркутске. Это одна из первых попыток рассказать читателю, главным образом молодому, о тяжелой жизни трудящихся при старом строе, о рождении большевистской партии и ее борьбе за свободу народа. Книга А. Г. Кравченко «Странички из истории нашей партии» хранится в личной библиотеке В. И. Ленина в Кремле. Это была ее первая книга. Всего же она автор двадцати двух книг и брошюр.

23 января 1920 г., Омск.

...И сегодня, как всегда, почти весь день провела в школе... Посылаю тебе все три №№ Известий ЦК партии ¹ с отчетами о Всероссийской партийной конференции, Известия ЦИК за 31, 1, 2 и 3, «Правду» с пропуском одного номера за те же числа и «Экономическую жизнь»...

Партийная работа понемногу налаживается. Тов. Хотимский объявил беспощадную войну всем чиновникам от коммунизма и формализму советских учреждений. За это объявили войну и партийные комитеты. Хорошо было бы, если бы были сейчас тут Косарев ² и ты...

Аня.

¹ «Известия ЦК РКП(б)» — журнал, освещавший основные вопросы текущей работы ЦК, его директивы, а также деятельность местных партийных организаций.

² Косарев В. М. — член Сибревкома и Сиббюро ЦК РКП(б)

Красноярск, 1 февраля 1920 г.

...Первые дни было очень тяжело нравственно: боялся не справиться с громадностью задач — безлюдье совершенно исключительное, объективные условия работы хуже чем где бы то ни было, начиная с Челябинска. Но теперь я уверен, что работу налажу, и даже довольно скоро. Это дает очень много сил...

Обстановка в мировом масштабе преинтереснейшая. Снятие блокады — это пока еще разговоры, но такой трещины империализм еще не давал...

Саша.

7 февраля 1920 г., Омск.

...Завтра в Красноярск едет Николай Кузьмич¹, и я посылаю тебе с ним это письмо и очередные номера газет. № 12 Известий ЦК партии посылаю в двух экземплярах, в этом номере новый Устав партии...

Продолжаю работать дома. Физически по-прежнему чувствую себя неважно, боюсь, что долго придется проболеть...

Мне очень бы хотелось, Саша, чтобы ты приблизительно через месяц был здесь. Мало ли что может случиться, и я буду сильно тревожиться за Яшу.

Твое пребывание здесь нужно и для работы. Тов. Хотимский поглощен газетой, Дора Клементьевна² прихварывает, а работа в партии идет очень плохо. Это в городе делается, а о деревне и говорить не приходится. Съезд членов волостных ревкомов был специфично кулацкий Н. К., наверное, расскажет тебе об нем пикантные подробности. Мне он очень напомнил пермские крестьянские съезды первых месяцев революции. Даже казачий съезд оказался куда живее и ближе к нам.

Советские учреждения определенно поплыли по течению бюрократизма. Очевидно, оставшиеся в наследство чиновники своим непотребием Советской власти наделали гораздо больше зла, чем саботажники в России...

Окончила сегодня инструкцию по организации партийных районных школ, как только окончательно выработается программа, вышлю тебе материал...

Аня.

¹ Гончаров Н. К. — член Реввоенсовета 5-й армии.

² Гончарова Д. К. — секретарь Сиббюро ЦК РКП(б).

Красноярск, 17 февраля 1920 г.

Дорогая Анюшка!

Пишу наспех пару слов. Работаю как вол. Но есть уже и кое-какие результаты работы. Остов отделов сколочен. Так что возможно, что через недели 2, 3, 4 смогу телеграфировать в Сибревком, что моя миссия выполнена и жду распоряжений.

Теперь о личных делах. Надежды на получение Шуручки¹, оборвавшиеся было, опять растут. Но все остается вопрос, как быть с няней. Она безусловно необходима и Шурке и даже вообще, но как согласовать это с нашими домашними делами, я придумать не могу.

Хотелось бы с тобой обо многом покалякать, ибо такой интересной мировой комбинации, как сейчас, еще никогда с самого октября 1917 года не было. Дело действительно запахло миром так, как еще никогда до сих пор. Серьезно начинаем думать о перспективах мирной работы.

Целую горячо тебя, сынишку.

С.

¹ Речь идет о дочери А. П. Спундэ от первого брака. Девочке было тогда четыре года. Александр Петрович очень любил ее и хотел, чтобы она воспитывалась в его семье. Мать девочки дала согласие на это. После школы Александра Спундэ поступила в полиграфическое ФЗУ, работала, училась на рабфаке: затем окончила институт и стала библиотечным работником; ныне на пенсии, живет в Москве.

8 марта 1920 г., Омск.

...Сделавшись сотрудницей «Сельской правды», что мне очень настойчиво предлагает т. Хотимский, сидя дома, я смогу зарабатывать ничуть не меньше, чем в школе. Но, конечно, дело не только в заработке, тем более что школа меня увлекает сама по себе. У меня опять появились свои точки зрения на дело, и я могу отстаивать их. В последних №№ «Советской Сибири» ты увидишь несколько кратких заметок. В дальнейшем я думаю все эти мысли значительно углубить, снабдить их соответствующим материалом и дать брошюру по вопросам о наших школах.

Программа нового курса совсем уже иная; теоретическую часть разрабатывали я и т. Хотимский. Отношение ко мне Косарева изменилось. Человек, видимо, убедился, что я могу работать, и это сняло с меня большую долю тяжести, что давила последнее время. Может быть, от этого я и нервничать стала меньше...

Когда ты приедешь, то, наверное, уже застанешь еще новое существо, дело, по-видимому, идет к концу. Одно меня сильно смущает — родильный дом не отапливается, как бы не заморозить крошку...

Аня.

Красноярск, 9 марта 1920 г.

...Пишу пару слов с делегатами на съезд. Я ушел весь с головой в работу — некогда даже пару слов написать (два слова неразборчивы. — И. Б.) с раннего утра до 3 часов ночи. Работал без малейшего перерыва — даже пообедать было некогда.

До острой боли хотелось ехать на IX партийный съезд, но не пустили (заменить некем). Это неисполнение желания и в прошлом и в текущем году так тяжело отразилось на мне, что товарищи говорят, что я за 2 дня даже похудел в лице.

Человеческого письма написать не в состоянии — пишу только о деле...

Когда от меня будет телеграмма о том, что еду с девочкой, это будет означать, что еду вместе с няней ее и дочерью этой няни¹.

Саша.

...Есть много глубокого, о чем надо было бы говорить, но все работа, работа, работа — даже туман какой-то в голове.

¹ Няня Люция Федоровна Талберг и пятилетняя ее дочь Вилма стали членами семьи Спундэ. Получив образование, Вилма Яновна многие годы была на газетной и партийной работе; сейчас персональный пенсионер, живет в Риге.

* * *

Напряженная работа Александра Петровича в Красноярске дала свои плоды. В «Очерках истории Красноярской партийной организации» читаем:

«Сиббюро и ЦК РКП(б) направили в Енисейскую губернию группу коммунистов. Председателем губревкома и губбюро РКП(б) был поставлен А. П. Спундэ. Знание еще по ссылке условий жизни губернии, организаторские способности, принципиальность и деловитость сделали А. П. Спундэ авторитетным руководителем губернской партийной организации. К лету 1920 года было завершено формирование губернского и уездных партийных аппаратов советских, профсоюзных, комсомольских и других органов. В Красноярске и в некоторых других городах открыты партийные школы, стали выходить «Красноярский рабочий» и уездные газеты».

Красноярск, 21 марта 1920 г.

...Относительно себя ничего сказать не могу. Запрашивал Сибирское бюро по телеграфу, но ответа, как обычно, нет. Вообще у нас — и у военных, и у гражданских товарищей — создалось очень тяжелое впечатление от того бюрократизма, который даже здесь чувствуется (и сильно) от работы Сибревкома. Пустяковые бумажные приказы, но ни одного живого указания, ни одной живой мысли, больше того — ни одного ответа на деловые запросы. Поговори об этом как-нибудь по душам с Дорой Клементьевной. Скажи, что [таковой] параллельно создавшееся впечатление ряда вдумчивых товарищей. Как бы дело от этого не пострадало. Пока обходимся просто без центра. Мы его совершенно не чувствуем.

Жизнь здесь, хотя и с большой медленностью, входит в колею. Начинаем понемногу выкручиваться даже из безлюдья. Советую тебе очень в парткомитете или в Центропечати просматривать нашу газету. Я считаю, что она у нас недурно для наших условий поставлена.

Пока больше писать некогда — работать надо. Никогда не успеваешь всего переделать. Такой ответственности я на себе еще никогда не чувствовал.

Крепко целую тебя, Яшеньку. Не понимаю, почему нет телеграммы о том, кто у него — братишка или сестренка.

С.

29 марта 1920 г., Омск.

...Утром я тебе писала письмо с разными деловыми поручениями, повторять их очень уж не хочется, наверное, дойдет письмо, лучше немного о происходящем.

Относительно Сибревкома двух мнений не существует, но ведь все дело в том, что его фактически как такового и нет. Косарев, Фрумкин и только, теперь еще Шумяцкий. Оцени это сам... Аппарат у Сибревкома очень большой, но никуда не годный. В школе мне пришлось столкнуться с заведующими отделами, и впечатление от их знания, понимания наших задач самое ужасное. Об этом я говорила на одном из заседаний Облбюро. Ответ один — нет людей; и их действительно нет. Кончилось областное совещание, и тоже ни одного крупного работника не обнаружено.

Дора Клементьевна вот уже вторую неделю лежит в постели... По выздоровлении она думает ехать к Николаю Кузьмичу, а на ее место т. Хотимский. между прочим. метит меня, но я, Саша, не хочу брать эту работу. Во многих отношениях я бываю человеком несамостоятельным, колеблющимся, а таким секретарю партийного комитета нельзя быть. Да кроме того, меня увлекает постановка, хорошая постановка дела в школе. Недели через две мы переберемся в хорошее помещение, и тогда можно будет все продуманные выводы попробовать воплотить в жизнь. И тут я скажу прямо — кроме меня, некому с таким интересом заниматься школой...

Аня.

10 апреля 1920 г., Омск.

...Были написаны первые только строчки этого письма, когда мне подали письмо из Урюпинской. Хорошо, что оно попало мне в руки. В нем, Саша, сообщение о смерти брата. Погиб он трагическим образом, оправдалось одно из наших предположений. Он перешел к «зеленым»¹ и затем около Песок (недалеко от Борисоглебска) попал в руки казаков (конечно, денкинцев). Его привезли в станицу Филоновскую и в половине июня присудили к смертной казни через повешение, что и исполнили. От мамы я все это скрыла и решила скрывать до последней возможности. Может быть, ей осталось прожить год-другой, пусть лучше ничего не знает. И сегодня целый день я ходила точно по раскаленным углям, но никто ничего не заметил. Сейчас глубокая ночь, только что кончилась заутреня, спать я не могу...

Довольно аккуратно читаю газету «Красноярский рабочий», читала и твою статью о нашей дальневосточной политике...

Аня.

¹ Зел е н ы е — первоначально лица, которые в годы гражданской войны уклонялись от воинской службы (главным образом в белых армиях) и скрывались в лесах. В ответ на террор и репрессии зеленые из числа рабочих и крестьян создавали красно-зеленые партизанские отряды, которые действовали в тылу у белых. В ряде районов ими руководили большевистские комитеты.

6 мая 1920 г., Омск.

...Письмо это передаст тебе Дора Клементьевна, она уверяет, что оно попадет к тебе в руки раньше всех (трех) прежде посланных, поэтому я вкратце повторю все, что писала раньше, а уж потом разбирайся в письмах.

Рано утром 11-го [апреля] как раз с восходом солнышка, как и Яша, родился наш второй сын. Родился он скоро и довольно легко для такого большого мальчика весом в 12 фунтов. Первые дни все шло хорошо, на четвертый день температура у меня пошла вверх, и на пятый была уже больше 40 градусов... Только позавчера удалось мне попасть домой, но и то я очень слаба... Хуже всего то, что на почве истощения у меня опять нет молока в достаточном количестве. Бедный малыш пьет коровье, и за последние дни у него что-то не ладится с животиком. Сегодня посылаю лошадь за лучшим в Омске доктором по детским болезням, хочу посоветоваться с ним относительно кормки ребенка...

Хочется поскорее поправиться и взяться за работу, а ее будет немало, по-видимому, придется, помимо прямых обязанностей, взяться и за партийную работу, которая скрипит здесь всюю постоянные неприятности между городским комитетом и губерньским бюро, мелочность, мещанство. Предстоит большая кампания в деревне, а работников нет.

Только что был доктор по детским болезням. Неутешительные вещи сказал он, Саша. Оказывается, в Омске такой корм для коров, что дети на искусственном питании почти не выживают, гибнет верных 80 процентов.

Аня.

28 июня 1920 г., Омск.

Вчера я совсем собралась ехать к тебе (дня на два). Даже документы уже были оформлены, а сегодня об этой поездке нечего и думать — Алеша совсем плох. Все время после твоего отъезда¹ хворают дети. Это страшное сибирское лето с его острыми переходами прямо изматывает детские тельца. Яша тает с каждым днем, а от маленького остался один только скелетик...

А.

¹ Александр Петрович навестил семью в конце мая — начале июня.

12 августа 1920 г., Боровое.

...Смерть Алешеньки как-то отрезвила меня. Потеряв его, я почувствовала с новой силой всю мелочность жизненных невзгод, весь этот эгоизм, которым пропитана наша жизнь и который мешает хорошему. Сначала горе пришибло меня и как-то озлобило, первый раз в жизни я стала даже искать виновных. Но потом все повернулось наоборот. Во-первых, я поняла, что если кто и виновен в смерти моего маленького мальчика, так это я сама, не сумевшая вовремя окружить его теми заботами, какие были нужны, а во-вторых, вообще всю свою неправоту, в частности и по отношению к тебе...

Нежданно, негаданно попала я в число туберкулезников. По словам доктора на курорте, у меня захвачены оба легких, правое гораздо больше левого. Но это не такая уж беда, по словам врача, в моем возрасте с этой болезнью можно бороться, если организм достаточно упорен. И тут-то начинается уже дело посерьезнее. У меня, оказывается, очень нехорошо с сердцем...

Саша, приезжай отдохнуть, заставь себя это сделать. Если бы могла, поехала бы сама к тебе...

Аня.

* * *

После успешного выполнения задания партии по восстановлению советских и партийных органов Енисейской губернии А. П. Спундз освобождается от обязанностей председателя Ревкома и губкома РКП(б) и направляется в распоряжение ЦК. 10 сентября 1920 года Александр Петрович выезжает из Красноярска в Москву. 23 октября он пишет Анне Григорьевне: «Сию в Ростове секретарем Донского областного партийного комитета». А 25 ноября 1920 года Ленин подписывает удостоверение уполномоченному ВЦИК и Наркомпрода А. П. Спундз о командировании его в Калужскую губернию для руководства заготовительной кампанией 1920—1921 годов в качестве председателя Калужского губпродсовещания.

Калуга, 19 января 1921 г.

...Сильная сторона калужских организаций — это впечатление внешней упорядоченности (отчетность и т. п.). Слабая — это низкий уровень развития руководителей.

В общем, атмосфера значительно лучше, чем казалось в первый день, когда я прямо сам не свой был от того враждебного тона, с которым меня встретили.

Есть кое-какие и хорошие вещи. Так, на днях губженотдел устроил весьма интересную дискуссию по вопросу «О браке, проституции, абортгах». Доклады были слабые; пришлось мне направить дискуссию на марксистскую дорогу. Но атмосфера (тон обсуждения) — это я с удовольствием констатирую — была интересной, здоровой. Это общее впечатление.

Но об этом довольно. Можно было говорить обо всяких планах, но я ничего не знаю о твоих. Черкни, Аня, как можно скорее (лучше всего с подателем письма), как твои дела в Главполитпросвете¹, а главное, с квартирой. Очень много думаю про ребят и Люцию...

Кстати, если Красин² в Москве будет делать в узком кругу доклад об английских делах, постарайся попасть и напиши мне как можно подробнее с первой же оказией. Ты знаешь, как я жадно прислушиваюсь к тому, что сейчас творится на Западе...

Саша

¹ 12 ноября 1920 года декретом СНК был учрежден Главный политико-просветительный комитет республики (Главполитпросвет). В поисках работников для нового органа Н. К. Крупская, назначенная председателем Главполитпросвета, стала изучать

подшивки губернских газет. В «Советской Сибири» ее внимание привлекли заметки о работе сибирской Совпартшколы. Узнав из газеты фамилию руководителя школы — А. Кравченко, — она позвонила в ЦК и попросила вызвать этого человека в Москву для переговоров. Знакомство состоялось, и вскоре Анна Григорьевна совсем переехала в столицу. Она стала работать в Главполитпросвете заместителем заведующего отделом совпартшкол.

² К р а с и н Л. Б. — видный советский партийный и государственный деятель; с 1920 года нарком внешней торговли.

3 февраля 1921 г., Москва.

Мне так бесконечно тяжело эти дни, что я даже не знаю, с чего начинать это письмо, чтобы оно вышло на что-нибудь похожее. Начну, пожалуй, с самого главного. На днях приехал из Сибири Соколов¹ и привез мне письма из дому от мамы и от тов. Кирсановой². Это последнее посылаю тебе. Над Яшей почти что произнесен смертный приговор, во всяком случае я теперь не могу быть спокойной ни одной минуты. Два дня я ходила по городу совсем невменяемая, не могла видеть людей, а сейчас как-то окаменела вся, но ни думать, ни работать не могу. Без Яши я не стану жить.

Плохо представляю себе сейчас, что надо делать. Квартиры у меня нет...

Есть два выхода: мне предлагают устроить Яшу в детской колонии (об этом завтра буду говорить с Луначарской³) или я думаю завтра в ЦК поставить вопрос об моей откомандировке назад в Сибирь. Там я выпрошусь... в какой-нибудь уездный город, продам все что можно, чтобы кормить Яшу, а весной попробую увезти его на юг, потому что, наверное, и с колонией дело будет тянуться, а я без Яши не могу больше быть, мне даже подумать страшно, что он умрет без меня.

С отъездом надо торопиться еще потому, что железные дороги грозят совсем стать. В Москве уже значительно голоднее, и это тоже говорит за то, что лучше мне ехать назад.

Когда ты приедешь на съезд или когда вообще будешь проситься из Калуги, постарайся устроить нас на юге... Надо, чтобы в одном из южных городов с хорошим климатом (Новороссийск, Анапа, Кисловодск) ты устроил нас, то есть съездил бы туда, устроил квартиру, выписал нас. Иначе мы будем лишены возможности двигаться...

Аня.

¹ О каком именно Соколове идет речь, установить не удалось.

² Кирсанова К. И. — секретарь Омского горкома партии.

³ Луначарская А. А. (жена А. В. Луначарского) — в 20-е годы руководила детскими колониями в Москве.

7 февраля 1921 г., Москва.

Сегодня получила ордер на комнату № 447 во 2-м Доме Советов. Завтра эта комната будет свободна, и завтра же я дам телеграмму о выезде своим. Комната эта — очень светлая, но маленькая, дана мне как временная. Теперь вместо Платонова¹ комнатами распоряжается тов. Смидович². Мы с ним условились, что, когда приедут мои, он даст мне или другую комнату во 2-м же Доме, или переведет в другую квартиру, такая есть в 4-м Доме Советов, сейчас она занята семьей т. Лепешинского³, которая уезжает дней через 10—14 в Крым.

Во всяком случае квартирное положение прояснилось. Значит, на всякий случай запомни № 447 или же ищи в 4-м Доме кв. Стасовой⁴.

Думаю сейчас начать так работать, чтобы заработать себе юг к лету. Что же касается питания ребят, то я твердо решила продавать вещи. Ничего не поделаешь...

Пиши на 2-й Дом.

Аня.

¹ Платонов А. П. — ответственный управляющий, руководитель хозяйственного аппарата Кремля и Домов Советов.

² Смидович П. Г. — член Президиума ВЦИК и ЦИК СССР.

³ Лепешинский П. Н. — в социал-демократическом движении с начала 90-х годов; после победы Октябрьской революции на ответственной работе. Автор книги воспоминаний «На повороте»

⁴ Спундэ был знаком с Еленой Дмитриевной Стасовой со времени сибирской ссылки.

11 февраля 1921 г., Москва.

...Из первого письма ты знаешь о моих мытарствах и муках. Ведь комнату я получила только после того, как в это дело вмешался Владимир Ильич, сагитированный, конечно, Надеждой Константиновной. Пока я имею один №, но обещан и второй или две комнаты в 4-м Доме Советов.

Позавчера, или еще 8-го, я дала своим телеграмму в Омск о выезде. Когда придет ответ, не знаю. А может быть, и Яша опять болен так, что нельзя выехать. Мысль об Яше не дает мне ни минуты покоя. Я не жаловаться тебе хочу, а просто рассказать, как мне сейчас безумно тяжело думать о возможности потерять Яшу...

Сегодня вечером со съезда молодежи заеду в одно место, где мне обещали книгу по электрификации, но не знаю, получу ли ее. Сегодня же я говорила с женой Кржижановского¹ об одном экземпляре книги для тебя. Она сказала, что во все губисполкомы, в том числе и в Калужский, послано по 5 экземпляров, но что она попытается достать все же и для тебя...

Аня.

¹ Кржижановская-Невзорова З. П. — профессиональный революционер. После Октябрьской революции заместитель заведующего внешкольным отделом Наркомпроса.

Калуга, 12 февраля 1921 г.

Родная моя Аношка!

Вчера получил от тебя два письма с агентом Губпродкома от 3 и 7 февраля. До этого ни строчки не получал...

Аня, Аношка, я обещаю тебе, что приму все меры, чтобы к весне переехать туда, куда это будет нужно для Яшутки и тебя.

Я все же думаю, что при условии принятия ряда мер дело не так плохо, как об [этом] пишешь ты...

С.

PS. Подательница настоящего письма, тоже едущая по «хлебному» делу в Наркомпрод, расскажет тебе, что у нас на днях в «ударной» типографии упали от голода трое рабочих.

Калуга, 19 февраля 1921 г.

...Когда получил с Соколовым твою посылку, я, право, даже рассердился на тебя. Я скажу вполне откровенно, что я здесь по качеству питаюсь как придется — бывает иногда хлеб и образца питерского 1918 г., но голодным я почти ни разу не был. А ведь я знаю, что в Москве сейчас хотя и несколько лучше, чем у нас в Калуге с продовольствием, но все же ухудшение по сравнению с декабрем резкое. Пойми, Аня, что у меня буквально кусок поперек горла становится, когда я представляю, что плохо питаешься ты. Аношка, я очень прошу тебя — не посылай мне ничего съестного...

Теперь о ребятах. Повторяю, твоя тревога, конечно, имеет достаточно оснований, но все же она преувеличена — дело не так плохо. Я очень внимательно, по несколько раз прочел твои письма и письма Надежды Ивановны¹ и Кирсановой. Впрочем, об этом подробнее при встрече...

Третьего дня вернулся из одного уезда (Перемышльского). Обстановка была очень тяжелая, бурная. Съезд заседал без перерыва с 5 вечера до 8 часов утра. Овладел я настроением только под утро (в 4,5 часа) после 4-часовых в общей сложности речей. Так устал, что потом, сидя у одного товарища, уснул за чайным столом, не допивши стакана.

В общем, кое-какое оживление все же вношу в здешнюю жизнь.

Главное — мои вопли в Наркомпрод и у Крестинского немного облегчили наше положение — выцарапали 30 вагонов ячменя из московских ресурсов. А то уж очень у меня подавленное настроение было, зная, что прямо умирают люди...

Саша.

¹ Селиванова Н. И. — мать Анны Григорьевны Кравченко.

4 апреля 1921 г., Москва.

...Дети приехали еще 28 марта, но я как только встретила их, так поняла, что дела плохи. Теперь в этом уже нет никакого сомнения. Два врача определили и у Люси¹ и у Яши туберкулез легких. Такие они оба стали жалкие, вялые дети. Темпе-

ратура, особенно у Яши, постоянно повышенная. По ночам теперь редко можно спать, лежу и слушаю плач, стоны и кашель детишек...

Принимаю все меры, чтобы подлечить детей. Завтра повезу их в детскую больницу делать впрыскивание туберкулина, веду переговоры о рентгеновских снимках, хлопочу о даче.

На юг сейчас ехать врачи не советуют, осень покажет. нужен юг или нет. Советуют устроить дачу в Серебряном бору. Не знаю, выйдет ли что-нибудь...

Очень жаль, что ты не успел написать мне о своих впечатлениях по поводу продовольственного налога. Мне очень нужны такие впечатления, я ведь начала партийную работу в Замоскворецком районе...

А.

¹ В детстве Шуру в семье звали Люсей

Калуга, 26 апреля 1921 г.

...Приехал я хорошо, на второй день¹. Когда я рассказал местной публике, как обстоит дело с получением продовольствия, — настроение совсем упало. Они уже без меня отдали часть семян на продовольствие под угрозой забастовки на телеграфе и водопроводе...

Дети, наиболее привилегированная группа, и то получают хлеб не из чистой муки. Начинается почти повальное бегство служащих, рабочих из-за голода. Секретарь Губпродкома, который работает здесь непрерывно третий год, говорит, что это самый тяжелый год, какой он видел.

Напиши мне хоть в двух словах, как себя чувствуют дети...

На днях поеду опять в уезды. Думаю, что не позднее конца мая мне удастся быть в Москве. К этому времени, несомненно, должно будет уже определиться влияние дачи. Я твердо решил взять отпуск хотя бы на несколько недель²...

С.

¹ Александр Петрович выезжал в Москву.

² После успешного выполнения задания в Калуге А. П. Спундэ был рекомендован Центральным Комитетом партии на должность председателя Вятского губисполкома.

Вятка, 15 июня 1921 г.

...Ехал я всего 26 часов — в Вятку приехал в ночь с воскресенья на понедельник около 12.45. Ночевал на вокзале в агитпункте. Звонки по телефону в город были безрезультатны — все спали. К счастью, в агитпункте дежурил товарищ, который меня узнал по 1917 году, когда он был рабочим Вятского железнодорожного депо, где я выступал.

Пару слов о дорожных впечатлениях. В районе Москвы вплоть до Свечи (около 150 верст от Вятки) урожай везде по меньшей мере приличный, не хуже того, как в районе Красково. На границе Костромской губернии картина резко меняется — состояние озимых становится чем дальше, тем хуже. Яровые пока вполне приличны. Но уже потом из разговоров здесь, на месте, я узнал, что это один из лучших районов губернии. В наиболее южных и в то же время наиболее хлебных уездах есть целые районы, где озимые погибли совершенно — земля черная. Яровые еще могут быть исправлены своевременными дождями. В Яранском уезде, как стаял снег, не было ни одной капли дождя. Словом, цветущий уезд обречен на голод, и весьма острый. Правда, есть места, где дело обстоит сносно, но это как раз малохлебные северные уезды...

Таковы общие перспективы. Как видишь, веселого мало. С посевной кампанией, видимо, справились, но семенное снабжение хуже калужского. Но это подробнее узнаю завтра на заседании Губпосевкома.

Читал я ряд сводок о настроении населения по губернии. Оно характеризуется как подавленное. И здесь любопытно отметить, насколько глубокое оживляющее впечатление на человека производит начало хозяйственного улучшения и надежды на будущее. В Калуге настоящее положение все же неизмеримо хуже здешнего, но там, с одной стороны, удачно прошло снабжение семенами, виды на урожай, во всяком случае, не ниже среднего. Все это привело к подъему энергии и жизнедеятельности, а также — советских настроений. Здесь правда, площадь в целом против 20-го года расширена, но ряд неурожаев после многолетней войны вызвал, по-видимому, некоторую апатию...

Губком вчера постановил провести меня председателем Губисполкома. Это послезавтра будет оформлено Губисполкомом, и тогда приступлю к работе. Пока знакомлюсь с положением. Атмосфера хорошая. Совершенно нет привилегий. Был у ряда «совбуров»¹ — живут весьма и весьма скромно, пайки тугие. Сами характеризуют введенный ими режим как жестокий; одеты скромно, ни одного кожного костюма, кроме своего, еще не видел; едят по-монашески. Последнее меня даже слегка пугает. Но зато их никогда не гонят с собраний рабочие, даже когда недовольны.

Минусом является заметный крестьянский налет; он, говорят, теперь особенно усиливается, когда Ижевский и Воткинский заводы с Сарапулом отошли в Пермскую губернию, Бондюжский — в Татреспублику. Здесь теперь, за исключением железно-дорожников С-Вятского округа и мелких предприятий, сплошь крестьянское население...

Если тебе будет нетрудно, пришли журнал Главполитпросвета, 17-й номер «Коминтерна» (он вышел), и если «твой паж» может достать — возможно полное номера «Вестника статистики».

С.

¹ Можно предположить, что этот термин Спундэ позаимствовал из статьи Ленина «О работе Наркомпроса», опубликованной в «Правде» 9 февраля 1921 года. Анализируя распределение «Известий», «Правды» и «Ведноты», Владимир Ильич пишет: «Поразительно мало на расклейку, т. е. для наиболее широких масс. Поразительно много на столичные «учреждения» и т. п. — видимо, на расхищение и бюрократическое использование «совбуров» — как военных, так и штатских» (Полное собрание сочинений, т. 42, стр. 328). В другом месте той же статьи Ленин называет «совбурами» советских избалованных «сановников» (там же, стр. 331).

Вятка, 22 июня 1921 г.

...Вчера здесь были получены московские газеты от 16 и 17. В «Правде» от 17/VI краткий некролог — «Тов. Шилф и Берце». Анюшка, очень прошу тебя — прочти. Если нет газеты, очень прошу, где угодно хоть на час достань и прочти. Когда прочтешь то, что написано Стучкой¹ в «Правде» и что я пишу в письме, Анюшка, очень прошу тебя, расскажи (если сможешь — несколько раз) детям — и Яшеньке и Люсе. У тебя есть большое умение даже такие вещи сделать понятными детям.

Я часто думаю, что одним из методов воспитания является и должно являться создание в сознании ребенка ряда светлых и глубоких образов.

Погибшие — старые, очень близкие товарищи и друзья мои — являются такими образами, на которых при самой требовательной проверке я не нахожу и тени пятнышка. Оба — это люди совершенно исключительной душевной глубины и кристальной ясности. Я бы говорил о святости, если бы это не звучало несколько вульгарно. Пару слов о каждом из них.

Шилф, как я его помню (совместно работали в 1910—1913 годах), с молодых лет со впалыми щеками, с полным отсутствием каких-нибудь интересов, кроме партийного и общественного дела. Как сегодня помню его голубые, полные мысли, доброй, хорошей мысли, глаза. Как сегодня помню глубоко идейную и в то же [время] поразительно простую атмосферу его маленькой рабочей квартиры в Риге...

С другим, Берце, у меня связано еще больше воспоминаний. Два раза совместная тюрьма, краткая встреча в ссылке, беглая беседа с ним и Эйхе² в Москве в 1918 году и те же 1910—1912 годы общей работы в Риге. Шилф был больше с наклоном аналитика. Берце, наоборот, — с немалым (я для себя, по крайней мере, считаю это установленным) художественным дарованием³. Я убежден, пожертвуй он хоть одну десятую часть своей партийной жизни на это — его стихи не время от времени появлялись бы в латышской рабочей печати, но сделали бы его имя, по крайней мере в Латвии, общеизвестным. Вспоминаю я слова из его письма ко мне с Ангары в Енисейск в 1915 году — «если бы жизнь здесь была так же хороша, как природа, я никогда не уехал бы отсюда». Но дело создания хорошей жизни так тянуло его, что уже в 1916 году он бежит в Иркутск...

Анюшка, просто-таки совесть моя требует, чтобы эти образы хоть частично отпечатались в людях, в частности в наших детях. Анюшка, прошу тебя, сделай это с большой любовью к лучшей частичке человечества, к какой (я не увлекаюсь) принадлежит погибшие.

Меня это известие прямо из колен выбило. Сегодня и вчера прямо места себе не нахожу от чувства вины перед ними. Сидим мы тут, о голоде думаем, а они все (в самом всеобщем значении этого слова) отдали за главное дело своей краткой, но

необычайно содержательной жизни. Появляется мысль, не должен ли я отправиться в Латвию, чтобы хоть частично продолжать дело, которое вели они. Временами мне кажется, что я просто внутренне права не имею не делать этого. Пока решений для себя не принимаю, хочу, чтобы эти мысли созрели, отстоялись...

Анюшка, надо бы поговорить не об одном деле, но в этом письме я ни о чем повседневном писать не могу...

С.

¹ Стучка П. И. — в 1919—1922 годах заместитель наркома юстиции РСФСР.

² Эйхе Р. И. — член КПСС с 1905 года, революционную работу вел в Латвии, был членом Митавского комитета Социал-демократии Латышского края; в советское время на ответственной партийной и государственной работе.

³ Августу Арайсу-Верце принадлежат несколько поэтических произведений и книга «Смерть Менуса». Один из рассказов, давший название всей книге, Верце написал в тюрьме незадолго до казни; прообразом героя этого произведения, революционера Менуса, был сам автор.

Вятка, 30 июня 1921 г.

...Голод на губернию надвигается быстрыми шагами, и цены на все скачут с неимоверной быстротой в гору. Вчера приехала делегация из когда-то наиболее хлебного Яранского уезда; теперь там умирают десятками люди...

Вчера на президиуме Губисполкома наряду с частью бронированных рабочих сняли со снабжения почти всех неорганизованных детей. Лица у всех вытянулись, голосовали как-то нехотя, стыдясь, — но выхода абсолютно никакого нет.

Словом, кругом такая человеческая нужда, что жуть охватывает. Сравнительно недурно налаженные советские аппараты разваливаются — люди от голода бегут, не зирая ни на что, производительность падает.

Еще один бич — страшные пожары по всей губернии. Несколько дней тому назад в ясный безоблачный день не было видно солнца — все заволокло дымом. Верстах в тридцати от Вятки сгорели в течение двух часов 4 деревни. На железной дороге Пермь — Вятка (около Глазова) сгорели два разъезда. Борьба невозможна — огонь перебрасывался за одну-две, даже три версты — так сухо и накалено было все кругом. Третьего дня были небольшие дождики — урожая они уже не поправят, но пожары в берега ввели...

Прошу тебя, Аня, очень — пиши. Выдержка здесь нужна будет большая, твои письма помогут.

С.

Вятка, 1 июля 1921 г.

...Вести отовсюду изо дня в день все мрачнее. Главное — нет просвета впереди. Только вчера по телеграфу приказал наиболее голодному уезду отправить значительную партию солины в Москву. Жутко было подписывать телеграмму.

Достал тебе 30 фунтов муки. Посылаю. Анюшка, мне очень тяжело тебе это сказать, но теперь для меня ясно, что я помочь тебе не смогу в дальнейшем ни мукой, ни маслом... Костюм не продаю — просто жалко его буквально подарить какому-нибудь кулаку.

Пришли мерки на обувь. Это как-нибудь улажу...

С.

Вятка, 10 июля 1921 г.

Анюшка! Завтра или послезавтра едет в Москву товарищ. Пишу несколько строк. Посылаю тебе большое письмо с Калининным¹. Думаю — оно должно было уже дойти до тебя. Очень меня беспокоят дети и не менее — твое здоровье; жаду об этом вестей от тебя...

Если это не вызовет особых хлопот — подчеркиваю, только при этом условии, — пришли мне № 1 «Красной нови».

Последние дни здесь в достаточном размере выпадают дожди. Поздно посеянный овес и корнеплоды все же слегка поправятся. Пусть тебя не удивляет мой интерес к дождю — здесь о нем в Губкоме, Губисполкоме говорят больше, чем о Коминтерне и других высоких материях. Теперь уже почти безнадежно, но две, три, четыре недели тому назад каждая капелька спасла бы жизнь десятков и сотен людей.

С.

¹ М. И. Калинин возглавлял агитпоезд «Октябрьская революция», совершавший летом 1921 года рейс по ряду губерний России; поезд побывал и в Вятке.

Вятка, 12 июля 1921 г.

...За «Красную новь» очень рад. Это первый за революцию журнал, с которым можно показаться на большой свет¹. Лишь бы он не заглох на первом номере...

С.

¹ Первый номер литературно-художественного и научно-публицистического журнала «Красная новь» вышел в июне 1921 года (редактор — А. Воронский, издатель — Главполитпросвет). В редакционном уведомлении, в частности, говорилось: «Журнал «Красная новь» издается при участии виднейших представителей коммунистической мысли Советской России. Отдел художественного слова редактирует т. Горький. Придавая большое значение вопросам философии, физики, биологии и других отраслей науки, редакция ставит своей задачей возможно широкое привлечение в качестве сотрудников представителей научной мысли». В первом номере «Красной нови» опубликована работа В. И. Ленина «О продовольственном налоге (Значение новой политики и ее условия)», статья Н. К. Крупской «Система Тэйлора и организация работы советских учреждений», А. Луначарского «Наши задачи в области художественной жизни», А. Тимирязева «Периодическая система элементов Менделеева и современная физика» и другие материалы.

12 июля 1921 г., в пути.

...Пишу тебе это письмо на маленькой станции, где вот уже три часа жду поезда на Москву. Возвращаюсь обратно¹. Но прежде чем говорить о впечатлениях от поездки, мне хочется сказать несколько слов о другом.

Через час примерно после того, как я отдала для тебя длинное письмо товарищу из Вятки, мне позвонили, что в кабинете Владимирского² есть письмо для меня «с Урала». Я зашла за этим письмом по дороге на конференцию, не будучи твердо уверенной, что это письмо от тебя. Это было твое письмо от 5-го. По дороге на конференцию я разглядела только твою карточку. Спасибо тебе за нее, дорогой, это будет одна из моих любимых карточек. Несмотря на скверное исполнение, она очень верно передает один момент из жизни твоего лица, схватывает одно из твоих настроений, особенно мною любимое.

Саша, родной, пойми ты, как часто от одного сознания, что есть на земле человек, как ты, мне становится легче жить, и не только легче в смысле подъема жизнеспособности, а начинаешь по-прежнему любить жизнь, несмотря на все страдания, которые видишь. Об этих своих переживаниях, связанных с тобой, я только не умею говорить и не люблю говорить. Вот почему мне бывает так бесконечно больно (ты принимаешь это за раздражение), когда ты спрашиваешь меня о своей пригодности для жизни и т. д. Неужели ты не чувствуешь, что говорить со мной об этом — это все равно что спрашивать, нужно ли солнце?

На конференции, воспользовавшись первым удобным моментом, начала читать все твои письма. И по мере того как я их читала, я переставала чувствовать окружающее. Меня подхватила такая могучая волна самых разнообразных чувств, какой я давно не испытывала. Я еще и сейчас не могу рассказать тебе о том, что я переживала, знаю только, что так остро воспринималась вся боль людская, и в том числе свое горе с детишками, и в то же время я так ярко чувствовала твою любовь, твою заботу о нас. Так много тяжелого, мучительного было в твоих письмах, и в то же время так тепло стало от них. Таких писем ты мне никогда не писал.

Так я и поехала в путешествие с твоими письмами. То, о чем ты просишь, я сделаю при первом благоприятном случае, Саша. Когда еще читала я статью Стучки в «Правде», я почему-то думала о тебе: как ты отнесешься к смерти этих двух людей? Мне почему-то казалось, что они близки тебе. Словами трудно передать пережитое от этих писем. Не умирать ты должен, Саша, не стыдиться того, что ты живешь, а жить, стараться как можно больше прожить...

Теперь перейду к тому, что видела. 68 человек (из них больше чем $\frac{2}{3}$ женщины и дети) среди пустынного поля, голодая и холодая, за три года своими собственными руками построили (вернее, кончают строить) светлый высокий двухэтажный дом в 20 комнат, засеяли 150 десятин земли хлебом, овощами, лучше которых нет в уезде, разбили огород, создали семенник, снабжающий семенами самых разнообразных овощей не только свое хозяйство, но и окрестных крестьян, построили маленькую школу, хорошую баню. Голодали они эту зиму страшно, пекли хлеб из конского щавеля и дубовой коры, а сейчас пекут свой великолепный хлеб от нового урожая.

Живут люди очень дружно, нигде не слышно бранных слов. Устав коммуны блюдут свято — собственности нет, все одинаково получают. Дети чувствуют себя

среди этих взрослых великолепно. У них такие простые, хорошие взаимоотношения. Детей не на словах, а на деле снабжают всем в первую очередь: им и кусок мяса побольше, и молоко получше, и мед, и яйца. Детишки играют, обедают, ужинают и работают все вместе. Здесь ты не услышишь этих прямо ставших мне ненавистными слов: «мой», «моя», «я хочу». Детей все ласкают, берегут. Жизнь растет, развивается на этом клочке земли, и благодаря этому такая здоровая атмосфера вокруг. Эта атмосфера здорового дружного труда захватила меня. Она так нужна нашим детям, нужна не менее, чем питание...

Аня.

¹ Анна Григорьевна ездил в Веневскую коммуну (Тульская губерния), чтобы выяснить возможность устройства туда детей.

² Владимирский М. Ф. — член Президиума ВЦИК, заместитель наркома внутренних дел РСФСР.

Вятка, 22 июля 1921 г.

Анюшка! Только что получил твое коротенькое письмо, посланное по почте заказным. С большим нетерпением жду от тебя подробное письмо, которое ты обещала... Сегодня едет в Москву (из Екатеринбурга) Римма Юровская. С ней посылаю пару слов.

Кроме того, посылаю сборник стихотворений Райниса. Это самый крупный латышский поэт. В минуту слабости я с поразительным наслаждением ощущаю на себе влияние его полных стальной воли, непреодолимого упорства стихов. Прочти и ты их — как ни плохи русские переводы, — я убежден, они повысят в тебе силу воли, сопротивляемости.

Большое письмо — со следующей okazji. Целую тебя, ребят.

С.

Очень многое надо бы сказать, но до воскресенья не смогу взяться за письмо. Очень жду вестей от тебя.

Вятка, 26 июля 1921 г.

Анюшка! Дня через два едет в Москву товарищ, отзываемый отсюда ЦК. Готовлю с ним письмо. Оно будет кратким, так как в разгар посевной и налоговой я верчусь, как белка в колесе, — устаю донельзя, да и времени нет.

Твоему большому письму (с Поповым¹) я уж очень обрадовался. Коротенько отвечаю на него. Конечно, Аня, тебе надо ехать в Веневскую коммуну, хотя свой перевод в Тулу я приурочиваю только к зиме. Причин много — главная не кидаться с места на место. Пока об этом никому не говорю, не говори и ты. Почему — поймешь, да и напишу в одном из следующих писем. Думаю, что перевод нетрудно будет устроить. Молотов усиленно расспрашивал Попова про мое здоровье — стало быть, в ЦК это знают...

Буквально сидим на голоде (вчера сошла с ума лучшая машинистка Губсовнархоза, не выдержавшая напряженной работы без пайка). Со стихией справимся, но целый год неизбежен дальнейший застой в хозяйстве...

Любопытен разговор двух колчаковских офицеров (их много шлют сюда из Сибири), ведшийся с одним товарищем которого они приняли за «своего», обывателя: «Единственная надежда у нас — это чтобы всколыхнуть голодную стихию, чтобы хоть несколько сдвинуть власть. Эсеры ли, меньшевики или еще кто-нибудь — их мы скинем буквально в три дня. Но с большевиками мы бороться не можем. Это безнадежно...»

Твою обувь оборудую завтра, — может быть, даже сумею послать при настоящем письме. Валенки ребятишкам тоже устроим (пришли мерки).

Ты, Анюшка, не хочешь, чтобы я посылаю тебе деньги и продовольствие (последнее я смогу изредка только). На это соглашусь только при одном условии — продай мою шубу и сообщи мне. Тогда буду хоть временно спокоен, а там видно будет. Пока ты этого не сделаешь, буду делать как смогу. Впрочем, на этот раз послать все равно нечего...

С.

¹ Вероятно, имеется в виду Попов П. И., в то время начальник Центрального статистического управления.

Вятка, 31 июля 1921 г.

...Только что вернулся с конференции железнодорожников, продовольственное положение коих не из важных. И что же — настроение твердое, уверенное в быстрой хозяйственной победе. Наши резолюции без давления принимались единогласно, без воздержавшихся (конференция беспартийная). После ее окончания со мной как с вполне своим человеком говорили многие рядовые железнодорожники (машинисты и т. д.); констатируют очень сильное улучшение в деле управления железнодорожным хозяйством. Словом, просто отдыхаешь от этих впечатлений...

Очень жду вестей о здоровье ребятишек, о том, как твои «переселенческие» дела. Пиши чаще и подробней. С твоими вестями постараюсь согласовать свой отпуск и приезд к тебе.

Анюшка, пришли, если можно, книг — «Коминтерн» №№ 17, 18, «Красная новь» № 2 (первый очень хорош). Попов, «Производство хлеба в РСФСР», наконец, «Вестник агитации и пропаганды» №№ 9, 10, 11, 12 и дальнейшие (здесь все это не получено), журнал «Народное хозяйство» за 1921 год. Анюшка, я пишу много, присылай только то, что достанешь без обременительных хлопот.

Денег не посылаю — требуют 35 000 рублей паевого взноса в Потребительское общество (ничего не поделаешь — «новый курс»). Пошлю со следующей оказией — а они довольно часты.

Вспомнил случайно (по ассоциации с кооперацией и взносами) — рабочие за новый курс голосуют единогласно, но подошли ко мне потом и говорят — необходимость именно такой экономической политики признаем, но в то же время помним, что она нас разденет, если протянется долго.

Кончаю. Пиши, Аня, больше о себе, ребятах.

С.

25 августа 1921 г., Москва.

...Посылаю тебе коротенькое письмецо с товарищем, который был на нашей клубной конференции. Сколько матери в Вятской губернии хороших ребят народили, прямо как на подбор! Вот и этот, Злобин, такой славный парнишка.

У нас все благополучно. Сегодня по телефону говорила с Надеждой Константиновной о своем уходе. Она ни за что не соглашается и берется устроить ребят за городом. Следующая неделя решит окончательно их местопребывание.

А.

Вятка, 25 августа 1921 г.

...Как-то после приезда из Москвы особенно остро ощущаю истощение и усталость — видимо, реакция после московского отдыха, который был мал, чтобы поправиться, и велик достаточно, чтобы выбить из привычной колеи. Теперь и сам чувствую, что действительно надо в этом году основательно отдохнуть, иначе совсем калекой стану.

Втесали меня в комиссию по проверке и очистке партии¹, — очень не хотелось И я был прав...

Только что пришел с тяжелого заседания, когда всякого человека со средним образованием стремились исключить (не все в порядке в билете — а у кого он в порядке?)... Большинство предложений об исключении провалил. Еще попробую одно-два заседания и, если дело пойдет так и дальше, выйду из комиссии — не хочу нести ответственности за такую работу...

С

¹ 27 июля 1921 года «Правда» опубликовала обращение ЦК РКП(б) ко всем партийным организациям «Об очистке партии». До конца 1921 года было исключено около 160 тысяч человек — это чуть ли не четверть всего состава партии того времени. Прежде всего были разоблачены и изгнаны из партии чужаки, проникшие в нее с контрреволюционными целями, далее лица, злоупотреблявшие служебным положением, нарушавшие нормы поведения, не принимавшие никакого участия в партийной жизни. Слушались кое-где и такие перегибы, о которых упоминает в своем письме А. П. Спундз. В целом же чистка оздоровила партию, укрепила ее пролетарское ядро.

24 октября 1921 г., Москва

Сашенька, только что вернулась от детей!... У Яши стала иногда подниматься температура. Загар сошел, и он бледненький. Люся жалуется на головную боль. Не знаю, что можно еще сделать для них.

Посылаю тебе журналы... ВЧК издает сейчас сборники выдержек из заграничной печати, я принимаю участие в этой работе, и поэтому у меня теперь бывает вся текущая пресса. Есть любопытные вещи, приедешь, поговорим... Мне так хочется, чтобы ты поскорее приехал, хоть одна бы минутка выдалась, когда я смогла бы отдохнуть. Аня.

¹ Дети лечились в санатории под Москвой.

Вятка, 8 ноября 1921 г.

...Устал до чертиков — только что после 5-часовых речей подавил на губернском съезде Советов довольно сильную крестьянскую оппозицию (65 голосов против приблизительно 20). Но это между прочим...

Я всегда употреблял термин «торговля», а не «товарообмен» или даже «продуктообмен»... Моментами казалось, что это один из редких моментов в моей политической жизни, когда не понимал анализа Ленина как-то с двух слов. Теперь выяснилось, что прав был я — смотри заявление Ленина в заключительном слове на Московской конференции о нашей ошибке.

Анюшка, ты знаешь, как я люблю анализ — каждый успех в этой области радует меня, как ребенка. Вот почему я, несмотря на усталость, не мог не поделиться с тобой. Только одно, Анечка, этот разговор между нами. Ты знаешь, что я говорю глаголю правду, люди же могут подумать — стремится выше себя стать, а это меня царапнуло бы внутренне...

С.

* * *

На VII Московской губпартконференции, о которой упоминает в этом письме А. П. Спундз, Ленин выступал 29 октября 1921 года с докладом о новой экономической политике. Важное место в докладе занял вопрос о товарообмене, декретированном правительством весной 1921 года. «Предполагалось, — напомнил Владимир Ильич, — более или менее социалистически обменять в целом государстве продукты промышленности на продукты земледелия и этим товарообменом восстановить крупную промышленность, как единственную основу социалистической организации. Что же оказалось? Оказалось, — сейчас вы это все прекрасно знаете из практики, но это видно и из всей нашей прессы, — что товарообмен сорвался: сорвался в том смысле, что он вылился в куплю-продажу...» В этих условиях надо, говорил Ленин, перейти «к созданию государственного регулирования купли-продажи и денежного обращения» (Полное собрание сочинений, т. 44, стр. 207—208).

В заключительном слове Владимир Ильич, отвечая на выступления некоторых ораторов, еще раз подтвердил, что введение товарообмена было ошибкой. Заметим, что, готовясь к выступлению на конференции, Владимир Ильич в плане доклада, в частности, написал: «...ошибки бывают полезны, если на них учатся, если они закаляют» (там же, стр. 470).

Иллюстрацией к словам Ленина о том, что товарообмен сорвался, служат наравне с другими и факты, приведенные А. П. Спундз в его «широком, обстоятельном докладе» (так назван он в протоколе) на заседании Вятского губкома партии 22 сентября 1921 года «О конкретном содержании новой экономической политики в условиях настоящего момента».

Вятка, 10 ноября 1921 г.

...Перед уходом на съезд пишу тебе пару слов... Подъем у меня в душе, голова ясна — перспективы событий кажутся такими ясными, резко очерченными. Хотелось тебе об этом рассказать. Я уже писал тебе, что перед тем, с неделю тому назад, считал себя совершенно разбитым, почти инвалидом. Сейчас мне море (или что глубже моря — «новая» экономическая политика) по колено. Нет того, что до сих пор было. Головой, рассудком сознаю ясно объективную необходимость, прогрессивность, в конечном счете, того, что мы делаем сейчас, но все нутро прямо ныло как-то. Теперь нет и этого раздвоения¹...

С.

¹ В то время Спундз часто задумывался о проблемах, связанных с новой экономической политикой, о положении дел в деревне. 27 декабря 1921 года он написал Ленину письмо, в котором высказал некоторые соображения о продовольственной по-

литике в Сибири. Направляя это письмо секретарю ЦК партии, Ленин в сопроводительной записке писал:

«т. Молотов!

Прочтите, пожалуйста, и дайте прочесть Сталину и др.

Спундэ — человек честный и неглупый.

Верните мне с парой слов отзыва тех, кто читал».

Вятка, 5 февраля 1922 г.

Анюшка! Мое отсутствие было использовано небольшой, но энергичной крестьянской демагогической группой. Пошла самая бешеная клевета на меня. В результате я потребовал, чтобы губком отпустил меня из губернии. Губком поколебался и согласился. Но все, что есть здесь лучшего (завгубоно, предгублескома, мой заместитель и другие), ставят вопрос ребром — если ухожу, уходят и они все. Поэтому я в своем тесном кругу сказал, что я готов остаться до весны, если будет мало-мальски сносная обстановка для работы.

Прилагаю письмо к Молотову. Во имя спасения целой губернии надо, чтобы Хотимский или еще кто-нибудь непременно и немедленно зашел бы с ним к Молотову и получил ответ. Я со своей стороны пишу и Брюханову¹.

Больше писать как-то не могу — уж очень подавлен подлостью человеческой.

Нежно, нежно тебя. ребят целую. Пиши, очень прошу. Твои письма мне сейчас очень нужны. Как устроились ребятишки?

С.

PS. 1) Письмо Молотову влагаю открытым, но ты его прочти (прочесть может и Хотимский) и, разумеется, вложи в конверт и запечатай.

PS. 2) Если на конференции 12 февраля не удастся всю эту мерзость призвать к порядку, то уеду отсюда в конце февраля совсем.

¹ Брюханов Н. П. — в тот период народный комиссар продовольствия РСФСР.

13 февраля 1922 г., Москва.

Сашенька, в дверях уже по дороге к своим получила твое письмо от 5 февраля. Может быть, тебе это и странно покажется, но это письмо подняло у меня настроение. Уж если тебя так ударили, то, значит, все те процессы, которые я давно видела, зашли очень глубоко. Это означает, что жестоко бороться надо, и будем. Как ни больно тебе, но я уверена, что ты от этого не опустишь рук и тебе ни на минуту не придет в голову сомнение в своих силах. Лично я тебя после всего происшедшего еще больше ценить и беречь буду...

Жду от тебя вестей, хоть пару слов черкни.

Целую твои руки, глаза.

Аня.

Вятка, ночью 19 февраля 1922 г.

Анюшка, конференция кончается, но и я начинаю уставать от трех дней большого напряжения и завтра уже буду тянуть с трудом. Но зато пока идет совсем гладко. Работу губкома без единого голоса против (были, правда, воздержавшиеся) признали принципиально правильной и практически удовлетворительной. Все время держал вожжи в руках, и как только «деревенщина»¹ поднимала голову, тут же хлоп ее по голове.

Пишу только об этом — очень устал, пойду спать.

Посылаю две пары ботинок — грубые они, но лучших не было...

Утром 20 февраля.

Анюшка, зайди во ВЦИК, возьми мой жел.-дор. билет, наказ для члена ВЦИК и пришли с этой же оказией.

С.

¹ «Деревенщина» — такой термин бытовал в то время в некоторых партийных кругах; под ним подразумевались выразители настроений зажиточных крестьян, которые толковали введение нэпа как возврат к капитализму.

2 марта 1922 г., Москва.

...Я виновата, что писала редко последнее время тебе, но это происходило не потому, что меня не тянуло к тебе; как всегда, твое влияние сказывалось на каждом

моем поступке, но у меня физически не хватало времени на письмо. Фабрика приковала меня к себе. Раз столкнувшись с работницами, я уже не могла только формально раз-два в неделю бывать с ними, почти каждый день захожу я к ним и уже начинаю становиться своим человеком.

Когда приедешь на съезд, обо многом поговорим¹... Партийный съезд должен быть очень интересным, на мой взгляд, если на нем все вопросы будут поставлены прямо.

Эта весна, конечно, острее прошлой. Но ведь что бы ни было, мы останемся, и не мне, Сашенька, говорить тебе это. Тяжело же иногда бывает неимоверно...

Аня.

¹ А. П. Спундэ был делегатом Одиннадцатого съезда РКП(б) от Вятской партийной организации. Съезд состоялся 27 марта — 2 апреля 1922 года.

Харьков, 5 июня 1922 г.

Родная Анюшка! Не ругай меня за то, что только на восьмой день приезда собрался тебе написать. Причин много. Прежде всего не знал okazji, а почтой не хотелось посылать. Но самое главное, что только в субботу перебрался от мамы к себе на квартиру в банк. Писать же на людях совершенно не могу.

Начну с дорожных впечатлений Первое — это ужасающие картины голода. Причем особенно сильны они в сытых районах — Орел, Курск. В Вятке нищенство не было и в десятой части так распространено, как здесь. Сам же Харьков в этом отношении прямо-таки давит. Буквально через каждые пять—десять шагов натыкаешься на нищего. У многих смерть в глазах. И наряду с этим по Сумской и другим центральным улицам неповский блеск: кафе, столовые, нарядная публика...

Знаешь, Аня, я все еще как-то не могу приспособиться к Харькову. Работа в банке меня мало удовлетворяет¹. Правда, есть надежда, что удастся втянуться в партийную работу. Мне сказали, что, может быть, мне дадут работу в агитпропотделе ЦК КПУ заведующим или членом коллегии по совместительству с банком. Если это пройдет, будет все же живее. Хотя полной уверенности в том, что я овладею этим делом вполне, у меня нет. Но пойду я на эту работу с охотой. Главное—это ключ к тому, чтобы не быть в стороне от общего русла идейной жизни...

С.

PS. Анюшка, пришли мне цепочку и стихотворение от ребятшек вятских. На днях в трамвае у меня был любопытный момент При выходе из трамвая в меня впился глазами малюсенький ребенок, сидевший на руках у какой-то старухи. Глаза и все лицо были настолько хороши, что я оторваться не мог и чуть не прозевал остановку. И ребенок уж очень по-хорошему не спускал с меня глаз. Знаешь, Аня, я даже на минуту посмотрел на старуху, не голодающая ли, не отдаст ли ребенка временно на прокорм. Видишь, какие встречи бывают. Мы сразу как-то друг друга поняли — я, большой дылда, и этот лягушонок года в полтора...

С.

¹ В конце мая 1922 года А. П. Спундэ был назначен управляющим Всеукраинской конторой Государственного банка.

Харьков, 12 января 1923 г.

...На третий день моего приезда здесь был получен № «Правды» со статьей Ленина¹. Очень я ей обрадовался... Тут он во всем блеске. Я просто ради наслаждения перечитывал ее несколько раз. Чтение каждой ее части — и умение бить в главную точку, и массовая культурная работа, и постановка вопроса о деревне, и эта страстная отповедь барским затеям... — как-то рассеяло у меня то настроение безнадежности по поводу его здоровья, какое создалось в Москве...

Кстати, еще одна мысль, какая пришла в голову при чтении ленинской статьи... — чрезвычайно важно, что самая борьба за классовое и внутривнутрипартийное размежевание, обусловленное НЭПом и вообще революцией, пройдет при его участии, так как это дает возможность, что для колеблющихся интеллигентов лишним аргументом будет самый авторитет Ленина...

С.

¹ Речь идет о статье Ленина «Странички из дневника», опубликованной в «Правде» 4 января 1923 года. А. П. Спундэ прочитал ее после возвращения в Харьков из командировки.

3 июня 1923 г., Севастополь ¹.

За последнее время со мной бывает так, что мне хочется писать тебе и я не могу начать письма. Все слова любви кажутся такими банальными, тусклыми по сравнению с тем, что хочется ими сказать

Я приготовила тебе в подарок книгу. Только что вышедший первый том нового романа Ромена Роллана «Очарованная душа». Не посылаю только потому, что боюсь — она не застанет тебя в Харькове. Много воспоминаний пробудила во мне эта книга, многое из настоящего подчеркнула.

Саша, я никогда еще так сильно не любила, как люблю сейчас. Если люди перед смертью вспоминают моменты наивысшей радости жизни, то для меня это, вероятно, будет тот момент, когда мы ехали с тобой среди алых озер мака к детям. Мне кричать в этот момент от остроты ощущений хотелось. Все воспринималось как-то особенно четко. И в то же время, Саша, мне хочется все большего и большего.

Последние дни я как-то даже против своей воли думала о нас с тобой. И одно дало мне глубочайшее удовлетворение — та искренность, с которой мы всегда говорили друг с другом, хотя это и причиняло порой нам обоим страшные муки. Мне хочется еще раз сказать тебе: не собственница я в любви, не хочу и презираю всякое насилие в чувстве, но как дорого для меня полное гармоническое чувство, воедино концентрирующее все многообразие человеческих ощущений. Сашенька, пойми, почему я это сейчас пишу. Твое последнее пребывание у меня дало мне бесконечно много, я себя почувствовала такой богатой, как никогда. Только некоторая физическая слабость мешала этому наружу выливаться. Когда себя так чувствуешь, тогда ничего нет страшного, все можно встретить с мужеством, и я глубоко мучаюсь, что у меня в свое время не хватило сил дать возможность развернуться твоим чувствам вне меня.

Чем больше люблю тебя, тем больше мучаюсь этим.

Это из области личного, только об этом и напишу тебе сегодня.

Аня.

¹ По рекомендациям врачей — лечить сына на юге — Анна Григорьевна переехала в Крым. Сначала работала в Севастополе, затем в областном комитете партии в Симферополе.

Дрезден ¹, 8 июля 1923 г.

...В воскресенье, 18 июня уехал из Москвы... В Ригу приехал рано утром во вторник, в 7 ч. 10 мин. утра. Можно было сейчас же, через 2 часа, ехать дальше на Берлин, но так как вечером в 11.30 идет второй поезд, я решил день провести в Риге... Походил я по знакомым местам. Зашел во двор, где вырос. Дома, в котором я жил, уже нет. Все сильно изменилось, хотя кругом все, даже самые старые здания, цело. И знаешь, Аня, стало так тяжело на сердце, что за возможность поговорить с кем-либо из своих я бы очень многим пожертвовал. Такой глубокой тоски я давно не переживал. Обошел улицы, где были наши явки, где мы собирались, словом, где совершалось лучшее в лучшую пору моей жизни. Все больше давила тяжесть, вставали лица замученных уже в белой Латвии близких людей. И вновь, но еще более остро пережил то чувство, какое охватило меня в Вятке в 1921 году, когда пришел № «Правды» с известием о казни Берце и Шилфа, двух мне очень близких товарищей. Опять казалось, что нехорошо быть у нас, в безопасности, когда такие люди гибнут. Весь остаток дня ходил по улицам сам не свой...

В Берлине 300 000 русских... Русские газеты (белые) продаются в центре у всех газетчиков.. И здесь, в Дрездене, то же совпадение: в районах, где нельзя купить немецкой коммунистической или хотя бы приличной левой газеты, можно купить белогвардейские «Руль», «Дни» и пр...

С.

¹ А. П. Спундэ находился тут на лечении.

Дрезден, 25 июля 1923 г.

...Через 2 недели уезжаю отсюда. По пути заезжаю на 1—2 дня в Лейпциг и, может быть, в Мюнхен (впрочем, это не очень-то по пути) Оттуда — в Берлин. Там пробуду максимум 3 дня. Затем — в Россию, и вероятнее всего морем из Гамбурга в Петроград. Оттуда скорым прямо в Севастополь. Словом, в конце августа буду у тебя в Крыму. Когда-то ты начнешь отдыхать?

Сегодня опять искал для тебя гравюру Мадонны Сикстинской, и опять неудачно

Тогда решил зайти к хорошему фотографу сняться. На следующей неделе пошлю свою фотографию вместо Мадонны. Мадонну тем не менее во что бы то ни стало раздобуду. А кто лучше — я или Мадонна? Видишь, какое у меня сегодня игривое настроение. Это потому, что я нагулял все же 4¹/₂ кило...

С.

Москва, 24 октября 1923 г.

...Был вчера у Молотова. Разговаривал со мною внимательно. К определенному выводу не пришли. Предлагал председателем Губисполкома в Иркутск или Ставрополь. Я и то и другое отклонил. Обещал подумать и дней через 5 вновь вызвать.

Сегодня в три пойду к Лукоянову М. Н. Он теперь заведует учраспредом в ЦК. Но, откровенно говоря, я почти решил добиваться поездки «туда»¹. Не сердись на меня. Я знаю — больно тебе это будет. Но именно в те моменты, когда у меня спокойное настроение, я все больше даже разумом понимаю, что это лучший выход. Сегодня после беседы с Лукояновым, если не подвернется вполне меня удовлетворяющая работа здесь, напишу письмо Молотову с настойчивой просьбой «туда». Разумеется, так или иначе — тебе немедленно напишу или протелеграфирую. Если соберусь в далекий путь, обязательно предварительно побываю у тебя...

С.

¹ «Туда» означало в данном случае за рубеж на нелегальную работу.

* * *

В конце 1923 года в партии создалась тревожная обстановка. 8 октября Троцкий, который еще две недели назад на Пленуме ЦК голосовал за решения ЦК по экономическим вопросам, обратился к членам ЦК и ЦКК с письмом, в котором порочил проводимые партией мероприятия. Копии письма были распространены в ряде партийных организаций. Вслед за этим в ЦК поступило «Заявление 46-ти»: соглашение троцкистов с «децистами» (группой «демократического централизма»), которые под предлогом развития демократизма пытались узаконить в партии фракционность. Оппозицию фактически возглавил Троцкий.

Переживаемые страной трудности и болезнь Ленина оппозиционеры сочли удобным моментом для коренных перемен в политике партии, изменения ее руководящих органов. Навязав партии дискуссию, они умышленно преувеличивали трудности, сгущали краски и сеяли панику. Их демагогические призывы к «демократизации» были тактическим приемом, рассчитанным на привлечение на свою сторону недостаточно зрелой в политическом отношении части коммунистов.

В эти напряженные дни Центральный Комитет партии направляет А. П. Спунда в Среднюю Азию.

Москва, 13 декабря 1923 г.

Родная, Анюшка, пишу пару строк в вагоне накануне отъезда в Ташкент. Был час тому назад у Люции. Она на все комбинации согласна¹. Некогда сейчас подробно писать, но если можешь на веру, сделаешь все возможное для борьбы с «демократизмом» И. Н. Смирнова², Преображенского³ и, в скрытой форме, Льва Давыдовича⁴ (последний еще хуже). Мотивы — в первом же письме. Но сейчас спишишь с Носовым⁵ и пр.

Борись за ленинский ЦК!

Нежно целую.

С.

¹ Имеются в виду домашние дела, связанные с устройством детей.

² Смирнов И. Н. — в 1933 году исключен из партии за антипартийную и антисоветскую деятельность.

³ Преображенский Е. А. — исключен из партии за антипартийную деятельность.

⁴ Л. Д. Троцкий в 1927 году исключен из партии за фракционную борьбу против генеральной линии партии, в 1929 году за антисоветскую деятельность выслан из СССР, в 1932 году лишен советского гражданства.

⁵ Вероятно, имеется в виду Носов И. П., находившийся в то время на партийной работе в Севастополе.

20 декабря 1923 г., Симферополь.

...Твою открытку из Москвы, написанную перед отъездом отсюда, получила. До нее еще определенно стала на платформу ЦК. Портят дело только некоторые цекисты. Говорила со многими рядовыми товарищами по поводу статьи Сталина¹, и для меня совершенно ясно, что то, что мог делать Владимир Ильич, ни в какой мере кто-либо другой делать не может... Подробности нашей дискуссии (вот уже третий вечер как она тянется) расскажу при встрече...

Устала за эти дни страшно. Пока не выступаю. Но уже абонирована на три ячейки докладчиком. Момент глубоко интересный. Многое хорошее, чего до сих пор мы не замечали, выступило отчетливо. У меня очень бодрое настроение...

Дискуссию не кончили и сегодня. Один штрих: все выступления военных поразительно хороши, продуманны, и все как один за платформу ЦК без оговорок...

Аня.

¹ 6 декабря 1923 года «Правда» в рубрике «Партийная жизнь» под заголовком «Тов. Сталин о задачах партии» напечатала его доклад, сделанный 2 декабря 1923 года на расширенном собрании Краснопресненского районного комитета РКП(б) с групповыми организаторами, членами дискуссионного клуба и бюро ячеек. Именно этот доклад, вероятно, и имеет в виду А. Г. Кравченко.

* * *

Вышолняя заветы Ленина, партия большевиков возглавила борьбу трудящихся за восстановление разрушенного двумя войнами народного хозяйства, за развитие экономики, науки, культуры. Большие задачи решал фронт политико-просветительной деятельности, одним из активных бойцов которого была А. Г. Кравченко. 29 октября 1929 года Н. К. Крупская писала ей: «Надо уметь пользоваться тем немногим, что у нас есть. К числу того, чего у нас особенно мало, принадлежат политпросветчики, а побывавших в Германии и Америке наших политпросветчиков и того меньше. Отсюда вытекает, что надо говорить о том, как целесообразнее Вас, Ваши знания на 100% для пользы государства пролетарского использовать. Ведь так, дитя мое?»

Редактирование «Крестьянской газеты для начинающих читать» и журнала «Школа взрослых», пропаганда ленинского наследия по библиотечному делу, работа, связанная с изданием педагогических сочинений Н. К. Крупской, и другие важные поручения выполняла Кравченко. До последних дней жизни (скончалась она 22 января 1984 года) Анна Григорьевна живо интересовалась важнейшими событиями, происходившими в нашей стране и за рубежом.

Немало успел сделать в последующие годы и Александр Петрович Спундз. Последние его должности перед уходом на пенсию — член коллегии, начальник валютного управления Наркомата финансов и член коллегии, начальник международного управления Наркомата путей сообщения. Умер он 19 сентября 1962 года.

Их сын, часто упоминаемый в письмах, получил специальное среднее образование, служил в действующей армии авиатехником, после войны окончил Московский авиационный институт. Ныне Яков Александрович Спундз — доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой транспортных газотурбинных двигателей Московского автомеханического института.

Редакция признательна Я. А. Спундз за предоставленную возможность использовать в публикации документы и материалы домашнего архива.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АНАТОЛИЙ МЕДНИКОВ



ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ — НАШИ ДНИ

Литературное дело по заветам В. И. Ленина стало частью общепролетарского дела. Усилия советских писателей и Коммунистической партии слились в едином движении к общей цели. Быть может, с особенной отчетливостью и силой это проявилось в образах коммунистов, воссозданных советской литературой в разные годы. Развитие, эволюция этих образов, неотделимых в нашем сознании от самой истории партии и страны, от движения народных масс, много говорят нам о становлении социалистической личности.

Ведущее место здесь по праву занимают люди труда. С первых дней своего существования советская литература стремилась быть вместе с рабочим классом, вдохновлялась его революционными и трудовыми подвигами, помогала в осуществлении его исторической миссии.

На знамени советской литературы начертаны замечательные горьковские слова о том, что основным героем наших книг мы должны избрать труд, человека, организуемого процессом труда. Давно высказана эта мысль, но, обращаясь к реалиям современности, к событиям нынешней активной борьбы партии и всего народа за эффективность, производительность труда, за человека, овладевшего вершинными достижениями научно-технического прогресса, мы видим: ничто в горьковской формуле, по сути дела, не устарело и буквально каждое слово отвечает насущным сегодняшним проблемам.

Десятилетиями художественно исследуя жизнь трудовых масс, утверждая правду и красоту их свершений, наша литература создала замечательные образы коммунистов — сынов рабочего класса Павел Власов, Корчагин, Семен Давыдов, Журбины — все они в свое время обогатили духовные сокровища отечественной культу-

ры, раскрыли покоряющую поэзию, которая воплощена в человеке труда. Человеке разбуженном революцией и призванном преобразовать мир.

Разительно изменяется действительность — новым содержанием наполняются книги о людях труда, просматриваются новые тенденции литературного процесса.

О некоторых из них мне хочется здесь сказать. Они тем более волнуют, что в своих книгах я много писал о коммунистах, занятых главным образом в нашей индустрии.

Вспоминается Всесоюзная творческая конференция в Харькове в 1980 году, посвященная изображению рабочего класса в литературе, выступления на ней многих писателей, рабочих, инженеров, ученых, партийных работников, представителей литератур стран социализма.

Много тогда говорилось о «не вспаханной еще целине» важных для литературы социальных проблем, в том числе и поданных эпохой научно-технического прогресса. Увы, количество технологической информации и выверенных практикой организационных решений не может для нас механически перерасти «в качество» — подлинно художественное осмысление сложных конфликтов и характеров.

Но выводы, которые некоторые участники дискуссии делали из этой бесспорной мысли, были по меньшей мере опрометчивы. Они говорили, что анализ человеческих взаимоотношений, возникающих вокруг разного рода хозяйственных проблем (рано или поздно разрешаемых), в современной художественной литературе вообще ни к чему. Нужны коллизии общечеловеческого плана, вечные, непреходящие.

Однако большинство выступавших на конференции держались иной позиции: нам

не может быть безразлично, когда — рано или поздно — будут разрешены так называемые хозяйственные конфликты, насущные проблемы научно-технического прогресса. Надо помогать жизни, чтобы они «разрешались» как можно раньше!

Ясное дело, существуют и проблемы мелкие, плод различных неувязок и хозяйственных упущений, а то и просто ложные, надуманные. Но диалектику нашего движения вперед определяет преодоление именно коренных, существенных проблем, которые важны для экономической, социальной стратегии партии и государства.

Что касается общечеловеческого, вечного, то противопоставление его сегодняшнему, насущному есть грубейшая ошибка, привносящая в наши литературные дискуссии немало путаницы.

Злободневное и вечное — разве есть между ними непримиримое противоречие? Весь опыт советской литературы — в том числе и опыт воссоздания образов коммунистов, темы партии, творческого ленинизма в действии — говорит об обратном. Разве здесь не видишь всего отчетливой, что острая злободневность не только никогда не мешала, но, напротив, часто породила литературное долголетие произведений, глубоко и ярко выразивших свое время.

Именно в преодолении конфликтов — хозяйственных ли, психологических — вызревает личность, формируется характер, определяется жизненная позиция героя современности.

Вспоминая дискуссию в Харькове, а до нее в Шушенском, обращенную к современной Лениниане и теме партии в литературе, конференцию во Владивостоке по теме «Героика борьбы и созидания (Революционно-патриотические традиции советской литературы и творческое наследие А. Фадеева)» или недавнюю (1984) конференцию в Тюмени, где широко обсуждались образы героев труда, образы коммунистов, — задумываешься вот над чем.

Важно, чтобы литература была все внимательней к новым фактам и идеям научно-технического прогресса, планирования и регулирования хозяйственного механизма. Понимала бы суть современных рычагов и стимулов, которые входят в жизнь и будут определяющими в годы двенадцатой пятилетки. Долг литератора — заинтересованным, страстным пером помочь общему делу, гражданственному воспитанию, в полный голос сказать о главном герое наших дней.

Передо мною книга критика. Автор ее Александр Гаврилов. Называется она «И высших нет для нас велений» (М. 1984). Скажу о личном впечатлении: прочел я ее с большим интересом. То, о чем мною передумано за последнее время, находишь на страницах этих художественно-публицистических раздумий с широкими обобщениями, разборами книг, каждая из которых по-своему интересна (Ю. Бондарев, В. Богомолов, С. Залыгин, Г. Марков, Н. Думбадзе и другие), а все вместе — это духовный портрет коммуниста наших дней, картина титанической борьбы партии за благо народное...

«Сегодня коммунист изображается советскими писателями несколько иначе, чем в 20-е, 30-е, 40-е годы», — справедливо замечает А. Гаврилов. Ныне этот энергичный и волевой герой все более исполнен душевной теплоты, тонких и сложных личных переживаний. Деловитость в нем, научная трезвость при анализе объективного положения вещей органично сочетаются с подлинно революционной романтикой.

Эта мысль переключается с выводами другой литературоведческой работы — «Коммунист наших дней в жизни и в литературе» Виталия Озерова, только что вышедшей дополнительным и переработанным изданием. Говоря об образах коммунистов, автор обращает наше внимание на то, что ныне в партийные критерии оценки наших кадров органически входят идейность работника и его деловитость, демократизм и профессиональная компетентность, нравственная взыскательность. Эту сложную цельность неизменно обнаруживаешь в коллизиях, которые касаются борьбы «человека партии» за социалистические принципы хозяйствования, против тех, кому эти принципы чужды, кому не место на руководящем посту.

Да, конечно, таких героев и таких произведений, глубоко вспахивающих пласты жизни, крупно рисующих коммунистов с бойцовскими качествами, в современной литературе пока еще немного. Но и прибедняться нам особенно не след: книги, которые анализируются В. Озеровым и А. Гавриловым, право же, могут составить очень интересную библиотечку. Напомню, в свою очередь, о двух произведениях, получивших уже широкое общественное признание в нашей стране и за рубежом. В центре одного романа — рабочий, другого — крупный партийный руководитель. Я имею в виду «И дольше века длится день...» Чингиза Айтматова и «Грядущему веку» Георгия Маркова.

Чингиз Айтматов показал нам самое становление героя; в облике, в характере казахского рабочего-железнодорожника Едигея Буранного, мы улавливаем все основные, характерные черты коммуниста наших дней. Биография этого героя во многом и биография нашего бурного века.

Прекрасно показано созревание рабочего характера в национальной среде, где рабочий класс молод, не старше самого социализма в Казахстане. И больше сказать: за реалиями обыкновенной рабочей жизни встает тема судьбы человечества и человека на земле, мировой цивилизации. Писателю удалось по-новому показать духовную жизнь героя, его необычайно возросший идейно-нравственный потенциал, богатство переживаний и ощущений.

И если спросить, чем нам особенно дорог образ рабочего Едигея во всем его национальном своеобразии и одновременно во всей его типической обобщенности, думаю, на этот вопрос надо ответить так: он дорог прежде всего как образ человека в высшей степени гуманного, высоконравственного, непримиримого ко злу, борющегося с этим злом всеми силами своей доброй к людям души. Очень современные качества!

О романе «Грядущему веку» и его экранном воплощении уже писали. Суть здесь в той глубокой заинтересованности автора и его героев качественно новыми преобразованиями экономики, социальной и гражданственно-нравственной жизни, которые стали необходимостью в процессе совершенствования зрелого социализма. Это произведение интересно своей актуальностью, открытой социальностью и столь же открытой постановкой проблем партийной жизни и партийного руководства.

Герои, подобные центральному персонажу Антону Соболеву, первому секретарю обкома партии, нечасто встречаются в литературе, в кино последних лет. Вспоминаются произведения, где партийные работники появлялись, как правило, в финальных главах и сценах, чтобы разрешить те или иные производственные или нравственные конфликты. Их роль в сюжете произведения чаще всего выглядела эпизодической, мимолетной, характеры не раскрывались во всей глубине и сложности.

Фигура же Антона Соболева взята крупно, масштабно. И речь в романе идет не о частностях или каких-то сугубо региональных проблемах, а о том, что являет собою проблемы общегосударственного значения, затрагивающие миллионы и миллионы людей. Речь идет о характере и сложностях

партийного дела, об обогащении, обновлении его традиций.

Говорят, человек — это стиль. Стиль же мышления, поступков, деятельности крупного партийного работника — это уже далеко не его личная особенность, здесь, я сказал бы, затрагиваются интересы общенародные, государственные. Поэтому нас, читателей, так привлекает в Антоне Соболеве его современность, деловитость, единство слова и дела, стремление глубоко и всесторонне обдумать каждый свой шаг.

Человек еще сравнительно молодой, но уже с немалым опытом партийной и хозяйственной работы, с острым и свежим взглядом на жизнь, Соболев интуитивно отвергает всякую поспешность в больших и малых решениях, он по-мудрому, по-человечески осмотрителен, не признает волюнтаристского нажима. И, что очень важно, не устает за советом и опытом идти к людям, слушать их, почаще с ними общаться. Немаловажно для нашей читательской симпатии к герою и то, что человек он высоконравственный, душевно чистый.

Антон Соболев уже в силу своей должности активный пропагандист и воспитатель масс. Он много выступает. Его правдивое, партийное слово доходит до людских сердец. По нему судишь о том, сколь неразрывны, взаимопроникаемы идеология, экономическая стратегия партии и ее социальный курс, продиктованные временем новые подходы к решению сугубо хозяйственных задач. В упоминавшейся выше книге В. Озерова «Коммунист наших дней в жизни и в литературе» замечено в связи с этим: «Антон Соболев — новый тип партийного работника, выросшего в обстановке, созданной XXV и XXVI съездами КПСС». Это наблюдение чрезвычайно важно для понимания эволюции образа коммуниста в литературе последних десятилетий.

Говоря о такой эволюции, мы неизменно всматриваемся в перемены, происходящие в области художественного конфликта. Ведь здесь, пожалуй, рельефнее всего проявляется степень проникновения писателя в глубины реальной действительности, уровень его аналитического мышления. Конфликт во многом определяет современность звучания книги. Да и поиски новой художественной формы всегда связаны с раздумьем о новых жизненных противоречиях, создаваемых временем.

Если в 20—30-е годы это было чаще всего классовая борьба, острые идейные схватки, спор мировоззрений, то конфликты в литературе наших дней в большинстве

своим основаны на проблемах нравственно-го плана (даже если они облачены в одежды технических или технологических столкновений) Это борьба знания и незнания, компетентности и некомпетентности, разных стилей руководства, за которыми нередко встают серьезнейшие вопросы государственной жизни

События последних лет внесли в нравственную сферу новые черты — отозвалось предпринятое партией мощное наступление на все отрицательные явления, мешающие нашему движению вперед, наступление на хозяйственную безответственность, расхлябанность, головоутипство, недобросовестность в работе, приписки, обман государства

В центр внимания общественной критики, правоохранительных органов и печати попали ныне пьяницы, прогульщики, всякого рода туеядцы, взяточники, бюрократы, те, кто стремится урвать у общества поболее, не отдавая ему честным трудом.

Остро встал вопрос о соблюдении социальной справедливости, о демократизации производственных отношений, начиная с низового звена, с рабочей бригады И вот живет и действует закон о трудовых коллективах, побуждающий к деловой самостоятельности, конструктивной критике, активной гражданской позиции каждого человека в любом коллективе, где правильно понимают роль личной инициативы и одновременно коллективной ответственности за порученное дело.

Все эти особенности сегодняшних жизненных конфликтов не могут остаться незамеченными литературой.

Нет, от того, что изменилась природа конфликта, в книгах на трудовую тему, в книгах о деятельности коммунистов отнюдь не убавилось драматического напряжения. Но сам современный конфликт утратил некоторые привычные внешние атрибуты, стал, можно сказать, «закрытым» для поверхностного наблюдателя. Да иначе и быть не могло при нынешнем диалектическом усложнении современной деловой жизни, производственных отношений, управления, планирования, организации производства.

Тем острее требуется от писателя буквально в любом произведении четкая гражданская позиция, умение поддержать ведущие тенденции, все подлинно достойное, высоконравственное, честное. Нельзя мириться с подспудным любованием в иных книгах «рыцарями красивой жизни», паразитирующими на наших недостатках и упущениях, симпатичными и «добродетельными» ворами с их «духовной жизнью».

Нельзя считаться писателем и при этом быть либералом в отношении к пьянству, безнравственности, моральной распущенности В книгах, в фильмах мы хотим видеть ярко изображенную жизнь, где главенствует ленинская, коммунистическая мораль, которая благодаря огромной воспитательной работе партии стала моралью общенародной

Михаил Синельников в статье «Дела... водить надо», опубликованной в прошлом году журнала «Знамя», говоря о том, что советская литературная классика демонстрирует многогранность гуманистического содержания, связанного с темой партии, справедливо отмечает как важную черту общественного сознания единство воспитания политического и нравственного: «Взаимообусловленность, слитность политики и нравственности. Это коренное свойство ленинской партии, по-особому наполняющее, обогащающее всю деятельность коммунистов, имеет огромное значение для сферы художественного творчества, для литературы, искусства социалистического реализма»

Эта слитность всегда ощущалась в вершинных достижениях нашей литературы, в книгах, где центральными героями выступают коммунисты Я имею в виду классические произведения Шолохова, Фурманова, Фадеева, Николая Островского, книги Георгия Маркова, Сергея Залыгина... В статье М Синельникова немалое место уделено «Танкеру «Дербент» Юрия Крымова. Написанная почти пять десятилетий назад, эта повесть о коммунисте выдержала проверку временем и не устарела для современного читателя Ибо не могут устареть ни уважение к труду, ни чувство достоинства рабочего человека, социалистическая мораль, самоотверженность и готовность к подвигу

Понятно, почему одну из глав своей книги В Озеров назвал «Героизм на всю жизнь» А в главе «Энергия добра» А Гаврилов утверждает особо дорогую для него мысль о том, что персонажи современной художественной прозы все чаще героически проявляют себя не только в обстоятельствах исключительных, но и в повседневном созидательном труде Все меньше здесь, так сказать, внешних атрибутов героического: авралов, прорывов, штурмов. Писатели стремятся идти в глубь нравственных и психологических коллизий. Поиски и научные дерзания наполняют новым, современным содержанием. И рассказ об этом становится составной частью художественного освоения действительности.

Особый разговор — о книгах, авторы которых стремятся художественно осмыслить качественные сдвиги в самом механизме управления народным хозяйством, а следовательно, и новые подходы к искусству хозяйственного руководства, ведущей роли коммунистов.

Критик Владимир Пискунов в книге «Знаменосцы. Образ коммуниста в советской литературе» обращает внимание на усилия в этом направлении Михаила Колесникова в тетралогии, состоящей из романов «Индустриальная баллада», «Изотопы для Алтунина», «Алтунин принимает решение» и «Школа министров».

«В Сергее Алтуinine,— пишет В. Пискунов,— воплощено авторское представление о руководителе нового типа, который соответствует современному этапу жизни страны. Он — стратег и философ науки управления, делающей ставку на план, расчет всех вариантов, научное мышление и потому прямо противоположной «волево-му» руководству с его рутинной и постоянной оглядкой на авторитеты. Романы М. Колесникова (не всегда, правда, с достаточной художественной убедительностью) исследуют это инициативное, творческое сознание, единственно способное утвердить подлинно государственный, партийный подход к делу, взять на себя всю полноту ответственности и оправдать ее эффективной работой, достигнутыми результатами».

Существуют глубинные связи между научно-техническим прогрессом и формированием новой партийной стратегии хозяйствования «Школа министров» — это, по сути, вся та дорога, которую прошел кузнец Сергей Алтунин, начав ее у кузнечного пресса, через должности мастера, начальника цеха, главного инженера предприятия, заместителя начальника главка одного из машиностроительных министерств и, наконец, став заместителем министра.

Нелегкая эта дорога, много она требует от человека, желающего отдать свои творческие силы, энергию мысли и жар сердца, все, чем богат, избранному делу. И в том, что решения неотложных задач вместе с героем начинает искать и читатель, на мой взгляд, привлекательная сторона этого художественного повествования, ориентированного не на «конечный результат», а именно на процесс поисков, на динамику постепенного достижения цели.

Опыт тетралогии Михаила Колесникова, думается, оказал свое полезное влияние на дальнейшую разработку писателями темы

коммуниста наших дней — рабочего, инженера, хозяйственника. У него, как и у Вадима Кожевникова, Владимира Попова, учились писатели более молодого поколения, разрабатывающие в своих произведениях образы представителей современного рабочего класса,— Александр Плетнев, Валерий Поволяев, Юрий Антропов, Юрий Скоп, Александр Проханов, Константин Лагунов и другие.

Вот только что я прочел роман, на обложке которого стоит незнакомое мне имя — Кирилл Столяров. Его книга «Проверка на прочность» вышла в серии издательства «Московский рабочий», называемой «Современный городской роман». Действие происходит в управлении одной из отраслей строительной индустрии. В центре динамичной романной фабулы коммунисты, ищущие новые формы совершенствования хозяйственного механизма.

Автор, как понимаешь, сам поварившийся в этом котле, пишет о таких поисках со знанием, а не вызывающей сомнения достоверностью.

Совершенствование хозяйственного механизма — процесс непрерывный, развивающийся под воздействием все более настоятельных и крутых требований времени. В этом смысле роман К. Столярова очень актуален. А острая актуальность — момент, далеко не безразличный читателю, заинтересованному и озабоченному всем тем, чем живет сегодня страна. Ощущение современности приносит, естественно, не только сама тема, но и созвучность коллизий той психологической перестройке, той структурной переориентации общественного производства, которые в центре всенародных размышлений и деловых забот.

Тема этой перестройки — не публицистический довесок, не фон для бытовых или любовных ситуаций, именно здесь коренной ход сюжета и деловые страсти органически преломляются в развитие образов и характеров.

«Время не только старит людей,— думает министр Александр Константинович, масштаб личности которого определяется не столько его должностью, сколько глубиной его человеческой природы,— но и преобразует систему их мышления чаще всего в нежелательном для деятелей направлении: яркие реформаторы сперва переходят в разряд умеренных, склонных к осторожности политиков, а впоследствии — что греха таить, ибо это свойственно и ему, министру,— мало-помалу начинают проявлять и консервативные тенденции. Вместе с тем объективные требования год

от года усложняют задачи, стоящие перед руководителями всех рангов, и волей-неволей получается так, что те методы работы, которые были хороши вчера, сегодня едва-едва соответствуют, а завтра перестанут соответствовать минимально допустимому уровню...»

Необходимость свежего ветра перемен, пафос обновления, жажду новых инициатив чутко ощущает главный герой романа, инженер Никита Корнилов, молодой коммунист. Он начинает восхождение по ступенькам хозяйственного руководства с должности помощника зампреда совнархоза Леонидова, а затем выходит на арену самостоятельной деятельности.

Леонидов и Корнилов — учитель и ученик. Здесь в романе звучит тема наставничества, но не среди молодых рабочих, о чем немало писалось, а в сфере руководства — мотив редкий и мало разработанный современной литературой.

У Леонидова как личности были литературные предшественники, главным образом в драматургии: Чешков из пьесы И. Дворецкого «Человек со стороны», Друянов из пьесы А. Мишарина «День-деиьской», Волошин из пьесы М. Шатрова «Погода на завтра». Все это люди сильные, активные, подвижники в труде. И тем не менее, подводя нравственный баланс всему пережитому, герой, как правило, находит немало поводов к искренним упрекам самому себе. Да и Корнилов, став генеральным директором строительного объединения, во многом созданного благодаря его инициативе, ясно видит определенную ущербность натуры Леонидова — своего наставника и старшего друга. И уже это одно дает надежду, что свою жизнь Корнилов построит по-иному, соединив деловое горение с гармоническим развитием личности. Но пока это, к сожалению, остается за границами романа...

Говорят, открытие темы — половина успеха. Но и свежий взгляд на ту сферу человеческой деятельности, которая уже освоена литературой, тоже очень интересен и углубляет тему. Уверен, что коллизии, рассказывающие об уроках жизни и хозяйствования, психологическая связка Леонидов — Корнилов в книге «Проверка на прочность» заслуживают серьезного внимания критики. Именно потому, что в данном случае автор стремится как можно выразительнее показать в делах современных героев-коммунистов соединение творческой инициативы с ленинской партийностью, что так созвучно требованиям жизни.

Свидетельствую о том своим личным творческим опытом. В поездках по заводам, знакомясь с героями-коммунистами, я не раз наблюдал такую закономерность: становясь производственно активными (хотя бы благодаря такому «педагогу», как хозрасчет), рабочие и инженеры являют все большую политическую зрелость. И в этом основа будущих добрых перемен. Теперь, когда в работу по-новому включаются все экономические звенья, быстрее должна пойти и перестройка верхних этажей хозяйственного управления, как бы порою ни была драматична борьба между старым и новым...

В разные годы я много ездил по стране, ездю и сейчас. В поездках рождается прочное ощущение эпичности многих наших нынешних дел и свершений.

Вот только одна страничка пережитого.

В последнее десятилетие я шесть раз побывал у нефтяников и газовщиков тюменского края, этого сурового, развивающегося буквально с космическими скоростями индустриального региона.

Можно порой услышать суждения, связанные с тюменским чудом: не многовато ли в литературе воспевания героики и массовых усилий, в то время как здесь немало еще и недоделок и недостатков, упущений и нерешенных задач?

Конечно, литературные оды сегодня вряд ли уместны. Как и очерки или повести, до краев наполненные восхищением и удивлением, охами и ахами. Произведения любого жанра, лишённые глубины исследования проблем, конфликтов, судеб, лишённые конструктивной критики и драматического напряжения, просто не нужны современному читателю.

Однако, можно ли хоть на минуту забыть и о том, что массовая трудовая героика — не случайный атрибут в жизни тех же сибиряков, что героическое начало есть и долго еще будет играть решающую роль там, где трудятся первопроходцы, где осваиваются тайга или Крайний Север!

Долг писателей, ставших свидетелями и современниками событий, не перекладывая задачу на плечи наших потомков, вдумчиво рассказать о том, что происходит ныне в той же нефтяной и газовой Тюмени, на других замечательных стройках Западной и Восточной Сибири. Рассказать правдиво, честно о революционных сдвигах в экономике, о преодолении трудностей, о внутреннем единстве разных поколений строителей, о рожденных в труде духовных ценностях, которые возникли не сразу и не

вдруг. Они есть результат воспитательной работы партии и по праву воспринимаются как заветы отцов и дедов молодому поколению, наследие тех, кто выковал советский рабочий класс, техническую интеллигенцию в горниле небывалых испытаний нашего века

Критик Григорий Бровман в своей, увы, последней книге «Человек для людей Образ коммуниста в русской советской литературе» совершенно справедливо назвал имена бывалых людей. «книги которых, — как он пишет, — читаются с большим интересом, как яркие документы самой живой жизни». Здесь и записки коммунистов-рабочих И. Гудова «Судьба рабочего», А. Бусыгина «Свершения», С. Автонова «Карьера», Г. Аулова «Так плавится сталь», О. Власенко «Иначе быть не могло», В. Говорушина «За Нарвской заставой», В. Затворницкого «Семьсот первый этаж».

В этих книгах в невыдуманных судьбах, в убедительных реалиях и фактах раскрывается сама история нашего довоенного и послевоенного периода развития индустрии, нашей советской жизни. И она учит многому. Опыт прошлого, давнего и недавнего, — это вовсе не пепел воспоминаний, нет, это живой огонь, освещающий наши усилия и сегодня, помогающий понять главные закономерности жизни.

Говоря о том большом читательском признании, какое получили романы о войне, принадлежащие перу К. Симонова, В. Быкова, М. Алексеева, И. Стаднюка, А. Чаковского, Ю. Бондарева, А. Иванова, А. Ананьева, П. Проскурина, Г. Бакланова, О. Гончара, Виталия Озеров в своем исследовании подчеркивает: во многом успех книг этих писателей обязан образам коммунистов — солдат и офицеров, разгромивших фашизм. С большим человеческим теплом нарисованы характеры партийных работников послевоенной поры — ученых, дипломатов, журналистов, писателей — в книгах Ю. Семенова, В. Ардаматского, А. Проханова, в творчестве тех, кто достойно представляет в нашей литературе международную публицистику, — Юрия Жукова и Генриха Боровика, Альбертаса Лауринчюкаса и Александра Кривицкого, Аркадия Сахнина и Виталия Кобыша, Эрнста Генри и Цезаря Солодаря, Мэлоара Стурра и Виталия Коротича.

Характерно заглавие которое исследователь дает этому разделу своей книги: «Масштабы исторического мышления». Историческое мышление — конечно, не только ретроспективный взгляд, не толь-

ко воспитание историей, это еще и ощущение историчности, революционности тех качественно новых изменений, которые приносит наше время.

«В глазах прогрессивной общественности мира Советский Союз был и остается олицетворением вековых социальных надежд людей. Он должен быть и примером высочайшей организации, эффективности своей экономики. Таким образом, задача ускорения развития страны приобрела сегодня первостепенное политическое, экономическое и социальное значение. Воплощение ее в жизнь — дело безотлагательное, общепартийное и общенародное» — так сказал товарищ М. С. Горбачев на июньском (1985) совещании в ЦК КПСС по вопросам ускорения научно-технического прогресса.

Какое открывается ныне перед литературой обширное поле деятельности: поддержать народный порыв правдивым поведением о реалиях наших дней, о людях, которые прокладывают дорогу к новому своей энергией и пытливым умом, дерзанием творческого поиска!

Именно творческого. Не потому ли, что мы меньше стали писать, даже в публицистике, о народных инициативах, о труде как таковом, о героике созидания и героической нравственности, в иных сегодняшних книгах стал снижаться престиж труда в его горьковском понимании — как деяния, как творчества?

Человеку труда, коммунистам на производстве наше общество во многом обязано высокими нравственными, моральными нормами.

Сама жизнь сегодня рождает новые представления об общественном темпераменте людей, смело и решительно ставящих важные вопросы, стремящихся конструктивно разрешить трудные проблемы хозяйственной жизни. Однако все реже это новое носит форму «бунта одиночки», опирающегося на свой нравственный максимализм, как, скажем, в пьесе Г. Бокарева «Сталева-ры». Сегодняшние типические формы жизни — это, как правило, соединение личной инициативы или чувства личной ответственности с мнением многих, с общественным сознанием с волей и организационной работой партийных организаций.

Стыковка научно-технического прогресса с социальным — дело сложное, дело творческое. Писать об этом — значит, писать о людях труда, деятелях и организаторах нашего народного хозяйства, о коммунистах сегодняшнего дня, затрагивать наибо-

лее существенные стороны общественного бытия, социальной психологии

Поэтому и литература о наших современниках, о коммунистах не может быть мелкотравчатой или малодуховной, идейно вялой или беспроблемной. Общеизвестно, что социалистический реализм предоставляет художнику широчайшие возможности для выбора тем, конфликтов, типов героев, способов их изображения. Но о чем бы ни писал писатель, он должен сохранять высоту точки политического наблюдения и глубоко осмысливать происходящее.

Об этом, в частности, говорится и в проекте новой редакции Программы партии, вынесенном на всенародное обсуждение в октябре 1985 года. В этом документе, обобщившем исторический опыт КПСС и мирового коммунистического движения, значительное место отведено новым концепциям в области экономической, социальной, политической стратегии партии, напрямую связанной со сферой морально-этической. Все это имеет самое прямое отношение к творчеству писателей, к развитию нашей культуры.

В проекте поставлены конкретные задачи идейно-воспитательной работы, народного образования, науки, культурного строительства, литературы и искусства. Отмечается, что партия будет и впредь всемерно способствовать повышению роли литературы и искусства в общественной жизни.

«Искусство социалистического реализма,— сказано в проекте Программы,— основано на принципах народности и партийности. Оно сочетает смелое новаторство в правдивом художественном воспроизведении жизни с использованием и развитием всех прогрессивных традиций отечественной и мировой культуры. Перед деятелями литературы и искусства — широкий простор для действительно свободного творчества, повышения мастерства, дальнейшего развития многообразных реалистических форм, стилей и жанров. По мере роста культурного уровня народа усиливается влияние искусства на жизнь общества, его морально-психологический климат. Это повышает ответственность мастеров культуры за идейную направленность творчества, художественную силу воздействия их произведений».

Как писатель, давно связанный с темой труда, рабочего класса, я с особым удов-

летворением воспринял положения проекта Программы о том, что «в центр воспитательной работы партия ставит формирование у каждого советского человека глубокого уважения и готовности к добросовестному труду на общее благо, будь то труд умственный или физический. Труд — основной источник материального и духовного богатства общества, главный критерий социального престижа человека, его священная обязанность, фундамент коммунистического воспитания личности».

Несомненно, что труд нашего современника неотрывен от коллективистской, гуманистической морали, формированию которой способствует идейно-воспитательная работа партии. Органической, составной частью входит в нее и деятельность советской партийной литературы. Думаю, в активизации человеческого фактора, без которого, как подчеркивалось на октябрьском Пленуме ЦК КПСС, «не может быть решена ни одна из выдвинутых задач», видную роль способна и должна сыграть именно литература.

Человеческий фактор в широком понимании — это творчество масс, народные инициативы во всех сферах трудовой и общественной жизни, это решающая сила в обеспечении экономического роста страны, прогресса общества в целом.

Человеческий фактор — это и формирование гармонично развитой, общественно активной личности. Это и отношения между людьми, согретые товарищеским сотрудничеством и взаимопомощью, доброжелательностью, честностью, простотой и скромностью, при решительном неприятии всех и всяческих нарушений ленинских норм жизни.

Словом, человеческий фактор — это область традиционно пристального внимания нашей литературы, поле ее идеологической битвы, сфера воздействия на умы и сердца миллионов людей.

Об этом все мы думаем с особой остротой и волнением в дни подготовки к XXVII съезду КПСС, который безусловно станет этапной вехой в развитии страны.

Год от года ширится галерея художественных образов коммунистов. Впереди новые рубежи в разработке этой величественной темы, требующей глубокого понимания действительности, широты взгляда, страстной гражданственности, таланта и ответственности перед читателем.

ЕВГЕНИЙ СИДОРОВ



ПОД ЗНАКОМ ВРЕМЕНИ

О поэмах Евгения Евтушенко

Начиная с середины 60-х годов, с «Братской ГЭС», Евгений Евтушенко постоянно обращается к большой поэтической форме. Им опубликовано четырнадцать поэм — факт примечательный и не имеющий (после Владимира Луговского) количественных аналогов в современной русской поэзии. В то же время Евтушенко не мог бы сказать, подобно Юстинасу Марцинкявичюсу, что «поэма — мой способ жизни, общения и выражения». (В России это состояние гораздо ближе, пожалуй, поэтическому характеру Егора Исаева.) Евтушенко пишет поэмы параллельно с произведениями других, равноправных для него жанров — лирикой, прозой, публицистикой, критикой. И поэмы в этом ряду представляют собой энергичную попытку масштабного постижения современности, активного публицистического вмешательства в конфликты и проблемы эпохи. Но поэмы Евтушенко в свою очередь сами содержат в себе зерно конфликта между актуальностью заявленных проблем и глубиной их художественного постижения. Об этом речь в предлагаемой статье.

Уже в «Станции Зима», написанной в 1955 году, содержатся многие мотивы и сюжеты будущей «Братской ГЭС». Десять лет пролегло между двумя поэмами. И каких лет! В истории страны это были переломные годы, определившие в числе многого другого и судьбу того поколения, к которому принадлежит Евтушенко.

В феврале 1956 года состоялся XX съезд КПСС. Народу была сказана горькая правда о культе личности и его последствиях. Начался период трудного восстановления ленинских норм партийной и общественной жизни.

Евтушенко чутко улавливает гул времени, и его юношеская лирическая поэма «Станция Зима» пронизана дыханием грядущих перемен. Подобно Есенину, он пытается создать свою «Анну Снегину». Он припадает к истокам, к малой родине, чтобы вернуться в большой мир обновленным, смыть с души сомнения и упрочиться в вере.

Но средство есть всегда в такую пору набраться новых замыслов и сил, опять земли коснувшись, по которой когда-то босиком еще пылил.

(В произведениях Евтушенко нет никакого «лирического героя». В его стихотворениях и поэмах живут и действуют многие реальные персонажи и сам поэт, автор часто названный по имени и фамилии Собственно, я не принимаю теоретического смысла самого понятия «лирический герой». Есть автор, есть, наконец, «образ автора» в лирике, как и в любом другом литературном роде, но «лирический герой» — нечто слишком условное, даже фиктивное, когда речь идет о прямом лирическом высказывании. Впрочем, здесь не место развивать эту сложную и спорную тему, которой посвящено немало страниц в отечественном литературоведении.)

«Станция Зима», как и многие другие поэмы Евтушенко, — это рассказ о себе и о своем времени. Вера в высокие идеалы жизни и революции впрямую сталкивается в поэме со скепсисом и безверием. Евтушенко рисует образ опустившегося московского журналиста, приехавшего в Сибирь за очерком. Его разговор с автором за столиком зиминской чайной — центральный эпизод поэмы, очень важный для ее исповедально-публицистического строя.

Журналист говорит:

А что сейчас писатель?
 Он не властитель,
 а блюститель дум.
 Да, перемены. да,
 но за речами
 какая-то туманная игра.
 Твердим о том. о чем вчера молчали,
 молчим о том, что делали вчера...

У автора нет аргументов, опровергающих собеседника, однако он сердцем чувствует неправоту его слов:

Но в том как взглядом он соседей мерил,
 как о плохом твердил он вновь и вновь,
 я видел только желчное безверье,
 не веру, ибо вера есть любовь.

Но вера, основанная только на эмоциональном порыве, тоже немного стоит, особенно когда речь идет о судьбе отчизны. Любовь и вера должны опираться на почву социальной и исторической правды, на трезвое знание. Поэтому дальнейшие раздумья приводят поэта к более точной декларации

Мы столько послевременной досады
 хлебнули в дни недавние свои
 Нам не слепой любви к России надо,
 а думающей пристальной любви.

«Станция Зима» обнаружила не только публицистический дар поэта, но и большие возможности его пластически-повествовательного стиха, так подходящего именно для поэзного развития. Свободная, почти разговорная интонация лирического монолога, его особая доверительность сразу создает контакт с читателем и стилистически скрепляет воедино картины жизни, открывающиеся поэту во время его путешествия по родным местам. Переходы от исповеди, от воспоминаний к объективному слову-изображению достаточно естественны, что само по себе является точной приметой профессионального мастерства, особенно если учесть, что вся поэма написана единым куском без разбивки на фрагменты или главы и почти вся выдержана в одном размере — пятистопном ямбе. Хороши здесь сибирские пейзажи: облака, наполненные светом, клеверные поля и черные пашни, речные излучины, ягодные лесные места, которые дадут впоследствии название роману Евтушенко. И как всегда у него, хороши мгновенные зарисовки людского быта:

В зиминской чайной жарко дышит
 лето
 За кухней громко режут поросят.
 Влезают подносы, лица...
 В окнах ленты,
 облепленные мухами, висят

В меню учитель шарит близоруко,
 на жидкий суп колхозница ворчит,
 и темная ручища лесоруба
 в стакан призывно вилок стучит

Жадно, влюбленно всматриваясь в жизнь своих земляков, поэт замечает и многое такое, что больно ранит его: пьянство, плохая работа горсовета, самодурство председателя колхоза, длинные очереди у раймага, разбитые личные судьбы. Есть в поэме и разговор о комсомоле, о современной молодежи, который заводит старик зиминец, знавший еще комсомолкой мать поэта. «Нет, молодежь теперь не та, что раньше» Автор и здесь не вступает в полемику, он как бы до поры лишь слушает и наблюдает, вбирая в себя впечатления жизни, накапливая их для осмысления, готовясь к решающему выбору, к дальней дороге...

В финале поэмы к автору обращается сама станция Зима, утешая и напутствуя его:

Ты не один такой сейчас на свете
 в своих исканьях, замыслах, борьбе
 Ты не горюй сычок что не ответил
 на тот вопрос что задан был тебе
 Ты потерпи, ты взглядывайся, слушай,
 ищи, ищи
 Пройди весь белый свет.
 Да, правда хорошо,
 а счастье лучше,
 но все-таки без правды счастья нет.

Пусть еще временами наивно и декларативно, но эта ранняя поэма Евтушенко честно, искренне выразила чувства, которыми были охвачены многие люди накануне весеннего обновления советской жизни. Впервые в своем творчестве поэт обратился здесь к истории, пытаясь мысленно связать судьбу своих предков, высланных в Сибирь из Украины за крестьянский бунт, с революционной борьбой последующих поколений зиминцев, в том числе родных и близких автора (через много лет этот мотив войдет в поэму «Мама и нейтронная бомба»). Чувство революционной истории не случайно так оживало в те незабываемые годы. Нужно было вновь пройти весь путь, чтобы утвердиться в незыблемой правоте ленинских идей. Нужно было преодолеть трагедию, чтобы сохранить в чистоте веру в социализм.

Молодой поэт одним из первых заговорил об этом и его услышала страна. Позднее, в самой крупной своей поэме «Братская ГЭС», он сделает попытку развернуть поэтическую историю революционной России — от Степана Разина до наших дней.

Надо отдать должное замыслу Евтушенко, его дерзкой смелости. Он взвалил на свои плечи огромный груз, и сама эта

гражданская и поэтическая отвага несомненно заслуживает уважения. При выходе поэмы критика, одобрительно отзываясь об отдельных кусках и главах, больше все же обращала внимание на ее жанровое несовершенство, фрагментарность, многословие, риторичность и т. д. (Наиболее объективно оценил поэму в то время критик А. Н. Макаров.) Сейчас пришло время вновь перечитать «Братскую ГЭС», спокойно разобраться в уроках, достоинствах и просчетах этого произведения, программного для Евушенко. Он сам назвал его «самым тяжелым камнем, который я когда-либо отрывал от земли».

И вы знайте, строители, —
 вел я нелегкую стройку
 и в несолнечный день
 моего бытия
 положил этой сложной поэмы
 нелегкую первую строчку
 в тень любимой моей,
 словно в тень моей совести, я.

Социальное, общественное у Евушенко всегда соединяется с личным, интимным, как в только что процитированных строках. Одно проникает, пронизывает другое, резко укрупняя лирическое «я» поэта.

Строительство большой поэмы действительно было нелегким. Оно требовало продуманности ее движения, композиционного плана, сопряжения разнородных частей в единое целое. Поскольку Евушенко отказался здесь от сюжета, необходимо было найти другие точки композиционной опоры. Возникает идея диалога между Братской ГЭС и египетской пирамидой, призванного публицистически столкнуть две крайние точки зрения на природу человека и его роль в истории.

Пирамида:

Говорят,
 уничтожено рабство...
 Не согласна:
 еще мощней
 рабство
 всех предрассудков расовых,
 рабство денег.
 рабство вещей

 Вижу:
 дух человеческий слаб.
 В человеке
 нельзя
 не извериться.
 Человек —
 по природе раб.
 Человек
 никогда не изменится.

Братская ГЭС:

Нас безжалостный голод
 глодал и душил,

нас шатали
 тифозные ветры,
 но не падали мы —
 из костей да из жил,
 да еще —
 из отчаянной веры.
 А вокруг нищета,
 босота, нагота.
 но мы строили.
 уголь рубали.
 На поклон мы не шли. .
 Никогда,
 никогда
 коммунары не будут рабами!

Все правильно, но диалог все-таки звучит достаточно искусственно. Представить себе переговаривающимися пирамиду и Братскую ГЭС читателю трудно, тем более что и та и другая выражаются совершенно по-евушенковски, нисколько не заботясь о какой-либо «собственной» лексической индивидуальности. Символы тотального скепсиса и безграничной веры даны поэтом слишком в лоб, рационально, и он, похоже, сам чувствует надуманность, необязательность своей конструкции, по которой исторические и современные главы призваны лишь иллюстрировать точку зрения, высказываемую Братской ГЭС, «убеждать» пирамиду в том, что она заблуждается. Она и убеждается, судя по всему, ибо в середине поэмы ее «задумавшийся призрак» внезапно исчезает в предрассветном небе. Исчезает, чтобы уже не возвратиться.

Парение в абстракциях категорически противопоставлено Евушенко. Его «общие» мысли предельно просты, они, как правило, не содержат никакой новизны, а напротив, уже до него стали достоянием многих. Поэтому «поэтическое» усложнение всем ясного выглядит у Евушенко вычурно и громоздко. Он силен именно в живом, конкретном ощущении жизни и истории. И поэма «Братская ГЭС» замечательно это доказала.

Не призраки пирамид и даже великих героев прошлого, а реальные драматические судьбы наших современников — вот что волнует прежде всего, когда читаешь это произведение, хотя и среди исторических глав есть вдохновенные удачи — «Казнь Стеньки Разина» и «Ярмарка в Симбирске».

И все же «Нюшка», «Большевик», «Диспетчер света» — самые дорогие для меня страницы и образы «Братской ГЭС». Боль опереживания, подлинная гражданская страсть продиктовали автору эти законченные поэтические новеллы-монологи.

Инженер-гидростроитель Карцев, диспетчер Изя Крамер, бетонщица Нюшка Буртова представляют три советских поколе-

настолько далеки их духовно-стилевые традиции от быстроглазой и быстроногой музыки нашего героя. Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Блок, Пастернак, Есенин, Маяковский... Молитвенные обращения стилизованы под стих каждого из них. Пожалуй, только жажда маяковской «непримиримости к подонкам» да имя Некрасова здесь вполне уместны:

Дай, Некрасов, уняв мою резвость,
боль иссеченной музы твоей —
у парадных подъездов. у рельсов
и в просторах лесов и полей.
Дай твоей неизящности силу,
дай мне подвиг мучительный твой.
чтоб идти. волоча всю Россию,
как бурлаки идут бечевой

«Волочить» всю Россию — это, конечно, слишком сильно и громко сказано, но таков уж характер Евтушенко, таков размах его замысла.

В поэме возникают тени Льва Толстого, Радищева, Чернышевского, декабристов, петрашевцев. Мысль автора предельно отчетлива, но сам калейдоскоп исторических фигур — русских пророков и предтеч социалистической революции — производит впечатление беглых зарифмованных иллюстраций из учебника истории. Иногда Евтушенко вводит в ткань поэмы строки других поэтов — классиков и современников. К примеру, в главе, где появляется Радищев, автор вспоминает о стихотворении Евгения Винокурова и цитирует его: «„Авторы“ залп, встают с дрекольем села... Но это началось в минуту ту, когда Радищев рукавом камзола отер слезу, увидев сироту...» Зря, между прочим, цитирует, ибо сразу думаешь: «Вот ведь то же самое, что и у Евтушенко, но, пожалуй, лучше, потому что короче и поэтически выразительней». Без разжевывания до тюрки, как выразился бы сам автор поэмы.

Центробежные силы разрывают поэму на куски, и художественная воля поэта не в силах совладать с этим стихийным процессом. Автор еще вспомнит о Лобном месте на Красной площади и приведет туда танцующую юную москвичку («Бал выпускников») — довольно бестактный, на мой взгляд, «отыгрыш» разинской темы: «Где стоял ты, Стенька, возле палача, — абитуриентка пляшет ча-ча-ча»; попытается вернуться ближе к финалу еще к двум-трем мотивам, заявленным в экспозиции произведения («Мы не рабы» — последние слова поэмы). Но все же образ поэтического целого автору удержать не удается. Создается впечатление, что Евтушенко отказывается от борьбы с собственным создани-

ем, вышедшим из-под художественного контроля. Не только египетская пирамида, но и сама Братская ГЭС то и дело исчезает куда-то под импровизационным напором авторской публицистики.

Пусть так, но силы не потрачены напрасно, и многое из «Братской ГЭС» живо и актуально до сих пор.

Поэт высказался в «Братской ГЭС» по главным вопросам, которые волновали его самого и его современников. Он, как смог, показал читателю образ России, пострадавшей свет социализма, без обиняков поведал о трагических страницах советской истории, воспел человека-труженика, на котором держится наша земля, и заклеил всякого рода подонков и прохиндеев (любимое слово поэта), которых еще немало вокруг. Гражданская заслуга автора «Братской ГЭС» несомненна. Об этом надо помнить с благодарностью.

Что касается художественных издержек, то всегда больше ошибается тот, кто больше на себя берет. И песню мы поем все же «безумству храбрых», а не разумности осторожных.

Поэма «Казанский университет» (1970) продолжает историко-революционную тему в творчестве Евгения Евтушенко: «...как в Братской ГЭС, Россия мне раскрылась в тебе, Казанский университет»

Это произведение строже выстроено. Оно компактней, не так многословно, как «Братская ГЭС», но зато в нем и меньше поэтической новизны. Поэт невольно начинает повторять себя, ибо сам принцип построения поэмы и ее главная идея в основном остаются прежними.

На примере исторических деятелей, учившихся и преподававших в Казанском университете или вообще связанных биографией с Казанью, автор дает свою схему развития русской революционно-освободительной мысли, ее сражения с царским самодержавием: «История России есть борьба свободной мысли с удушающей мыслью».

Евтушенко хорошо почувствовал общественную потребность в обращении к историческому прошлому народа и к русской литературной классике, но классические уроки прошлого в собственной поэзии он усваивает, к сожалению, лишь на уровне верхнего слоя.

В «Казанском университете» немало стихов, которые поначалу заражают своей патетикой и свежей образностью:

До сих пор над русскими полями
в заржавелый колокол небес

ветер бьет нетленными телами
дерзостных повешенных повес.

Вы не дорожили головою,
и за доблесть вечный вам почет.
Это вашей кровью голубую
наша Волга-матушка течет!

И за ваше гордое буянство —
вам, любившим тройки и цыган,
лучшие из русского дворянства.—
слава от рабочих и крестьян!

(«Толстой»)

Однако, когда вчитываешься, возникают вопросы к поэту. Красиво про Волгу-матушку, но неужто и впрямь она течет одной голубой кровью дворянских революционеров? Далее. Тройки, цыгане, «пьянство-дуэлянтство» — а стоит ли так темпераментно подхватывать обывательские, как мы бы сейчас сказали, мнения о досуге лучших из русских дворян, которые между тем «шли на эшафот за мужика»? Нет ли в самой авторской позиции отголоска именно этих поверхностных представлений? Отличный, сильный образ нетленные тела повешенных декабристов бьют в колокол русского неба, но затем следует щегольская деталь, игра слов, резко снижающая впечатление и смысл картины: «повешенных повес». Это Каховский или Рылеев — повесы? Да полноте, каждый, кто хотя бы приблизительно знает историю декабризма, вправе недоуменно пожать плечами. Но чего не сделаешь ради словесного эффекта, даже себе во вред.

Строя историческое повествование, Евтушенко решил отталкиваться от реальных фактов, опираясь на документальные свидетельства. Поэма состоит из семнадцати глав и эпилога, причем выписки из архивов Казанского университета, писем и статей прогрессивных и реакционных русских деятелей прошлого века уже как бы содержат в себе сжатый конспект, конфликт той или иной главы, которые затем конкретизируются и иллюстрируются в стихах. Надо сказать, что эпиграфы в некоторых случаях производят большее впечатление, нежели сами стихи. Этот эффект, конечно, не планировался автором.

Совиная мрачная тень обер-прокурора российского синода Константина Победоносцева возникает в поэме как символ официальной охранительной идеологии царского самодержавия: «Русскому народу образование не нужно, ибо оно научает логически мыслить» — читаем в одном из эпиграфов. Вот Победоносцев пишет Александру III: «Я только что прочел новую драму Л. Толстого и не могу прийти в се-

бя от ужаса... Неужели наш народ таков, каким изображает его Л. Толстой?.. Стоит подумать еще и о том, как отзовется такое публичное представление русского сельского быта у иностранцев и за границей, где вся печать, дышащая злобою против России, хватается жадно за всякое у нас явление и раздувает иногда ничтожные или вымышленные факты в целую картину русского безобразия. Вот, скажут, как сами русские изображают быт своего народа!»

Эти голоса по контрасту сталкиваются с голосами другой России — Лобачевского, Веры Фигнер, Ленина. Эпиграфы доносят дыхание истории, идейной и классовой борьбы. Надо отдать должное поэту, портреты Веры Фигнер, Лобачевского, молодого Льва Толстого и Ленина остаются в памяти как хорошие стихи и как яркая темпераментная публицистика.

Евтушенко очень важно пробудить в читателе чувство ответственности за настоящее своего отечества, воспитать историей гражданина. Путеводными звездами здесь светят правда и вера.

Сквозь стены двадцатого века
стучитесь бессмертно. слова:
«Я Вера. я Вера. я Вера.
Вы живы еще? Я жива...»

(«Фигнер»)

Одна из самых выразительных глав поэмы — «Суббота», в которой Евтушенко создает обобщенный образ хмельной Руси, топящей в вине горе и надежду на социальное освобождение. Пьянка, поощряемая самодержавной властью, становится символом рабства.

Люди,
синие от стужи,
обнимают фонари.
Сорок градусов снаружи,
сорок градусов внутри.
Кто Россию травит?
Кто Россией правит?
Барыня стеклянная —
водка окаянная.
Мчат по пьяным рысани.
Боже

что творится!
Нынче водка на Руси,
как императрица!
И сургучный венец
на головке царственной,
а соленый огурец —
скипетр государственный.
Твои очи,

Русь,
поблekli,
и в ослабых пальцах —
дрожь.
Вниз по матушке по водке
далеко не уплывешь.

Исподволь в этой главе начинает звучать грозная тема возмездия. Посреди большого и отчаянного мужицкого хмеля, посреди безобразного купеческого и жандармского разгула возникает фигура Володи Ульянова, брата казненного народовольца. Он еще юн и хрупок, «еще его понятие «брат» сегодня просто „Саша“», но уже вызревают в сердце зерна великой правды: «ведь человеку брат — любой, неправдою казнимый». Призрак Страшного суда, расплаты, грядущей революции нависает над пьяными палячами.

В главе «Татарская песня» поэт обращается к теме интернационального братства людей, пролетарской солидарности. Для него эта тема очень близкая, он ее повед и глашатай: любой признак шовинизма или национализма Евтушенко встречает гневной отповедью, страстной поэтической атакой.

Бедняков,
 доведенных до скотства,
 научают и власть
 и кабан
 чувству собственного превосходства:
 «Я босяк,
 ну а все же русак!»

Пушкинское «когда народы, распри позабыв...» проходит как завет, как идеал через все творчество Евтушенко. И именно поэтому он является глубоко русским национальным поэтом.

Сравнительно небольшие поэмы «Ивановские ситцы» (1976) и «Непрядва» (1980) — по сути дела, вариации уже сказанного в исторических главах «Братской ГЭС» и в «Казанском университете». Отечественная история не отпускает Евтушенко, он прямо декларирует: «Кто не историк — это не поэт».

В поэме «Ивановские ситцы» иногда виртуозно, иногда навязчиво обыгрывается самое русское имя и выстраивается цепь героев и положений: Иван-дурак из русской сказки — Иван Грозный — первопечатник Иван Федоров — ткацкий город Иваново. Ивановские ситцы рифмуются со страницами русской истории.

В истории России есть страницы,
 и красотой и болью налиты,
 как будто бы ивановские ситцы:
 не разберешь,
 где кровь, а где цветы.

Аналогия кажется весьма натянутой. К тому же разбирать, где кровь, а где цветы, взгляд художника просто обязан. Но не будем так уж буквально судить эти строки. Евтушенко продолжает не столько вчи-

тываться в страницы истории, сколько создавать свою поэтическую версию ее смысла. Он легко соединяет вещи и явления по внешнему признаку, подобию, полагая, что и внутри их обязательно объединяет нечто субстанциональное. Не обязательно, в этом-то все и дело. Отсюда всякого рода неточности и натяжки, приводящие к впечатлению некоторой поверхностности поэтического мышления.

Но что всегда есть у Евтушенко, так это «наступательная энергия, быстрота социальной реакции, умение затронуть актуальнейшие вопросы»². Все его исторические экскурсы «опрокинуты» в наше время, всматриваются в него: «История дается нам затем, чтобы ее не повторять опасно».

Чтобы не повторять ошибок, надо знать правду о прошлом — и дальнем и близком. В эпилоге «Ивановских ситцев» есть обращение к сыну, очень характерное для Евтушенко:

Вставай, мой сын!
 Пробей века плечом.
 Истории России равным будь ты.
 Пускай в твоих учебниках
 ни в чем
 не лгут
 Ивана Федорова буквы.

Историческая победа осталась за Иваном Федоровым. Русское печатное слово, иссеченное, исстеганное владыками, «пробилось Пушкиным, посыпалось листовками». Тут уж недалеко до революционного Иванова. Как ни тонка как ни иллюзорна такая композиционная связь, она чудом не рвется, ибо ее поддерживает единство лирического авторского слова, стремящегося с разной степенью успеха все связать со всем.

А если появилось Иваново, то появится и ситец, будьте уверены:

Ах, ивановские ситцы,
 вы,
 краями шевеля,
 колосисты,
 голосисты,
 словно русские поля

Таков поэзный путь от Ивана-дурака русского фольклора до восставшего народа в революционном Иваново-Вознесенске³. Путь, проложенный отличными стихами попеременно с посредственными.

У Евтушенко в исторических стихотворениях и поэмах в принципе не стоит ис-

² Л. Лавлинский. Сердца взрывная сила. М. 1972, стр. 274.

³ Вторую часть названия города Евтушенко опускает.

коть каких-либо аллюзий. То, что он хочет сказать, он говорит, как правило, не лукавя, прямо. Иногда даже прямолинейно, что опасно для искусства. Как только у него углубляется тема, неважно какая — публицистическая, лирическая или психологическая, — стих сразу же крепнет, слова мгновенно вступают в фонетическую и смысловую переключку, форма обретает законченность.

Но вот что удивительно: Евтушенко как-то не закрепляет в процессе многолетней профессиональной работы над стихом лучшее в себе, наиболее плодотворное, словно бы не дает себе отчета: в чем силен, в чем слаб. Еще в 1968 году на это обратил внимание Владимир Огнев: «У Евтушенко беспокоит легкость, автоматизм хорошо налаженного производства. Мастерство не только приобретает, оно и расстрачивается...» И далее: поэт «не осмысливает новаторства даже там, где стихийно его творит».

В поэме «Непрядва», посвященной 600-летию Куликовской битвы, Евтушенко по своему обыкновению перемещивает эпические зарисовки с лирическими монологами. Патриотический пафос поэмы очевиден, но, подобно современной речке, она на глазах мелеет, ее речь оказывается повторением уже много раз слышанного от поэта. В финале возникает очевидная неловкость. После справедливых слов о реке Непрядве как символе русского освобождения от татаро-монгольского ига:

Все фальшивое не уцелеет.
Этот символ останется жив
Символ только тогда не мелеет,
если он изначально не лжив...—

следует мгновенное уподобление себя са-мого, поэта Евтушенко, тоже символу России:

С хрупким перышком перед стихами
я, по сути, боюсь одного:
чтобы тайное
пересыханье
не постигло меня самого.
Если тоже я символ России,
кем-то полузабытый почти,
я хочу, чтоб меня воскресили,
чтобы снова
прочли и прочли.

Вспоминается нечто подобное, уже вы-летевшее однажды из уст поэта: «Моя фамилия — Россия, а Евтушенко — псевдоним» Теперь Евтушенко невольно сравнивает свои поэтические сражения с Куликовской битвой. Ни один русский писатель (за исключением, может быть, Пушкина) не ощущал в душе морального и художе-

ственного права сказать о себе как о России в целом, при жизни претендовать на один из ее символов. Евгений Евтушенко легко преодолевает эту преграду. И сразу резко уменьшается в читательских глазах.

Не в том дело, что масштабы исторической битвы и идейно-художественных сражений современного поэта, даже крупного и талантливого, несоизмеримы, а в том, что поэт, который этого не понимает, перестает в этот момент быть крупным и талантливым.

Когда современный советский стихотворец пишет поэму о Пугачеве, он вольно или невольно вступает в творческое соревнование с Сергеем Есениным. Невозможно, работая над поэмой о Куликовской битве, не учитывать опыт Александра Блока (цикл «На поле Куликовом»). Ведь читатель вправе сравнить и с грустью подумать...

У Евтушенко бывают моменты поэтического застывания, когда ему вдруг отказывает чувство меры и ответственности за слово. После каждого такого срыва возрождаются к живой истинной поэзии все трудней и трудней.

«Непрядва» написана в сложный духовный период жизни поэта, когда он всерьез почувствовал необходимость перемен в себе, когда лирика не писалась и уже шла работа над романом «Ягодные места». Наверное, поэтому в поэме так форсированы мотивы самоутверждения, полемики, своего первенства в разработке гражданской и национально-исторической тематики. Свободы и необходимости этот текст явно не излучает, хотя, как всегда у Евтушенко, и здесь есть пластически точные куски и картины.

На мой взгляд, контакта с историей на сей раз не произошло прежде всего потому, что сам эпос Куликовской битвы был выбран автором лишь как предлог, как повод для продолжения современных литературных сражений. С первых же строк поэмы начинается ответь тем, кто пытается играть фальшивую мелодию на чистых струнах патриотического народного сознания:

Я пришел к тебе,
Куликово поле,
не каликою-странником
на богомолье.
Из народа родного
я идола-бога не выстругал.
Из страданий народа
всевышности русской не выстроил.
Разве меньше страдали,
чем русские наши колодники,
африканцы-рабы,
восходя на галеры колоннами?

Недостойно слезе
возгордиться над чьей-то другою
слезою...—

и т. д.

Что тут возразишь, тем не менее время и место для такого рода публицистической атаки выбрано крайне неудачно. Когда празднуется великая национальная дата, начинать стоит все-таки с того, что означала Куликовская битва для самосознания русской нации. Ведь сказано было самим же Евтушенко: «Но для русских, чьи кони когда-то под стрелами прядали, началось человечество здесь, у Непрядвы» К сожалению, именно эта тема потонула в потоке доказательств общих, бесспорных истин. («Кто превыше всего? Все народы превыше всего Вот мой бог: человечество — имя его».)

Стиль благородного негодования, ораторского отрицания чуждых автору представлений о «путях России» и дальше продолжает оставаться внешним стимулом поэзного развития. Поэт спорит и с «неославянофильским» угаром, охватившим часть нашей интеллигенции, и с технократическим космополитизмом:

Западники и славянофилы —
старый спор.
Спорят после смерти и могилы
до сих пор.
И живые спорят замогилю,
взяв пример.
То на лапты молятся умильно,
то —на НТР.

Евтушенко выбирает третий путь, отрицающий идеи как «технолюбцев», так и «лаптелюбцев»:

Мне и спорить с вами неохота.
Я люблю и Русь, и СССР.
Наша трудовая Русь не что-то —
тоже НТР.

Струя актуального журнализма, вообще сильная у Евтушенко, здесь заполняет почти все пространство поэмы. Даже исторические персонажи князь Димитрий и Боброк анахронизированы настолько, что перед битвой (!) ведут совершенно немислимый диалог, где верный княжеский соратник укрепляет Димитрия в мнении о том, что «грех желая русским рай, всех татар возненавидеть... Разве все они — Мамай?». Тут уж рукой подать и до пролетарского интернационализма!

Повторю еще раз: история для Евтушенко — лишь иллюстративный материал для современной постройки. Вот уж кого не заподозришь в «совершенном отсутствии суетности и пристрастия», а ведь

именно это отсутствие Пушкин полагал идеалом подхода писателя к историческому сюжету.

Зато когда поэт возвращается на почву наших дней, к быту и труду своих современников, удача гораздо чаще сопутствует ему. Поэма «Северная надбавка» (1977) — один из тому примеров.

Это сюжетная поэма, и она вновь демонстрирует потенции повествовательного евушенковского стиха. Сюжетные поэмы у нас сегодня почти не пишут, и этому есть свои исторические объяснения. Не могу здесь за недостатком места подробно касаться столь сложного теоретического вопроса. Скажу только, что размывание эпики как родовой сущности поэзного жанра размывает и сам жанр, превращая его в калейдоскопический набор баллад, лирических стихотворений, авторских монологов и т. п. Такая жанровая вседозволенность обычно оправдывается «внутренним сюжетом», необходимостью «лиризации» жизни в крупной поэтической форме, ибо действительность второй половины XX века и сам опыт русской советской поэмы после Твардовского якобы доказывают, что повествовательные формы сегодня уже «не работают».

Евгений Евтушенко демонстрирует заведомую свободу в подходе к жанру. «Роман — это все что угодно», — говорил Зояля, и Евтушенко мог бы повторить эти слова в применении к поэме. Конечно, такой «широкий» взгляд неизбежно ведет к художественному эклектизму, но эклектизм этот порой оказывается значительной и интересней, чем рабское следование строгим канонам. Евтушенко продолжает оставаться верным повествованию, «прозе» в поэзии, журнализму, злобе дня, порой фельетону, которые не позволяют стиху оторваться от конкретной, неприукрашенной, шумной, галдящей, смеющейся и плачущей жизни. Важно только, чтобы стих при этом оставался стихом, чтобы проза живой действительности разворачивалась на его ритмической, интонационной и мелодической основе.

О чем рассказывает «Северная надбавка»? О Петре Щепочкине, — работяге-геологе, который отправился в отпуск с Севера, зашив в пояс несколько аккредитивов и надеясь вольготно и весело погулять на столичных и сочинских просторах. Задуманное до поры осуществляется, пока герой не навещает в Подмоскovie свою сестренку Валу, которую не видел много лет. У Вали муж, двое детей и растроганный свиданием герой отдает молодой семье

свою северную надбавку на кооперативную квартиру. Остаток отпуска был проведен им на юге в трезвости и душевном благолепии.

Как ни смахивает при перекладе этот простенький сюжет на рождественскую сказку, в нем есть и правда характера и правда ситуации. Все дело в стихе Евтушенко, в поэзии, которая в «Северной надбавке» обрела почву, повеселела и освободилась, дала волю широкому душевному жесту Натура Щепочкина в чем-то явно сродни авторской, с ее непоказной щедростью и затаенной сентиментальностью.

Эх, надбавка северная,
вправду сумасшедшая,
на снегу посеянная,
на снегу взошедшая!

Впрочем, здесь все рубрики,
как шагреня, сжимаются.
От мороза хрупкие
сотни здесь ломаются.

И, до боли яркие,
в самолетах ерзая,
прилетают яблоки.
все насквозь промерзлые.

Тело еле вынесло,
ночью изъелознилось.
а душа не вымерзла —
только подморозилась.

Оттаивание души Петра Щепочкина не производит впечатления авторского произвола, неестественности Герой заранее подан нам так, что мы верим в его способность к добру и самопожертвованию. Евтушенко вообще умеет писать хороших работающих людей.

Мы теплыми телами
боролись, кореш, с той,
как ледяное пламя,
дышавшей мерзлотой.

Я, кореш, малость выжат,—
прости мою вину.
Но ты скажи — кто движет
на Север всю страну?

На этот отпусочек —
кусочек жития,
на пиво и на Сочи
имею право я?!

Срединная Россия
послевоенных лет,
гляди — теперь я в силе,
за пивом шлю в буфет.

Когда самолет взмыл в небеса, унося Петра Щепочкина на Север, то внизу, над землей, еще долго кружился списочный лист, так и не отоваренный нашим героем. Были в этом списке валокордин и детские колготки на разные возрасты, блесна на тайменя и свечи для лодочного мотора, меховые сапожки типа «аляски» и много

других необходимых вещей. И среди них «для Анны Филипповны — акушерки — двухтомник Евтушенки». Тоже вещь необходимая в душевном хозяйстве.

Улыбка согревает поэму. В ней живет сердечное уважение к рабочему человеку, к тем, кто кормит, поит и одевает нашу огромную страну Страну, которая «вышпелала ртами больших очередей: нет маленьких страданий, нет маленьких людей».

Драматург и прозаик Михаил Роцин заметил однажды в одной из своих рецензий: «Современная литература грешна перед человеком: она много занята раздеванием его, разоблачением, принижением, тычет ему в глаза его пороки. Наверное, это нужно. Но писатели не могут, не имеют права делать это без любви к человеку. Есть писатели, которые знают это, но все равно пишут, хотя любви не испытывают. Но любовь вещь такая — или она есть, или ее нет. Тут не обманешь».

У Евтушенко есть это чувство, и это лучшее, что у него есть.

Обращаясь к поэмам Евтушенко на зарубежную тему, отчетливо видишь, что он сознательно стремится наследовать одну из главных тем Маяковского, которую Б. М. Эйхенбаум назвал темой «должника».

Поэт
всегда
должник вселенной,
Платящий
на горе
проценты и пени.

Я
в долгу
перед Вродвейской лампией,
Перед вами.
багдадские небеса.
Перед Красной Армией,
перед вишнями
Японии —
Перед всем.
про что
не успел написать.

У Евтушенко много похожих признаний. Эта переключка через десятилетия почти нигде не выглядит формальным подражанием или стилизацией, она продолжает духовную традицию и очень органична и естественна именно для данного поэтического характера.

На миллионах лиц моя судьба и драма,
на миллионах рук стучит мой личный
пульс.
Да, несвободен я от матерей Вьетнама,
от камбоджийских вдов и от далласских
пульс.
(Пролог к поэме «Под кожей
статуи Свободы»)

Зарубежные поэмы Евтушенко открывает «Коррида», написанная в 1967 году. Ей предпослан эпиграф из Маяковского: «Единственное, о чем я жалел, это о том, что нельзя установить на бычьих рогах пулеметов...» Евтушенко строит маленькую поэму как цепь монологов — быка, лошади пикадора, публики, молодого тореро, старого испанского поэта. Даже неодушевленное наделяется у него правом голоса: песок сцены, проливаемая кровь, розовые бандерильи, вонзаемые в загривок быка. «Мир от крови устал... довольно бессмысленных жертв!.. довольно коррид!» — таков пафос этого произведения, причем арена севильской корриды становится в сознании автора метафорой всемирной арены войн и преступлений против человечности.

Через год Евтушенко публикует новую большую поэму «Под кожей статуи Свободы». Вот что говорил сам поэт о ее замысле: «...главная героиня поэмы «Под кожей статуи Свободы» — кровь, и вокруг нее разворачивается сюжет, переносащийся читателя то от братьев Кеннеди к убийству в Угличе, то от Раскольников к Панчо Вилье. То, что действие так свободно переносится и географически, и во времени, вовсе не свидетельствует о сомнительных аналогиях, в чем меня упрекала критика, а лишь трагически иллюстрирует историей зловещее многообразие проблемы кровавого насилия...».

«Американская» поэма Евтушенко написана с размахом и довольно изобретательно. В ее ткань вживляются прозаические куски, где рассказывается о встречах автора с сенатором Робертом Кеннеди, художником Сальвадором Дали, абхазским крестьянином Пирией, чилийским архитектором Гонсалесом Фигероа и другими знаменитыми и незнаменитыми реальными людьми. Фрагменты документальной прозы помогают поэме удержаться как целому. Они скрепляют монтаж стихотворных монологов самых разнообразных персонажей — и вымышленных и исторических. Позднее на этом же принципе будет построена поэма «Фуку!».

А заговорить у Евтушенко, как уже убедились читатель, может все что угодно. Монологи людей и предметов — его любимый прием, постоянно используемый именно в поэмах. Но крупная форма не может строиться на одних монологах. Голоса должны вступать в контрапункт, в композиционное единство. И тогда на сцену, как правило, является сам автор, Евгений Александрович Евтушенко, и открытым текстом

пытается связать распадающееся многоголосие.

Контрапункта таким способом добиться, естественно, не удастся. Но Евтушенко это не очень расстраивает. Он поэт-моралист, поэт-публицист, поэт-оратор, и художественный мир его больших поэм держится исключительно силой интонации. Она-то и скрепляет варварское, немислимое ни у какого другого поэта скопление слов и или.

В поэме «Под кожей статуи Свободы» мы слышим голоса Мартина Лютера Кинга, хиппи разных возрастов, бывшего охотника за анакондами, студента со сборником Маркузе под мышкой, американского поэта, Гайаваты, пожилого господина из умеренных либералов, профессора — специалиста по теории непротivления злу, Родиона Раскольникова, Панчо Вилье. Аврелла Гарримана, Джона Фицджеральда Кеннеди. Иисуса Христа... Оборвем список, всех не перечислишь. Каждый из них рассуждает о проблеме насилия.

Черный пастор Мартин Лютер Кинг, погибший от пули расистов, и мертвым продолжает свою проповедь:

Не помните обид!
В бессмертной небосини,
насилием убит,
взываю к ненасилью...

Юный поклонник Маркузе возражает Кингу:

Я, пастор, вас не упрекну,
вы добрый черный Ганди,
но вижу ясно слабицу
в подобной пропаганде.

И понимаю я с тоской,
что столькие протесты
не то что об стену башкой,
а кулаком — по тесту.

И крепко хочется тряхнуть
всю матушку-Америчку,
всю эту муть, всю эту нудь,
всю данную системочку!

(Замечу в скобках, что американский студент у Евтушенко выражается языком совершенно удивительным. Одна «матушка-Америчка» чего стоит, не говоря уж о «слабине», «башке» и прочем. Но такие языковые «мелочи» автора не очень интересуют, и его американец вполне может заговорить по-русски.)

И далее в многостраничной поэме одна за другой перед читателем разворачиваются исторические иллюстрации на тему человеческого убийства. Появляется Раскольников из «Преступления и наказания»:

От убогих заплеванных лестниц,
керосином пропахших квартир,

петербургский чахоточный месяц
на старуху меня наводил.

Но, пошатываясь от муки,
поднимаясь к тому этажу,
я не думал тогда, что кому-то
оправданием убийств послужу...

Постаревший Гайавата бредет «мимо атомного ада, мимо каменных вигвамов» и рассуждает присущим ему бунинско-лонгфелловским хореем:

Мир культурным стал. Добился.
Жаждет мир духовной пищи.
Кто такой сейчас убийца?
Зритель, слушатель, подписчик.

Панчо Вилья, герой мексиканской революции, начинает свой монолог с одесским акцентом: «Панчо Вилья — это буду я». Потом, впрочем, его речь выправляется:

Я у них сидел как в горле кость,
не попав на удочку богатства
В их телегу грязную впрягаться
я не захотел. Я дикий конь
Я не стал Христом Я слишком груб.
Но не стал Иудею — не сдался,
и, как высший орден государства,
мне ввинтили пулю — прямо в грудь.

В поэме возникает Иисус Христос, который с болью и гневом всматривается в лицо Земли:

И над планетой, злобой распаленные,
летают пули, словно раскаленные
все тех же инквизиций угольки,
и, чувствуя себя в руках у стражников,
я на крестах тряусь от смеха страшного:
«Так вот какие вы, ученички!»

Весь этот конгломерат легендарных персонажей судит современную Америку, убивающую своих лучших сыновей. Статуя Свободы, полая внутри и открытая для посещения туристов, становится в поэме символом фарисейства и социальной лжи. В финале Евтушенко переходит к собственному патетическому монологу, стараясь объединить вместе темы насилия и свободы:

Не всякому талант дает природа
быть плотнику бессмертному под стать,
но все-таки на свете есть свобода —
хотя бы фарисеями не стать.

Мы устаем от всяческого сброда,
тех, кто устал, безверье ловит в сеть
но все-таки на свете есть свобода —
хотя бы за свободу умереть.

Автору «Под кожей статуи Свободы» нельзя отказать в благих намерениях, темпераменте, гражданской боли. Но, не говоря уж о том, что поэма слишком многословна и иллюстративна, в ней — это са-

мое главное — несколько «адаптируются» очень серьезные социальные и философские проблемы, связанные с такими категориями, как свобода, насилие, революция. Позже, в поэме «Мама и нейтронная бомба», мышление поэта станет более основательным. Пока же явлен праведный пафос, но отсутствует историзм, отчего любая безвинно пролитая кровь становится равной самой себе. В высшем философском смысле так оно и есть, но ведь существует и реальная историческая ситуация, существует революционное насилие, наконец. Убийство президента Кеннеди в Далласе и, скажем, гибель президента Альенде в Сантьяго в принципе разные ситуации по природе трагизма. Кроме того, выступать против убийства вовсе не значит автоматически выступать за свободу. Здесь есть своя трагическая диалектика, учитывать которую необходимо, когда касаешься предметов, столь значительных для судеб человека и мира.

Во всех поэмах Евтушенко проходит сквозная тема, которую можно обозначить так: роль художника в современном мире. В поэме «Под кожей статуи Свободы» эта тема акцентируется как выбор политической позиции. Циничный аполитизм знаменитого сюрреалиста Сальвадора Дали, делящего всех людей лишь на «творцов» и «обыкновенных людей», закономерно приводит его к оправданию насилия, фашизма, атомного безумия. («Зло и добро — какие детские категории! Я предпочитаю гениальное зло повседневному добру»). Слушая Дали, автор мысленно восклицает: «О неправда, неправда, что произведение искусства живет независимо от художника! Оно, как портрет Дориана Грея, изменяется вместе с художником, запечатлевая тени его предательства на лице... Если, читая даже самую прекрасную книгу, мы знаем о подлости ее автора, то волей-неволей не сможем воспринимать ее в чистом виде».

Художественный аристократизм, позиция «над схваткой», по ту сторону добра и зла — для Евтушенко немисимы, враждебны, они в корне противоречат его воспитанию и убеждениям.

Вы о свободе мне! Досужее позерство
под сенью роковой висящих в небе бомб.
От века своего свободным быть позорно,
позорней во сто крат, чем быть его рабом.

В 70-х годах Евтушенко продолжает работу над зарубежными поэмами. Материал дают частые и продолжительные поездки

за границу. Поэмы все больше тяготеют к сюжетному повествованию, и перед поэтом остро встает проблема формы, нуждающейся в обновлении. Рифма и размер уже для него тесны, слишком условны, не вмещают свободно льющийся рассказ. Идет процесс прозаизации стиха. В поэме «Снег в Токио» (1974) автор впервые обращается к верлибру.

Не знаю, кому как, но мне она представляется наиболее вялым поэтным сочинением Евтушенко. В нем рассказывается о бунте богатой японки средних лет против семейной диктатуры мужа, против его неверности и равнодушия к внутренней жизни супруги. Героиня открывает в себе дар живописца, ее картины имеют успех, и постепенно вокруг нее спланиваются другие сторонницы женской эмансипации, которые учатся и живописи, и протесту. Героиня-художница мужественно возглавляет это «восстание искусством».

Сюжет надуман, во всяком случае таким он выглядит в поэме. Кроме того, в нем нет ничего национально японского, действие могло бы происходить в любой другой капиталистической стране. Порвав с мужем и бытом, героиня рисует желтые и черные женские лица и «коров с Хоккайдо с забитыми глазами японских женщин», что производит на лучшую половину посетителей Гиндзы (центральный торговый район Токио) потрясающее впечатление. Вот какими стихами это описывается:

На выставке странное было явление:
конечно, мужчины сюда заходили,
но женщины перли (!) сюда, как в такой магазин,
где им выдают от мужей и от быта
свободу.

И даже женщины из посольств —
белые женщины из Европы,
а также из Соединенных Штатов —
стояли часами, рассматривая холсты,
в глазах японок и африканок
и обреченных коров с Хоккайдо
угадывая страданья свои
и видя в буйстве восставших красок
свою затаенную тягу к восстанию.

За короткое время вокруг героини «образовалось нечто вроде подпольной организации, борющейся если не за сверженье мужчин, то хотя бы за подобие демократии». Но скоро начались разногласия. «Здесь были реалисточки, сюрреалисточки, абстракционисточки, попартовки, опартовки, и каждое направление требовало, чтобы только оно считалось ведущим». Знакомая картина! Напрягая память, фантазию и воображение, автор приводит все новые и новые подробности, но ничего существенного и свежего, кроме максим типа

«искусство — восстание против жизни, если жизнь становится слишком похожей на смерть», дать читателю не может.

Проблема изображения другого национального характера, художественного «вживания» в него для Евгения Евтушенко серьезный камень преткновения. Почти все его положительные зарубежные герои держатся и рассуждают так, как рассуждал и держался бы сам автор — и в лексике и в интонационном жесте. Поэт хорошо схватывает характерное на уровне внешнего, но часто не дает себе труда проникнуть в национальную глубину того или иного образа. В японской поэме это особенно наглядно благодаря резкому своеобразием восточного духовного мира, который Евтушенко избрал предметом своего художественного освоения.

Читая поэму «Снег над Токио», вспоминаешь в связи с ее темой давние строки Евтушенко: «Лучшие мужчины — это женщины, это я вам точно говорю». Вот эти строки останутся как парадоксально и очень искренне сформулированное чувство. Что же до поэмы, то она скорее напоминает бумажные цветы, нежели цветение сакуры, которая, конечно же, возникает в тексте как непрменный атрибут японского для европейского туристского сознания.

В чилийской поэме «Голубь в Сантьяго» (1978) такого поверхностного налета уже почти не встретишь. Автор знает Чили и вообще Латинскую Америку гораздо лучше, чем Восток. Но главное в том, что содержание поэмы выстрадано временем и поэтом.

Евтушенко точно обозначил жанр своего произведения: повесть в стихах. Это действительно повесть, написанная белыми стихами, о трагических днях чилийской истории накануне падения правительства Альенде. О драме чилийского юноши Энрике, покончившего жизнь самоубийством. И наконец, это повесть о себе, о тяжелых мгновениях собственного душевного кризиса, когда казалось, что жизнь кончена и во тьме нет просвета.

Меня все обвиняли в себялюбье,
в корыстности, в моральном разложении,
в зазнайстве, в недостаточном вниманье,
в недооценке тех, кого я должен
ценить, но совершенно не ценю.
Но сам себя я обвинял в убийстве,
в чем обвинить меня не догадались.
Я так устал от причиненья боли
всем родственникам, женщинам,

друзьям,
при каждом шаге вправо или влево,
вперед, или назад, или на месте,
кого-то убивая незначай.

Как змея, в мозг автора вползает мысль о самоубийстве: «...но если только я один — причина несчастий ваших и болезней ваших, я устранить ее вам помогу!».

Вот тут как раз и хочется сказать: не «автор», а «лирический герой», настолько откровенная обнаженная исповедь перед нами. Но зная обстоятельства его жизни, его характер, все-таки говорю «автор», так как это он сам и есть Автор, который сейчас, создавая поэму, слишком драматизирует задним числом себя и обстоятельства, но имеет на это полное право.

От самоубийства поэта спасает прилетевший откуда-то издалека голубь, который скребет клювом оконное стекло. Он не похож на своих жирных московских собратьев «А может быть, он прилетел из Чили?» Память возвращает поэта в Сантьяго семьдесят второго года, поэма начинает свой путь.

Этот голубь, переключающий сознание автора-героя в другой, оптимистический регистр, как композиционный прием достаточно наивен. Но Евтушенко мало заботят точные психологические мотивировки, естественность переходов от одного лирического состояния в другое. Его дух витает где хочет и перемещается порой столь прихотливо и немотивированно, что постепенно привыкаешь к этому бесконечному броунову движению. Автору важно именно двинуть действие, начать повесть, и для начала вполне может согдиться голубь, который погибнет в Сантьяго, воскреснет в Москве и впрхнет в конце концов в заглавие произведения.

При слове «Чили» возникает боль.

 Я жил тогда в гостинице «Каррера»,
 напротив президентского дворца.

Политика врывается в поэму и властно вершит судьбы ее героев. Один из них — президент Альенде — фигура ключевая в истории Латинской Америки второй половины XX века.

Евтушенко удалось создать убедительный портрет чилийского президента, человека безупречной порядочности, высокого общественного и морального долга. Это, в сущности, его и погубило. «Альенде был умней своих убийц, но он умен был не умом тирана, который не побрезгует ничем». Когда «леваки» предложили президенту расстрелять десять тысяч затаившихся сильных врагов нового демократического режима (в списке был и генерал Пиночет), Аленде категорически отверг это предложение: «Но если хоть один, а невиновен?»

В последние годы у нас много говорят и пишут о политизации литературы и искусства. Евгений Евтушенко первым в своем поколении обратился к политическим международным проблемам, и они, начиная с 60-х годов, уже не уходили из его творчества. Можно спорить о художественной стороне воплощения в его стихотворениях и поэмах политической тематики, но нельзя не отдать должное поэту — он всегда стремится быть в напряженных горячих точках планеты, там, где идет борьба за демократию, за социальное освобождение, — на Кубе и во Вьетнаме, в Чили и в Никарагуа. Быть, увидеть все собственными глазами и запечатлеть в стихотворном репортаже.

Документальные страницы поэмы «Голубь в Сантьяго» рисуют митинг, на котором выступал президент Аленде незадолго до своей гибели. Огромная ночная площадь наспех сколоченная трибуна, освещенная прожекторами, и факелы из горящих газет, поднятые тысячами рук: «...и вдруг увидел я в одной руке, подъятой ввысь во славу президента, его тихонько тлеющее фото с каемкой пепла черно-золотой, как в траурной сжимающейся рамке».

Это воспоминание возвращает автору реальный масштаб зрения; собственные бытовые раны («развод, потеря сына, оскорбленья») перестают казаться смертельными.

Женщина-чилика приносит поэту дневник сына, юного художника: «Мой мальчик вас любил. Он слушал вас, когда стихи читали вы с Нерудой. Открыв дневник, вы все поймете сами и, может быть, напишете поэму, так всем необходимую, — о том, какой самообман — самоубийство».

История Энрике и составляет главный сюжет стихотворной повести, созданной по всем канонам психологического письма.

Чилийский Вертер покончил с собой, бросившись вниз с верхней площадки все той же многоэтажной гостиницы «Каррера». Но не любовная драма толкнула его на этот роковой шаг. Вернее, не только она.

Евтушенко вводит нас в неустоявшийся, напряженный духовный мир девятнадцатилетнего студента художественной школы. Энрике мучительно ищет свой путь в искусстве, разрываемый противоречиями. «Он думал — умер старый реализм, ценою смерти обрета бессмертье, и абстракционизм самоубийством покончил, прирученным взрывом став». Энрике ищет чего-то третьего. Он целый год пишет большую кар-

тину, где пытается вдохнуть в фигуративное искусство обобщенную символическую образность: тринадцать апостолов зла («конвейерных, безликих») хищными ножами взрезают алую кровотокающую плоть огромного арбуза. Два уважаемых маэстро (классицист и абстракционист), чьи мнения очень важны для героя, отвергли работу Энрике с разных, крайне противоположных позиций, но с единодушным приговором: «...с предательства ты начал путь в искусство». Крайности сходятся и больно ранят сердце молодого художника.

И любовная лодка разбивается об острые рифы жизни. И наконец еще один удар, крушение дружбы, которая продолжалась с детских лет. Энрике несправедливо обвинили в предательстве, когда был арестован его друг, член ультралевой группы террористов. Между тем единственная «вина» героя поэмы была в отсутствии твердых политических убеждений. Он не участвовал в борьбе ни с той, ни с другой стороны.

Три круга нравственного ада проходит герой. Творчество, любовь, дружба — все вмиг оказалось запятанным, под подозрением.

Уже падая на мостовую, так не хотевший в жизни быть убийцей, Энрике убивает своим телом голубя. Может быть, того самого, что через несколько лет прилетит в Москву, воскреснув и воскрешая для жизни других.

Несчастье иностранным быть не может. Когда несчастья все поймут друг друга, как этот голубь, прилетят на помощь, тогда и будет счастье на земле.

В поэму возвращается образ Аленде. Он тоже воскресает для борьбы и бессмертия:

Товарищ президент, не умирайте!
Возмездием бессмертья превратите
зарвавшихся убийц — в самоубийц!
Постановите президентской властью:
пусть вешаются только те, кто вешал,
и только те стреляются от страха,
кто на земле свободу расстрелял.

Эпилог поэмы «Голубь в Сантьяго» звучит гимном во славу жизни. Стих, оперяясь рифмой, взмывает ввысь:

Я ненавижу смерть, как Циолковский,
который рвался к звездам потому,
что заселить хотел он целый космос
людьми, бессмертьем равными ему.

Вы приглядитесь к жизни, словно к нитке,
которую столетия прядут.
Воскресшие по федоровской книге,
к нам наши прародители придут.

И на звезде далекой гололедной,
бросая в космос к людям позывной,
я буду славить жизнь, как голубь
мертвый,
летающий бессмертно над землей.

Поэма о самоубийстве выросла в поэму о человеческом бессмертии. Душа маленького чилийского художника как бы перелетела в душу голубя, которому дарована вечная жизнь.

Грозная тема убийства и самоубийства современного человечества вновь возникает в поэмах Евтушенко «Мама и нейтронная бомба» (1982) и «Фуку!» (1985). В них в полной мере сказались очень привлекательные качества его поэзии — естественный демократизм и интернационализм. Это поэмы-поступки, вызванные искренним желанием помочь делу мира, внести в него свою лепту, пробудить в читателе общественную активность. Поэзия не может спасти мир, но без нее мир погибнет. Поэтому художник призван постоянно напоминать людям о том, зачем они пришли на землю, даже если в данный момент его услышат и поймут немногие.

О поэме «Мама и нейтронная бомба» я уже подробно писал сразу после ее выхода в свет⁴ и поэтому не стану повторяться. Что касается новой большой поэмы Евтушенко с непривычным для русского слуха названием «Фуку!», то ограничусь здесь предельно общей и краткой ее характеристикой.

«Фуку» на индейском наречии — табу на имя. История, этот старый крот, по выражению Маркса, нередко зарывает в неизвестность имена рядовых солдат, павших за дело социальной свободы, но увековечивает наряду с великими героями главных убийц человечества. Историю прежде всего интересует масштаб как гения, так и злодейства. Она работает, как правило, с абсолютными величинами, отодвигая порой на второй план значение, знак этих величин.

Не то поэзия, у нее свои законы. Фуку поэзии смыкает с палача клеймо героя и приговаривает его к отрицательному бытию в памяти человечества. Политическая поэма Евтушенко вторгается в историю XX века и интерпретирует ее как трагический поединок революционных сил добра и свободы с фашизмом во всех его проявлениях. Она наполнена духом борьбы против «крысиной» психологии обывателя, как отечественного, так и зарубежного.

⁴ «Поэма тревоги» («Литературное обозрение», 1982, № 12).

В новой поэме Евтушенко отчетливо проявились и все те несовершенства, которые стали хронической метой его поэтического характера, знаком его стиля: словесная избыточность, декларативность, нарушения стилевой и композиционной меры. И еще немаловажное. Когда искренняя боль и мужество соседствуют порой с позой и самолюбованием, то очень трудно отрешиться от мысли, что и боль, и мужество теряют от такого соседства.

Можно и нужно сожалеть об этом, твердо помня об одном: то, что хочет и может сказать Евтушенко, не скажет у нас никто другой. Остается любить лучшее в нем и понимать значение его неповторимого голоса, его гражданской позиции в литературно-общественной жизни нашего времени.

Подведем некоторые итоги.

Поэзное творчество Евтушенко, как и вся его работа в литературе, меньше всего может произвести впечатление гармо-

ничного и художественно освоенного мира. Здесь все не устоялось, дышит разладом и бурным натиском, как в штормовом море. Корабль стиха то и дело натывается на рифы формы, его захлестывает многословие и риторика. Композиционные скрепы трещат по швам.

Все так, но корабль не тонет. Он движим энергией сильного чувства, самобытного таланта, бросившего вызов традиционным правилам судождения. Каждый раз его паруса в мгновенном маневре ловят новый ветер времени, который наполняет их упругим воздухом движения, не дает им опасть в безволии. Тут больше прямой, грубой жизни, чем утонченного искусства, но кто измерит, в каких пропорциях жизнь и искусство становятся подлинным творчеством? Разве не встречаемся мы порой с прямо противоположным, когда искусства много, а жизни нет?

Все рассудит время, самый трезвый аналитик. А пока корабль идет и штиля по-прежнему не предвидится.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Владимир Красильщиков. На документальной основе. — **Л. Теракопян.** Между бедой и виной. — **Искра Денисова.** Рабочие руки. — **А. Дубровин.** Репетиции кинозрителя. — **Сергей Залыгин.** Свидетельство.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Еремей Парнов. Цель исследования — будущее. — **В. Зяблов.** Помощница в дерзаниях.

Литература и искусство

НА ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ОСНОВЕ

Ирина Ирошникова. Москва — Крутоборск. Семейная хроника. **Роман. М.** «Советский писатель». 1985. 296 стр.

На строительстве Магнитки трое рабочих переносили стальную балку. Случилось так, что передний и задний разом споткнулись, упали. Средний — один! — удержал балку, чем спас и товарищей и себя. Потом, в обычной обстановке, попробовал приподнять ту самую балку — не смог. Пожалуй, в примере этом символика, передающая образ жизни и характер самих 30-х годов с их постоянными перегрузками, одолениями, свершениями...

Люди 30-х были исполнены оптимизма, энтузиазма, убежденности в правильности избранного пути. Слова надо и вперед органично входили в повседневность, гражданская совесть была жизненным принципом. Для героев первых пятилеток жить по совести значило прежде всего быть целеустремленными, соотносить настоящее с будущим, подчиняя, даже принося в жертву высокой мечте о благе отечества сиюминутные радости бытия: «Пятилетку — в четыре года!» Благо отечества превыше всего, мы его фундамент. Оттого верно, кусок ржаного хлеба вкусен и сытен, а семисезонные сапоги не жмут, не промокают ни при какой погоде.

Не без основания родилась поговорка «блат выше Совнаркома», но в нее вкладывается не вождельная зависть, а презрение к протекционизму, пролазничеству,

шкурничеству. Будни — каждодневный подвиг людей, меньше всего претендующих на подвижничество, отвергающих позерство и фразу. Самые громкие слова никого не шокировали, потому что высказывалось сокровенное. Если бы москвичам 30-х годов предложили не делать станции метро лучезарно-мраморными, а, сэкономив средства, построить для них же квартиры получше, большинство отвергло бы предложение как оскорбительное для гражданского достоинства человека.

Несмотря на аскетизм и суровость будней, люди 30-х годов — мечтатели. Они живут половиной души в будущем и хотят во что бы то ни стало увидеть воплощение своих идеалов. Конечно, они из плоти и крови. Влюбляются. Расходятся. Стоят в очередях. Ссорятся на кухнях коммунальных квартир и сквернословят. Но все же это люди, преданные своим идеям. Когда придет война, они станут скрывать болячки, а то и подделывать документы, набавляя себе года, — лишь бы попасть на фронт. Герои 30-х годов принимали страдания и беды родины как страдания и беды человечества, как собственные страдания. Именно поэтому они выиграли войну с фашизмом задолго до того, как она началась.

Нравственное наследие 30-х годов представляется особенно ценным теперь, когда

мы ощущаем наше общество на новом подъеме. И не случайно рецензию на роман Ирины Ирошниковой я начал разговором о жизни и людях 30-х годов. Именно в 30-х годах — сюжетные истоки нашей современности, напряжением тех лет питается внутренний пафос настоящего. Не говоря уж о том, что роман написан человеком, сумевшим сохранить и передать душевный настрой того времени.

Роман «Москва — Крутоборск» написан в жанре семейной хроники, отразившей судьбы трех поколений. Сюжет передает несколько исторических периодов жизни народа: гражданскую войну, первые пятилетки, бои в Испании, Великую Отечественную, наши дни. Герои романа живут напряженно и трудно, их жизнь богата значительными историческими событиями. Красиво говоря, они шагают в ногу с эпохой. Жизненным позициям этих героев четко противопоставлена история Альки-пулеметчицы.

Алевтина Захарова добровольно ушла защищать Москву в сорок первом. Но попала в плен и, не выдержав действительно тяжелых испытаний, сломалась, сдалась, стала прислужницей оккупантов — расстреляла не один десяток соотечественников. А ведь и она, Алька-пулеметчица, тоже родом из 30-х годов. Вместе со всеми болела за спасение челюскинцев, играла в чапаевцев, пела: «Нам нет преград ни в море, ни на суше...». И чем беспощаднее исследует писательница глубину падения Алевтины, тем более светлыми кажутся нам страницы рассказывающие о героях, не сдавшихся, не поступившихся ничем, хотя и они оказались в столь же трагических обстоятельствах. Образ Алевтины, судьба ее — как бы оселок, на котором проверяются нравственные устои героев романа. Адвокат, назначенный защищать Альку в предстоящем процессе, пытается найти — ему это положено — оправдывающие или смягчающие ее вину обстоятельства. Трусость? Слабодушие? Стремление выжить любой ценой? Все это было, конечно. Но он так и не может найти обстоятельств, оправдывающих предательство. Не может их найти и читатель.

Автор воскрешает подлинные события, создает образы реально существующих людей. Иначе как опираясь на жизненные факты и прототипы И. Ирошниковой не пишет. Наверное, поэтому письмо ее отмечено истинной достоверностью. В свете сказанного особый смысл для творческого кредо писательницы видится в репликах двух героинь романа — Татьяны и Анны:

«Удивительным, ни на что не похожим счастьем для нее оказалось — писать... Это от нее первой услыхала Татьяна слова Анри Барбюса: «Для того чтобы писать, нужно иметь почти столько же мужества, как для того, чтобы быть солдатом»... Это очень по-своему, потому трогает... Искренность твоя трогает, честная ясность, бесстрашие, с которым ты лезешь вглубь... Не умела оставаться равнодушной к судьбам людей, с которыми так ли, иначе сталкивала ее жизнь... Вихрение судеб — в поворотах необычных и неожиданных настояло, что без точного адреса могло бы выглядеть выдумкой... Ощущение жизни в ее наполненности — вот что давала Татьяне «газетчина». И многое из того копилось, откладывалось, одаряя ощущением внутреннего богатства...»

Пафос этих рассуждений безусловно близок автору. Но склонность писателя доверять собственные мысли персонажам отнюдь не означает, что «газетчина» определяет стиль романа. Отнюдь! Чтобы убедиться в справедливости этого, достаточно перечитать страницы посвященные образу матери, особенно ее уходу из жизни, на мой взгляд, лучшие, самые сильные страницы романа.

...Юная героиня говорит бабушке: «Твое время было другим. Все тогда было по-другому. Так что уж не учи, пожалуйста!.. Все забудется...»

Нет, не все забудется. Действием своим, ходом и строем роман «Москва — Крутоборск» убеждает: «Другого» времени не бывает, любое время — звено в непрерывной цепи времен. И требует от каждого полной ответственности перед ним, перед ходом истории. Никто ни с кем не может поменяться временем, но необходимо жить в нем так, чтобы не страдало при этом достоинство человека. К такому выводу подводит читателя Ирина Ирошниковая.

Справедливости ради должно отметить и недостатки книги. По моему мнению, это некоторая затянутость экспозиции и перекор по части населенности — некоторых действующих лиц невозможно запомнить.

Время с теми, кто идет вперед, утверждает писательница. Да, оно, бесспорно, с теми, кто хочет и умеет идти с ним в ногу. Всем своим творчеством — и романом «Москва — Крутоборск», в какой-то мере итоговым для десятилетия работы, — Ирина Ирошниковая доказывает, что и ей самой такая задача по силам.

Владимир КРАСИЛЬЩИКОВ.



МЕЖДУ БЕДОЙ И ВИНОЙ

Владимир Бээкман. Коридор. Роман в письмах. Таллин. «Ээсти раамат». 1984. 287 стр.

Тематические ходы Владимира Бээкмана непредсказуемы. Его внимание привлекает то неотвратимая духовная катастрофа эстонского эмигранта, вступившего в конфликт с эпохой («Транзитный пассажир»), то фантастическая история фашистских летчиков, которые, не подозревая о давней капитуляции Германии, с тупым усердием продолжают свою службу на одном из пустынных, заброшенных островков («Ночные летчики»), то балаганная борьба за власть, разгоревшаяся в вымышленной республике Минор («Год осла»), то эпопея народного мужества в первый месяц войны («И сто смертей»). Но неизменно интересы писателя обращены к отношениям человека и времени, человека и политики. И новый его роман «Коридор» в этом смысле не составляет исключения.

Необычен для нашей литературы сам материал, положенный в основу книги.— история тотального переселения немцев из Прибалтийских республик на территорию фашистского рейха. Необычен и ракурс — взгляд на события глазами молодого немца, который родился и вырос в Эстонии, на той земле, где обитали поколения его предков.

Симпатии героя романа, по крайней мере до поры до времени, как бы расколоты между родиной в прямом буквальном смысле слова и этническим отечеством куда требовательно зазывала фольксдойчей гитлеровская пропаганда.

Нет, сам Вальтер Шредер вовсе не был нацистом и не собирался становиться им. В. Бээкман рисует характер человека либеральных, умеренных взглядов, мало озабоченного мировой политикой и вполне довольного своей службой в торговой фирме. Правда, тогда, в конце 30-х годов, Шредер не без сочувствия наблюдал, как поверженная в первой мировой войне Германия опять обрела могущество. Его национальному самолюбию даже льстило то, что «немецкий народ в наши дни — это восходящая нация, выполняющая историческую миссию своего возрождения». И все же бушевавшую в Европе кровавую драму — захват Чехословакии, Польши, данцигского коридора — он воспринимал словно бы со стороны, безотносительно к себе, к своей участи. Ну возникли некоторые неудобства в торговле, в поездках за границу — не более того. Ведь пушки гремели где-то далеко. И читая военные сводки, можно было только порадоваться тому, что «наша Эс-

тония стоит в стороне от всех потрясений, словно за углом — можно спокойно жить и строить планы на будущее». Планы долгожданной женитьбы на милой сердцу эстонке Еве и восхитительного свадебного путешествия в экзотический, славящийся своими горами, ручьями и песнями Тироль. А вспыхнувшая на западе война — это почти абсурд, нелепое недоразумение, которое не сегодня-завтра утрясется.

Писатель умело реставрирует типичные настроения буржуазной интеллигенции конца 30-х годов. Эти надежды на джентльменские соглашения, на конференции, на рутинные дипломатические процедуры! Правительства ведут закулисный торг о разумных компромиссах и уступках, по-отечески устраивают судьбу малых народов, передвигают пограничные столбы чуть назад или вперед. Да и вообще агрессивность Гитлера всего лишь злокозненный миф, поскольку «Германия честно всем предлагает мир, ей не нужно ничего, кроме удовлетворения ее вполне законных жизненных интересов...».

Такова экспозиция «Коридора», таковы убеждения таллинского коммерсанта Шредера и тысяч подобных ему. Слишком беспечных, чтобы бить в набат, слишком приверженных успокоительным доводам здравого рассудка, чтобы вообразить невозможное, слишком прочно уверовавших в магию цивилизованных норм. Это идиллическое, благодушное бюргерское сознание и поставлено в повествовании под тугую закручивающийся пресс обстоятельств.

Роман В. Бээкмана — как бы пачка писем главного героя своей невесте Еве, датированных 1939 годом. Часть из них послана во время зарубежных поездок по делам фирмы, когда Вальтер еще числился эстонским подданным, часть — после скоропалительного переселения в фатерланд. Одни переданы через знакомых, с оказией и потому откровенны, раскованны, другие отправлены официальной рейхспочтой и несут на себе следы бдительной цензуры. Как внешней, казенной так и добровольной, внутренней, предварительно выбраковывавшей все то, что может быть воспринято как брюзжание или крамола. В совокупности же эти эпистолярные документы образуют то ли дневник, то ли исповедь человека. Сама композиция книги передает историю вольных или невольных заблуждений Вальтера, его неуклонный дрейф от романтической экзальтации к сомнениям и критицизму.

Причем сквозь лирический флер, сквозь строки сердечных излияний широко проступает хроника эпохи, пестрая судьба перемещенных лиц, неприкрашенная картина гитлеровского «нового порядка». Эпистолярная форма произведения достаточно гибкая, пластична, чтобы вобрать в себя галерею образов — от заурядных немецких обывателей типа Мамаши до фашиствующего дяди Эрнста, от представителя крохотного славянского племени кашубов сапожника Варны до цыгана Алоиса.

Противоречивость, двойственность характера главного героя получает в романе В. Бээкмана вдумчивое и разностороннее истолкование. Да, предки Вальтера Шредера явились в Прибалтику вместе с грабительской орденой ратью, ведомой воинственным магистром Плеттенбергом, но явились не в надменных рыцарских колоннах, а в обозе, как ремесленники. И пресловутая арийская чистота рода за минувшие с тех пор века явно стала сомнительной: «А сколько в моих жилах может течь иной крови — эстонской, русской, шведской и бог весть какой еще — и не перетянет ли она, вместе взятая, долю немецкой крови?»

Да, Вальтер кончил престижное Ганзейское училище, где процветал дух немецкой исключительности, причислял себя к «сторонникам национального возрождения». Однако расовая спесь, кичливая заносчивость над батрацким племенем туземцев, которое якобы в неоплатном долгу перед культурой колонизаторов, не затронула, не отравила его души. И Эстония для него не чужбина, а родина, не временное пристанище, а дом. Здесь все близко, дорого, овеяно воспоминаниями: улицы Таллина, его окрестности, песчаные дюны побережья. Так-то оно так, только этой непродуманности, этих сентиментальных чувств было все же недостаточно, чтобы воспротивиться гонору Мамаши, ее амбициозным замашкам домовладелицы, ее барскому пренебрежению к эстонцам и наперекор родительской воле жениться на своей избраннице Еве. Терзаясь, изводя себя попреками, сетуя на постылые гены послушания, он тем не менее склоняется перед категорическим запретом.

Он и сам ощущает свою аморфность, мягкотелость, этот вступающий в самостоятельную жизнь таллинский немец: «Мне же попросту не справиться с собственными слабостями. Восстаю против них — и смирюсь в который уже раз».

Словом, на мыслях, настроениях, поступках героя лежит отпечаток половинчатости, промежуточности, маргинальности. Он вечно в разладе, в конфликте с самим со-

бой. Между теми и этими, между эстонцами и немцами, между Мамашей и Евой. Одна частичка души рвется из оков, другая никнет перед окриком командой.

Эта шаткость нравственных устоев по своему сказывается и в письмах Шредера, определяя их нервическую тональность. Тут перемешаны, сбиты в ком энтузиазм и апатия, самооправдания и раскаяния. Но как бы то ни было, дневник подкупает исповедальностью, добросовестным анализом, свидетельским усердием.

В. Бээкман пишет эпопею спровоцированного нацистами переселения в ее документальной, суровой правдивости. Этот внезапный, как гром среди ясного неба, приказ упаковывать чемоданы. Эта панъческая ликвидация имущества. Этот хаос эвакуации на кораблях. Эта болтанка в промозглых, холодных трюмах. И тоска, беспросветная тоска людей, лишившихся крова, работы, состояния, выкорчеванных с насиженных мест и обреченных на муки скитальчества, на произвол судьбы. Безжалостный к чужим народам, фашистский режим не церемонился и с единокровными соплеменниками.

Уже первая встреча прибалтийских немцев с разрекламированным раем предстает в «Коридоре» как шаг в западню. Обманута молодежь, которой сулили золотые горы. Обмануты крестьяне, которых заманивали тучными полями. Обманута Мамаша, ставшая из важной домовладелицы жалкой просительницей. Оказался у разбитого корыта и ее сын Вальтер Шредер. На каждом шагу теперь он познает гнетущую власть ограничений, слежки, бдительного контроля, унижительной подотчетности разнокалиберным фюрерам. Отсюда психологическая травма, обжигающая догадка: «Вот ты и готов — винтик в огромной машине, которую кто-то где-то запускает с неизвестной тебе целью. А что, если цели его вовсе не из благородных?» Это там, в Эстонии, политика казалась ему чем-то далеким, абстрактным, здесь она донимала и доставала повсюду, держала в узде, требовала беспрекословного подчинения.

Эмоциональная реакция бывшего коммерсанта на перемену обстановки столь же остра, сколь и непосредственна. Да и как иначе? Ведь он еще не приспособился, не притерся к незнакомой среде, не растворился в ней. Он все еще взирает на окружающее глазами иностранца. И тот, прежний опыт подсказывает свои оценки — достаточно реалистичные, чтобы запросто отмахнуться от них, и чересчур рискованные, пахнущие крамолой, чтобы безогово-

рочно принять. Этот контраст между традиционными нормами морали и нацистской повседневностью столь ошеломителен, что Вальтер не в силах свести концы с концами. Его взбудораженное сознание как бы страшится назвать вещи своими именами, изобретает спасительные эвфемизмы, пробует подогнать личные впечатления под казенные пропагандистские клише. Письма Еве фиксируют и эту растерянность, и этот конфликт с очевидностью.

Проверка расовой чистоты. Возведенный в закон антисемитизм. Обязательное расторжение немецко-еврейских браков Трагедия полковника Мааринга, насильственно разлученного со своей супругой. Нет, нет, это лишь печальные издержки, своеобразные пережесты неударживого процесса национальной консолидации. Но накапливаясь одно к одному, сомнения исподволь разъедали пленку защитных аргументов. Разнородные факты жестокости, бесчеловечности все сложнее становилось сводить к недоразумениям, исключению из правил, досадным печаткам. И надежда, светившаяся в первых посланиях из рейха,— надежда на скорую встречу с Евой, на победу над интригами Мамаши — изо дня в день тускнела и угасала. Заманив очередную жертву, система крепко держала ее в своих щупальцах.

Теперь Вальтер Шредер уже не откровенничал в письмах, направляемых по государственной почте,— знал, что подобные откровения завершаются допросами. Теперь он уже не уверял дождавшегося высылки кашуба Варну в бескорыстии и благородстве германских намерений — сам видел и трупы на дорогах, и зловещие колонны грузовиков с польскими изгнанниками. И не чужие рассказы леденили кровь, а свой собственный страх быть пойманным на непозволительных высказываниях или поступках. Разве забудешь тот цепкий пронизывающий взгляд человека в черном плаще! Взгляд, от которого хотелось сжаться в комок, пролепетать: «Я ничего не вижу я ничего не знаю, я не тот, за которого вы меня принимаете. Я чужой, неизвестный, я — песчинка безымянный человек с улицы, я тут же уйду своей дорогой, никого не касаясь».

В. Бэзкман делает зримым осязаемым этот процесс методичного перемальвания индивидуальности превращения суверенной личности в песчинку ничтожества. Процесс, как бы раскрывающий изнутри суть фашистской диктатуры. Ибо только безликие, лишённые самостоятельности, унифицированные существа могли быть безотказными

исполнителями предписаний фюрера. Роман охватывает осень 1939 года, когда на западном фронте установилось странное затишье, когда у таких, как Шредер, все-таки теплилась иллюзия, что все обойдется, что мировая война невозможна, поскольку «достигшее своего нынешнего развития общество сейчас, на пороге сороковых, не могло бы смириться с подобной отвратительной, недостойной» разума бойней...». Они еще впереди, ревушие 40-е. Герои «Коридора» встречают лишь первые порывы надвигающегося урагана. Но и эти порывы неистовы. Дьявольская психологическая обработка прибалтийских немцев, истеричный шантаж, призванный запугать колеблющихся фольксдойчей, мертвые польские города, словно опустошенные, если воспользоваться нынешней лексикой, коварной нейтронной радиацией,— все в целостности, сохранности, но уже без людей, без шума голосов, без уличной сутолоки. Впрочем, повествование В. Бэзкмана сосредоточено не столько на потоке событий, сколько на преломлении их во внутреннем мире личности.

Вальтер Шредер до и после переселения — это два во многом не схожих существа. Один живет планами на будущее, другой оплакивает утраченное. Один горд своей принадлежностью к победоносно марширующей германской нации, другой сыт по горло видом свастики, оглушительной трескотней об имперском величии, подавлен своим вопиющим несоответствием стандарту образцового арийца. Несколько недель пребывания на восточном форпосте рейха посеяли страх не только перед собственным мнением, но и перед самой привычкой думать, сделавшейся вдруг опасным рудиментом. Тот, прежний Вальтер был непрочь отозваться на клич из Берлина — этот тщится сохранить хоть малую толику автономии от системы. Ради самоуважения, ради согласия с совестью, ради того, чтобы не отождествлять себя с акциями режима, с такими его фанатиками, как дядя Эрнст, который превратился из незаметного таллинского инженера в правоверного нацистского вожака, как бывшая школьная подружка Эдит, облачившаяся в гестаповскую форму. И независимость, даже остаточная, куцая, все-таки приносила утешение, отделяла от коричневых: поговорил с Варной, сделал поблажку польским уборщицам, не донес на цыгана. Других мобилизовали в полицию, а он ускользнул, устроился мелким клерком в архив, подальше от политики, от коридоров власти. Конечно, это не бунт, не сопротивление, но все же... Однако гданьский сапожник Варна недаром напускал ту-

ману в свои рассуждения о немцах. Он умел так «говорить о вещах, что, не бросая никакого прямого упрека, зароняет тем не менее в тебя гложущее ощущение собственной вины. Будто и я каким-то образом несу ответственность за поступки рейха».

Упрек как будто несправедливый, незаслуженный, поскольку Вальтер Шредер и впрямь ничем не запятнал себя. Точнее — пока не запятнал. Но прочен ли его нейтралитетский статус, надежно ли духовное подполье? В. Бэзкман не оставляет сомнений на этот счет. И его герой испытывает все более возрастающее давление среды, запечатленной в романе зримо и достоверно. Ведь оправлявшаяся от потрясения Мамаша с жадностью следила за преуспеянием других. Ведь дядя Эрнст уже не раз намекал племяннику, что период адаптации на исходе, что место настоящего немца в рядах эзсовцев. Ведь некое ведомство уже навело у Вальтера справку, насколько свободно владеет он русским языком.

С каждым витком сюжетной спирали ситуация героя все отчетливее напоминает ситуацию обложенного охотниками, затравленного волка: «Флажки плещутся со всех сторон все ближе... Идти назад некуда, все пути отрезаны. Единственный — лишь тот тесный коридор, где, как тебе хорошо известно, сидят в засаде охотники». Так раскрывается, кстати, и двуплановость названия книги. Коридор — это территория Польши, которая до сентября 1939 года отделяла Восточную Пруссию от остальной Германии. Но коридор — это и сузившееся до минимума, насквозь простреливаемое пространство, на которое выгнан теперь петляющий, мечущийся Вальтер Шредер.

Сумеет ли он благополучно миновать засаду, выбраться сухим из воды? Едва ли. Еще в Таллине Вальтер поспешно капитулировал перед окриком Мамаша, возмущившейся его любовью к эстонке Еве. Да и те-

перь, отбиваясь от требовательных рекомендаций, вырываясь из мертвой, бульдожьей хватки гестаповки Эдит, ловча и оттягивая выбор, он остерегается перегнуть палку, угодить в немилость: «В сознании вспыхнул красный сигнал опасности: не надо ссориться, не заводи себе врагов!»

До сих пор Вальтер считал себя — и не без оснований — жертвой политических стихий. Почти таким же горемыкой, что и старый кашуб Варна. Оба они по чужому произволу изгнаны из дому, ввергнуты в пучину страданий. Но равенство положений условно, шатко и способно с часу на час поколебаться. В своих письмах Еве свежеспеченный переселенец обещал во что бы то ни стало вернуться обратно. Увы, мечта его может сбыться, только не в сороковом, а в сорок первом году. И как знать, не пожалует ли он в город своей юности под знаменами вермахта, плечом к плечу с прибалтийским бароном Ханенкампом из предыдущего романа писателя «И сто смертей». Вот тогда-то и осуществится загадочное пророчество Варны о перевоплощении прежде честных и порядочных в напуганных и послушных.

Страничка истории, воскрешенная Владимиром Бэзкманом, поучительна. Она восстанавливает правду о преступлениях нацистского режима против самих немцев, о том чудовищном обмане, на котором паразитировала и держалась коричневая диктатура. И вместе с тем психологически и политически насыщенный роман эстонского прозаика вторгается в гущу актуальных — и сегодня вдвойне актуальных — проблем ответственности человека перед самим собой и перед историей, переключаясь с такими значительными антифашистскими произведениями, как «Каратели» А. Адамовича, «Остановка в пути» Г. Канта, «Уроки немецкого» З. Ленца.

Л. ТЕРАКОПЯН.



РАБОЧИЕ РУКИ

Владимир Савельев. Избранное. Предисловие Р. Рождественского. М. «Художественная литература». 1984. 607 стр.

У этого поэта своя, кровная тема, рожденная судьбой. Тема труда как мерила человечности, личности, тема работы, властно зовущей к исполнению долга, тема рабочего человека на земле.

Ни время, ни разнообразие пережитого не притушили в поэте огонь памяти, освещающий дни и годы, когда впервые маль-

чишкой ощутил труд как главную силу жизни. Память эта помогает в соотношении прошлого с настоящим обрести точные критерии оценки сегодняшних поступков.

«Так ли живу?» — бесстрашно спросил себя однажды поэт, которого Савельев считает своим учителем. И сам он, задаваясь этим луколинским вопросом, обращает

взгляд в годы военного детства («Туда я с горячею миской...», «Три картошки», «Пахота», «Проникнуть пытается каждый...») и в послевоенную заводскую страду, всматривается в судьбы детей войны («Бесстрастно смотрит синева...»). Оттуда, из тех лет, приходят первые ответы на вечные, «проклятые» вопросы:

Что ненавидишь? Равнодушье!
Встречал любовь на свете? Да!
Умрешь за друга? Если нужно!
Простишь измену? Никогда!

Осиротев в самом начале жизненного пути, почти мальчишкой став главой семьи, вынужденный по-взрослому делить для близких ломоть ржаного хлеба «на глаз — бестрепетной рукой». лирический герой проходит типический для поколения путь. Вспоминая то время, когда складывался характер, рождалось чувство ответственности, поэт высоко ценит заводскую науку «Золотая пора» — это как раз те холодные, темные рассветы, когда полуголодные подростки шли на завод, «по зову гудка раставаясь с казенными койками». И Савельев снова и снова возвращается в свою «золотую пору». О ней наиболее выразительные стихи сборника («Баллада о металле», «Сестра гремит посудом...» и др.). Здесь точные портреты рабочих людей, ощущение повседневного подвига.

Мир — в рабочих руках! Об этом стихи «Сосед», «Есть жажда призвания...»... Они о мужестве, высоком долге перед родиной, в них точно и поэтически переданы детали быта и повседневной жизни рабочего человека. Поэт говорит о рабочих руках питающих «весь мир словно корни». Он прямо обращается к своему герою: «Сосед, научи меня в жизнь возвращаться. Не гнуться под ветром, под горем, под веком»... Как изначальное благословение в путь, в будущее осмысливается тесная конторка где получал ежедневный рабочий наряд. Не даром эта конторка представляется «сестрой фронтовых блиндажей».

Немаловажные наблюдения над социальной психологией современного рабочего, человека эпохи научно-технического прогресса, содержит «Слово о самосвале», где сама игра слов обращение к их исконному смыслу помогают органичному слиянию идеи произведения и звуковой оснастки стиха. Есть «соперничество и союз машины с человеком», и машина одухотворена в той мере, в какой она служит людям. Окончен трудный рабочий день, и «глаза смежив устало, спит на сиденье человек — не спится самосвалу. В пыли борта. Верней,

Глазеют на Стожары его — навыва- те слегка — потушенные фары»... Рабочий человек не склонен к умилению, однако воздать должное за хорошую работу почитает себя обязанным. В тональности стихов, подобных «Слову о самосвале», это качество отчетливо выявляется.

В сборнике много стихов о священном долге каждого перед теми, кто ковал победу в тылу, а потом восстанавливал нашу промышленность, кто и ныне продолжает крепить могущество страны, ее экономику. Живые характеры предстают в стихотворениях «Начальник цеха», «Похороны котельщика».

Нередко в своем творчестве Владимир Савельев напрямую выходит в публицистику, сохраняя лиризм и пластику образа. В этом ключе написаны такие стихи, как «Наковальня», «Гражданственность», «Рабочая кровь», проникнутые верой в поколение, раздумьями об историческом движении революционных сил.

Здесь уместно сказать, что в стихах Вл. Савельева рабочая тема тесно связана с темой революционной преемственности поколений («Отцы», «Бульжник», «Сходка», «Комиссары»), неслезимой в свою очередь от верности интернациональной дружбе («Джигиты», «Казахстан», «Акыны»). Столь же крепки у поэта связи рабочей темы с раздумьями о мире, который призваны защитить прежде всего рабочие руки. Так, стихотворение «Словно раз и другой...» (о страшном миге, пережитом мальчишкой, который убежал от летящего на бреющем полете «мессершмитта») — это не просто воспоминание, это современный призыв к неустанной борьбе за то, чтобы на земле не было войн, чтобы ни дети, ни взрослые не слышали больше выстрелов.

Сызмала герой книги усвоил одну из главных моральных заповедей: «Собой ты вправе рисковать, судьбой других — не вправе». И тот мальчик, на плечах которого тридцать лет назад были «и школа, и война, и дом», с полным правом входит в сегодняшние размышления взрослого человека (стихотворение «Угрюм, повязан сестриним платком...»). И умудренный опытом мужчина формулирует свои принципы, сверяясь с мыслями того парнишки, договаривая за него те слова, что не могли быть сказаны тогда, но именно тогда были рождены.

А когда приходит пора поговорить о слове в самом широком его понимании, когда необходимо подвести итоги прожитого с точки зрения духовных ценностей, связующих поколения в единое человечество, то

главным достоинством слова становится обеспеченность его судьбой, пролитой кровью, жизнями лучших.

А слово никому не взять наскоком. то, что родным зовется языком, естественно, помалу, ненароком вбирают с материнским молоком.

В сложной и нелегкой сегодняшней борьбе за жизнь и мир это слово, слово истины, становится делом, укрепляя волю человека, вселяя в него надежду и веру. Без такого слова жить нельзя.

Искра ДЕНИСОВА.



РЕПЕТИЦИИ КИНОЗРИТЕЛЯ

Я. Варшавский. Если фильм талантлив. М. «Искусство». 1984. 160 стр.

Есть такой вид кинематографа — полиэкранный: на одном громадном полотне komponуется сразу несколько изображений, больших и малых. Автор рецензируемой книги кинокритик и сценарист Я. Варшавский — один из зачинателей и энтузиастов полиэкранного кино. И свою новую киноведческую работу он построил почти по тому же принципу, по какому складываются эти необычные многосоставные фильмы.

В самом деле, откроем первую же главу и обнаружим, что белый разворот книги подобен полиэкранному полотну, только вместо движущихся картин тут фрагменты из мемуаров мастеров кино: слева три цитаты, справа две; слева четыре, справа три... Вся глава — монтаж ярких эпизодов! Или взять последний большой раздел: здесь подобный монтаж, однако уже не цитат, а разрозненных, казалось бы, наблюдений, набросков, кратких обобщений, принадлежащих на сей раз самому автору, — его «заметки на полях». Опять: слева две таких записи, справа три... А в конце книги в подобной «полиэкранной» композиции смонтированы фотоиллюстрации: кадры из кинолент, портреты режиссеров.

Что же объединяет это многообразие пестрых мыслей, выдержек, воспоминаний, кинокадров? В чем секрет их стыковки?

Вот критик дает слово кинематографистам. Дзига Вертов вспоминает о Маяковском. Григорий Александров — о Пырьеве. Сергей Васильев — о Бабочкине. Леонид Трауберг — о замечательном редакторе Адриане Пиотровском... Созвездие феноменально одаренных, не похожих друг на друга, но верных одним идеалам людей. И из сопоставления, соприкосновения сведенных воедино черточек их портретов постепенно складывается многокрасочное, насыщенное светом творчество мозаичное панно, в центре которого творческая индивидуальность советского кинематографиста.

Внимание автора привлекает разнообразие талантов. Их преемственность. Их свя-

зи. Воспитание талантливой личности. Талант в жизни — талант в искусстве. Исторические корни таланта. Наконец, его направленность, цели и стимулы.

Автор приводит слова из дневника семнадцатилетнего Сергея Эйзенштейна: «Наполеон сделал все, что он сделал, не потому, что был талантлив или гениален. А он сделался талантливым для того, чтобы сделать все, что он наделал». А что заставляет «сделаться талантливыми» деятелей советского кино? Книга не назидательно, а эмоционально убеждает: дар мастеров советского кино вырастает на народной, трудовой почве. На той, с которой связан, например, приведенный Я. Варшавским эпизод, рассказанный сценаристом известного фильма «Отец солдата» С. Жгенти. У Георгия Махарашвили, героя картины, был однофамилец в самой жизни; кинодраматург встретил его на фронте, где оба стали участниками десанта в Крыму. Однажды утром за окопом этот человек полулежа, чтобы не поймал его в прицел фашистский снайпер, копал землю саперной лопаткой и высевал зерна пшеницы: «Пусть растет, это очень хороший сорт».

Сeyaтели добра и бойцы за добро — такими предстают в книге Я. Варшавского и мастера нашего кинематографа, живущие одной жизнью со своими героями и зрителями. Личность художника и результаты его труда одинаково дороги автору. Интересно и с любовью рассказывает он о своих встречах с Василием Шукшиным, увлеченно пишет о классических страницах истории советского экранного искусства и о его нынешнем дне. Перед нами как бы проходят кадры из фильмов, поставленных режиссерами разных творческих манер и пристрастий — от Владимира Скуйбина до Ларисы Шепитько, от Марлена Хуциева до Никиты Михалкова, от Ланы Гогоберидзе до Расима Оджагова, от Глеба Панфилова до Николая Губенко. Критик прослеживает путь, которым прошли в своем развитии

традиции художественного утверждения на экране духа революционного рабочего товарищества, обогащаясь постижением самобытного, индивидуального характера.

При этом мы видим, как с течением времени растет самостоятельность и неповторимость не только героя, но и зрителя. Все чаще выходят фильмы, рассчитанные на его активность, умение делать собственные выводы из увиденного, оригинально и смело мыслить, тонко чувствовать. В свою очередь кинематограф и сам культивирует в зрителе эти способности.

Той же задаче подчинена, в сущности, и книга Я. Варшавского. Обращается ли он к документально-публицистическому фильму или игровому, к кинодраме или комедии — всюду в подтексте слышится: цените искусство высокой пробы, вдумывайтесь в него, радуйтесь ему!

Сейчас много говорят о необходимости массового кинообразования, о широкой пропаганде киноведческих знаний, причем зачастую имеют в виду строго систематизированное, хотя и популярное изложение начал теории и истории «десятой музыки». Единственный ли это, однако способ воспитания с юных лет культуры киновосприя-

тия и приобщения к основам киноведческой мысли? Пусть материал в книге Я. Варшавского подается вразброс, словно в свободных беседах или дневниках, пусть бесспорное соседствует там иной раз со спорным, но этотвольный стиль разговора захватывает читателя своей живостью, непосредственностью и преданностью искусству.

«Репетиции зрителя» — такое странное на первый взгляд название дал киновед одной из глав. Дочитав книгу, понимаешь, что в заголовке этом схвачена сама суть метода, которому следовал автор. Ведь действительно не только артистам, но и зрителям нужна своего рода репетиционная подготовка к художественному действию: публика отнюдь не второстепенная его участница. Не будучи сторонником менторского «репетиторства», критик предпочитает созвать читателей-зрителей на живую, интересную «репетицию» киновосприятия, веря и в их талант, и в силу их сотворчества, в то, что на очередной киносеанс они придут почти с таким же настроением, с каким актер выходит на съемочную площадку.

А. ДУБРОВИН.



СВИДЕТЕЛЬСТВО

Андраш Шимонфи. Перелет. Исторический роман-коллаж. Авторизованный сокращенный перевод с венгерского С. Фадеева. М. «Молодая гвардия». 1985. 208 стр.

Вот и еще одна книга о второй мировой войне, еще одна сцена великой трагедии.

Я думаю, что читать книги о войне в наше время нельзя без того, чтобы не вписывать каждую из них в те представления, которые на этот счет у нас уже сложились, — в глобальные, общечеловеческие представления.

В самом деле, какое еще историческое событие захватило такую же массу людей? Принесло такие же жертвы? И какое другое живет в нашем сознании вот так же — как событие действительно глобальное, надолго определившее судьбу мира как суровое предупреждение на будущее, как обращение к разуму человечества?

Мы убеждены — и убеждены не напрасно — в том, что мы уже знаем об этой войне больше того, что может сказать нам эта или другая книга, хотя бы и самая удачная и самая обстоятельная. — мы читаем, чтобы еще и еще пополнить свои уже сложившиеся знания. Такого рода чтение — по крайней мере для людей старшего по-

коления — особое чтение, оно уже не столько узнавание, сколько переживание пережитого, непрерывная работа памяти, непрерывное желание соотносить то частное, о чем мы читаем сию минуту, с тем общим, которое нам известно. Соотнести и с чем-то большим — с тем чувством самосохранения, которое неизменно предупреждает нас: вот картина второй мировой войны, ее истории — смотрите и помните: историю третьей. если она разразится, написать и осмыслить будет уже некому, она — за пределами мысли и мышления, потому она и будет последней! Да память о прошлом никогда еще не была так тесно и непосредственно связана с настоящим и будущим: будет память существовать и бодрствовать — будет у нас и будущее, потеряется память, не станет ее — не станет будущего.

После того, что нам уже известно о событиях 1939 и 1945 годов известна о блокаде Ленинграда, о Дюнкерке, о Сталинграде, Курской битве, о взятии Берлина, об Освенциме, о французском и югославском движениях Сопротивления, нам мо-

жет даже показаться, что среди этих грандиозных трагедий, как мы говорим, исторически решающих и определяющих, могут затеряться события менее значительные, эпизодические. Но это лишь на первый взгляд.

На самом же деле в истинной трагедии, в трагедии мировой нет ничего незначительного, касается ли дело гибели одного солдата или миллионной армии. Так утверждает опыт нашего существования, утверждает прежде всего литература, и не только утверждает, но и доказывает своими произведениями — художественными, мемуарными, документальными, исследовательскими...

Да, в любом масштабе это событие, эта война остается великой трагедией. И эта трагедия, личная она или мировая, единственна, неповторима, она результат обстоятельств, которых, как нам верится, можно было бы и избежать...

Стандарта здесь нет — каждый человек, погибший в войне, погибал со своими собственными, никому до конца не доступными ощущениями и мыслями, каждое государство по-своему вступало в эту войну, и выходило из нее, и даже соблюдало нейтралитет тоже по-своему, каждое пережило свои собственные последствия этой войны.

Поэтому когда нам говорят о том, что сама память о войне, желание еще и еще отдать себе отчет, кто и кем в ней был, — это уже «злопамятность», такое утверждение может быть или непростительным заблуждением, или еще более непростительной ложью.

Так вот, венгерская литература, представляется мне, отвергая и то и другое, с страстием и болью, с неистребимым желанием извлечь из событий войны как можно больше опыта и смысла создала целый ряд художественных произведений о войне, принадлежащих перу крупнейших, и притом самых различных, прозаиков — таких, как Дюла Ийеш, Ласло Немет, Тибор Череш, Магда Сабо, Эржебет Галгоци, Йожеф Дарваш, Имре Добози, Петер Вереш, Дюла Фекете... Это только те, с кем я знаком в переводах на русский язык.

И вот еще одна книга — «Перелет». Роман-коллаж Андраша Шимонфи, посвященный событиям движения Сопротивления в венгерской армии в 1944—1945 годах. Книга небольшая по объему, но, кажется, она впервые рассказывает советскому читателю о событиях нам мало известных.

То, что это коллаж сомнений нет. Что это роман — вызывает некоторые сомнения. Но дело тут не в авторском определении, а

думается, в сравнительно недавно появившемся жанре, который еще не обрел своего точного обозначения. Нынче многие мемуаристы, документалисты и даже исследователи так и обозначают свои произведения: мемуарный роман, документальный роман, роман-исследование. От классического романа при этом, конечно, не убудет, но самим-то авторам, работающим в этих сравнительно новых жанрах, не мешало бы подумать о том, как точнее обозначить и самих себя и свои произведения хотя бы потому, что нередки случаи, когда жанр романа действительно не имеет к ним никакого отношения.

Для меня лично «документальное повествование», например, звучит гораздо определеннее и даже грамотнее, чем «документальный роман». Что же касается книги Андраша Шимонфи, так я бы представил ее как повествование-свидетельство, в самом крайнем случае — роман-свидетельство.

В самом деле, в «Перелете» Шимонфи почти нет авторского текста, нет даже и его собственных комментариев, от автора следуют одни только вопросы к участникам тех событий, о которых идет речь. Зато отвечает на его вопросы целый ряд свидетелей — его отец и его мать, а еще генералы и военные разных рангов, их вдовы. Ну и, конечно, свидетельствуют еще и дневниковые записи, письма, выдержки из газет, приказы, обращения.

Одним словом, максимум свидетельств, можно сказать, перекрестный допрос, хотя допрос только одной стороны — тех, кто так или иначе участвовал в организации Сопротивления. Противной стороны — приказаний венгерских нилашистов и немецких фашистов — здесь нет. Судя по всему и документов на той стороне по этому поводу могло быть очень немного — движение Сопротивления, намечавшееся в виде серьезных военных акций, прежде всего таких, как переход 1-й венгерской армии на сторону Красной Армии, было обезглавлено сразу же в один вечер и одним ударом.

Организаторы этого движения еще не успели к тому времени распространить свои идеи и намерения в военных частях, не создали второго эшелона и резерва в своих собственных рядах, не приобрели навыков конспирации. В общем-то, это было движение кастовое, движение офицерское (пусть и отдаленно напоминающее мне наших декабристов).

Самыми же «литературными» свидетельствами являются, мне кажется, те, которые

относятся к перелету представителей этого нового движения через линию фронта — сначала в расположение частей Красной Армии, затем в Киев, а затем и в Москву с целью установить контакты с Советским правительством.

Именно это событие дало название и одной из глав и роману-коллажу в целом. Едва ли не главным свидетелем оказалась при этом мать автора, ее свидетельства чрезвычайно интересны, непосредственны и своеобразны. Факты фактами, документы документами, но когда они подтверждаются такой вот свидетельницей, молодой и умной женщиной, то придают книге еще и личностный и даже беллетристический оттенок.

Да, замысел первых инициаторов движения Сопrotивления в венгерской армии не был осуществлен, и многие, большинство из них, заплатились жизнью. И не только они.

А если бы...

Если бы замысел был осуществлен и на сторону Красной Армии перешла вся 1-я венгерская армия, война бы кончилась раньше и унесла бы наверняка на несколько сот тысяч жизней меньше. И выход Венгрии из войны совершился бы быстрее и проще. И послевоенное ее становление тоже.

Все эти соображения возникают при чтении невольно и как бы уже безо всякого

участия автора, но они возникают — вот в чем дело. Они — это наша боль и недоумение: да откуда же происходят те силы, которые ведут войну, со всею очевидностью уже проигранную, почему и зачем они глут, скрывая эту очевидность? Из какой-то человеческой природы и породы они ведь происходят? Это недоумение еще и еще приближает нас к перипетиям современной борьбы сил мира с силами войны...

Книга как бы обрывается на последнем свидетельстве о том, как и после провала продолжалась работа по организации новой венгерской армии...

Должно быть, предполагается, что читатель уже знает кое-что о дальнейшем развитии событий, в задачу же автора входило лишь исследование самого процесса, подготовившего эти события.

Может быть, в отношении венгерского читателя это так и есть и вполне оправдано, но мне-то кажется, что независимо от того, знает читатель об этих конкретных событиях уже вполне достаточно или недостаточно или не знает почти ничего, здесь не помешал бы собственный комментарий автора, его заключение, или краткая справка, или послесловие.

В издании «Молодой гвардии» так и сделано: книга имеет послесловие советского военного историка В. Фомина.

Сергей ЗАЛЫГИН.



Политика и наука

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ — БУДУЩЕЕ

И. В. Бестужев-Лада. Поисковое социальное прогнозирование: перспективные проблемы общества. Опыт систематизации. М. «Наука». 1984. 271 стр.

Сколь упорны попытки человечества приподнять завесы грядущего! Еще дерзкий эллинский гений в свое время не раз бросал вызов предначертаниям судьбы. Когда древнегреческому царю Эдипу дельфийский оракул предсказал страшную участь, Эдип попытался воспротивиться ей. Но фатум, которому повиновались и сами боги, оказался сильнее...

Не случайно эффектом Эдипа называют теперь любое изменение объектов исследования под влиянием прогноза.

«Игнорирование специфики поискового прогноза,— пишет И. В. Бестужев-Лада,— подмена его попытками предсказания не проблемных, а, как обычно говорят в по-

добных случаях, «реальных» ожидаемых состояний там, гдезревают явно проблемные ситуации, вызывают соответствующую «подмену» результатов. Провозглашается одно, читатели понимают под этим совершенно другое, а на деле оказывается нечто третье».

Особенно ярко подобное несоответствие проявилось на Западе в конце 60-х годов при разработке прогностических моделей глобального развития. Именно тогда по инициативе итальянского экономиста А. Печчеи был создан «Римский клуб», объединивший несколько десятков ученых, политиков и промышленников. В книге «Пределы роста» — одной из первых работ клу-

ба, написанной группой ученых Массачусетского технологического института и сразу же ставшей сенсационной,— предлагалось вычленив из сложного комплекса социально-экономических процессов несколько «судьбоносных», имеющих общечеловеческое значение, а затем обработать их на ЭВМ. Ученые остановили свой выбор на динамике народонаселения, росте промышленного производства и производства продовольствия, истощении минеральных ресурсов и загрязнении среды обитания. Итоги моделирования оказались весьма неутешительными. При существовавших в тот период показателях роста численности населения (на 2 процента в год с удвоением примерно за тридцать лет) и промышленного производства (на 5—7 процентов в год с удвоением за десять — пятнадцать лет) следовало ожидать общемировой катастрофы уже в первом десятилетии XXI века. В качестве единственного спасения выдвигалось некое «глобальное равновесие», отдававшее махровым мальтузианством: оно предусматривало, что темпы роста населения и промышленного производства будут сведены к уровню простого воспроизводства, по принципу «новое только взамен выбывающего старого».

Зловещая теория подверглась уничтожающей критике со стороны не только марксистов, но и ряда буржуазных социологов. Появилось много публикаций, убедительно продемонстрировавших ее конечную несостоятельность. Речь шла, впрочем, не столько о самой концепции «нулевого роста», сколько о характере прогностической информации, в рамках которой она была создана. Последующее развитие мировой экономики, и прежде всего серия кризисов, потрясших капиталистический мир, окончательно выявило несостоятельность прогнозов американских ученых.

Бестужев-Лада использовал этот пример для того, чтобы показать двойственность подобных «кибернетических игр». С одной стороны, они заведомо обречены на провал, поскольку без всякого на то основания продлевают в будущее существующие показатели роста и тенденциозно игнорируют особенности некапиталистического пути развития. С другой стороны, бесполезны, ибо приковывают внимание общества к проблемным ситуациям.

Когда заходит речь о прогнозе, то обычно имеется в виду предсказание ожидаемого состояния: урожая зерновых, сроков и силы землетрясения, политической обстановки в мире и т. д. Однако далеко не все ожидаемое становится жестко предопре-

ленным. Целенаправленные действия людей способны кардинальным образом изменить любую заданную наперед ситуацию. Вот почему в отношении социальных прогнозов можно говорить не просто об ожидаемом состоянии, как, скажем, в случае прогнозов погоды, а об ожидаемом проблемном состоянии — о том назревающем разрыве между сущим и должным, между действительным и желаемым, который требуется ликвидировать соответствующими усилиями.

На выявление именно таких состояний как раз и нацелен поисковый (эксплоративный) прогноз, методологическим особенностям которого посвящена монография Бестужева-Лады. Автор сосредоточил внимание на моментах назревания и последующего разрешения общественных проблем — своего рода экстремальных точках прогнозирования. В теоретической части работы он подробно рассматривает этапы развития проблемных ситуаций и принципы их систематизации. В прикладной части освещаются глобальные проблемы современности, а также важнейшие перспективные задачи советского общества в различных социальных сферах (труд, семья и быт, образование, здравоохранение, культура и т. д.). При этом Бестужев-Лада не ограничивается простым перечислением, что характерно, например, для изданного в 1976 году в Брюсселе «Ежегодника мировых проблем и человеческого потенциала», предсказавшего на 2000 год... 3705 «общемировых социальных проблем»! Попытки составлять перечни социальных проблем, какими они одна за другой представляются взору наблюдателя, не дают ничего конструктивного в смысле подхода к ним, их анализа, диагноза и прогноза, пока не отыскивается ключ к систематизации, к сведению проблем в определенную систему,— замечает автор.

К проблеме войны и мира, например, такой «магический» ключ отыскивается сразу: это, конечно, разоружение. Тем же ключом, кстати, отмыкаются и десятки других замков, которые не поддались кибернетикам из Массачусетского технологического института. Ведь на изготовление все новых и новых орудий тотального уничтожения Пентагон расходует триллионы долларов! И это в то время, когда голодает четвертая часть человечества. Ученые задумываются об ускорителе диаметром в триста километров, чтобы добраться до самых основ материи, посылают сигналы разума к другим звездным системам. Никто не знает, когда и откуда придет ответ, да и придет ли вообще. Зато статистика заранее пред-

видит, сколько детей в Африке или Латинской Америке умрет в наступившем году от недоедания и болезней, от нехватки лекарств и больничных коек. На средства, затраченные Всемирной организацией здравоохранения на полное искоренение такой страшной болезни, как оспа, сейчас нельзя построить даже бомбардировщик. Вся программа поиска разумной жизни в нашей галактике обойдется не дороже средней руки ракетносца. Коренных, поистине глобальных вопросов, как мы видим, гораздо меньше, чем представляется авторам упомянутого «Ежегодника...».

Буржуазная футурология породила неуклюжую химеру, противоположенно сочетав информатику с астрологическим шарлатанством. В книге Г. Х. Шахназарова «Фиаско футурологии» на сей счет было весьма убедительно сказано: «Футурология в короткие сроки собрала под свои знамена едва ли не самых крутых специалистов из различных отраслей буржуазной общественной мысли. С энтузиазмом вторгшись в новое Эльдorado — «футурологию», они, понятно, поспешили застолбить себе участки, запечатлеть свои имена в монументальных теориях. Дальше срабатывает логика трясины, засасывающей свою жертву: если жизнь разошлась со сценарием, который для нее разработали, надо подкинуть аргументов, внушающих людям, что сценарий все-таки безупречен и в конце концов непременно сбудется».

По меткому определению английского социолога Роберта Юнга, футурологию следует рассматривать «скорее как поиски, чем находки, скорее как необходимую игру с предположениями, чем провозглашение безусловного, скорее как проект, чем план, скорее как наблюдение за процессом, чем определение целей». Еще в 60-х годах обнаружилась методологическая несостоятельность предпринимавшихся тогда на Западе попыток создания «науки о будущем», «истории будущего», всего того претенциозного комплекса, который должен был составить футурологический костяк.

Выяснилось, пишет Бестужев-Лада, что можно говорить не о прошлом, настоящем и будущем, а лишь о прошлом и будущем, из которого второе непрерывно перетекает в первое через условную разграничительную линию, именуемую настоящим. Соответственно, наука может иметь дело либо с прошлым (им занимаются исторические науки, в том числе история физики, химии, биологии и т. д.), либо с будущим, которое более или менее активно вторгается в настоящее, чтобы вскоре стать прошлым (то,

чем занимаются физика, химия, медицина, философия, экономика, педагогика, юриспруденция и другие науки, которым приходится постоянно выходить за рамки настоящего в узком смысле этого слова). Науке присуща триединая методологическая функция: описание (анализ), объяснение (диагноз) и предсказание (прогноз). Поскольку развязать это триединство, искусственно вычленив из него звено прогноза, немислимо, напрашивается неизбежный вывод: прогнозирование может и должно развиваться в рамках каждой отдельно взятой научной дисциплины, а «наука о будущем» просто-напросто не имеет собственного фундамента — предмета исследования.

Чем ближе новый век, чем меньше лет остается до нового тысячелетия, тем сильнее охватившая Запад прогностическая лихорадка. И это понятно. Никогда прежде окружающая действительность не менялась со столь захватывающей дух быстротой. Никогда прежде перспектива тотального самоуничтожения не вставала перед родом людским столь бескомпромиссно и обнаженно. Тысячи астрологов, вычисляющих гороскопы сильных мира сего, десятки тысяч самых дремучих гадалок тшатся сегодня приоткрыть непроницаемые завесы. Религиозные мистики всех мастей, визионеры, шарлатаны и лжелороки наперебой выкликают роковые даты огненной калпы (на восточный манер) или термоядерного Армагеддона (на западный, модернистский). На фоне развязанной вашингтонской администрацией беспрецедентной гонки вооружений выкрики новоявленных «пророков» сливаются в сплошной истерический визг. Безответственные заявления политиков, подкрепленные велеречивыми рассуждениями футурологов от военно-промышленного комплекса, вносят в эту оглушительную шумиху свои отдающие гусеничным лязгом пассажи. Массовая культура буржуазного мира лелеет миф о «советской угрозе» и фатальной неизбежности конфликта, усиленный всевозможными реминисценциями из разного рода апокалипсических сцен...

Сказанное не означает, конечно, что в жизни общества ничто не поддается предвидению. Но знание законов общественного развития отнюдь не тождественно предвосхищению его конкретных результатов. Об этом с предельной ясностью говорится в проекте Программы КПСС (новая редакция): «КПСС не ставит целью предвосхитить в деталях черты полного коммунизма. По мере продвижения к нему, накопления опы-

та коммунистического строительства научные представления о высшей фазе нового общества будут обогащаться и конкретизироваться». Научное предвидение в социальной сфере — это не создание оракулов от

кибернетики, а заблаговременное выявление назревающих проблем, всесторонний анализ целей и поиск путей, ведущих к их достижению.

Ермей ПАРНОВ.



ПОМОЩНИЦА В ДЕРЗАНИЯХ

Н. Моисеев. Люди и кибернетика. М. «Молодая гвардия», 1984, 224 стр.
Н. Моисеев. Слово о научно-технической революции. М. «Молодая гвардия», 1985, 238 стр.

Греческое слово «кибернетика» было понятно каждому, кто кончал гимназию старого образца потому что наука эта рождена добрых два тысячелетия назад. Порождением последних десятилетий ее считают по недоразумению. Вот один из парадоксов, которые сразу увлекают читателя в книгах академика Н. Н. Моисеева.

Гиберно, разъясняет автор, — греческое понятие, означающее территориально-административную единицу (губернию) или, шире, любой целостный объект управления: корабль с экипажем, воинскую часть, хозяйственное предприятие. Гибернет же (в другой транскрипции — кибернет) есть руководитель, лицо, обязанное наилучшим образом организовать вверенное ему большое или малое хозяйство. В таком, классическом понимании кибернетика оказывается всеобъемлющей Наукой об Управлении, а вовсе не узкотехнической дисциплиной, ведающей вычислительными машинами, как ее многие воспринимают сегодня. Управление транспортными средствами и их системами, руководство промышленными предприятиями, их комплексами и целыми отраслями, планирование хозяйства государств и их содружеств, решение глобальных проблем (демографических, продовольственных, климатических) — такова действительная ноша, возложенная на плечи кибернетов нашего времени. Книги Н. Н. Моисеева сортируют, раскладывают этот груз, выявляя порой неожиданное родство простого и сверхсложного.

Управляющие системы — автоматические, безотказные — существовали задолго до того, как наступила «эпоха кибернетики». Обращаясь к истории техники, автор вспоминает имена античных механиков Филона и Герона Александрийского, знаменитого изобретателя Уатта. Все они создавали машины и регулирующие устройства, используя не имевший еще названия великий принцип обратной связи. Центробежный регулятор Уатта сделал возможным повсеместное применение паровой машины и поз-

волил прошлому веку стать веком пара. Теория действия подобных регуляторов, разработанная в трудах русского инженера И. Вышнеградского и английского физика Дж. Максвелла, стала прародительницей других, более сложных теорий, заложивших первые камни в фундамент современной кибернетики.

«Без неравномерности нет регулятора». Этот центральный тезис теории Вышнеградского, будучи перенесен из техники в административную сферу, демонстрирует иллюзорность казарменного идеала: не ведающий сомнений, не совершающий ошибок кибернет (директор, фельдмаршал, фюрер) — и не рассуждающая, бездумно старательная толпа взаимозаменяемых исполнителей..

Чтобы принять любое, даже не слишком важное решение, надо переварить такое громадное количество информации, учесть так много противоречивых, порой взаимоисключающих требований, выдвигаемых реальными обстоятельствами, что почти невозможно обойтись без ошибок. И если непосредственные исполнители и кибернеты, командующие на нижних этажах управления, будут действовать подобно бездушным роботам, то погрешность умножится настолько, что превратит даже самое здравое по своей сути распоряжение в абсурд. Представьте себе: если каждое из решений спускаемых по административной лестнице, верно на 90 процентов, то когда оно пройдет пять-шесть ступеней, его истинность составит немногим более 50 процентов. Результат будет почти такой же, как если бы некто, не утруждая себя размышлениями бросал монетку: орел или решка?

Разумеется, эта придуманная мною модель коллективной безответственности утрирована да и с точки зрения строгой теории попросту неверна, она лишь напоминает о той роли, которую в современном мире играет человеческий фактор. Именно ему придается первостепенное значение в намечаемых партией и правительством социаль-

но-экономических преобразованиях, в совершенствовании хозяйственного механизма. Не случайно в заглавии одной из книг Н. Н. Моисеева на первом месте, впереди слова «кибернетика» стоит: «Люди». О людях видный специалист по прикладной математике и вычислительной технике говорит больше, чем о машинах. Ведь только творческий, одухотворенный разум, действующий не за страх, а за совесть, способен наилучшим образом реализовать волю советского общества, выраженную в проекте Программы КПСС (новая редакция) — документе, открывающем широкий простор созидательному творчеству каждого человека.

Ну а что же машины, эти электронные кудесницы, которым еще не так давно иные горячие головы предрекали ведущую роль в управлении обществом будущего?

Автор, один из руководителей крупнейшего предприятия, занимающегося машинной обработкой информации (Вычислительного центра Академии наук СССР), оценивает возможности машин куда сдержаннее, напоминая, что даже лучшая в мире ЭВМ — не более чем инструмент. В этом он солидарен с другими крупными исследователями, которые начинают бить тревогу по поводу распространившейся фетишизации компьютеров.

Припоминая, что одно время у нас пытались бездумно, не учитывая особенности социалистического хозяйства, применять к нему разработанные на Западе экономико-математические модели, Н. Н. Моисеев пишет: «Постепенно специалисты, стремящиеся внедрить в практику новые методы обработки информации, математические модели и электронную вычислительную технику, поняли, что дело не в математике. Без нее, разумеется, не обойдешься. Но главное — это именно целевые функции, то есть ясное понимание целей, которые надо достичь. И именно здесь таятся основные трудности!»

Вот парадоксальный пример, который приводит автор в подтверждение своего тезиса: попытка оптимизировать с помощью ЭВМ перевозки в одном из московских автохозяйств. Математики собрали сведения о перевозимых грузах, их адресатах, доступных маршрутах движения, рассчитали схему, по которой все необходимое доставлялось по назначению кратчайшим путем, с наименьшими затратами, — и автохозяйство... с треском провалило план. Выяснилось, что цель, кажущаяся очевидной, общественно обоснованной — выполнение всех заказов на перевозки, — вовсе не совпадает со спущенным предприятию планом, выра-

женным в отвлеченных тонно-километрах и объеме расходуемого горючего. Ученые не без удивления обнаружили, что с точки зрения ведомственной выгоды лучше всего, если бы машины брали груз, гоняли с ним целый день по кольцевой дороге, а потом свалили бы его где-нибудь поближе к своей базе — тонно-километров много, затраты горючего соответственные, холостого пробега нет. Так ЭВМ, «не справившись» с конкретной задачей, помогла выявить несовершенство механизма хозяйственного планирования...

Этот и другие характерные примеры подкрепляют один из основных выводов Н. Н. Моисеева: ЭВМ — главный инструмент разворачивающейся на наших глазах научно-технической революции. На совещании в ЦК КПСС по вопросам научно-технического прогресса, проходившем в июне 1985 года, вычислительная техника была названа катализатором прогресса. Но там же отмечалось: «...многое зависит не только от наращивания выпуска ЭВМ, но и от умелого использования их в народном хозяйстве».

С паровой машиной люди осваивались более века; даже в начале нашего столетия можно было слыть интеллигентом, не имея понятия об ее устройстве. На поголовное овладение ЭВМ отпущены считанные годы. Ныне живущие взрослые — по-видимому, последнее поколение, для которого «машинная безграмотность» еще простительна. В связи с этим небывало возрастает значение наставника, учителя. Не случайно центральная часть книги «Слово о научно-технической революции» посвящена проблеме образования: автор считает ее ключевой.

Подготовить подростка к жизни в быстро меняющемся мире, снабдить его не набором трафаретных навыков, которые через десяток лет устареют, а умением учиться самостоятельно, непрерывно, с удовольствием — вот в чем состоит, по Моисееву, подлинная задача просвещения. Задача неизмеримо сложная: автор честно признается, что, несмотря на многолетний опыт преподавания в прославленном физтехе, он не без труда налаживал контакт с ребятами (и в особенности с их «штатными» наставниками), когда пытался вести факультативные занятия в средней школе. Преодоление школярской рутинь, истребляющей в детях врожденное влечение к знаниям, — веление эпохи, которому отвечает проводимая ныне реформа среднего образования. «Ни одна сфера человеческой деятельности так не нуждается в талантливых, свежих умах, как школа — обычная средняя школа!» — этим

восклицанием завершается одна из глав книги.

Кому не известно, что жизни на Земле может наступить конец, если какому-нибудь неандертальцу от политики вздумается самоутвердиться с помощью ядерной дубинки. Но лишь в последние годы выяснилось, до какой степени уязвима наша планета. Даже не вселенская, а «маленькая» атомная война может погубить все живое на всех континентах, потому что вызовет фатальные изменения климата. Это доказали расчеты, выполненные в 1983 году на новейших ЭВМ американской группой К. Сагана и одновременно группой Моисеева. После обмена ракетными ударами на Земле наступит «ядерная ночь» (Солнце скроется за непроницаемыми облаками сажи от пожаров), а вслед за ней «ядерная зима» (температура атмосферы в приземном слое упадет на десятки градусов). Для этого хватит нескольких взрывов суммарной мощностью 100—150 мегатонн — доли процента накопленной ядерной мощи!

Примечательно, что ученые разных стран, опирающиеся на неодинаковые исходные посылки, с помощью разных машин пришли к очень схожим результатам. Это говорит о добротности средств, помогающих современным кибернетам. Научное управление обществом в эпоху НТР — насущная необходимость. На эту мысль, пронизывающую обе книги, работают и экскурсы автора в историю становления советской власти (например, блестящий анализ плана ГОЭЛРО), и приводимые мнения крупнейших специалистов в области кибернетики.

В книгах Н. Н. Моисеева нет заумной терминологии, не встретишь ни одного уравнения (легко ли было математику от них воздержаться!). Апеллируя не к одной логике, но и к чувствам, автор заражает читателя своей открытой публицистичностью, заставляет проникнуться особым интересом и уважением к науке управления.

В. ЗЯБЛОВ.



КОРОТКО О КНИГАХ



АНАИТ САИНЯН. Жажда. Роман. Перевод Т. Смолянской и С. Хитаровой. «Литературная Армения», 1985, № 1—3.

Сын бедного крестьянина, рано осиротевший, пройдя через лишения и унижения, получил образование, стал крупным специалистом и честно служит своей стране. Сюжет сам по себе не новый. Но судьба человека незримыми нитями связана с судьбами народа, и если суметь разглядеть эти нити, то сюжетная схема наполняется живым содержанием.

Анаит Саинян в романе «Жажда», удостоенном Государственной премии Армянской ССР, рисует историю героев на фоне истории страны. В начале романа — армянская деревня конца прошлого века, два ее полюса — набирающие силу деревенские богачи и простые бедные труженики.

Впрочем, А. Саинян не остается в пределах этого противопоставления, столь знакомого по другим повествованиям о дореволюционной деревне. Картины жизни в «Жажде» богаты оттенками, которые всякий раз по-новому высвечивают характеры героев, делая их более достоверными и убедительными. Саинян как бы пунктирно дает историю человеческих отношений и типов армянской деревни через образы деда главного героя и его сына — дяди главного героя. Отец предан деревне, в нем еще жив дух патриархального рыцарства и общинности, он самоотверженно борется за то, чтобы родная деревня получила воду, жертвуя собой ради людей. Эта дышащая романтикой история дана у Саинян как воспоминание, она отбрасывает свет и на все последующие события. Сын — уже совершенно другой тип. Он целиком ушел в себя и в свои нелегкие заботы и ради собственного клочка земли, собственного сада готов на все. В год сильной засухи он убивает (из-за воды!) родного брата.

Главный герой ребенком становится свидетелем этих страшных событий. И то, что он в дальнейшем посвятил себя гидротехнике, поискам воды, связано с его детскими воспоминаниями. Впрочем, проблема воды — это проблема всей Армении. И не случайно на последних страницах романа сталкиваются разные точки зрения на использование вод Севана.

Роман построен как жизнеописание Ваана Джрбашяна. Главная здесь не переживания и эмоции Ваана, а логика движения его жизни. И то, что мы называем фоном, приобретает в романе большое значение. Исторический фон выписан автором свежо и интересно. Отрезок времени, охваченный романом, наполнен трагическими со-

бытиями. Закрытие армянских школ царским сатрапом Голицыным, распространение социалистических идей среди армянской интеллигенции, трагедия 1915 года — через все это проходит Ваан Джрбашян. Роман А. Саинян — одно из немногих произведений армянской литературы, где запечатлен этот период. Притом автору помогает прекрасное знание реалий времени, атмосферы крестьянского и городского быта тех лет. Страницы деревенской жизни, Еревана, Москвы, куда едет учиться Ваан, читаются с большим интересом. Привлекает не только умение автора изобразить эпоху, но и стремление разобраться в острых противоречиях времени, ничего не приукрашивая и не упрощая. Эта трезвость взгляда вообще свойственна произведениям А. Саинян.

В последней главе мы видим героя вместе с его русскими друзьями, потом — в кабинете председателя Совнаркома советской Армении Александра Мясникяна. Они совместно решают вопросы орошения и водоснабжения Армении. Соратник Ленина, Мясникян сумел привлечь к строительству новой Армении лучшие силы армянской интеллигенции.

Достоинство романа «Жажда», что подчеркнуто и в послесловии Ар. Григоряна, в серьезной и трезвой мысли, в стремлении постичь трудные этапы исторического пути армянского народа, проследить связи прошлого и современности. Это стремление заражает и читателя.

Азат Егизарян.

Ереван



РЮРИК ИВНЕВ. Избранное. Стихотворения и поэмы. 1907—1981. М. «Художественная литература». 1985. 759 стр.

Девяносто лет — такой срок судьба отпускает поэту крайне редко. Рюрик Ивнев ее избранник. Он посвящал стихи своему другу «Сереже» Есенину, старше которого был всего на четыре года, писал о Луначарском, Горьком, Маяковском, Блоке, которых хорошо знал, а последние его стихи помечены 1981 годом. И быть может, долголетие было одной из причин, давшей ему право так часто и свободно пользоваться в творчестве приметами земного бессмертия (Колизей, Рим, Фивы) и так же свободно перемещаться в историческом времени, соединяя понятия и названия, давно превратившиеся из географических в духовные.

Мы слиты с вами воедино,
Но я за вас в броне седин
Вступил в неравный поединок
С разящим временем один.

Можно, конечно, спорить о том, хорошо это или плохо, когда стихи двадцатилетнего юноши очень близки по мироощущению стихам восьмидесятилетнего старца, но невозможно отрицать их безусловной гармоничности. Рюрику Ивневу как бы было предопределено не прогореть ярким юношеским пламенем, а распределить его равномерно по всем годам долгой жизни. Талант гетевского типа

«И я стою у общей колбелы моей судьбы и судеб мировых» — это не столько лирический порыв, сколько мировоззренческое кредо. Такие строки не просто поэтический образ, а суть всего творчества поэта, его нравственной позиции. В каждой строке — внимательный взгляд на события эпохи. Каждой строкой — мучительное постижение добра. Исторически конкретного и философски обобщенного. Никакого компромисса между добром и злом, никакого — пусть даже и сиюминутного — восхищения перед темной силой, принявшей псевдоромантический образ. Только «самоожжение». Так была названа первая книга стихов поэта, так могла бы именоваться и книга избранного.

Рюрик Ивнев не принадлежит к числу тех поэтов, чье творчество можно резко разделить на раннее и позднее. «Избранное» тоже подчеркивает неизменную дремственность поэтической мысли Ивнева. Читая стихи о революции, написанные в наше время и посвященные Блоку, мы почти воочию видим бурный Октябрь, описанный непосредственным участником событий.

Живший и творивший одновременно с такими мастерами слова, как Есенин, Хлебников, Ахматова, Блок, Рюрик Ивнев сумел избежать их влияний и уверенно обрел свой собственный поэтический голос. В этом голосе слышалось эхо могучей русской культуры. Даже в самом имени и биографии Рюрика Ивнева было что-то классическое. Недаром, видимо, критики, говоря о нем, любили упоминать, что его предки были голландскими дворянами, переселившимися в Россию при Петре Первом. Так пишут только о поэтах XIX либо самого начала XX столетий. Он стал как бы проводником, соединившим разные эпохи. При этом его жизнь и стихи всегда носили активный характер. Он не спешил занять позицию кабинетного ученого, медлительно доживающего свой век патриарха. Ему было ближе живой опыт Фауста, нежели школярская ученость Вагнера:

Приходит конец неизбежный, и все же
Ты смотришь в окно, как юнец
Беззаботный
Которому солнечный зайчик дорожке
Бесчисленных книг в золотых переплетях

Именно эта активность души и помогла поэту вслед за Блоком и Маяковским сразу же и безоговорочно принять революцию. Увидеть, что грани, разделяющие добро и зло, проходят через фронты гражданской войны. А во время войны Отечественной убежденный гуманист Рюрик Ивнев с гордостью пишет о русском солдате: «воин-победитель».

До последней минуты своей жизни поэт остается деятельным. И за несколько часов до смерти рукой философа и сильного человека пишет: «Это значит, что сердцу в груди стало тесно, как в темном углу. Это значит, что все впереди, но уже на другом берегу».

А на этом берегу остаются молодые поэты, воспитанию которых Ивнев всегда уделял много внимания. И всегда делал это с искренним интересом к личности начинающего литератора, с доброжелательностью, лишенный всяких менторских ноток. На этом берегу и сама молодость — человека, мира, жизни, — которую поэт считал вечной. Потому, думаю, у Рюрика Ивнева и были все основания сказать:

Юноша двухтысячного года,
Знаю я: ты вспомнишь обо мне.

Леонид Володарский.



ВАЛЕНТИН БЕРЕСТОВ. Идя из школы. Стихотворения. М. «Молодая гвардия». 1983. 94 стр.

В. БЕРЕСТОВ. Нофелет. Стихи. М. «Детская литература». 1984. 16 стр.

Одна из книг этого поэта называлась «Семейная фотография». Многие стихи Валентина Берестова на первый взгляд и впрямь похожи на те снимки, которые хранятся в каждой семье и мало что говорят постороннему, пока ему не растолкуют, кто есть кто и чем интересен. Но в отличие от подобных фотографий истинная поэзия сразу возвращает лицам и событиям первоначальную яркость, доносит до нас голоса людей, докапывается до того в них, чего не только мы, читатели, не знали, но и сам-то автор понял лишь с годами.

Вот, казалось бы, самый будничны эпизод детских лет — мать, неподвижно застывшая у окна, она ждет отца; и мальчик, пусть еще смутно, ощущает всю огромность ее чувства: «Что такое любовь в этом мире, знаю я, да не скоро пойму».

Я сказал: докапывается. Есть в поэтической работе Берестова что-то родственное его первой профессии — он историк, археолог, и многие, возможно, читали его повести об этой увлекательной науке, собранные в книге «Меч в золотых ножнах». В ней, описывая, как выглядят раскопки с самолета, автор заметил, что «груды выброшенной земли вокруг... кажутся с высоты пухом, нежным и легким». Тут явственно угадываешь свойственную Берестову лукавую улыбку: кажутся-то кажутся, а попробуйте покопайте!

Это же ощущение обманчивой легкости возникает и при чтении стихов Берестова, хотя на самом деле они плод филигранной работы над словом и, если можно так выразиться, над памятью, когда будто скальпелем и кисточкой — орудиями археолога на последнем, самом ответственном этапе его трудов — очищается, освобождается из-под гряд пережитого наиболее важное и — часто одновременно — самое хрупкое, ко

торое легко может быть повреждено, искажено до полной неузнаваемости.

Стихи Берестова привлекательны редчайшим умением воспроизвести картины детства и ощущения, испытанные тогда, в их подлинном масштабе, и осветить их доброй улыбкой, в которой нет и тени обидного превосходства над переживаниями «несмышлениша», а напротив — любование силой и свежестью давних впечатлений, жадного интереса к миру. Но берестовская «лирическая автобиография», как однажды удачно окрестили его стихи, вмещает не только трогательные и забавные подробности, извечно присущие детству, но и такие, что неповторимо окрашены именно сегодняшним временем («Калуга. Тридцатые годы», «На языке тех лет»). А читая стихи о войне, все больше начинаешь воспринимать эту «лирическую автобиографию» как нашу общую «семейную фотографию». Настоять все, здесь запечатленное, близко каждому, хотя, чтобы так выразить пережитое, надо быть поэтом. Все сказанное сказано по-берестовски: герой возвращается во двор своего детства, опустевший так, как это прежде случалось лишь ненадолго — по сюжету «вечной детской игры»:

Я от глаз ладони оторву.
Эй, ребята, кто упал в траву?
Кто в сарае? Кто за тем углом?
Кто там, за березовым стволлом?
Я не верю в опустевший двор.
Я играю с вами по сих пор.

Драматическая сила стихотворения «Прятки» в том, что у воспоминаний о детской забаве горький привкус. Тут не просто разлуки выросших и разъехавшихся по белу свету людей, но и иные, куда горестней, — с теми, кто «упал в траву» уже совсем не ради игры. И как дорого стремление поэта сберечь память о погибших, населить ими свои стихи, заставить нас взглянуть хотя бы в того безымянного «великана», каким когда-то казался малышу покровительственно друживший с ним... ученик четвертого класса!

Страна детства привлекает поэта не только прелестью и поэзией, веселыми «пейзажами» («Сколько снежных кругом поставлено баб, сколько снежных кругом крепостей»). Ее законы и мерил, часто кажущиеся наивными в своей прямоте и честности, совпадают с позднейшим «опытом, сыном ошибок трудных», если вспомнить пушкинское выражение, опытом, осязаемым и в немногочисленных целомудренно сдержанных, но внутренне драматичных строфах поэта о любви, и в «иронических стихах», как он именует целый раздел книги «Идя из школы». В последних всегдашняя берестовская доброта неожиданно для многих, но совершенно закономерно для поэта обнаруживает нетерпимость ко лжи, пустозвонству, трусливой увертливости, жестокость и определенность нравственных критериев («Сидел смущенно в обществе лежцов. Молчал. Словечка вставить не пытался. И не заметил сам в конце концов, как, не сказав ни слова, изолгался»).

Да, поэт поистине знает, «что такое любовь в этом мире». Любю к этому миру. И как надо стоять за то, что любишь.

А. Турков.



АННА ГВОЗДЕВА. Колокола истории. О творчестве Николая Задорнова. М. «Советский писатель». 1984. 286 стр.

«Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от дикости», — подчеркивал великий Пушкин. Об этом невольно вспоминаешь при чтении монографии Анны Гвоздевой, посвященной исторической прозе видного советского романиста Николая Задорнова.

Историческая тематика в творчестве Задорнова предопределяет единство художественно-исторического полотна, составленного циклом романов — «Амур-батюшка», «Далекый край», «Золотая лихорадка», «Первое открытие», «Капитан Невельской», «Война за океан», «Цунами», «Симода», «Хэда». Они, говоря словами А. Гвоздевой, «о творческом мирном созидательном гении русского народа, который без насилия и кровопролития возвратил России ранее открытый русскими землепроходцами богатейший дальневосточный край и трудом преобразил его». Пласты действительности, охватываемые романами Задорнова, широки: середина XIX века, столетие нынешнее, ретроспектива в историческую глубину, в век XVII, в эпоху древнейших русских рекогносцировок, открытий и поселений на крайнем востоке Сибирского субконтинента, во времена легендарного Албазина. Тут и столица империи, и Приамурье, и тихоокеанские берега, и Сахалин, и Камчатка, и Япония, сопредельная страна, куда русские люди явились с предложением миролюбивых и добрососедских контактов.

По мнению А. Гвоздевой, русское переселенчество было явлением по преимуществу «народным, низовым». Со стороны естественных рубежей, до которых предстояло докатиться переселенческой волне, — со стороны Амура, Тихого океана — низовой процесс пионерства, осуществленный в основном казачеством, был поддержан усилиями передовых русских мореплавателей-первооткрывателей и землепроходцев.

Многим в повествовании об этом Н. Задорнов обязан собственным историческим исследованиям. А. Гвоздева, превосходно знакомая с их ходом, подробно и со знанием дела рассказывает об этом. Автор монографии не упускает случая, чтобы подчеркнуть: Задорнов не просто знающий, компетентный историк-архивист, он в своих произведениях ни где не перестает быть художником. Фигура адмирала Невельского, центральная среди многочисленных реальных и вымышленных персонажей писателя, важна для него прежде всего в силу ее характерности, типичности — в плане человековедческом, в плане проблемы положительного героя. Адмирал Невельской у Задорнова, пожалуй, наиболее близок идеалу непокоренного, не покорящегося силе обстоятельств, не опускающего руки при неудачах первопроходца-патриота.

Историко-психологический взгляд на конкретную личность присущ писателю и при обрисовке таких известных исторических

фигур, как генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев, как губернатор Камчатки, герой Петропавловской обороны во время войны с англо-французами Василий Завойко, как адмирал Путятин, глава дружеской дипломатической миссии в Японии.

Иногда писателей, работающих в области исторического жанра, подводит недостаточная осведомленность. Промахи Задорнова в ранних его романах, по мнению критика, скорее противоположного толка: писатель подчас перегружает свои произведения, утрачивая динамизм повествования.

Интересно наблюдение критика над спецификой мастерства романиста. Изображая жизнь далекой Японии середины прошлого века с ее средневековой психологией, своеобразным миром представлений, навыков, обычаев и т. д., писатель соответственно меняет и сам язык повествования. «Ритмический строй фразы,— пишет автор монографии,— становится тяжелым, медлительным, отражая созерцательность, свойственную образу мышления японцев, чаще всего как бы обращенного внутрь себя. Безличное предложение, столь непривычное нашему уху, заимствованное Задорновым из японской речи, заняло прочное место в авторском изложении».

Н. Задорнов воспел подвиг освоения русскими Дальнего Востока, показал, что естественным продолжением и завершением этого подвига явилось деятельное стремление русских людей к установлению добрососедских политических и экономических связей с сопредельными странами, и прежде всего с Японией. Анна Гвоздева в своем литературоведческом исследовании воздает должное писательской работе Задорнова, отдавшего любимой теме десятки лет.

Петр Майданюк,
кандидат филологических наук.

Самарканд.



МСТИСЛАВ КОЗЬМИН. *Путь к человеку.* М. «Современник». 1984. 239 стр.

Значительная часть вопросов, поставленных в этой книге, прямо адресована литературной критике. На каких процессах и фактах сосредоточивает она внимание? Что поддерживает и с чем спорит? Насколько точна и взыскательна в характеристиках и оценках? Вдумчиво ли соотносит художественные реалии с действительностью? Все ли делает для повышения роли искусства в развитом социалистическом обществе?

Спрашивать с цеха, к которому принадлежишь, всегда рискованно. Ведь любой вопрос в полной мере относится и к самому себе. Книга «Путь к человеку» подтверждает право ее автора предъявлять современной критике строгие, принципиальные требования.

Подлинным университетом для советской литературы и каждого ее работника М. Козьмин считает школу Горького. Уроки великого писателя, сказано в книге, предопределили круг ее проблем и героев, логику авторского подхода к искусству слова.

Склонный к «высокой точке зрения», критик связывает свой интерес с творчеством художников непременно существующих (если использовать выражение одного из них). То обстоятельство, что о Горьком и Маяковском, Блоке и Федине, Ю. Бондареве и Г. Маркове написана не одна монография, а в этой книге каждому посвящено лишь два-три десятка страниц, автора не смущает. Предлагая аналитическое прочтение произведений того или иного писателя, автор не ограничивается индивидуальными разборами, естественно переходя к теоретическим обобщениям, позволяющим выделить отличительные свойства современной отечественной литературы. В своей книге М. Козьмин конкретно обозначает некоторые перспективные подходы к постижению литературных закономерностей эпохи социализма.

Так, отмечая, в частности, заметную «философизацию» литературы, автор настаивает на необходимости более тесных контактов критики с философией, социологией, историей, психологией. Учет достижений общественных наук и ясность идеологических критериев — вот условия, обязательные при анализе сложного процесса развития советской литературы, динамика и направленность которого определяются движением общественного бытия и сознания.

Подчеркивая, что социалистический образ жизни и социалистическая личность, эти главные ценности, сформированные новым строем и отраженные советской литературой, стали основополагающими факторами укрепления ее позиций в мире, исследователь показывает, что ее нынешнее «духовное лидерство» связано с преимуществами социалистической цивилизации, способной «сохранить, упрочить и развить достижения цивилизации мировой и успешно разрешать общечеловеческие проблемы».

Уточняется в книге трактовка принципа народности. Народность литературы, доказывает автор, находится в прямой зависимости от того, насколько последняя отвечает духовным потребностям народа и стимулирует их, то есть от глубины художественного постижения важнейших проблем современной жизни.

М. Козьмин ратует за искусство «большого содержания» (К. Федин) и социальной активности. При этом, осмысливая диалектику связей литературы с жизнью, автор выделяет как общественно значимый вопрос о сотворческой роли читателя в совершенствовании литературы социалистического реализма. Вопрос, непосредственная разработка которого предполагает прямое сотрудничество критики и социологии. Плодотворен и сделанный в разговоре об эстетических взглядах К. Федина вывод, что единство содержания и формы необходимо раскрывать в свете отношения литературы к действительности.

Пожалуй, лишь страницы о взаимоотношениях Горького и Маяковского в книге М. Козьмина выглядят не столь убедительно, как остальные. Тезис о глубинном родстве этих художников справедлив, но вот замечание о том, что «Горький вырвал Маяковского из пота группового искусства и

вывел его к широкому, демократическому читателю», как и некоторые из приводимых в статье цитат, не передает, по-моему, реального драматизма этих отношений. И конечно, в работе, вышедшей с грифом издательства «Современник», весьма запоздалым выглядит спор с публикациями тридцатилетней давности.

В целом же решительно и аргументированно отстаивающая авторитет советской литературы книга «Путь к человеку» одновременно служит развитию теории и практики современной литературной критики

Леонид Бъжов.

Свердловск.



М. И. ИСИМЕТОВ. Йыван Кырля. Очерк жизни и творчества. Йошкар-Ола. Марийское книжное издательство. 1984. 119 стр.

Об этой ослепительной улыбке писали многие газеты, она была растиражирована в десятках тысяч кинофиш и рекламных плакатов, ее запомнили все, кто видел первый советский звуковой художественный фильм «Путевка в жизнь» Улыбка Мустафы Ферта, роль которого талантливо и непосредственно сыграл марийский студент Йыван Кырля, превратилась в своего рода знак-метафору этого знаменитого фильма, повествующего о рождении новых человеческих отношений. А веселый и обаятельный юноша сразу же стал одной из самых популярных кинозвезд тех лет.

В книге литературоведа М. И. Исиметова подробно рассказывается о жизненном и творческом пути марийского поэта и киноактера Йывана Кырли (1909—1943).

Время исканий, время мощного порыва энтузиазма определяло тогда творческие судьбы. В том числе и судьбу Йывана Кырли. Его работа над ролью Мустафы описана в живых и занимательных подробностях. В книгу включены также воспоминания режиссера фильма Николая Экка и народного артиста СССР Михаила Жарова, сыгравшего в фильме колоритную роль Жигана. Эти воспоминания дополняют облик Й. Кырли, воссоздают творческую атмосферу съемок.

Биография будущего актера и поэта складывалась из немногих, но характерных штрихов. Детство и юность в отдаленной марийской деревне, затем рабфак в Казани, где впервые проявились артистизм и поэтическое дарование Йывана Кырли. Далее Москва, актерское отделение Государственного техникума кинематографии (ныне ВГИК) и наконец «Путевка в жизнь», небывалый успех и всесоюзная известность. Было от чего и голове закружиться, но Йыван Кырля выдержал испытание славой. Помимо кино он серьезно занимается литературным творчеством. Стихи Кырли близки к народной поэзии, проникновенны и сердечны. Его поэтические книги на марийском языке заняли достойное место в литературной жизни 30-х годов.

Это были годы, когда сборники стихов, издаваемые в национальных редакциях московского Центриздата на тюркских и финно-угорских языках Поволжья и Урала, говорили голосами разных народов, многие молодые литературы получали тогда «пу-

тевку в жизнь» Сейчас стихи удмуртского поэта К. Герда, башкирского поэта С. Кудаша, татарских поэтов А. Файзи, М. Джалиля, мордовского поэта Н. Эркая, чувашского поэта П. Хузангая стали классикой национальных литератур. Тогда же авторам, как и Йывану Кырле, было по двадцать с небольшим лет, они энергично, с молодой страстью создавали и развивали родное искусство, родную словесность. В этой бурлящей мненими и свежими впечатлениями творческой среде марийский поэт и актер чувствовал себя как рыба в воде. Ему нужно было общество, контакт с людьми. Он много ездит по стране, пишет новые стихи, снимается в кино.

В воспоминаниях русского поэта Павла Железнова, марийских литераторов Александра Тока и Миклая Казакова, известного композитора Сигизмунда Каца, которые также приведены в работе М. И. Исиметова, рисуется образ веселого и талантливого человека Йывана Кырли. Опираясь на свидетельства современников и документы, автор сумел показать творческое становление одного из обаятельнейших представителей марийского искусства. Через улыбку Мустафы — Кырли просвечивает и то задорное время, когда наше молодое еще кино утверждало себя в качестве активной гражданской силы.

Атнер Хузангай.

Чебоксары.



ВДОХНОВЛЕННЫЙ ЛЕНИНЫМ. Александр Тодорский: произведения о родном крае, биографические и другие материалы. М. «Московский рабочий». 1985. 287 стр.

Осенью 1918 года А. И. Тодорский, редактор двух газет, выходящих в маленьком городке Весегонске Тверской губернии, получил неожиданное задание: подготовить для губкома отчет о работе уездного комитета партии и уездного исполкома за первый год советской власти. Работа увлекла журналиста. «Писать отчет было легко и радостно,— вспоминал Александр Иванович.— Я был окружен товарищеским вниманием всего партийного, советского и общественного актива. Все были заинтересованы в том, чтобы наиболее полно и ярко осветить опыт первого года советского строительства в нашем уезде. Каждый старался напомнить мне тот или иной известный ему случай из богатой советской практики, рекомендовать отметить его в отчете». Весегонцы победили классового врага, обеспечили бедноту хлебом, открыли в селах и деревнях десятки школ, библиотек, в городе — народный дом, краеведческий музей, художественную школу, оборудовали лесопильный и кожевенный заводы, телефонную станцию, типографию, издавали газеты, брошюры...

На заседании укома партии и уездного исполкома отчет Тодорского решено было издать тиражом в тысячу экземпляров под названием «Год — с винтовкой и плугом». Книжку направили во все весегонские селения, в столичные и некоторые губернские газеты, а один экземпляр редакции газеты «Беднота» послала В. И. Ленину. Владимир Ильич, высоко оценивший книгу Тодорского, рекомендовал познакомить с

ней как можно большее число рабочих и крестьян «Из нее надо извлечь серьезнейшие уроки по самым важным вопросам социалистического строительства», — писал В. И. Ленин в статье «Маленькая картинка для выяснения больших вопросов»

В сборник «Вдохновленный Лениным» вошли книга Тодорского «Год — с винтовкой и плугом», ленинская статья о ней и другие материалы, рассказывающие о внимании Владимира Ильича к одному из первых советских очерков, отзывы о книге Е. Ярославского Э. Казакевича, В. Кетлинской, Г. Маркова, К. Паустовского, Б. Полевого, А. Соболева. «Чем мы дальше от исторических дней Октября, тем ярче горят замечательные огни того неповторимого времени — писал Тодорскому Н. Тихонов — Ваша книга никогда не устареет. В этом ее ценность и ее значение. Она уже наша „классика“»

Составители сборника В. Н. Полосухин и Ан. И. Тодорский не обошли вниманием и другие произведения талантливого журналиста. Здесь впервые собраны воедино статьи и очерки, написанные Тодорским о родном крае, о людях, прославивших своими делами Верхневолжье, — участниках революции, гражданской войны, видных государственных деятелях, военачальниках, ученых. Среди героев очерков Тодорского — Г. К. Орджоникидзе и С. М. Киров, М. В. Фрунзе и Н. И. Подвойский, М. Н. Тухачевский и П. П. Лебедев... Со многими он был знаком, вместе сражался против белогвардейцев и иностранных интервентов в годы гражданской войны, писал о них по личным воспоминаниям.

В сборнике «Вдохновленный Лениным» публикуются и воспоминания о Тодорском, статья редактора районной газеты «Ленинский завет» Н. М. Шеховцова о больших переменах в Весьегонске за годы советской власти. До революции на трех предприятиях Весьегонска работали всего 185 человек. Ныне в районе 12 промышленных предприятий. Они выпускают более ста видов продукции, отправляемой во многие города нашей страны и за рубеж. В книге «Год — с винтовкой и плугом» Тодорский упомянул об открытой в 1918 году небольшой мастерской для ремонта плугов и борон. Сегодня в колхозах и совхозах района свыше 900 тракторов, 200 комбайнов «Нива» и «Колос», значительное количество картофелеуборочных, льноуборочных комбайнов, культиваторов, сеялок, автомашин.

«Красной нитью через всю жизнь Тодорского проходит его связь с родным краем, где он вырос, нашел свое призвание писателя и журналиста, стал бойцом ленинской партии коммунистов, — сказано в предисловии к сборнику. — Эта связь значала для него очень многое — поднимала творческую энергию, прибавляла сил». Благодарной памятью платят Тодорскому земляки. Книга «Год — с винтовкой и плугом» и сегодня на вооружении у пропагандистов, культуротников, учителей района. В местной библиотеке, в краеведческом музее, в школах проводятся выставки, посвященные жизни и деятельности А. И. Тодорского. Именем летописца революции названа одна из улиц города Весьегонска.

Н. Зелов.



КРАСНАЯ КНИГА СССР. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений. М. «Лесная промышленность». 1984. Т. 1 — 390 стр., т. 2 — 478 стр.

Красная книга не предназначена для широкого круга читателей, не продается во всех книжных магазинах. Но, листая ее, убеждаешься, насколько своим содержанием, острой тревогой за судьбу родной природы она обращена к каждому из нас. Эта книга — суровый счет, предъявленный природой людям.

Получив в руки мощные рычаги воздействия на окружающую среду, человек не всегда распоряжался ими разумно. И сегодня закономерный и неизбежный прогресс науки и техники то и дело входит в противоречие с жизнью природы. Вырубается лес. Сокращается зеленый покров Земли, все большая площадь изымается для нужд промышленности и строительства, под сельскохозяйственные угодья. От «кислотных дождей», содержащих ядовитые отходы с высокой концентрацией двуокиси серы, которые выбрасывают в воздух города-гиганты, гибнут деревья и травы, страдают люди и животные. Минеральные удобрения и яды, применяемые для борьбы с сельскохозяйственными вредителями в избыточных количествах, уничтожают бактерии и другие микроорганизмы, необходимые для нормальной жизни растений. Отравленные ядами насекомые губят стаи птиц, охраняющих посевы. Не усвоенные растениями минеральные удобрения и химические отходы промышленности выносятся дождями и тальми водами в реки, затем попадают в моря и океаны, нарушая жизнь подводного мира.

Иной раз мы, люди, наносим ущерб природе и просто потому, что нас становится все больше. Народная мудрость гласит: «Один человек, пройдя по лугу, оставит след, сто человек — тропинку, тысяча — пустыню». А ведь нам хочется не просто пройти, но и спугнуть зверушку или птицу, посидеть у костра, унести с собой букет цветов...

В нашей стране забота об охране природы с первых лет советской власти стала общенародным, государственной важности делом. Своевременны были спасены почти полностью истребленный хищническим пушным промыслом соболь, сохранявшийся лишь в зоопарках зубр. Восстановлено поголовье лосей и сайгаков. Стали множиться поселения бобров. К сожалению, не успели вовремя ввести охранные меры в отношении туранского тигра и гепарда, и есть опасность, что эти редкие животные для нас навсегда потеряны.

В 1978 году была издана первая Красная книга СССР, в которую вошло 154 вида животных и 444 вида высших растений. Она послужила основой для научной разработки комплексных мер по исследованию и охране биологических видов, стала средством пропаганды бережного отношения к окружающему миру. Ныне изданная Красная книга СССР вышла уже не в одном, а в двух томах, содержащих около

500 видов животных и почти 700 видов растений.

Чем вызвано расширение книги — продолжающимся оскудением природы? Этим, к сожалению, тоже. Но главным источником ее пополнения стали новые сведения о редких и исчезающих видах. В новое издание Красной книги включены также рыбы и моллюски, ракообразные и насекомые, грибы, мхи и лишайники...

Из новой книги мы впервые узнаем о восстановленных видах, существование которых благодаря принятым мерам уже не стоит под вопросом, хотя и требует постоянного контроля. В эту категорию включены зубр, новоземельский северный олень, ладожская нерпа, белощекая казарка, малый лебедь, кавказский тетерев, розовая чайка, среднеазиатская кобра; среди растений — тис ягодный, лотос орехоносный. Особую роль в сохранении животного и растительного мира во всем его многообразии играют заповедные зоны. Всесоюзный научно-исследовательский институт охраны природы и заповедного дела разработал перспективный план, по которому число заповедников в нашей стране должно быть увеличено со 145 до 200, а национальных парков — с 11 до 40—50. Свои «острова жизни» появятся в каждой природно-климатической зоне.

Сегодня как никогда велика ответственность людей перед будущим. От ныне живущего поколения зависит, будут ли наши потомки пользоваться богатством природы и наслаждаться естественными ландшафтами, останетс я ли планета зеленой, цветущей и изобильной...

В. Ветлина.



А. В. АНИКИН. Золото. Международный экономический аспект. М. «Международные отношения». 1984. 319 стр.

«Люди гибнут за металл...» — злорадно утверждает Мефистофель в известной опере Гуно, и, надо сказать, данное утверждение не является вовсе уж беспочвенным. Испокоин века «желтый дьявол» искушал человечество, становясь источником бесчисленных преступлений и войн. Уже в Ветхом завете золото, по подсчетам Гоббса, упоминается 415 раз. Оно фигурирует в переписке XV—XIV веков до н. э. египетских фараонов с владыками Ассирии, Вавилона и других государств Древнего Востока. О «проклятой жажде золота» в римском обществе нам сообщает Вергилий.

«Золото! Золото! Золото! Золото! Блестящее и желтое, твердое и холодное, плавное, резаное, битое и катаное. Его трудно получить и легко держать. Его хранят, меняют, покупают и продают, воруют, берут займы, мотают, неохотно отдают. Его презирают молодые, но обожают старики до самого края могильной ямы. Оно — причина многих безвестных преступлений. Золото! Золото! Золото! Золото! Хорошее и плохое тысячу раз! Как различны его способности — спасать, губить, обрывать, благословлять...» Так образно «воспевал» золото английский поэт-сатирик первой половины XIX века Томас Гуд.

...Аught, химический элемент 1-й группы Периодической системы Менделеева,

атомный номер 79, атомная масса 196,9665, благородный тяжелый металл желтого цвета...

В чем секрет его могущества и его бессмертия, его мистической силы и его притягательности для все новых поколений? Может быть, прав был Фрейд, утверждавший, что тяга к золоту заложена в подсознании человека наряду с половым инстинктом? Или все-таки дело в чем-то другом?

Ответам на эти и многие другие вопросы, относящиеся к истории теории золота, его роли в современных международных экономических отношениях посвящена новая книга видного советского экономиста профессора А. Анкина.

Автор прослеживает долгий, извилистый путь золота в современном мире — от его добычи (кстати говоря, за всю историю человечество добыло около 100 тысяч тонн золота) где-нибудь на приисках Аляски или в шахтах Витватерсранда (ЮАР), через реализацию на международных рынках золота в Швейцарии, Англии, Гонконге или США, до подземных хранилищ Манхэттена и Форт-Нокса...

А. Анкин решительно отвергает фрейдистский подход к проблеме. «Секрет власти золота,— пишет он,— сводится к двум главным моментам: золото на протяжении веков было наиболее абсолютной, осязаемой, универсальной формой денег; с развитием капитализма деньги все более выступают как исходная форма капитала». Таким образом, подчеркивает автор, страсть к деньгам имеет социальную, а не биологическую природу; она тесно связана с природой общества, в котором деньги превращаются в капитал, становятся мерилом всех вещей и самого человека. Не случайно именно при капитализме золотой телец достиг апогея своего могущества.

Английский политический деятель середины прошлого века Гладстон как-то заметил, выступая в парламенте, что даже любовь не свела с ума такое большое число людей, как мудрствования по поводу сущности денег, а именно деньгами прежде всего (хотя не только ими) является золото. Среди экономистов всегда были и сторонники золота и его противники. Много раз противники пророчили ему кончину, имея в виду полную ликвидацию роли золота в международной валютной системе, а оно никак не желало умирать. Сторонники золота во все времена пытались выдать его за панацею от любых экономических потрясений и кризисов, но кризисы потрясали и продолжают потрясать капиталистическую экономику. Периоды золотого бума сменялись падением интереса к желтому металлу и наоборот.

Канули в Лету «блаженные» времена золотого стандарта, фактически рухнула бреттон-вудская валютная система, основанная на золотодолларовом стандарте, наступила эпоха плавающих валют... Какая судьба ожидает золото в будущем?

На этот счет существуют диаметрально противоположные мнения.

Во всяком случае, считает автор книги, было бы преждевременно списывать золото со счетов при анализе перспектив развития современного капитализма. Доста-

точно вспомнить, например, что пресловутая «рейганомика» — последний плод американской буржуазно-консервативной мысли — пытается сделать ставку на золото как одно из средств борьбы с инфляцией. История капитализма показывает, что обращение к золоту, возрастание интереса к нему всегда и везде приходилось на кризисные моменты, свидетельствовало о недоверии общества к государственной политике. Нечто похожее наблюдается в настоящее время в США.

...Увлекательно о сложном — так можно резюмировать впечатление от содержательной и полезной книги А. Аникина.

Петр Черкасов.



КНИГИ, ОТКРЫВАЮЩИЕ МИР. Составитель Б. Г. Володин. М. «Книга». 1984. 333 стр.

Что это за книги, которые открывают мир?

«Любое произведение истинного ума вплетает свою ниточку в ткань мировой культуры и не остается бесследным, — пишет в кратком предисловии составитель Б. Г. Володин. — Но есть книги-потомки и есть книги-прародители, небольшой, в сущности, круг пионерских сочинений, которые вершили революции в сознании и становились родоначальниками разветвленных и плодотворных книжных династий, воплощавших в себе целые области знания».

Десяти таким книгам-прародителям, книгам-предтечам посвящены десять очерков, собранных под одной обложкой. Десяти книгам и девяти авторам. Галилео Галилей, Исаак Ньютон, Карл Линней, Степан Крашенинников, Луиджи Гальвани, Чарлз Дарвин, Дмитрий Менделеев, Камилл Фламарион, Константин Циолковский — вот они, эти авторы. Кто оспорит пионерскую роль их теорий и учений?

Их имена канонизированы наукой, их жизнеописания издавались и переиздавались. Но многое ли, порывшись в памяти, мы вспомним о жизни мастера Монетного двора, президента Лондонского королевского общества для содействия познанию природы, кроме истории с пресловутым яблоком? А очерк Бориса Володина знакомит нас с временем Ньютона, с долгими каникулами в год чумы (той, о которой в «Маленьких трагедиях» Пушкина) и великого лондонского пожара, когда «действительный студент» понял, почему белый солнечный луч, пройдя сквозь призму, распадается на семь цветов радуги. Мы узнаем о споре Ньютона с другим великим — Робертом Гуком, видим не хрестоматийные портреты, а живых людей, которые спорят и мирятся, оскорбляют и приносят извинения, спорят до хрипоты на ученых заседаниях и делаются планами великих опытов в кофейнях.

Очерк В. Полищука рисует не усталого старца, благоразумно отрекшегося от своего учения, бросив для нас, потомков, ак-

терскую реплику «и все-таки она вертится!», а лукавого жизнелюбца, непобедимого спорщика, отчаянного путаника в семейной жизни, мастера на все руки, блестящего игрока на лютне В общем, итальянца из итальянцев.

Общеизвестна история открытия Периодической системы элементов. Известностью уступает она разве что Ньютону яблоку. Но нельзя без волнения читать страницы очерка Валентина Рича, где рассказано о пасьянсе в день поистине чудесного озарения, о вещем сне, что приснился Менделееву.

Однако это очерки не о знаменитых авторах, а прежде всего об их книгах. И здесь нельзя не упомянуть любопытнейший парадокс. Цитирую «Четыре дня с Галилеем» В. Полищука: «Галилей родился на свет в том же году, что и Шекспир — в 1564-м. Каждый из этих двух людей своими сочинениями перевернул мир, лишив цивилизованного человека возможности мыслить «догалилеевыми» или «дошекспировыми» категориями. Но сколь же различна участь того, что они написали! Много ли найдется среди грамотных жителей планеты таких, кто ни разу не читал Шекспира, не видел его пьес, на худой конец — их экранизаций? И, с другой стороны, многие ли среди людей не просто грамотных, а ученых, нынешних коллег Галилея, тех, чья профессия — физика, астрономия или математика, читали «Звездный вестник» или «Диалог о двух главнейших системах мира?»

Книги, открывающие мир, не устарели, не превратились в окаменевшие памятники культуры, они живут и сегодня. В подтверждение тому слова Менделеева из «Основ...»: «Лучше держаться такой гипотезы, которая может оказаться со временем неверною, чем никакой. Гипотезы облегчают отыскание истины, как плуг земледельца облегчает выращивание полезных растений». Или другое подтверждение, науковедческий факт: наши современники естествоиспытатели в своих научных трудах ссылаются на Дарвина свыше 400 раз в год. А разве не на Ньютона сослался Борис Пастернак: «Любить самоотверженно и беззаветно, с силой, равной квадрату дистанции?»

Десять очерков книги — о творениях прошлого. Десятый — о книге, которая только пишется, первые варианты, первые наброски которой лишь недавно увидели свет. Это Красная книга. Можно сказать, что пишет ее человечество, осознавшее свою ответственность перед потомками, перед землей, ее обитателями, ее природой. Высоконравственная, гуманистическая задача этой книги уже поставила ее в ряд творений человеческого разума, которые открывают мир.

Круг основополагающих пионерских сочинений и впрямь невелик. Но он не исчерпывается теми, рассказы о которых вошли в сборник. Книга требует продолжения.

Михаил Кривич.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

А. Ахмедов. Ислам в современной нлейно-политической борьбе. 240 стр. Цена 40 к.
Б. Бочкарев. Грозой мощенные дороги. Повесть о Петре Войкове, большевистском комиссаре с чрезвычайными полномочиями 158 стр. Цена 40 к.

Книжка партийного активиста. 1986. 223 стр. Цена 35 к.

И. Щеголихин. Время выбора Повесть о Владимире Загорском. («Пламенные революционеры») 351 стр. Цена 1 р 30 к

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

К. Варналис. Стихотворения и поэмы. Перевод с греческого. 351 стр. Цена 1 р. 30 к

М. Салтыков-Щедрин. Господа Головлевы Роман. Сказки. 463 стр. Цена 2 р 50 к.

Ю. Трифонов. Собрание сочинений. В 4-х тт. Т. 1. 751 стр. Цена 3 р. 20 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

В. Бубнис. Приглашение. Роман Повести. Перевод с литовского. 366 стр. Цена 1 р. 80 к.

С. Головановский. Мост к людям Размышления, воспоминания, рассказы Перевод с украинского 352 стр. Цена 1 р. 30 к.

В. Кантор. Два лома. Повести 198 стр. Цена 75 к

С. Рагимов. Избранное. Роман, повесть. Перевод с азербайджанского 607 стр. Цена 2 р 90 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Д. Биленкин. Лицо в толпе. Научно-фантастические рассказы. («Библиотека советской фантастики») 288 стр. Цена 85 к

Т. Гладнов. Медведь. («Жизнь замечательных людей») 304 стр. Цена 1 р 50 к.

Милая моя Родина. Повести рассказы 477 стр. Цена 1 р 20 к.

В. Михайлов, А. Палько. Выбираем здоровье! («Зврика») 191 стр. Цена 55 к.

«РАДУГА»

М. Вальзер. На полном скаку. Письмо лорду Листу Повести Перевод с немецкого 231 стр. Цена 1 р 30 к.

Д. Фучеджиев. Река. Все холодной, все дальше... Романы Перевол с болгарского 474 стр. Цена 3 р. 50 к.

М. Харт. Полет крошншепов. Роман Рассказы. Перевод с нидерландского. 350 стр. Цена 2 р. 20 к

ВОЕНИЗДАТ

И. Беляев, А. Беляев. Только два года... Роман-хроника в монологах, диалогах и документах. 303 стр. Цена 80 к.

В. Маяковский. Избранное. Стихи. поэмы. 382 стр. Цена 2 р 20 к

Л. Ногерас. Мы, кто живы... Роман Перевод с испанского 255 стр. Цена 1 р. 70 к.

И. Стаднюк. Москва 41-й Роман 318 стр. Цена 1 р. 60 к

Ю. Черный-Диденко. Ключи от дворца. Роман повесть 496 стр. Цена 2 р 20 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В. Астафьев. Белогрудка Рассказы 128 стр. Цена 40 к

М. Горький. Мать Повесть 288 стр. Цена 2 р. 60 к

Ю. Манн. Смелость изобретения 144 стр. Цена 50 к.

«СОВРЕМЕННОК»

К. Балков. Небо моего детства. Книга рассказов. 224 стр. Цена 1 р. 20 к.

И. Дедков, Сергей Залыгин. Страницы жизни, страницы творчества. 431 стр. Цена 80 к.

Д. Кугультинов. Необоримые. Поэмы Перевод с калмыцкого 254 стр. Цена 1 р. 30 к.

А. Плитченко. Родительский дом. Книга стихотворений. 93 стр. Цена 30 к.

«ИСКУССТВО»

М. Дитрих. Размышления. Перевод с английского. 223 стр. Цена 1 р.

А. Инин, Л. Осадчун. В ожидании чуда. Сборник. 110 стр. Цена 35 к

В. Панова. Пьесы. 631 стр. Цена 2 р.

Р. Юрнев, Сергей Эйзенштейн. Замыслы. Фильмы. Метод. Ч 1 1898—1929 303 стр. Цена 2 р 70 к

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Ф. Глинка. Письма русского офицера. Проза. Публицистика. Поэзия. Статьи. Письма. Составление, вступительная статья С. Сернова, Ю. Удверевского. («Литературная летопись Москвы») «Московский рабочий». 365 стр. Цена 1 р. 90 к

К. Иванов. Нарспи. Поэма. Перевод с чувашского Под редакцией А. Т. Твардовского. Чебоксары Чувашское книжное издательство 126 стр. Цена 80 к.

А. Климанко. Если бы не было главного... Роман. Кишинев «Литература артистикэ». 279 стр. Цена 1 р.

Г. Троепольский. Чернозем. Роман, очерк, рассказ. Воронеж. Центральное-Черноземное книжное издательство. 480 стр. Цена 1 р. 80 к.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращается в типографию «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова: Москва, 103791, Пушкинская пл., 5.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимается местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор **В. В. Карпов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. Н. Жуков, В. Г. Казаков, А. И. Коваль-Волков, В. Н. Крупин, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **Д. Муддагалиев, А. И. Овчаренко, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин**

Адрес редакции. 103806 ГСП Москва К-6 Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 20.11.85 г. Подписано к печати 06.01.86 г. А 11601.
Формат бумаги 70X108^{1/16}. Высокая печать Объем 17 п л. (23.8 усл. печ. л.)
27.14 уч.-изд л

Тираж 423.000 экз. (1-й завод 1 — 203.000 экз.). Зак. 4285.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
103798 Москва К-6, Пушкинская пл., 5

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва. Пушкинская пл., 5

Цена 1 р. 20 к.

70636

Новый мир, 1986, № 2, 1 — 272.